

# Русская литература

№ 2

Историко-литературный журнал

1994

*Издается с января 1958 года*

*Выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Г. М. Фридлиндер. Гоголь: истоки и свершения (статья первая) . . . . .	3
В. Н. Криволапов. Еще раз об «обломовщине» . . . . .	27
В. А. Туниманов. Письма Николая Лескова . . . . .	48
И. Е. Ерыкалова. «Трагедия машет мантией мишурной...» (изображение русских царей в пьесах М. А. Булгакова) . . . . .	67
В. П. Муромский. Пьеса М. А. Булгакова «Батум» (к проблеме интерпретации) . .	95

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. Е. Мясоедова. Деловая переписка А. С. Грибоедова с К. К. Родофиникиным (август—декабрь 1828 года) . . . . .	113
Н. Ю. Грякалова. «Мой скепсис — суть моей жизни» (о стихотворении А. А. Блока «Никто не умирал. Никто не кончил жить...») . . . . .	124
Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым (вступительная заметка, подготовка текста и примечания И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского) (окончание) . .	136
А. И. Михайлов. «...Не делайте из писателя прежде времени „литературного смертника“...» (две защитительные статьи Сергея Клычкова) . . . . .	185
Н. А. Сломова, Т. Б. Семенова, Г. И. Чипига. Из фондов Государственного музея К. А. Федина . . . . .	211
В. Н. Запевалов. Вокруг финала «Поднятой целины» (Неизвестное письмо М. А. Шолохова Г. Е. Солсбери) . . . . .	224
К истории спора о подлинности «Слова о полку Игореве». Из переписки академика Д. С. Лихачева. (Публикация Л. В. Соколовой) . . . . .	232

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. Д. Левин. К истории восприятия в России Оливера Голдсмита . . . . .	269
С. Ю. Николаева. Антон Чехов: «линия жизни» . . . . .	277

## ХРОНИКА

Л. В. Соколова. Дар ученого . . . . .	281
Петр Созонтович Выходцев . . . . .	282

### Редакционная коллегия:

*Н. Н. Скотов* (и. о. главного редактора),  
*В. Н. Баскаков, Г. Я. Галаган* (зам. главного редактора),  
*А. А. Горелов, Г. А. Горьшин, В. Я. Гречнев, Н. А. Грознова,*  
*Б. Ф. Егоров, А. И. Павловский, А. М. Панченко, В. А. Туниманов,*  
*С. А. Фомичев, Г. М. Фридлендер*

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1994 г.

## ГОГОЛЬ: ИСТОКИ И СВЕРШЕНИЯ

### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

#### 1

Вдохновенный гоголевский образ тройки, которая, преодолевая множество препятствий на своем пути, безоглядно летит вперед, устремляясь в будущее, стал для нас в наши дни снова, как он был когда-то для своего создателя, символом переживаемой Россией суровой и трудной, исторически необходимой эпохи движения к новому национальному самоопределению.

Писатель, который завещал нам этот символический образ, родился сто восемьдесят пять лет назад, 1 апреля (20 марта ст. ст.) на Украине, в деревне Васильевка Миргородского уезда Полтавской губернии, принадлежавшей его родителям. Отсюда он начал свой жизненный путь — путь, который привел его сначала в Нежинскую гимназию высших наук, а затем — в Петербург, Москву, Рим и сделал на всю жизнь писателем-странником. Признанный уже в 1835 году (когда ему было всего 26 лет!) Белинским великим писателем, призванным сменить Пушкина, унаследовав его роль главы русской литературы, Гоголь приобрел сегодня славу одного из величайших писателей не только России, но и всего мира.

Основные чувства, всю жизнь владевшие Гоголем, — чувства благоговения перед величием вселенной и глубокой ответственности каждого человека перед собой и другими людьми, перед своей отчизной, миром и человечеством. Эти чувства Гоголь пронес через всю жизнь, завещав их своим потомкам. Великий писатель считал, что каждый человек — какое бы положение, высокое или малое, он ни занимал в жизни и на каком бы поприще ни действовал — должен быть прежде всего верен своему призванию, своему долгу человека и гражданина, никогда не устающего служить людям и идти вперед, несмотря на любые трудности.

Известно, что предшественник Гоголя украинский философ Г. С. Сковорода последние 25 лет вел страннический образ жизни, скитаясь по Украине в облике бродячего философа-проповедника.<sup>1</sup> Страннический образ жизни избрал для себя и Гоголь, хотя он жил в другую эпоху, происходил не из казачьей, а из образованной дворянской среды и уже в родительском доме, а позднее в Полтаве и в Нежинской гимназии высших наук широко приобщился к русской и европейской культуре. Возможно, что традиция украинских бродячих философов и постоянная обращенность их мысли к Евангелию не в меньшей мере, чем традиции украинского народного

<sup>1</sup> О Гоголе и Г. Сковороде см.: Гончаров С. А. Творчество Н. В. Гоголя и традиции учительской культуры. СПб., 1992. С. 32—45, 59—62, 69. Ср.: Эрн В. Г. С. Сковорода. М., 1912; *Tshizewskiy D. Skovoroda—Gogol // Die Welt der Slaven. Jg. XIII. H. 3. S. 317—326.*

театра (получившие вторую жизнь в комедиях отца Гоголя и в его собственных ранних украинских повестях), определили многие из особенностей жизненного и творческого пути Гоголя — художника, мыслителя и проповедника.

Но уже то, что Гоголь получил не духовное, а светское образование, резко отделило его от его предшественников — бродячих философов-наставников, подобных Сковороде. Образование это сделало Гоголя не только русским, но и европейским писателем, — писателем, мысль которого была широко открыта опыту всей общеславянской и западноевропейской культуры от ее первоначальных истоков до гоголевской современности. Об этом наглядно свидетельствует уже начало творческого пути Гоголя: в «Книге всякой всячины» — «подручной энциклопедии», которую Гоголь завел в 1826 году, находясь в Нежине, и которую продолжал пополнять своими записями в Петербурге до 1831—1832 годов, — «Лексикон Малороссийский» соседствует с заметками «Об одежде и обычаях русских» (из Мейерберга и Олеария), описание русской свадьбы — с описанием украинской, а «Вирша, говоренная гетьману Потемкину запорожцами на светлый праздник Воскресения» — с выписками из французского историка О. Тьерри и немецкого эстетика и искусствоведа И. Винкельмана.<sup>2</sup>

В своей «Авторской исповеди» Гоголь в конце жизни провел раздельную черту между «Ревизором» и «Мертвыми душами» и ранними своими художественными произведениями. Он писал здесь, что в молодые годы, «чтобы развлекать себя самого», «придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого какая выйдет польза». А потому эти произведения «заставляли читателей смеяться беззаботно и безотчетно». Лишь Пушкин, продолжает Гоголь, побудил его «взглянуть на дело серьезно». Результатом этого явился период «Ревизора» и «Мертвых душ», где он «решил собрать в одну кучу все дурное в России», чтобы сознательно исполнить свой долг служения родине и человечеству (VIII, 439—440; ср.: X, 83).

Несмотря на то что эта автохарактеристика приобрела в глазах потомства классический характер, она сегодня не может быть принята безоговорочно. Уже юношеские письма Гоголя свидетельствуют о его серьезном намерении «честно служить России» (VIII, 441). «Я поклялся ни одной минуты короткой жизни не утратить, не сделав блага», — писал Гоголь 3 октября 1827 года из Нежина своему дяде П. П. Косяровскому, противопоставляя свои «высокие начертания» пылкому, но праздному «мечтательству» и бытию нежинских «существователей» (X, 112, 98). Страстная вера в высокое предназначение человека привела Гоголя сначала к желанию посвятить свою жизнь борьбе с «неправосудием, величайшим в свете несчастьем». «С самых лет прошлых, с самого почти непонимания, я пламенел неугасаемою ревностью сделать жизнь более нужною для блага государства, я кипел принести хоть малейшую пользу», — писал Гоголь в том же письме.

Да и, вопреки утверждению Гоголя, предметом изображения для него с самого начала творческого пути было отнюдь не только смешное, хотя он был одним из величайших юмористов и комедиографов мира. Не говоря уже о «Страшной мести», «Вие», «Старосветских помещиках», «Тарасе

<sup>2</sup> См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1938—1952. Т. IX. С. 495—538. Далее ссылки на это издание в тексте.

Бульбе», достаточно вспомнить одни лишь заключительные строки «Сорочинской ярмарки», чтобы убедиться в том, сколько печальных, серьезных, драматических (и даже трагических) элементов скрыто в повестях уже двух первых книг Гоголя — «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода». В любом произведении, созданном Гоголем до «Ревизора», смеялся он далеко не «беззаботно и безотчетно», ибо рассматривал смех как высокое, очищающее начало. *Эстетическое всегда было объединено в его творчестве с нравственным* (или, пользуясь гоголевским определением, с мыслью о «пользе» обществу). С другой же стороны, ни в «Ревизоре», ни в «Мертвых душах» Гоголь не отказался от всего того «смешного, что только мог выдумать». В этих великих произведениях писателя мы встречаем не менее (а порою даже более) «смешных лиц и характеров», поставленных «в самые смешные положения», чем в гоголевских украинских и петербургских повестях. Поэтому, при всем различии диапазона и масштаба гоголевского смеха, указанные Гоголем границы, отделяющие его ранние творения от позднейших, имеют все же относительный (а отнюдь не абсолютный) характер, особенно если учесть, что в юношеской поэме Гоголя «Ганц Кюхельгартен» смешное вообще отсутствует, а опубликованные им до «Ревизора» первые петербургские повести и незавершенная комедия «Владимир III степени» непосредственно подводят читателя к вершинным созданиям его творчества. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что советы и замечания Пушкина, передача им Гоголю сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ» способствовали росту Гоголя-писателя, позволили ему подняться в своем творчестве на новую высоту. Но это смогло произойти только потому, что Гоголь и раньше смотрел на свое писательство «сурьезно» и не относился к нему «безотчетно» — в противном случае советы Пушкина не могли бы быть восприняты Гоголем и не принесли бы ожидавшихся поэтом плодов.<sup>3</sup>

Гоголь не сразу осознал свое литературное призвание. Прежде чем стать писателем, он в Нежине мечтал о судейском поприще, а в Петербурге пытался стать драматическим актером, посещал учебные классы Академии художеств. И на литературную стезю он вступил не как прозаик, а как поэт. Позднее он испробовал карьеры домашнего учителя, преподавателя истории и географии женского Патриотического института, а уже издав «Вечера на хуторе близ Диканьки», работая над «Миргородом» и «Арабесками», серьезно думал о создании многотомных исторических трудов, посвященных украинской истории и западноевропейской истории средних веков. Натолкнувшись же на сопротивление киевского профессора Е. Ф. Брадке при осуществлении своей мечты получить кафедру профессора Киевского университета святого Владимира на два года (1834—1835), он стал профессором истории Санкт-Петербургского университета. И в своей литературной деятельности Гоголь был на первый взгляд столь же непостоянен: от поэзии он переходит к прозе; затем, добившись громкого успеха как автор украинских повестей, обращается к иной, общероссийской тематике, а позднее покидает поприще прославленного автора повестей и драматурга для создания «Мертвых душ», работу над вторым томом которых прерывает, выступая в новой для себя роли моралиста-проповедника, автора «Выбран-

<sup>3</sup> О личных и литературных отношениях Пушкина и Гоголя см.: *Войтоловская Э. Л., Степанов А. Н.* Н. В. Гоголь: Семинарий. Л., 1962. С. 205—209 (библиография); *Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М.* Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969. С. 197—228; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985.

ных мест из переписки с друзьями». Однако, вопреки адресованным Гоголю многими из его современников и позднейших исследователей его творчества упрекам в легкомыслии и непостоянстве, Гоголь, думается, не случайно переходил от одного замысла к другому, жертвуя подчас уже достигнутыми успехами увлечению новыми творческими планами. Сколь крутые переломы ни переживал бы Гоголь в своем развитии и какое странное впечатление ни производили бы на нас его замыслы грандиозных исторических трудов и его петербургская профессура (или переход Гоголя от продолжения «Мертвых душ» к работе над «Выбранными местами из переписки с друзьями»), в действительности метания и поиски его были одушевлены одной общей целью — принести максимальную пользу своим современникам и потомкам, исполнив свой нравственный долг перед самим собой, перед Богом, своей страной и народом.

С первых лет жизни Гоголь верил в свое высокое предназначение, ибо, думая об ответственности каждого человека перед родиной и человечеством, он прежде всего предъявлял высочайшие требования к себе самому. И поприще драматического актера, и работа художника, и писательская деятельность, и петербургская профессура, и выступления в качестве публициста, духовного наставника и проповедника были для него разными формами служения общему благу. Приступая к ним, он всякий раз ставил перед собой самые возвышенные, трудноисполнимые цели. Отсюда его исключительная художественная взыскательность, побудившая его к скупке и уничтожению экземпляров своей юношеской поэмы, а позднее — к сожжению признанной Жуковским его творческой неудачей драмы из украинской истории «Выбритый ус» и части рукописей второго тома «Мертвых душ».

Еще в нежинские годы Гоголь-гимназист был поражен контрастом между величием и красотой мира и ничтожеством образа жизни нежинских «существователей» (X, 98). Это побудило его возложить на себя личную ответственность за судьбы своих современников и грядущие судьбы человечества. И с литературным творчеством, и с профессурой, и с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголь связывал надежду способствовать преобразению земной жизни. Он хотел пробудить своих современников, показав им их истинное лицо без всякого грима и идеализации, заставив их увидеть себя такими, какими они были и есть, чтобы, ужаснувшись себя, они встали на путь спасения своей души, своего земного лика, своего национального и общественного бытия. Но эта благородная мечта оставалась, в чем Гоголь каждый раз убеждался снова и снова, неосуществимой.<sup>4</sup> Отсюда преследовавшее Гоголя на всем протяжении творческого пути недовольство не только своими современниками, но прежде всего самим собой — недовольство, вызывавшее у него глубокое духовное потрясение и сомнения в своей способности исполнить долг, возложенный на него человечеством и Богом. Все это и стало источником духовной трагедии Гоголя, которого без преувеличения можно назвать не только глашатаем и пророком, но и великомучеником русской литературы.

А между тем уже юношеская поэма Гоголя (несмотря на несовершенство стихотворной техники и языка) была далеко не так неудачна, как это представляется большинству современных исследователей. Она была не только первой попыткой начинающего, еще неопытного писателя заявить о себе, но и содержала скрыто сформулированную программу его будущего

<sup>4</sup> См. об этом: *Золотусский И. П.* Гоголь. 2-е изд. М., 1984 (Сер. Жизнь замечательных людей).

нелегкого жизненного пути. Ибо «Ганц Кюхельгартен» (несмотря на подзаголовок к этой поэме) — отнюдь не идиллия, воспевающая мирную патриархальную жизнь бюргерской среды. И хотя поэма эта написана не на материале украинского или русского, а западноевропейского быта и ее герои носят немецкие (а не русские) имена, интерес ее автора направлен отнюдь не на узкоместные, а на (пользуясь выражением Достоевского) «мировые вопросы и мировые противоречия».

Не случайно, по-видимому, Гоголь назвал свою поэму именем и фамилией героя. В этом можно усмотреть близость к «Евгению Онегину», выхода каждой новой главы которого Гоголь, как мы знаем из его писем к отцу (X, 48), с нетерпением ждал еще в нежинские годы. Но, в отличие от романа Пушкина, герой поэмы Гоголя, как мы увидим далее, сродни скорее Ленскому, чем Онегину. Это юноша-романтик, в душе которого влечение к «простодушному» сельскому счастью и любовь к наивной девушке Луизе борется с «тайным негодованием», стремлением к славе, мечтой посвятить свою жизнь борьбе за счастье человечества. Победа в современном мире «существенности жалкой» над «миром мечтаний» отзывается в его душе глубокой скорбью. И однако Ганц, хотя и мечтатель, но как мечтатель робкий и слабый душой, а потому осужденный на поражение, которым заканчивается его жизненный путь, одновременно и близок автору в своих исканиях и устремлениях, и вызывает у него осуждение вследствие отсутствия у него качеств, нужных для человека, призванного судьбой посвятить свою жизнь действительному служению человечеству. Воспользовавшись для описания той жизненной обстановки, в которой живет его романтически настроенный герой-мечтатель, идиллией немецкого поэта XVIII века И. Г. Фосса «Луиза» (1795), известной Гоголю в русском переводе В. Теряева (1820), откуда юный поэт почерпнул имя героини своей поэмы, образ ее деда-пастора и картину повседневного быта патриархальной семьи Луизы и ее родителей, Гоголь переносит действие своей юношеской поэмы в 20-е годы XIX века — во времена, когда даже в немецкой провинциальной глуши, где живет его герой, живо обсуждаются «новости газет»:

Про злой неурожай, про греков и про турок,  
Про Мисолунги, про дела войны,  
Про славного вождя Колокотрони,  
Про Каннинга, про парламент,  
Про бедствия и мятежи в Мадрите.

(I, 74)

А отсюда очевидно, что герой юношеской поэмы Гоголя — его современник, в круг духовных интересов которого входят такие исторические события той эпохи, которые волновали молодые умы всех стран и народов Европы.

Автора «Ганца Кюхельгартена» не слишком интересовал тот немецкий «антураж», которым окружен его герой. Антураж этот знаком автору явно лишь по книжным источникам — идиллии Фосса, творчеству Гете, переводам Жуковского из Гебеля и других поэтов Германии. Поэтому он весьма приблизителен и условен.<sup>5</sup>

Важнее другое: в отличие от Пушкина, Гоголь делает своим главным персонажем не «москвича в гарольдовом плаще», подобного Онегину, а

<sup>5</sup> В научной литературе о «Ганце Кюхельгартене» (см.: I, 496—497) долгое время господствовал взгляд на юношескую поэму Гоголя как на более или менее традиционную

юношу с душою «геттингенской», который, с одной стороны, близок Ленскому, а с другой — подготавливает фигуру будущего гоголевского художника Пискарева из повести «Невский проспект», такого же пылкого, но слабого душой мечтателя, как Ганц.

Ганц Кюхельгартен — поклонник Платона, Шиллера, Петрарки и Винкельмана, Аристофана и Тика (I, 84). Он живет в «малом мире» сельской идиллии, но его беспокойная душа полна страстного томления по «большому миру» истории и его великим делам. Поклоннику красоты и поэзии, ему равно ведомы и картины жизни древних Афин — земли «вольности» и «классических прекрасных созданий» (картина III), и фантастические образы восточной поэзии и мифологии (картина IV). «Душой и жадно, и страстной» он хотел бы объять весь мир. Жизнь в «позаброшенной стране» не удовлетворяет его, несмотря на любовь к простодушной Луизе, как и окружающие его здесь мир и довольство. И вместе с тем Ганцу хочется не только посетить дальние страны, увидеть собственными глазами «роскошные края земли», «пламенные творения», созданные резцом и кистью великих скульпторов и живописцев (I, 79). Подобно Байрону и тем товарищам Гоголя по гимназии, которые принадлежали к греческому населению Нежина, ему хочется принять участие в борьбе за освобождение Греции от турецкого ига. Но, совершив свое паломничество в Грецию, куда он пустился в путь «как пилигрим бредет к святыне» (I, 79), Ганц застаёт здесь печальную картину: греческое восстание недавно подавлено, и среди колонн и статуй древних Афин снова мелькает чалма и развевается турецкий флаг (I, 88—90). Автор опускает рассказ о событиях дальнейших двух лет жизненной истории своего героя. Но и здесь Ганца преследует тот же, уже знакомый нам конфликт между «жарким» миром его мечтаний и «жалкой» действительностью. В результате, пережив ряд тяжелых поражений и разочарований, гоголевский герой возвращается на родину, чтобы обрести тихое и мирное счастье, женившись на своей Луизе. Однако счастье это не вполне удовлетворяет его: простившись с обольстившими его «коварными мечтами», он продолжает переживать внутренний разлад с самим собой, нередко предаваясь печали и грусти, подобно школьнику, благополучно закончившему годы своего учения, но и после того, как для него пришел «желанный срок» его завершения, вспоминающий порой с тоской и грустью о своих школьных товарищах и мечтах своей молодости (I, 99).

Таким образом, перед нами, в сущности, образ не немецкого юноши, а скрытый под немецким именем и фамилией образ того «русского скитальца», широко открытого душой судьбам других народов, культурному наследию и счастью всего человечества, в котором Достоевский (возведший

---

идиллию, написанную в подражание «Луизе» Фосса, а на завершающее ее возвращение героя к родным пенатам как на положительный идеал Гоголя. Однако уже академик И. Н. Жданов (см. его литографированный курс: Н. В. Гоголь: СПб., 1896) верно осознал, что Гоголь хотя и сочувствует своему герою, но в «Думе» осуждает его слабость. Дальнейшее развитие эта мысль получила в статье Н. И. Коробки «Гоголь как романтик» (Образование. 1902. № 2) и его комментарии к поэме (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. СПб., 1915. Т. 1. С. 362). Мнение Жданова поддержали также Н. П. Дашкевич (1906) и В. В. Каллаш (1907). Новый взгляд на «Ганца Кюхельгартена» как на романтическую поэму, тесно связанную с современностью, развили В. А. Десницкий (1936) и В. В. Гиппиус, неопубликованная статья которого о «Ганце Кюхельгартене» (1939—1940) хранится в ОР ИРЛИ (Ф. 47. В. В. Гиппиус). В настоящей статье в несколько дополненном виде излагаются основные положения, впервые сформулированные автором в статье: Фридендер Г. М. Из истории раннего творчества Гоголя // Гоголь. Статьи и материалы. Л., 1954. С. 124—136.



его истоки к пушкинскому Алеко) позднее признал сквозной, магистральный образ всей русской литературы. Причем последние строки XVIII картины гоголевской поэмы о сложных переживаниях школьника, только что закончившего свои гимназические годы и испытывающего чувство грусти при воспоминании о своих старых товарищах, с которыми он делил «шалость, труд» и «покой» (I, 99), прямо намекают на автобиографические черты этого образа: свои переживания после окончания нежинской гимназии и переезда в Петербург Гоголь сближает с переживаниями Ганца.

И однако, при всей любви и сочувствии к своему герою, Гоголь в отличие от тех поэтов-романтиков, у которых образы героев имели всецело автобиографический характер, проводит между Ганцем и собою разделительную черту. Отказ Ганца от участия в делах «большого мира», его возвращение в «малый мир» захолустно-провинциальной идиллии Гоголь рассматривает не только как следствие оторванности высоких мечтаний Ганца от реальной жизни, но и как следствие личной слабости своего героя. Ганц потерпел поражение — согласно убеждению молодого Гоголя — не потому, что «жалкая сущность» принципиально не может быть изменена и что всякое стремление единичного человека содействовать преобразению человеческого бытия изначально обречено на неудачу, но из-за того, что, при всей возвышенности мечтаний Ганца, он не обладал той внутренней силой и твердостью духа, которая дает возможность подлинным героям истории выдержать любые грозящие им испытания и, благодаря этому, содействовать своими трудами нравственному подъему и возрождению окружающих людей. Об этом автор «Ганца Кюхельгартена» гордо и непреклонно заявляет в программном для молодого Гоголя заключительном фрагменте, включенном в последнюю картину его поэмы, — фрагменте, в котором автор, осуждая своего героя за его слабость, противопоставляет ему образ подлинного «избранника небес», который, в отличие от Ганца, соответствует одушевлявшему молодого Гоголя идеалу стойкого и действенного служения людям.

Вот этот фрагмент:

#### ДУМА

Благословен тот дивный миг,  
Когда в поре самосознанья,  
В поре могучих сил своих,  
Тот, небом избранный, постиг  
Цель высшую существованья;  
Когда не грез пустая тень,  
Когда не славы блеск мишурный  
Его тревожат ночь и день,  
Его влекут в мир шумный, бурный;  
Но мысль и крепка и бодра  
Его одна объемлет, мучит,  
Желаньям блага и добра,  
Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не падит.  
Вотще безумно чернь кричит:  
Он тверд среди сих живых обломков,  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков.

Когда ж коварные мечты  
Взволнуют жаждой яркой доли,  
А нет в душе железной воли,

Нет сил стоять среди суеты, —  
 Не лучше ль в тишине укромной  
 По полку жизни протекать,  
 Семейей довольствоваться скромной  
 И шуму света не внимать?

(I, 95)

Но не только осуждение молодым Гоголем в лице героя его юношеской поэмы возвышенного, но слабого душой мечтателя, противопоставление ему человека, которому внутренняя непреклонность и железная воля дают силу, необходимую для «великих трудов» и действительного служения людям, делают его поэму, несмотря на ее художественное несовершенство, важным и знаменательным фактом в истории его духовного развития и творческого самоопределения.

Предав сожжению свою юношескую поэму, Гоголь навсегда оставляет писание стихов и обращается к прозе. Но и в прозе он сохраняет многие черты, присущие поэзии. Пушкин, считавший, что между повествованием в поэзии и в прозе существует «дьявольская разница», в своей прозе сохранил свойственные лучшим образцам европейской прозы XVIII века предельный лаконизм и экономию поэтических средств. Гоголь-прозаик избирает для себя иной путь: свои украинские и петербургские повести он насыщает возвышенной патетикой и многочисленными поэтическими отступлениями, стремясь к яркости, выразительности и хлесткости каждого слова, охотно прибегая к метафорам, гиперболам, поэтическим периодам, смешивая в них повествовательные и лирические элементы, реальность и фантастику, комическое и трагическое. Многие его юношеские статьи («Женщина», «Скульптура, живопись и музыка», «Жизнь» и т. д.) — своеобразные лирические миниатюры, «стихотворения в прозе». Не случайно современники сближали стиль молодого Гоголя со стилем Марлинского, а последнее свое гениальное прозаическое произведение Гоголь назвал «поэмой», но не романом (в то время как Пушкин в «Онегине» оставил нам уникальный во всей мировой литературе «роман в стихах»).

Этим не исчерпывается связь «Ганца Кюхельгартена» с последующим творчеством Гоголя. В IV картине своей юношеской поэмы Гоголь впервые высоко оценил поэтическое значение фантастики. И, наконец, помимо отмеченных выше противопоставления мира мечты и «жалкой» сущности (получившего развитие в «Невском проспекте»), а также антитезы хотя и полного возвышенных стремлений, но слабого душой мечтателя и истинного художника-творца (и вообще исторического деятеля, одаренного «железной волей», которая позволяет ему, не щадя жизни, выстоять, сохранить уверенность в себе и твердость духа и, несмотря на «безумный» ропот черни, во имя «желанья блага и добра» совершить «великие труды» даже в неблагоприятном для его усилий «шумном» и «бурном» мире), в «Ганце Кюхельгартене» мы встречаемся не только с фантастической картиной «ночных видений» (как это неоднократно отмечалось писавшими о поэме Гоголя), где мотив поднимающихся из гроба мертвецов предвосхищает аналогичные мотивы «Страшной мести» и «Вия» (I, 87), но и со столь знаменательным для творчества Гоголя мотивом «мертвой» человеческой души (I, 78).<sup>6</sup> Все это свидетельствует о более важном, чем

<sup>6</sup> О символе «мертвой» души у Гоголя и в литературе 30—40-х годов см.: Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 11; Гончаров С. А. Еще раз о заглавии гоголевской поэмы // Н. В. Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989. С. 22—44 (см. там же литературу вопроса).

это до сих пор представлялось большинству исследователей, значении юношеской поэмы Гоголя — и притом во всем многообразии ее различных художественных и идеологических аспектов — в творческом самоопределении, а также в зарождении ряда устойчивых тем и мотивов более поздних произведений великого писателя, созданных в пору его творческой зрелости.

## 2

Большинство писателей-романтиков 20-х годов в России и на Западе ставили жизнь в мире мечты и искусства *выше* действительности. Гоголь же, как мы уже видели, при всем своем сочувствии миру романтических грез, требует, чтобы мечта вела человека в реальный мир, давала ему возможность опираться на необходимую для этого «железную волю», способствовать духовному росту и возвышению своих современников. Поэтому неудача не заставила его отказаться от своей духовной миссии писателя-просветителя, но, напротив, вызвала настойчивое желание найти более верный путь к сердцам окружающих людей. Так родились «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Романтизм широко распахнул перед литературой возможности обогащения ее сокровищами легенды и мифа, сказки и живого народного слова. Но перед каждым автором открывался не один-единственный, а во многом различные пути овладения ими. И романтизм молодого Гоголя оказался — вопреки твердо укоренившемуся в исследовательской литературе мнению — несхожим с романтизмом Тика, Гофмана и других немецких романтиков.<sup>7</sup>

Заслуги немецких романтиков, признавших художественную ценность народного творчества и щедро воспользовавшихся им, бесспорны. Об этом свидетельствуют прежде всего «Сказки» братьев Grimm, «Волшебный рог мальчика» Л. А. Арнима и Кл. Брентано, комедии Л. Тика «Кот в сапогах» и «Принц Цербино», его обработки немецких народных книг и т. д. Немецкие романтики высоко ценили значение народной песни и

<sup>7</sup> В литературе о Гоголе по вопросу об отношении Гоголя к творчеству немецких новеллистов-романтиков, к философии немецких романтиков и эстетике круга Любомудров 20-х годов в России сосуществуют две разные, во многом противоположные точки зрения. Обоснование эстетической близости романтизма молодого Гоголя к романтизму Л. Тика и Э. Т. А. Гофмана дано в работах: Чудаков Г. И. Отношение творчества Н. В. Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908; Родзевич С. К истории русского романтизма. Э. Т. А. Гофман в 30—40-е годы в нашей литературе // Русский филологический вестник. 1917. Т. XXIII. № 1—2. С. 194—237. Сближались идеи Гоголя и с идеями Вакенродера, которые популяризировали Любомудры. В новейшей литературе фольклорные и фантастические мотивы, сближающие повести Гоголя с повестями Тика и Гофмана, справедливо отмечены в работах М. Н. Виротайнен, Р. Ю. Данилевского, Ю. Манна, А. Ф. Бортниковой и ряда других исследователей. Однако наличие подобных мотивов не отменяет точки зрения, восходящей к мемуарам П. В. Анненкова, о принципиальной противоположности многих идей Гоголя — историка и эстетика философии и эстетике немецкого романтизма, как и о глубочайшей трансформации сходных фольклорных и фантастических мотивов в его творчестве. Проблема эта была поставлена В. В. Зеньковским (1916) и поддержана М. Горлиным (1923). В развернутом виде, с приведением многочисленных доказательств, она была более детально обоснована в моей кандидатской диссертации «„Арабески“ и вопросы мировоззрения Н. В. Гоголя петербургского периода», защищенной в ИРЛИ в 1947 году (рукопись; Центральная Российская библиотека; ОР ИРЛИ). Сходную позицию занимал по указанному вопросу и Г. А. Гуковский (см.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959). В настоящей главке в тезисной форме сформулированы идеи двух последних работ, к которым я отсылаю читателя.

обогатили за счет ее музыкальных и смысловых элементов свою собственную лирику. Они восстановили в правах сказочную (и вообще фантастическую) стихию в искусстве, придав ей новое философское звучание. Но вместе с тем в сказочно-фантастических произведениях немецких романтиков были сильны, с одной стороны, прославление противостоящей обыденной жизни мечты, уносящей поэта и художника за пределы земного, чувственного мира в царство романтических грез и томлений, а с другой — мотив романтической иронии, которая позволяет художнику-творцу, а вслед за ним и читателю не принимать всерьез ни сказочно-фантастические образы и мотивы, созданные в прошлом народной фантазией, ни окружающую его современность (ибо образы и события последней представляют собой всего лишь оболочку скрытой за ними подлинной, сверхчувственной реальности, где действуют не человеческие, а иные, высшие силы). Миф и сказка стали в их творчестве *иносказанием*, приобщающим читателя к миру романтической философии искусства.

Иной характер присущ уже ранним украинским гоголевским повестям, насыщенным любовью к посюстороннему, земному миру. Писатель отнюдь не избегает в них обращения к мотивам вторгающихся в жизнь человека злых, демонических сил, которые под его пером выступают то в комическом, то в грозном, пугающем воображение читателя и вместе с тем предостерегающем его облики. И все же любые попытки истолковать украинские повести Гоголя как призыв увидеть в реальном земном мире всего лишь иносказание, увести читателя из посюстороннего мира в иную, потустороннюю реальность уводят прочь от подлинного понимания их содержания. Ибо хотя человек в гоголевском художественном изображении отнюдь не избавлен от вмешательства в его существование сил корысти, предательства, окружающих его уродливых масок и ликов, он живет в широком и вольном мире, сверкающем и переливающимся всеми красками, которые способны зажечь человеческое воображение. И норма этого мира — здоровье, а не болезнь (или филистерство и противостоящее ему чудачество, как у Гофмана).

Вот почему так широк и прекрасен у Гоголя Днепр, а его молодые герои так веселы и сильны духом, готовы в любой момент унести от земных забот, забыть о них, закружившись в бешеной пляске. Подобно кузнецу Вакуле, они способны одержать победу над всяческой чертовщиной, так же как над глуповатыми, но при этом хитрыми и изворотливыми представителями старшего поколения и местной администрации (вроде Головы из «Майской ночи»). Человеческие хитрость, предательство и корысть (как и покровительствующие им злые силы) противостоят у Гоголя не только его молодым героям, но и героическому прошлому казачества, и окружающей героев «Вечеров» вольной и щедрой природе, с которой они живут общей жизнью, — природе, в один лад с которой бьются их сердца. Вот почему кузнец Вакула так вольно чувствует себя и в царском дворце, не теряется перед самой «Семирамидой Севера», корреспонденткой Вольтера и Дидро. Более того, даже когда «нечистая сила» вмешивается в жизнь людей пожилых («Пропавшая грамота», «Заколдованное место»), это дает повод скорее для веселого беззлобно-затейливого предания (или анекдота), передающегося из поколения в поколение, чем для проникновения в ткань гоголевской повести мотивов романтической «готики». Стихия страшного и таинственного отступает в большей части повестей, вошедших в «Вечера», перед стихией «домашности», веселья, занимательности. Более того, порою она оказывается результатом мистификации, карнавального «розыгрыша»

(«Сорочинская ярмарка»), хотя и несвободного от примеси фантастического элемента.

Следует особо отметить, что гоголевский Вакула не только кузнец, но и художник. Таким образом, уже в «Вечерах» Гоголь отводит характерную для немецкой романтической повести антитезу художника и обыденного мира. И в ту же повесть он вводит три других важных мотива: изображение глазами Вакулы Петербурга (во многом предваряющее «Невский проспект»), изображение запорожцев, пытающихся отстоять перед императрицей независимость Запорожской Сечи, ее законов и обычаев и, наконец, язвительную реплику Фонвизина (в то время еще лишь автора «Бригадира»), который, предваряя свои позднейшие творческие замыслы, отвечает Екатерине, что для изображения ее милостей нужен не он, а Лафонтен, т. е. баснописец, который в своей басне не пощадил бы ее.

Но художником в «Вечерах» является ведь не только Вакула: ему сродни Рудый Панько, и старый дед-рассказчик «Заколдованного места» и «Пропавшей грамоты», и его тетка, и дьячок Федор Григорьевич, да и все «поющее и пляшущее»<sup>8</sup> молодое поколение жителей Диканьки, равно как изобретательный цыган в «Сорочинской ярмарке», и те безымянные народные певцы, которые сложили и передали своим потомкам «старинные были» о вражде двух братьев-соперников, составляющие эпическую основу «Страшной мести».

Да, Гоголь, как свидетельствует «Ганц Кюхельgarten», читал и ценил повести Тика, переводы которых в 20-е и 30-е годы охотно печатались в России.<sup>9</sup> И все же, вопреки широко распространенному мнению, он заимствовал из творчества Тика (как и из поэзии Жуковского) лишь некоторые аксессуары и сказочные мотивы, которым он дал принципиально иное освещение. Характерно, что в отличие от «Повестей Белкина», где образ рассказчика неуловим, повести, вошедшие в состав «Вечеров на хуторе близ Диканьки», рассказаны Гоголем не от лица автора, но принадлежат либо «Рудому Панько» и кругу его друзей, либо представляют собой сохранившиеся в памяти народа «старинные были». События и герои пропущены в них автором сознательно через народное восприятие и народное мировоззрение, даны в том преломлении, в котором их фабула и их персонажи сохранились в памяти народа. И читатель, по замыслу Гоголя, вовсе не обязательно должен принимать на веру их чудесные и фантастические мотивы.

Кстати, как заметили уже первые критики «Вечеров» (А. Царынный — А. Я. Стороженко), Гоголь черпал материал для них не только из знакомых ему украинских народных преданий и повестей, так же как Пушкин в своих сказках не считал себя связанным материалом русской народной сказки (хотя высоко ее ценил). И Пушкин, и Гоголь были не этнографами, а поэтами, одаренными богатым, щедрым воображением. И к материалу народного творчества они подходили именно как поэты, развивая и видоизменяя его мотивы, обогащая его своей творческой фантазией и воображением и оставаясь при этом верными духу, а не букве народного творчества. Именно это позволило Гоголю создать «Страшную месь» — повесть, которая по грандиозности и величию замысла имеет «дантовский» масштаб, не свойственный ни сказочным и фантастическим повестям немецких романтиков, ни тогдашнему готическому роману или «трагедии рока».<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. [Л.] 1949. Т. 12. С. 27.

<sup>9</sup> См.: Данилевский Р. Ю. Л. Тик и русские романтики // Эпоха романтизма. Л., 1975. С. 93—95.

<sup>10</sup> См. о «Страшной мести»: Манн Ю. Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 42—58 (ср.: там же, с. 59—132 о соотношении у Гоголя реального и фантастического).

Конечно же, в повестях «Вечеров» отражена не только народная память, но и мировоззрение их автора, его симпатии и антипатии. Это видно уже из того, что Гоголь выступает в «Вечерах» не только как повествователь, но и как историк — и это еще одно его отличие от Тика или Гофмана. Корни «Страшной мести» уходят в стародавнее эпическое прошлое, а потому рассказ о завязке лежащих в ее основе событий передан эпическому певцу (или рапсоду). Сами же события эти отнесены к более позднему времени, которое, однако, уже тоже успело обрести преданиями и легендами (поэтому и здесь автор имеет возможность широко воспользоваться приемами эпического повествования). К иной, более близкой исторической эпохе отнесено повествование в «Вечере накануне Ивана Купалы», «Пропавшей грамоте», «Ночи перед Рождеством», «Заколдованном месте». Еще ближе к современности придвинуто время действия в «Сорочинской ярмарке», «Майской ночи». И, наконец, в занимающей предпоследнее место во второй книжке «Вечеров» повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» перед нами картина современного Гоголю украинского помещичьего быта.

В соответствии с изменением исторического времени, о котором говорится в отдельных повестях, изменяются характер присутствующих в них мифологических и фантастических мотивов, а также язык и стиль автора и вся атмосфера повествования. Основу песни слепцов «Страшной мести» составляют грозные мотивы нарушения обетов рыцарского побратимства, предательства, родового проклятия; отцу Катерины — страшному колдуну — приданы демонические черты, сближающие его с образом Вечного жида, Агасфера, а в самой этой повести воспевается прошлая героическая эпоха в жизни украинского казачества в момент, когда уже ощущаются предвестия ее близящегося заката. Не случайно поэтому отец Катерины здесь не только нарушитель исконных законов веры и человеческого общежития, свойственных казачеству, но и предатель своей отчизны. Басаврюк в «Вечере накануне Ивана Купалы» — скорее не реальный человеческий образ, а созданный народной фантазией полусказочный символ демона-соблазнителя. Наконец, в «Майской ночи» фантастические образы насыщаются «песенным» лирическим содержанием, в «Ночи перед Рождеством» Солоха и черт предстают в смешном, комическом освещении, а эпизоды, в которых они участвуют (так же как ряд других эпизодов этой повести), близки к традиционным мотивам средневековых рассказов и итальянских новелл эпохи Возрождения о злых женах и комическим сценам украинского вертепного театра. Подобно историку Гоголь подходит к использованию фантастических мотивов в каждой из своих повестей с определенной исторической меркой, отделяя более архаические фольклорные мотивы от сменяющих их исторических, сказочных и даже приближающихся по своему характеру к бытовому анекдоту со свойственной ему смеховой, народно-юмористической окраской. Таким образом, он различает в народно-фантастических и легендарных мотивах ряд несходных исторических напластований, не смешивая их, так же как он сознательно не смешивает в своих повестях комического и страшного, рассматривая их как две различные сферы народно-фантастического фольклорного предания.

Переходя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду», следует заметить, что, как свидетельствует сопоставление «Старосветских помещиков» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», жизнь современной ему Украины воспринималась Гоголем далеко не однозначно. Можно сказать, что если Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна воплощают в себе поэзию, то Иван Иванович и

Иван Никифорович — прозу отходящего в прошлое провинциального украинского помещного быта.

Гоголь отказывается в «Миргороде» от образа пасичника Рудого Панько и других посредников между автором и читателем. Все повести написаны здесь от первого лица, «вездесущего и всеведущего» автора, что не мешает разнообразию их сюжетов и персонажей, стилистической манеры и общей тональности отдельных повестей.

«Старосветские помещики» — один из шедевров Гоголя-художника. Он как бы снова возвращается здесь к теме сельской идиллии, которая была впервые затронута в «Ганце Кюхельгартене». Но на этот раз Гоголь достигает поразительного по психологической тонкости и глубине понимания человеческой природы художественного результата, заставляя читателя полюбить двух незаметных героев своей повести и почувствовать, какая бездна взаимной любви и доброты была скрыта в каждом из них, несмотря на их непритязательную жизнь, казалось бы проведенную в полусне и окутанную силой привычки, всецело заполненную заботами о довольстве и удобствах своего личного существования. И в то же время повесть проникнута сознанием, что мир, обрисованный в ней, уходит в прошлое и сменяется другим — корыстным и прозаическим.<sup>11</sup>

В отличие от «Старосветских помещиков», в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» живой, искрящийся юмор соседствует с горечью и сожалением о бессмысленной жизни и столь же бессмысленной ссоре двух героев этой повести. Причем Гоголь создает здесь удивительную разновидность художественного сказа, к которой он не раз возвращается позднее в своей драматургии и в «Мертвых душах», — сказа, глубоко отличного от свежей и яркой речи рассказчиков «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и притом неотразимого по способности передать читателю ту атмосферу духовной пошлости и провинциального убожества, в которой прозябают оба героя.

«Тарас Бульба» — опыт Гоголя создать свой, особый вариант вальтер-скоттовского романа, который перерастает под его пером в эпопею о героическом прошлом Запорожской Сечи и о тех исторических возможностях, которые ее история раскрывает для мыслящего читателя, стремящегося решить вопрос о будущем России. В противоположность Чаадаеву («Философическое письмо» которого появилось в «Телескопе» почти через год после издания «Миргорода»), Гоголь утверждает в «Тарасе Бульбе», что историческое прошлое Украины и России отнюдь не было оторвано от развития христианской цивилизации и европейской культуры: наоборот, как художник и историк он утверждает (подобно Пушкину в его письме к Чаадаеву), что Россия и Украина создали заслон, который сдержал натиск татар на Европу и спас христианство и европейскую культуру от мусульманства. Так, на юге России возникло своеобразное культурное образование — вольная казачья республика со своим устойчивым порядком жизни и высокими нравственными и культурными ценностями, которые во многом превосходили ценности той верхушечной, аристократической цивилизации, в качестве представительницы которой в «Тарасе Бульбе» (как и в пушкинском «Борисе Годунове») выступает польская монархия XVI—XVII веков. И хотя Запорожская Сечь (согласно Гоголю) погибла не только из-за внешних причин (этой темы Гоголь коснулся, как мы

<sup>11</sup> См. о «Старосветских помещиках»: *Гуковский Г. А.* Указ. соч. С. 74—96; *Лотман Ю. М.* Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 413—447; *Фридлиндер Г. М.* Методологические проблемы литературоведения. Л., 1984. С. 170—171.

видели, уже в «Ночи перед Рождеством»), но и в силу нарастания внутри запорожского казачества социальных и психологических противоречий (один из символов этого — увлечение Андрия прекрасной дочерью ковенского воеводы и его восхищение аристократическим миром польского рыцарства), писатель убежден в том, что патриархальный мир Сечи не только имел свои исторические преимущества, которые позволили ему создать военно-демократическое устройство, породившее таких несокрушимых, бессмертных борцов за отчизну и христианскую веру, как старый Бульба, но и такие нравственные идеалы, которые — при всей их воинской суровости — могут служить живым примером нравственной силы, чести и достоинства для современного и будущего русского человека.

В отличие от героев Вальтера Скотта Тарас Бульба — не человек, преследующий узко личные цели и невольно, силою событий, захваченный историческим движением. Старый Бульба — сознательный хранитель эпических, героико-патриотических традиций казачества. В то время как Скотт по преимуществу сосредоточивает свое внимание на судьбе рядовой, «средней» личности в эпоху крупных исторических потрясений, Гоголя как художника интересует прежде всего судьба казачества, жизнь и борьба целого народа, отраженная во взаимоотношениях и судьбах его наиболее типичных представителей. Отсюда — широкий эпический размах гоголевской повести, ее насыщенность элементами народно-поэтического стиля, — черты, чуждые традиционной поэтике вальтерскоттовских романов.

Повесть начинается с картины домашней, мирной жизни. В одном эпизоде из жизни казацкой семьи — приезде сыновей старого Бульбы из киевской бурсы и последующем отъезде с отцом на Сечь — Гоголь раскрывает типические отношения в семье казацкого старшины, рисует обобщенные образы отца, матери, детей и их взаимоотношения. Путешествие Тараса с сыновьями на Запорожье дает Гоголю возможность нарисовать монументальную картину степи и той полудикой степной природы, на фоне которой разворачиваются жизнь и борьба его героев. Приезд Тараса и его сыновей на Сечь позволяет Гоголю дать картину сначала мирной и разгульной, а затем взволнованной и воинственной Сечи, ее обычаев, политической и военной организации. Дальнейшие главы изображают Сечь в дни борьбы, причем изображение побед казачества сменяется в повести картинами его неудач и поражений. Эти картины, рассказ о гибели Тараса Гоголь использует для того, чтобы показать мужество, стойкость и величие духа народа, обнаружившиеся в дни прошлых исторических испытаний.

Тарас Бульба — один из казацких предводителей. Однако, несмотря на свое положение полковника, Тарас (как и Данила Бурульбаш в «Страшной мести») составляет еще единое целое с народом, с казацкой массой. Он живет с нею одной жизнью, является и в частной жизни, и на войне представителем патриотических и моральных идеалов народа. Тарас Бульба не отделяет себя от народа, от казачества, немислим отдельно от него. Его величие и сила — в том, что в нем, как в фокусе, объединены духовные и нравственные свойства всей казацкой массы.

Рисуя в повести столкновение идеалов старого казачества, воплощенных в Тарасе и Остапе, с возникающим индивидуализмом, носителем которого выступает Андрий, Гоголь освещает этот «спор» не только с точки зрения прошлых судеб народа, но и с точки зрения настоящего и будущего, как бы последние ни были несхожи с прошлым. Гоголь не идеализирует те элементы казацкого прошлого, которые исторически были обречены на гибель; в повести его нет ни малейшего оттенка элегического любования



старинной, свойственного Вальтеру Скотту и другим романтикам, как нет в «Тарасе Бульбе» наивной мечты о «возрождении» Запорожской Сечи в XIX веке. И здесь Гоголь смотрит на прошлое глазами историка. И вместе с тем он усматривает в прошлом залог великого будущего народа — будущего, непохожего на прошлое, но и объединенного с ним героическим, гражданским духом, чувством глубокой преданности родине, ощущением неразрывной спаянности человеческой индивидуальности с нравственным духом народа.<sup>12</sup>

Если в «Тарасе Бульбе» развиты общеславянские, патриотические и военно-героические мотивы «Страшной мести» (причем впервые у Гоголя, если не считать «Шпоньки» и незавершенных прозаических опытов начала 30-х годов, полностью отсутствуют фантастические мотивы), то «Вий» в известной мере продолжает другую, фантастическую линию этой повести. Но при этом бросается в глаза момент, который сближает «Тараса Бульбу» и «Вия»: обе эти повести построены на противопоставлении молодого человека и девушки, принадлежащих к двум разным сословным и историко-культурным общностям. С одной стороны, в «Вие» перед нами — стихия бурсацкой вольницы, которая в какой-то мере сродни запорожцам, изображенным в «Тарасе Бульбе». Хома Брут и его товарищи в своем бытовом поведении ведут себя как люди, далекие от всякой официальной культуры и не подчиняющиеся ее требованиям. И именно этой бурсацкой вольнице, воплощением которой является Хома, в повести противопоставлена панночка, выступающая в качестве носительницы враждебного вольному простому человеку демонического начала: красота ее одновременно «сверкающая» и «страшная», и перед Хомой Брутом она предстает при жизни в образе злобной, отталкивающей старухи-ведьмы, а после смерти в виде молодой, прекрасной панночки. Таким образом, в «Вие» перед нами сталкиваются не только два разных человека, но и два разных культурно-исторических типа — один из них глубоко укорененный (несмотря на свою схоластически-богословскую ученость) в народной почве, а другой — оторванный от этой почвы. И именно он выступает как носитель злобного демонического начала, связанного с потусторонней нечистью и всей той враждебной человеку адской стихией, в качестве представителя которой в финале перед читателем предстает Вий.

Противопоставление и в «Тарасе Бульбе», и в «Вие» двух начал — народно-демократической и панско-аристократической культуры, — несомненно, не случайно, особенно если мы вспомним, что Гоголь приступил к работе над «Миргородом» во время своих занятий по истории Украины и средних веков. И думается, что обращение Гоголя в «Страшной мести» и «Вие» (а позднее в «Портрете») к демонической теме и самый характер ее разработки связаны в первую очередь не столько с его религиозными раздумьями, сколько с теми же его историческими размышлениями, отражение которых мы стремились показать выше, анализируя «Вечера».

### 3

Первая книжка «Вечеров на хуторе близ Диканьки» появилась в 1831-м, а вторая в 1832 году. Восемь повестей этого цикла были созданы

<sup>12</sup> Ср.: Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 113—198; Lukács G. Der historische Roman. Berlin, 1955. S. 71—72; Вироланен М. Н. «Миргород» (проблемы стиля). Л., 1980 (автореф. канд. дисс.).

Гоголем в очень короткий срок — с апреля-мая 1829-го по январь 1831 года. Однако работа над «Вечерами» не мешала Гоголю одновременно пробовать свои силы в других жанрах. В 1830—1831 годах Гоголь пишет три статьи («Женщина», «„Борис Годунов“. Поэма Пушкина» и «О поэзии Козлова»), каждая из которых представляет по существу художественную миниатюру, предваряющую как в смысловом, так и в стилистическом отношении одну из линий последующего его творчества. Самая ранняя из этих трех миниатюр (первая статья Гоголя, появившаяся в печати) представляет собой своеобразный гимн во славу женщины и женской красоты. Тема эта, разными своими гранями отразившаяся в «Вечерах на хуторе», «Миргороде», «Невском проспекте», «Риме» (где каждый раз при описании героини воскресают черты того же возвышенно-патетического стиля), проходит через все творчество Гоголя вплоть до «Выбранных мест из переписки с друзьями». <sup>13</sup> Прославляя женщину и женскую красоту, Гоголь развивает идеи платоновского «Пира». Он провозглашает женщину высшим созданием богов, в котором боги «захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле» (VIII, 144). Гоголь отвергает любовь мужчины к женщине как «высшее чувство человека», возвращающее его душу к родному эфиру, наполняющее ее чувством бесконечности, помогающей ему обрести «своего бога» и увидеть в других людях своих «братьев» (VIII, 146).

Образцами близкого патетического стиля являются и две другие названные статьи. Первая из них — восторженный гимн не только «Борису Годунову» и его создателю, но и творческой деятельности художника вообще, дарующей человеку «дивное творение», способной «ударить в тайные струны сердца» и позволяющей одному человеку найти в другом «прекрасную половину» его «прекрасной души» (VIII, 151). Не менее замечателен и второй фрагмент, прославляющий и «раздольное море жизни» — мир древних греков (символом которого является «Илиада»), и «гигантскую яростную душу Байрона». Гоголя трогает «кроткое христианское величие веры» поэта-слепца И. И. Козлова, который «весь нераздельный мир свой носит в себе и не властен оторваться от него». Но сопоставляя поэта-слепца с Пушкиным — «гением всемирным», который способен «обнять во всей красоте внутреннюю и внешнюю жизнь» (VIII, 153—154), Гоголь видит и ограниченность духовного мира Козлова.

Открывающая «Арабески» (1835) статья «Скульптура, живопись и музыка», как и статья «Женщина», — восторженный гимн красоте и искусству. Гоголь резко критикует современность, создающую бесчисленные «утонченные изобретения роскоши», но при этом стремящуюся «заглушить и усыпить нашу душу». Лишь искусство и красота способны заставить нас «почувствовать, хотя на миг, угрызения совести», спасти «наши меркантильные души» от царства «расчетов, бесстыдства и наглости», восторжествовавшего на земле в XIX веке. Просветляющую и возвышающую роль, которую для древнего мира, для полудикого человека имело зодчество и скульптура, а для средних веков и эпохи Возрождения — живопись, для «нашего юного и дряхлого мира» приобретает музыка — единственный «хранитель» и «спаситель» человека в эпоху торжества «расчета» и «кипящей меркантильности», еще способная возродить со-

<sup>13</sup> Об особенностях изображения Гоголем образа женщины и женской красоты см.: Десницкий В. А. Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 65—68.

временные «мертвые души», вернуть им ощущение гармонии и стройности (VIII, 12, 13).<sup>14</sup>

В гениальной статье «Несколько слов о Пушкине» мысли эти конкретизируются. При жизни Пушкина Гоголь впервые смело называет его «русским национальным поэтом», «чрезвычайным и, может быть, единственным явлением русского духа». Пушкин — по Гоголю — велик тем, что он не романтический мечтатель, а воплощение бодрости, духовного здоровья, любви к жизни во всех ее нормальных проявлениях. С юных лет поэзия его была широко открыта проявлениям реального человеческого бытия, он разделил в молодые годы любовь к «разгулу и раздолью», которые отличают русскую молодежь, познал «грозное величие Кавказа», южные «ночи Крыма» и «более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский» (VIII, 51—52), при этом постоянно зрея и мужая душой. Его язык, чуждый «каскада красноречия» и многословия, сумел вместить «в каждое слово бездну пространства». Он смог навсегда, при изображении любого народа, остаться национальным, глядящим на мир «глазами своей национальной стихии» и в то же время верным «чистой поэзии» (VIII, 31, 33). Образ его — это образ «русского человека в его развитии, в каком он явится, может быть, через двести лет» (VIII, 50). В известной мере Гоголь превосходит здесь мысли о величии будущей России, уподобленной несущейся вперед «птице-тройке», которые он позднее выскажет в конце первого тома «Мертвых душ».

В блестящей статье «Об архитектуре нынешнего времени» Гоголь также пророчески устремлен к будущему. Падению зодчества в новое время, его подчинению узко прагматическим, утилитарным целям Гоголь противопоставляет концепцию универсальной по богатству новых идей и сплаву традиций Запада и Востока архитектуры — великой «летописи мира», создатель которой «творец и поэт» (VIII, 73, 75).

Прогресс развития художественных знаний познакомил европейскую культуру с искусством самых отдаленных эпох и народов. В погоне за новыми средствами архитектурной выразительности были использованы элементы стилей всех эпох. Но из-за отсутствия величия и энергии мысли и — как следствие этого — монументальности архитектурных сооружений все приобретения стиля и технического языка искусства были издержаны на одни мелочи: «Век наш так мелок, желанья так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки. Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эффект в колоссальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота, вершину которых проезжающий кучер может достать рукою. Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках. В публичных же и огромных зданиях показываем такую архитектуру, которую вряд ли можно признать особенным родом: в ней столько бессмыслия, такое неорганическое соединение частей, такое отсутствие всякого воображения, что недостает сил назвать ее имеющею свой характер архитектурю» (VIII, 66—67).

<sup>14</sup> Основная библиография литературы об эстетических взглядах Гоголя содержится в книге: *Войтоловская Э. Л., Степанов А. Н.* Н. В. Гоголь: Семинарий. С. 198—199. Ср.: *Фридлендер Г. М.* «Арабески» и вопросы мировоззрения Гоголя петербургского периода. Л., 1947. С. 115—255. Здесь эстетические взгляды Гоголя на искусство проанализированы в широком историческом контексте.

Этого мало. В XIX веке «всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на казармы и сарай, чем на веселые жилища людей». Вот почему «новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую» (VIII, 61, 62).

Где же выход из отмеченного Гоголем падения стиля, господства мелочной изысканности или однообразной казарменной простоты вместо величия и монументальности архитектурных форм прежних эпох?

И здесь, опираясь на веру в художника-творца, одаренного «железной волей», Гоголь намечает два возможных пути возрождения высокохудожественного архитектурного творчества для зодчества XIX и XX веков. Первый из них — это стремление к величественному художественному синтезу. «Архитектор-творец должен иметь глубокие познания во всех родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусами тех народов, которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презрение. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения их. Но самое главное — должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях» (VIII, 71, 72).

И Гоголь набрасывает перед читателем в качестве иллюстрации своей идеи картину города, в котором живописная красота и разнообразие вытекают из соединения различных архитектурно-стилистических форм, каждая из которых, претворенная художником с необходимой монументальностью, выступает величественно и свободно в составе ансамбля: «Прочь этот схоластицизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. (...) Пусть в нем будут видны: и легко-выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиг, и восточная митра, и плоская крыша италийская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы» (VIII, 71).

Но творческое объединение в едином ансамбле многообразия несходных друг с другом архитектурных форм прошлого — таков лишь один путь, открытый перед современным зодчим. Если архитектура черпала в прошлые века формы из природы, рассуждает Гоголь, то почему теперь искусство и культура, эта вторая природа, не могут дать новых источников для художественной фантазии? Современная культура создала бесконечное множество новых линий и форм, которые могут служить образцом для архитектора, подобно тому как для великих зодчих древности служили формы и линии природы. Культура, слияние искусства с природой, окружающие повсюду современного человека, являются могучим источником обновления художественного стиля для архитектуры будущего: «Неужели однако же невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота и тайный инстинкт вкуса, отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях, — отчего же мы не производим

ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы, — разве не может он черпать своих идей из самого искусства или, лучше сказать, из гармонического слияния природы с искусством? Рассмотрите только, какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях утонченной роскоши...{...} Разве мы не можем всю эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое? Неужели все, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол и арка! Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украшений, которых еще ни один архитектор не вносил в свой кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые, совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемых зданий» (VIII, 73, 74).

Подобно статье «Об архитектуре нынешнего времени», статья о картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» (август 1834) начинается с характеристики «необыкновенного застоя» и упадка искусства конца XVIII — начала XIX века. Но и здесь Гоголя интересуют прежде всего те новые перспективы, которые открывает перед писателем и художником XIX век.

«Конец 18 столетия и начало 19 века ничего не произвели нового и колоссального в живописи ... Она распалась на бесчисленные атомы и части» (VIII, 107). Целью и стремлением художника стал «эффект», блестящая, хотя порой мелочная, живописная разработка деталей. «Можно сказать, что 19 век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, топорщится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, 19 век, по странной причуде своей, наконец, обратится ко всему безэффектному» (VIII, 108).

Однако разработка отдельных деталей, развитие граверного дела, литографии и других «низших ступеней» изобразительного искусства в ущерб развитию самой живописи явились предпосылкой для подготовки нового расцвета живописи в будущем. Задача современного искусства заключается в том, чтобы овладеть этой предпосылкой и, используя все завоевания предшествующей подготовительной эпохи, переработать их в мощный и целостный художественный синтез. Объективные предпосылки для новой эпохи расцвета искусства находятся налицо, все дело лишь в наличии соответствующих им субъективных элементов — таланта и гения.

Перед искусством XIX века стоит величественная задача творчески овладеть всеми теми открытиями в области изучения и живописного изображения отдельных «частей» и «тайн» природы, которые накопила живопись в предшествующую эпоху (благодаря временному отказу от задач художественного синтеза и погружению в аналитическую разработку отдельных сторон природы и отдельных технических проблем искусства). Величие этой задачи свидетельствует о возможности для художника XIX века подняться на небывалую в прошлом художественную высоту, так как ни одна из прошлых эпох не обладала таким богатством предварительно собранных «материалов» для задач художественного синтеза (VIII, 189).

«Картина Брюллова, — пишет Гоголь, рассматривая «Последний день Помпеи» в свете идеи подобного нового художественного синтеза, — может назваться полным, всемирным созданием. {...} Она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы

сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. (...) Он ничем не пренебрегает: все у него, начиная от общей мысли и главных фигур, до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта. (...) Все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее со страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него 19 век» (VIII, 109—113).

Многосторонность художника, его способность «обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта» — таковы те черты, которые Гоголь выделяет и приветствует в картине Брюллова. Многосторонность искусства своего времени Гоголь противопоставляет художественной односторонности искусства прошлых эпох. Даже величайшие представители живописи Возрождения, такие как Рафаэль, пишет Гоголь, избирали себе «какую-нибудь одну сторону» и в нее погружали «весь талант свой». Напротив, перед искусством XIX века впервые открывается широкая возможность стать, благодаря полноте и всесторонности постижения всех тайн искусства и действительности, в полном смысле этого слова «чистым зеркалом природы» (VIII, 113). Причем особым достоинством живописи Брюллова Гоголь считает отсутствие «отвлеченной идеальности», «перевеса мысли», стремление представить человека «как можно прекраснее», утвердить у зрителя любовь к «нашей милой чувственности» и к «прекрасной земле нашей», несмотря на изображенную на картине страшную минуту гибели прекрасного, ибо и в момент гибели человек остается для художника «вэнцом творения», «дышит всем тем, что есть лучшего в мире» (VIII, 111—112).

Могучее эстетическое утверждение красоты мира, поэзии, искусства, человеческой чувственности («прекрасной земли нашей») и столь же могучее осуждение противостоящего им мира обыденности, «кипящей меркантильности», мертвящих и иссушающих душу человека и грозящих гибелью человеческой культуре и цивилизации, если их не озарят и не спасут возвышающие душу силы гармонии, красоты, религиозной мысли, художественного гения, — таков, как мы видим, общий стержень эстетических статей «Арабесок».

Любопытно сопоставить статью Гоголя «Скульптура, живопись и музыка» с одноименной более ранней статьей поэта-любомудра Д. В. Веневитинова (1827). Несмотря на то что Веневитинов, так же как Гоголь, связывает скульптуру, живопись и музыку с тремя фазами в развитии человечества, он ожидает наступления грядущего «золотого века» — «эпохи счастья, о которой мечтают смертные». Она уже близка и станет, по его убеждению, царством поэзии — общей «матери» всех искусств, воспитывающих душу человека и ведущих его от познания внешнего мира и истории человечества к самопознанию, обращающих его к «самому себе». Поэтому, в отличие от Гоголя, общие грозные и трагические судьбы человечества его не тревожат. Музыка несет, в его понимании, человеку «тихий восторг» — она, подобно своим сестрам, наполняет его душу чувствами гордости и благоговения, вызванными величием мира и человека, а не служит для человечества последним прибежищем и грозным укором в эпоху оскудения и омертвления мира.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 122—127, 132—140.

Бросается в глаза еще одно необычное обстоятельство. Предшествующее Гоголю поколение — Пушкин и декабристы, думая о проблемах исторической науки, обращались прежде всего к имени Карамзина и его «Истории». Дискуссия вокруг достоинств и недостатков Карамзина-историка составляла едва ли не главное содержание исторических споров 20-х — начала 30-х годов. Незадолго до выхода «Арабесок» она возобновилась с новой силой в связи с выходом первого тома «Истории русского народа» Н. А. Полевого. Гоголь же, при всем своем интересе к истории России и славянства, отразившемся в его исторических черновых выписках и замечаниях, едва ли не демонстративно проходит мимо имен как Карамзина, так и Полевого. История России, с его точки зрения, может быть понята *лишь в контексте всеобщей истории*. Отсюда — неожиданное, дерзкое выдвижение им в «Арабесках» в качестве предшественников современного взгляда на историю не Карамзина, а Шлецера, Миллера и Гердера как зодчих всемирной истории (которая включает в себя в его понимании историю России и Украины как свою составную часть).

Исторические статьи Гоголя, вошедшие в «Арабески», не были оценены по достоинству современной ему критикой. Они показались большинству читателей хотя и блестящими по форме изложения, но неглубокими (и даже в какой-то мере архаичными) по содержанию. Между тем на деле непонимание основных идей этих статей было связано, думается, скорее с тем, что они значительно *превосходили* уровень тогдашней русской исторической науки. Дисциплина всеобщей истории в России в то время еще только зарождалась, и университетская историческая наука имела либо полуофициозный (И. К. Кайданов, И. П. Шульгин и др.) характер, либо сводилась к эмпирическому изложению фактов. Гоголь же в своих статьях, подобно В. Ф. Цыху, М. М. Лунину и молодому М. П. Погодину, выступает как историк-мыслитель, многие исторические прозрения которого предвосхищают историческую науку XX века и, думается, могут быть по-настоящему оценены только в наши дни. Несмотря на своеобразную поэтическую форму их изложения, сегодня мы можем признать, что статьи Гоголя, посвященные проблемам всеобщей истории, в целом ряде отношений, и прежде всего в философском, значительно превосходят не только работы Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева и других русских ученых-историков 40—50-х годов XIX века, но и многих позднейших историков-позитивистов России и Запада второй половины XIX века.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Свод всех сохранившихся материалов Гоголя-историка и комментариев к нему см.: VIII, 14—209, 751—775; IX, 29—272, 622—639. Как известно, Белинский, отрицательно охарактеризовавший эстетические и исторические статьи «Арабесок» в 1835 году, при их появлении, позднее, в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 года, пересмотрел эту оценку, указав, что они были для него в молодые годы «неприступно высоки» по содержанию (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. XII. С. 108). Зато статьи Гоголя-историка высоко оценили В. К. Кюхельбекер и В. В. Стасов. Позднее в биографической литературе о Гоголе его исторические занятия и профессорская деятельность нередко оценивались пренебрежительно, однако выход VIII и IX томов академического издания Гоголя побудил исследователей пересмотреть эту оценку. Этому способствовали, кроме моей вышеуказанной диссертации, в первую очередь работы С. И. Машинского и Е. Н. Купряновой. О высокой оценке Гоголем «Исторических афоризмов» Погодина см.: VIII, 191—194, а также его письма к Погодину и Максимовичу 30-х годов (X, по указателю). Из новейших работ о Гоголе-историке следует выделить работы Е. И. Анненковой. О развитии в гоголевскую эпоху в России науки всеобщей истории см.: *Бузескул В. П.* 1) Всеобщая история и ее представители в России в XIX и в начале XX века. Л., 1929. Ч. 1; 2) Исторические этюды. Пг., 1910, а также библиографию к первой главе моей вышеуказанной диссертации (с. 371—374).

Важнейшая особенность исторических статей Гоголя, бросающаяся в глаза современному читателю, — это резкий отход Гоголя от «европоцентристской» точки зрения. В его статьях Запад и Восток, история «больших» и «малых» народов, эпохи культурного подъема и упадка занимают равное место. Европа и Азия, древний Египет и Персия, Греция и Рим, расцвет классической античной культуры и эпоха переселения народов, юг и север Европы, раннее и позднее средневековье одинаково интересуют Гоголя и получают в его статьях тонкую и яркую художественную характеристику.

Другая замечательная особенность статей Гоголя — это проходящая через них красной нитью мысль о единстве человеческой культуры и, соответственно этому, единстве истории человечества от ее первоначальных истоков до современности. При этом Гоголь отнюдь не отрицает значения индивидуальности каждого народа, особенности и неповторимости его истории и культуры. Наоборот, он всемерно стремится охарактеризовать возможно более яркими красками их отличительные черты. Гоголь не считает также, что пути всемирной истории имеют фатальный характер и что ею движет историческая необходимость. Он всецело признает роль в развитии человечества исторической случайности, неожиданного, подчас парадоксального сцепления событий. И все же история человечества, по Гоголю, — путь восходящего развития, хотя развитие это влечет за собой и ряд трагических событий, и непоправимые утраты, и имеет далеко не равномерный характер.

Для верной оценки взглядов Гоголя-историка важно отметить, что Гоголь писал свои статьи в период, когда просветительский взгляд на средневековье как на эпоху исторического упадка, невежества и суеверий сменился романтическим культом средних веков. Тем более знаменательно, что и в специальном очерке «О средних веках», и в других статьях «Арабесок» Гоголь, хотя и чрезвычайно высоко оценивает роль средних веков в истории человечества, ибо они содействовали «процессу слияния двух жизней, древнего мира и нового» (VIII, 15), отнюдь не идеализирует средневековье, но видит в нем закономерный исторический этап, подготовивший новое время. «Если можно сравнить жизнь одного человека с жизнью целого человечества, — пишет Гоголь, полемизируя с романтической историографией, — то средние века будут то же, что воспитание человека в школе» (VIII, 24). Признавая всю «важность и значительность» (VIII, 14) средних веков — «юношества» человечества, «юношества прекрасного, исполненного самых великих надежд, часто безрассудного, но пленительного и в самой своей безрассудности» (VIII, 19), Гоголь рассматривает средние века, при всей свойственной многим их событиям «таинственности» и поэтичности, как переходный период, подготавливающий «гигантские открытия» XV века (VIII, 24), а вместо с ними и образование современных европейских наций и государств, которые «почти в одно время растут и совершенствуются», — государств, где впервые «человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство» (VIII, 37).

Отдавая должное индивидуальным особенностям и путям развития всех племен, наций, государств, религий не только Европы, но и Азии, Африки и других частей света и подчеркивая, что своеобразие их обусловлено как различием географической среды и другими природными и генетическими факторами, так и особенностями их государственности, религии и культуры, Гоголь в то же время считает, что большинство современных наций, в особенности в Европе, представляет собой сложные культурно-исторические образования, создавшиеся путем длительного про-



цесса смешения и скрещения различных племенных и культурных традиций. Особенно выпукло этот взгляд выражен в статье «О движении народов в конце V века» (1834), посвященной эпохе переселения народов. «Все нации перемешались между собою так, — пишет здесь Гоголь, — что уже невозможно было отыскать совершенно цельной; и только впоследствии постоянный образ правления или занятий сообщил главным из них некоторую особенность и некоторые признаки отличия» (VIII, 139). В то же время, подчеркивая «характерные отличия наций» современной Европы (в том числе и России), Гоголь считает, что «в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством» (VIII, 37).

Характеризуя философско-исторические статьи «Арабесок», следует особо подчеркнуть, что Гоголь-историк одинаково высоко оценивает роль объективных и субъективных факторов, а также роль «Провидения», масс и личностей в истории. Труд «целого народа, целой нации» (VIII, 67) не заслоняет от него значение в истории крупных исторических деятелей, особенностей их личности и характера. Юлий Цезарь и Александр Македонский, Аттила и Чингисхан, императоры и папы, Платон и Аристотель, Христофор Колумб и Лютер, Рафаэль и Микеланджело, «исполин XIX века, Наполеон» (VIII, 35) и Уильям Питт, Пушкин и Вальтер Скотт для него такие же важные лица общего исторического движения человечества, как племена и народы. В этом отношении философско-исторические взгляды Гоголя противоположны последующим философско-историческим взглядам Льва Толстого, получившим выражение в «Воине и мире». Значительную роль в философско-исторических взглядах Гоголя имеют и различия между земледельческим и пастушеским трудом, а также пути развития мануфактуры и промышленности, науки и искусства. С высокой оценкой роли личности в истории связана и восторженная характеристика Гоголем деятелей новейшей исторической науки, которые явились, по его оценке, первыми «великими зодчими всеобщей истории», почувствовавшими «идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы» для того, чтобы история всего человечества предстала перед умственным взором современного человека как «одно великое целое» (VIII, 85). Подобное представление об истории всех времен, народов и культур как «об одном великом целом» Гоголь стремился выразить не только как историк (в статьях «О средних веках» и «О преподавании всеобщей истории»), но и как художник — в великолепной по своему художественному лаконизму художественно-философской миниатюре «Жизнь» (1834), предвосхищающей (как и вышеназванная статья «Женщина», которую Гоголь одно время предполагал включить в состав «Арабесок» — VIII, 747) жанр тургеневских «стихотворений в прозе».<sup>17</sup>

Завершая краткую характеристику статей, лекций и эссе Гоголя в «Арабесках», следует особо остановиться на статье-лекции «Ал-Мамун» (1834), посвященной времени жизни и судьбе арабского калифа IX века. Основная мысль этой статьи в том, что «благородный, великодушный Ал-Мамун», захотевший ввести в своем государстве «полугреческий образ мысли, чуждый слепому энтузиазму его подданных» и не постигший их «азиатской природы», должен был потерпеть неизбежное историческое

<sup>17</sup> Ср.: Орлов А. С. «Призраки» Тургенева // Родной язык в школе. 1927. № 1. С. 61—64.

поражение и, «проникнутый истинной любовью к человечеству, явился гонителем своих подданных» (VIII, 81). Думается, что на примере трагической судьбы Ал-Мамуна Гоголь предостерегает русское общество от бездумного и легкомысленного перенесения в Россию чуждых духу ее народа отвлеченных теоретических идей и построений (имея в виду, возможно, идеи западноевропейских социалистов-утопистов 30-х годов и предвосхищая тем самым будущие мрачные предвидения Достоевского). Можно предположить также не без основания, что, упрекая Ал-Мамуна в том, что он «не знал жизнь своего народа», Гоголь намекал не только на такого последователя Руссо, как Робеспьер, а равно на Фурье, Оуэна и других философов-утопистов, но и на Николая I. «В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, — говорится здесь, — вся административная часть падает на самого монарха, и потому деятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может ввериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он — и его полномочные заместники вдруг возрастают и государство наполняется миллионами деспотов» (VIII, 79; ср. также с. 629). Стоит припомнить, что на свою лекцию в Петербургском университете об Ал-Мамуне, текст которой Гоголь включил в «Арабески», он специально пригласил Пушкина и Жуковского. Так или иначе, связь основной тематики «Ревизора» с приведенными словами из статьи Гоголя несомненна.

Идея гоголевской статьи об Ал-Мамуне (как было отмечено еще Тихомировым) непосредственно перекликается с идеей его незаконченной исторической драмы «Альфред», над которой Гоголь работал почти одновременно в 1833 году. Причем вряд ли можно считать случайным, что статья «Ал-Мамун» и драма «Альфред» создавались Гоголем вскоре после того, как Государственный совет похоронил планы государственных (и, в частности, крестьянской) реформ, которые Николай I обдумывал под влиянием декабрьского восстания в начале 30-х годов, — планы, на которые Пушкин возлагал в это время столь серьезные надежды. Можно полагать поэтому, что и «Ал-Мамун», и «Альфред» имели, несмотря на свою жанровую разнородность и различие изображенных в них исторических эпох, близкий идеологически-просветительный подтекст.<sup>18</sup>

Подводя итоги характеристики философско-исторических и эстетических взглядов Гоголя, выраженных в «Арабесках», следует особо подчеркнуть их мажорное, оптимистическое звучание. Гоголь отнюдь не стремится отвлечься от противоречий и «исполинских» трудностей путей развития человечества в прошлом и настоящем. Он сознает, что современное общество создает не только новые возможности для развития народов и человечества, но и то, что оно порождает мир «кипящей меркантильности», увлечение «эффектами» в живописи, падение архитектуры как искусства. И вместе с тем Гоголь в эпоху создания «Арабесок» полон веры в возможность примирения высоких христианских идеалов с путями развития России и всего человечества по пути научного и художественного прогресса. «Никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешнее время. Никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в 19 веке. И его шаги уже верно будут исполинские и видимые всеми от мала до велика», — восклицает он в статье о Брюллове (VIII, 109).

<sup>18</sup> См. об «Альфреде»: Алексеев М. П. Драма Гоголя из англо-саксонской истории // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 242—258; Манн Ю. Поэтика Гоголя. С. 184—185.

## ЕЩЕ РАЗ ОБ «ОБЛОМОВЩИНЕ»

Обломов — едва ли не самый загадочный и необъясненный герой в русской литературе. Споры вокруг него не умолкают вот уже больше 130 лет, и спорят прежде всего о том, плох он или хорош, а если плох и хорош одновременно, то в чем причина этой двойственности. Сторонники однозначного отношения к Обломову обычно ссылаются на то, что сам Гончаров признал убедительность совершенно однозначной оценки, данной Обломову и «обломовщине» Н. А. Добролюбовым: о его статье писатель с неизменным сочувствием отзывался на протяжении нескольких десятилетий. Все это так, но нельзя не видеть и того, что Обломов был до конца не ясен... и самому Гончарову. В свое время на это обратил внимание А. В. Дружинин («Романист, жаждущий разгадки вопросам, занесенным в его душу его же созданием...»<sup>1</sup>), но массу свидетельств тому находим и у самого писателя, в его статьях и письмах. Здесь есть строки, ниспровергающие и Обломова и явление, его породившее, а есть и такие, что просто возвеличивают его: «...в старухе *Бабушке* (Обрыв), в *Обломове*, в *Райском* и в двух девушках, *Вере* и *Марфиньке* — с любовью выражается все то, что есть хорошего в русском человеке».<sup>2</sup> Если же не стремиться к абсолютизации одной из полярно противоположных оценок, а искать сферы примирения оценочных крайностей, то эпистолярно-критическое наследие Гончарова предоставляет возможности и для этого: здесь то и дело фиксируются недоумения писателя, порожденные его собственным созданием. То, имея в виду Обломова, писатель в частном письме признавался: «Я, однако же, не хлопаю крыльями, как петух, не кричу о своей победе, потому что не знаю, куда я вскочил: может быть, на навозную кучу» (8, 244). То (это уже «Необыкновенная история»), опять же в разговоре об Обломове и «обломовщине», утверждал, что одновременно «говорил и *против* кого или чего-нибудь, и *за*» (7, 391). В статье «Лучше поздно, чем никогда», радуясь тому, что из Обломова не вышла тенденциозная фигура, Гончаров восклицал: «Хорошо, что я не ведал, что творю!»<sup>3</sup> В той же статье содержится признание, что, лишь отойдя от своих произведений «на некоторое расстояние и время», писатель вполне уяснил их смысл и значение — «идею»: «Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Л., 1991. С. 115.

<sup>2</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1979. Т. 4. С. 461. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>3</sup> Гончаров И. А. Очерки. Литературная критика. Письма. Воспоминания современников. М., 1986. С. 296.

<sup>4</sup> Там же. С. 292—293.

Иначе говоря, Гончаров сетовал на то, что современники так и не смогли подняться до целостного восприятия его творчества, а следовательно и истинного постижения его смысла и своеобразия. Претензия серьезная, но краткий экскурс в историю литературно-критического осмысления романа мы предпринимаем не для того, чтобы разобраться в степени ее обоснованности, — знаменательными и поучительными представляются попытки решить проблему неоднозначности Обломова.

В хрестоматийной статье Добролюбова вопрос о двойственности природы Обломова просто не ставился. Критик категорически отказывался видеть в гончаровском герое что-либо, кроме «решительной дрянности»: «Одно в Обломове хорошо действительно: то, что он не усиливался надуть других, а уж так и являлся в натуре — лежебоком».<sup>5</sup> В добрых же словах, которые адресовались Обломову и автором и героями романа (как, например, в знаменитом штольцевском панегирике «хрустальной, прозрачной душе» Ильи Ильича), Добролюбов усмотрел «большую неправду».

Д. И. Писарев в своей первой статье о гончаровском романе не был столь категоричен и не закрывал глаза на неоднозначность Обломова. Истоки его положительные качества критик объяснял чисто антропологически: «...человеческие чувства, вложенные природою в его мягкую душу, не очерствели: они как будто заплыли жиром, но сохранились во всей своей первобытной чистоте. Обломов никогда не приводил этих чувств и стремлений в соприкосновение с практической жизнью; он никогда не разочаровывался, потому что никогда не жил и не действовал. Оставшись до зрелого возраста с полною верою в совершенства людей, создав себе какой-то фантастический мир, Обломов сохранил чистоту и свежесть чувства, характеризующую ребенка...»<sup>6</sup> Получалось, что «ленивая природа» Обломова поработала и во зло и во благо, обусловив, с одной стороны, его «умственную апатию», а с другой — сохранив в нем «чистоту и свежесть чувства».

В статьях, написанных двумя годами позже, где благожелательная объективность в отношении гончаровского творения уступила место тенденциозной неприязненности, характеристика Обломова весьма однозначна, полностью негативна и в этом смысле созвучна добролюбовской, хотя критики исходили из прямо противоположных посылок и резко расходились в общей оценке романа. Добролюбов чрезвычайно высоко ставил «Обломова» и утверждал, что в нем была диагностирована самая распространенная и опаснейшая из болезней современной ему российской жизни, которую он, используя штольцевское словечко, и назвал «обломовщиной». Писарев же полагал, что потомки не удостоят Гончарова доброго слова уже потому, что в его произведениях «нет ничего русского», «ничего типичного», а «весь „Обломов“ — клевета на русскую жизнь».<sup>7</sup> Источником всех бед и пороков, «дрянности» героя явились, по Писареву, не обстоятельства жизни, а только его лень, «ненормальное телосложение» — Обломов «просто ленив, потому что ленив».<sup>8</sup> Не будем касаться причин столь явной и радикальной переоценки, в литературе этот вопрос затрагивался неоднократно,<sup>9</sup> отметим только, что опять Писаревым в ход был

<sup>5</sup> Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. С. 63.

<sup>6</sup> Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 8—9.

<sup>7</sup> Там же. С. 210.

<sup>8</sup> Там же. С. 203.

<sup>9</sup> Отрадин М. В. «Обломов» в зеркале времени // Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. С. 9.

пущен антропологический метод, только уже с прямо противоположной, нежели в статье 1859 года, целью — дискредитировать Обломова.

А. Григорьева насторожила «азбучная», как ему показалось, тенденциозность романа: «Весь „Обломов“ построен на азбучном правиле: „возлюби труд и избегай праздности и лени — иначе впадешь в обломовщину и кончишь как Захар и его барин“». <sup>10</sup> Обломова же, Обломовку и даже «обломовщину» Григорьев взялся защищать, причем не только от Добролюбова, с которым он явно полемизировал, но и от самого Гончарова. Один из выводов, сделанных Григорьевым на этом пути, звучал весьма парадоксально: Гончаров, утверждал критик, только для того восстановил мир Обломовки в его патриархальной притягательности, чтобы... тут же «наругаться над ним во имя практически азбучного правила». <sup>11</sup> Это утверждение вряд ли могло хоть что-нибудь прояснить. Оно не столько подводило итоги, сколько стимулировало дальнейшее движение мысли. Но парадокс не должен висеть в воздухе, и, видимо, для того чтобы хоть отчасти объяснить или по крайней мере смягчить его, Григорьев сопроводил свое высказывание следующим, знаменательным для нас, восклицанием: «Как, читая произведения г. Гончарова, не скажешь, что талант их автора неизмеримо выше воззрений, их породивших!» <sup>12</sup> И уже завершая разговор об Обломове, Григорьев высказался еще яснее: «...у самого автора „Обломова“ — как у таланта все-таки огромного, стало быть, живого — сердце лежит гораздо больше к Обломову и к Агафье, чем к Штольцу и к Ольге». <sup>13</sup> Этого уже достаточно, чтобы объяснить и парадоксальность выводов Григорьева и его понимание противоречивости Обломова. Противопоставление это отнюдь не новое; и оно не только характеризует «последнего романтика» Аполлона Григорьева именно как романтика, но и позволяет уяснить специфику его понимания гончаровского героя: Илья Ильич не равен самому себе, двоится, причем происходит это потому, что образ его создавался не равным самому себе автором — разум Гончарова требовал безусловного осуждения героя, а сердце ему сочувствовало. Другими словами, по Григорьеву, двойственность Обломова определялась субъективными факторами, противоречиями внутреннего мира писателя.

А. В. Дружинину, коему Обломов был и симпатичен, и близок, и дорог, он представлялся типом «многозначительным». Проблемы, неизбежно возникавшие в связи с таким толкованием, отчасти разрешались следующим образом: «плохой» Обломов, «безобразный холостяк», кажущийся «заплесневевшим» и «почти гадким», был оставлен в первой части романа лежать на диване, принимать «парад гостей» и браниться с Захаром. «Хороший» Обломов, «трогательный», «глубокий» и «симпатичный», был перенесен во вторую часть, где он влюбляется, гуляет с Ольгой в лесу, катается на лодке, плачет над «обломками своего счастья» и т. д. Присутствие в романе сразу двух Обломовых критик объяснял тем, что «плохой» появился в 1849 году, когда автор только начинал роман, имея в виду обличить «обломовщину» и ее носителя. «Хороший» — почти десятью годами позже, когда замысел романа существенно изменился. Между двумя Обломовыми «лежит целая пропасть», и, для того чтобы соединить их, автор ввел в произведение «неподражаемый» «сон Обломова». Но и

<sup>10</sup> Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 192.

<sup>11</sup> Там же. С. 195.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же. С. 201.

это не помогло, все усилия в этом направлении оказались тщетными, и «пропасть оставалась прежней пропастью».<sup>14</sup>

Мы прервем экскурс в историю русской критики XIX века, ибо сделанных наблюдений и выводов вполне достаточно для подтверждения слов современной исследовательницы о том, что герой Гончарова «в разных статьях существует в столь не похожих одно на другое обличьях».<sup>15</sup> Для нас же знаменательно то, что никто из тех авторов, работ которых мы коснулись, не смог пройти мимо обломовской неоднозначности. Это вопреки. Во-вторых, когда речь заходила об образе Обломова, то усилия критиков, направленные к постижению его структуры, неизбежно уклонялись в сторону ее упрощения. Постижение явления осуществлялось на путях его спрямления. Цели при этом преследовались разные (либо развенчать Обломова, либо возвеличить), инструментарий использовался тоже различный (от категорического объявления «неправдой» всего положительного в Обломове до расчленения его на двух героев, а романа — на две части), но основной метод оставался единым — спрямление и упрощение, замена многозначности однозначностью. Этот метод, закономерно неизбежный на том этапе, когда литературная критика, даже в высших своих проявлениях, была еще далека от того, чтобы стать наукой о литературе, оставался на вооружении отечественного литературоведения в продолжение всего XX столетия. Не отказались от его использования и те наши современники, которые предпринимали в последние два десятилетия самые интересные и, как представляется, наиболее продуктивные попытки интерпретировать гончаровский роман. Это Е. Краснощекова, Ю. Лоциц,<sup>16</sup> В. Кантор<sup>17</sup> (в кинематографе — Никита Михалков, автор замечательного фильма «Несколько дней из жизни Обломова»). Нам известно только одно, а потому особенно отрадное исключение из общего правила — это книга В. А. Котельникова, где проблема постижения гончаровского героя обозначена следующим образом: «Обломова надо понять и пережить во всей его неоднозначности, в его связях с природой, с историей, с культурой».<sup>18</sup> Полностью соглашаясь с этим мнением, мы и в дальнейшем будем обращаться к работе В. Котельникова.

Никто не замечает того, что спрямление Обломова ставит его в довольно странную зависимость от... «обломовщины», которая в этом случае определяет не все составляющие личности гончаровского героя, но лишь какую-то из ее граней: либо отрицательную (Добролюбов), либо положительную (Дружинин, Григорьев). Другие грани объявлялись при этом либо плодом изначального, природного человеческого совершенства (Писарев), либо отголоском сложностей субъективного порядка (Григорьев), либо существование их попросту отрицалось (Добролюбов).

Согласиться с таким подходом нельзя уже потому, что он противоречит авторской концепции центральных образов романа — Обломова и Штольца, которые со всеми их достоинствами и недостатками представлены как порождения определенных жизненных укладов: динамично-прагматического и косного идеалистического. Недаром исследовательница пишет о математической выверенности характера Штольца.<sup>19</sup> К Илье Ильичу Обло-

<sup>14</sup> Дружинин А. В. Указ. соч. С. 114.

<sup>15</sup> Краснощекова Е. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970. С. 6.

<sup>16</sup> Лоциц Ю. Гончаров. М., 1977 (2-е изд., испр. и доп. М., 1986).

<sup>17</sup> Кантор В. Долгий навяз к сну (Размышления о романе И. А. Гончарова «Обломов») // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 149—185.

<sup>18</sup> Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров. М., 1993. С. 114.

<sup>19</sup> Краснощекова Е. Указ. соч. С. 26.

мову с логарифмической линейкой не подступишься, но и он, как показал Гончаров, с его неспособностью встать с дивана и искренней жаждой новой, исполненной духовного содержания жизни, с его обаянием и «дрянностью», с его способностью любить и быть любимым и панической боязнью связанной с любовью ответственности, с его философическими наклонностями и неспособностью читать книги и даже газеты — является порождением Обломовки и «обломовщины». Это важно подчеркнуть потому, что спрямление Обломова, однозначное толкование жизненного уклада, его породившего, неизбежно ведет к упрощению смысла самого романа. Только целостное восприятие и образа главного героя, и того жизненного уклада, который сам писатель назвал «обломовщиной», открывает возможность постижения подлинного масштаба поднятой Гончаровым проблемы, всей глубины трагедии Обломова. Глубины в том смысле, что за драматическими поворотами в жизни этого частного человека, за «комбинациями судеб» (С. С. Аверинцев) других героев угадываются катастрофические сдвиги мощнейших историко-культурных пластов, сложнейшие и причудливейшие перипетии исторических судеб России.

Обломов — характер удивительно цельный. Поэтому в попытках свести его к какому-то результату, однозначно истолковать нет ничего удивительного. А. В. Дружинин попытался разделить Обломова на того, который живет в первой части романа, и того, что действует в последующих. Развивая методологию Дружинина, Е. Краснощекова увидела в Обломове «внешнего человека» и «внутреннего», соответственно — «плохого» и «хорошего».<sup>20</sup> Но чем принципиально отличается тот Илья Ильич, который лежит на диване в квартире на Гороховой улице (первая часть), от того, который лежит на том же диване, но только в доме Агафьи Пшеницыной на Выборгской стороне (часть четвертая)? Каким образом можно отделить «внешнего человека» от «внутреннего» (будем до конца последовательны!), «социальную психологию Обломова», «психологию барина-помещика» от «живой его души»?<sup>21</sup> Где кончается одно и начинается другое? Пытаться ответить на эти вопросы просто бессмысленно, ибо достоинства и недостатки Ильи Ильича живут только в единстве.

Откроем роман на первых его страницах. Обломов принимает «парад гостей», каждому из которых дает абсолютно точную характеристику, совершенно адекватно воспринимая представляемые ими явления и жизненные позиции. Он со снисходительным сожалением смотрит на Волкова, суетность которого извинительна разве что в очень молодом человеке; для него совершенно очевидна иллюзорность деятельности Судьбинского; он с гневом восстает против антигуманной проповеди литератора-обличителя Пенкина... Что перед нами: принципиальное внутреннее неприятие всех тех типов деятельности, которые предлагает ему действительность и которые убивают в человеке человека, или понятное стремление оправдать свое байбачество? Высказаться в пользу того или иного варианта ответа трудно, да и вряд ли можно. Безделье Обломова нелепо представлять как результат сознательного ухода от жизни в силу принципиального несогласия с ее укладом, но, с другой стороны, его мысли слишком глубоки и убедительны, чтобы служить только инструментом пошлого житейского самооправдания.

Еще примеры. Любит ли Обломов Ольгу, когда прячется от нее на Выборгской стороне и каждое утро облегченно вздыхает, узнав, что мосты

<sup>20</sup> Там же. С. 17.

<sup>21</sup> Там же. С. 16, 17.

через Неву еще не наведены, а следовательно, выбраться «на ту сторону» невозможно? Ответ напрашивается совершенно определенный: нет! Кроме того, чем дольше Обломов не встречается с Ольгой, тем чаще заглядывается на локти хозяйки, тем охотнее и дольше беседует с нею. Но тогда почему окончательный разрыв с Ольгой, избавивший его разом от массы проблем, вызывает у него не чувство облегчения, а горячку, которая чуть было не свела его в могилу?

Весьма знаменательна и история со знаменитым письмом Обломова к Ольге. Побудительные мотивы, заставившие влюбленного и восторженного Илью Ильича взяться за перо, весьма благородны: мужчина, отдающий себе отчет в своих слабостях и недостатках, усомнился, сможет ли он составить счастье такой незаурядной девушки, как Ольга Ильинская, а усомнившись, поделился своими опасениями с возлюбленной. Мотивы обличают в герое честного человека, сам тон письма исполнен подлинного благородства, но чем кончается вся эта история?.. Тем, что Обломов спрятался «в траве, между кустами и ждал» (4, 258), когда мимо пройдет Ольга, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут на нее его эпистолярные излияния. Позднее так же поступит кухарка Обломова Анисья, которая в надежде выяснить, кто же приедет к барину и почему он выгнал из дома прислугу, спрячется, правда, не «между кустами», а за плетнем. Но что извинительно ей, то в мужчине (не будем даже касаться того, что Обломов — образованный человек, столичный житель и дворянин) вызывает чувство брезгливости. Так в какой же из моментов благородный Обломов, пишущий письмо, превращается в того, который готов подслушивать и подглядывать? Чем лежащий на диване Обломов (первая часть) лучше того, который прячется в кустах (вторая часть)? Где здесь «живая душа», а где «социальная психология»? Мы возвращаемся к тому, от чего ушли: разобраться в Обломове посредством его спрямления или расчленения невозможно. Существо же проблемы довольно точно передают слова Ольги, адресованные Обломову и произнесенные незадолго до окончательного разрыва с ним: «...ты так странен, что я теряюсь в соображениях» (4, 354).

Не менее «странным» явлением предстает и «обломовщина». Страницы, ей посвященные, знаменитый «Сон Обломова» составляют «великолепнейший эпизод», «который останется в нашей словесности на вечные времена» — невозможно опспорить это мнение А. В. Дружинина. Но на тех же страницах воссоздаются образы предельно измельчавших, деградировавших людей — родителей Илюши и круга их знакомых... С одной стороны, Обломовка — это сказочное тридевятое царство (что отмечалось неоднократно),<sup>22</sup> где текут молочные реки с кисельными берегами, где как будто не проявились последствия первородного греха, и смерть здесь редкий гость, а если люди и умирают, то только в глубокой старости, «безболезненно, непостыдно, мирно», так что традиционный эвфемизм «почить вечным сном» теряет здесь свой метафорический смысл. Из преступлений в большом ходу здесь только одно — «кража гороху, моркови и репы по огородам». Здесь жива память о былинных богатырях и сказочных героях, и, как бы творя по ним поминки, на праздники обломовцы пекут пирог таких исполинских размеров, что господа вместе с челядью справляются с ним только на пятый день. В Обломовке не только едят, но и спят по-богатырски: так глубоко и самозабвенно, что теперь уже сон напоминает смерть... И это уже другая сторона явления...

<sup>22</sup> Лоциц Ю. Указ. соч. С. 184.



Ангел смерти почти зримо витает над этой среднерусской степной Утопией: в тлен и прах превращается барский дом и никто палец о палец не ударяет, чтобы воспротивиться процессу умирания. И как ни живописна изба Онисима Суслова, половина которой зависла над оврагом, все же она обречена на то, чтобы неминуемо рухнуть в бездну. Эта знаменитая изба интересна еще и в том отношении, что может выполнить роль ключа в уразумении особой эстетики Обломовки и «обломовщины». Поэтический, сказочный ореол («Не всякий сумеет войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель уприсит ее *стать к лесу задом, а к нему передом*» — 4, 105), окружающий избу, связан исключительно с тем, что она находится на порубежье бытия и небытия: передвиньте ее чуть-чуть вперед и она перестанет существовать. Но стоит отодвинуть ее на несколько саженей от обрыва, от угрозы гибели, как ореол исчезнет, изба будет восприниматься как эстетически нейтральный объект. И в Обломовке все такое. Если бы сон ее обитателей перестал быть «истинным подобием смерти», он бы тут же утратил свой богатырский характер. Если бы мужики, вооружившиеся вилами и дрекольем и вышедшие выяснять, что за «чудовище» отдыхает в овраге, оказались чуточку поумнее, они бы растеряли свое обаяние. Другими словами, те обстоятельства, которые обеспечивают Обломовке существование «в нашей словесности на вечные времена», пребывают в неразрывном единстве с теми, что неизбежно воспринимаются как проявление обломовской ущербности. Одно просто не существует без другого. И то и другое проистекает из одного источника...

То же самое и с Обломовым. Вот последние реплики Ольги в последнем ее разговоре с Ильей: «Ты добр, умен, нежен, благороден... и... гибнешь!» (4, 376). Отточия здесь достаточно красноречивы, они свидетельствуют о том, что Ольга воспринимает ситуацию как парадоксальную, противоестественную. Далее она замечает, что нет имени тому злу, которое погубило Илью Ильича. В ответ герой произносит только два слова, *прямо* указывая на то, что «зло» все же существует, и косвенно на то, что замеченное Ольгой противоречие носит мнимый характер: «Есть {...} Обломовщина!» «Обломовщина» — ведь это не только источник гибели Ильи Ильича, но и источник его «ума», «нежности», «благородства». Избегни человек по фамилии Обломов влияния «обломовщины», он бы не погиб, но ведь Ольге в этом случае не пришлось бы вести речь и о его положительных качествах. А вот пример из последнего разговора Обломова со Штольцем. В ответ на предложение друга увезти его из «ямы», дома Пшеницыной, Илья Ильич заявляет следующее: «Я прирос к этой яме большим местом: попробуй оторвать — будет смерть» (4, 489). Смысл ситуации и высказывания примерно один и тот же: существование Обломова, такого, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, нелепимо вне «обломовщины» и Обломовки, реальной ли или той, которую устроила ему Агафья Матвеевна в своем доме.

И наконец, еще один пример, опять же из последнего разговора с Ольгой. «Возьми меня, как я есть, — обращается Обломов к девушке, — люби во мне, что есть хорошего». «Она отрицательно покачала головой...» (4, 375). Взять Обломова таким, каков он есть, Ольга и не может и не хочет, но она понимает и абсурдность его предложения любить в нем только хорошее. Как выделить это хорошее? Как отделить пшеницу от плевел? Это пытались сделать критики в XIX веке, литературоведы в XX, к тому же стремилась Ольга: все ее воспитательные усилия были направлены на то, чтобы уничтожить плохого Обломова, оставить хорошего, очистить его. Попытка оказалась тщетной. И не потому, что паутина

«обломовщины» слишком плотно опутала Илью Ильича, поражение Ольги было заранее предreshено тем, что, если бы она и сорвала паутину, под ней оказался бы не «умный, нежный, благородный» Илья Ильич, а некое подобие Штольца — быть может, и «умное», и «нежное», и «благородное» (каким, бесспорно, является сам Штолец), но не имеющее ни «хрустальной, прозрачной души» (4, 473), ни «сердца, как колодец глубокого» (4, 439). Трудно согласиться с А. В. Дружининым, который надеялся, что «при иных обстоятельствах жизни и ином развитии» Обломов был бы способен «на дела истинной любви и милосердия». <sup>23</sup> При иных обстоятельствах Обломову, столь дорогому сердцу критика, просто неоткуда было бы взяться!

Попытки очищения Обломова отняли у Ольги несколько месяцев, но, как она в конце концов убедилась, ей бы не хватило на это всей ее жизни. Для этого, как свидетельствует исторический опыт, мало было всего XIX века, всех тех десятилетий, которые истекли после выхода романа в свет. Между тем «очищение» Обломова все же возможно, но лишь на путях умозрения и при условии того, что течение времени будет повернуто вспять. При этом процесс «очищения» Обломова будет неизбежно совпадать с процессом его «дальнейшего пояснения». <sup>24</sup>

Есть ли в русской истории такое явление, которое было бы сопоставимо с гончаровским героем в том отношении, что, подобно Илье Ильичу, увязывало бы воедино несопоставимые и несопрягаемые, с точки зрения человека нового времени, категории — бездеятельность и нравственное совершенство? Есть. Такое явление имеется в историко-культурном арсенале всех европейских народов, причем говорить приходится о существеннейшей черте стиля целой эпохи в истории человечества. С отдельными проявлениями этого стиля читатель сталкивается уже на первых страницах романа, но особенно много их в «Сне Обломова» и в сцене ночного спора Обломова и Штольца. Знаменитый «Сон...» вниманием обделен не был, а вот ночному спору повезло куда меньше, хотя это второй по значению нервный узел романа, его идеологический центр. Перед нами не просто спор двух друзей, не согласных друг с другом ввиду различия темпераментов, а философский диалог, по масштабу сопоставимый разве что со знаменитыми разговорами Ивана и Алеши Карамазовых в трактире или Пьера Безухова и Андрея Болконского на пароме.

Диалогу предшествовал монолог. Тот, который Обломов мысленно произносил во время «парада гостей». Тогда речь шла о различных видах суеты, о том, как суетные люди утрачивают свое человеческое содержание и не желают видеть этого содержания в окружающих людях. Теперь Обломов негодует по той же самой причине: «Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?» (4, 176). Штолец причин для негодования не видит. Герои по-разному смотрят на жизнь, о смысле которой и спорят. Недаром слово «жизнь» повторяется в споре чаще других и становится ключевым для целой главы.

Обломов не торопится с изложением своей положительной программы жизнеустройства, хотя именно к этому его настойчиво подталкивает Штолец! Он предпочитает говорить о том, что ему не нравится. Обломовские филишки любопытны в том отношении, что содержат довольно много сведений о стиле интересующей нас эпохи, гораздо больше, нежели картины утопического счастья в полувосточной-полуазиатской Обломов-

<sup>23</sup> Дружинин А. В. Указ. соч. С. 125.

<sup>24</sup> Там же. С. 118.

ке, нарисованные в конце концов Ильей Ильичом. Более того, свою положительную программу Обломов не смог отстоять от нападков Штольца, тогда как сам Штолец был не в состоянии защититься от обличений Обломова. Не нами замечено, что Штолец явно пасует перед негодующим Обломовым,<sup>25</sup> арсенал его контраргументов довольно скуден и свидетельствует о его беспомощности: это отшучивание, стремление перевести разговор в иное русло и т. д. Но, обороняясь таким образом, Штолец роняет несколько крайне знаменательных реплик.

Первая из них и самая банальная: «Это все старое, об этом тысячу раз говорили, — заметил Штолец. — Нет ли чего поновее?» (4, 176). В речах Штольца впервые зазвучал мотив старины, наметилось некоторое движение времени вспять, хотя еще никак не связанное с историей. Но уже в следующей реплике эта связь проступит со всей очевидностью: «Знаешь что, Илья? (...) Ты рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так всё писали» (4, 177). Еще пара реплик, и мотив старины получит вполне определенный оттенок — философский: «Ты философ, Илья! (...) Все хлопочут, только тебе ничего не нужно!» (4, 178). Вскоре Илья Ильич начнет живописать картины возможного счастья в преобразованной — с новым домом и обученным в английском клубе поваром — Обломовке, и Штолец шутя назовет своего друга поэтом, причем Обломов воспримет этот комплимент вполне серьезно: «Да ты поэт, Илья! — перебил Штолец. — Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям исказить ее!» (4, 181). К числу людей, искажающих, по мнению Обломова, жизнь, относится и Штолец, ибо для него жизнь не поэзия, а сфера приложения труда.

История, философия, поэзия. Мотивы эти отчасти конкретизируются и иллюстрируются в обличительных речах Обломова. Вот некоторые из наиболее характерных реплик. Илья Ильич негодует и не приемлет окружающей действительности потому, что, с его точки зрения, «это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку...» (4, 178). Жизнь, как она сложилась, уродует людей, и в них не найти «ни радущия, ни доброты, ни взаимного влечения!» (4, 177). Глядя в глаза этим людям, не встретишь «ясного, покойного взгляда» (там же), все они «заражаются друг от друга какой-то мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут» (там же). Обломов мечтает, чтобы его окружали такие люди, у которых «что в глазах, в словах, то и на сердце!» (4, 182). И наконец, если с суетой окружающей жизни ничего нельзя поделать, если с ней приходится мириться, то лишь как со средством «выделки покоя», как со стремлением к идеалу «утраченного рая» (4, 184).

За всеми этими репликами — и теми, что шутливо роняет Штолец, и теми, что в избытке чувств произносит Обломов, — просматривается стройная система мироотношения: можно составить представление и о том, что отрицается как искажение нормы, и о самой норме, о том, что утверждается как бесспорная и абсолютная ценность.

Обращение к авторитету современного медиевиста позволит определить место этой системы ценностей в истории, составить представление об историко-философских корнях «обломовщины» как особого мироотношения. Вот один из абзацев известной монографии А. М. Панченко «Русская культура в канун петровских реформ»: «Дело в том, что динамизм не был и не мог быть идеалом православного средневековья. Поскольку

<sup>25</sup> Краснощеклова Е. Указ. соч. С. 28.

живший в сфере религиозного сознания человек мерил свои помышления и труды мерою христианской нравственности, постольку он старался избежать суеты, ценил „тихость, покойность, плавную красоту людей и событий“. Всякое его деяние ложилось на чаши небесных весов. Воздаяние считалось неотвратимым, поэтому нельзя было жить с „тяжким и зверообразным рвением“ нельзя было спешить, следовало „семь раз отмерить“. Пастыри учили древнерусского человека жить „косня и ожидая“, восхваляли косность даже на государственной службе (...) „Косность“ была равновелика церковному идеалу благообразия, благолепия, благочестия. Это слово приобрело пейоративный оттенок не раньше середины XVII века, когда стало цениться новое, то, чего не бывало прежде, когда поколебался идеал созерцательного, привыкшего „крепкую думу думати“ человека, вытесняемого человеком деятельным».<sup>26</sup>

Итак, исторические координаты явления определены — это русское средневековье. Можно сделать и первый шаг на пути реабилитации Обломова: косность, рассматриваемая в исторической перспективе, предстает не как природный изъян гончаровского героя (вспомним Писарева: Обломов ленив — потому что ленив), а осознанный (в случае с Обломовым лишь до определенной степени!) поведенческий принцип, занимающий не последнее место в системе этических ориентиров определенной культурно-исторической эпохи.

В системе этих ориентиров соответственным образом может быть оценена позиция Штольца (труд «для самого труда, больше ни для чего») и тех петербуржцев, которых Андрей Иванович так неловко защищал перед своим другом. Обломов говорил об их отягощенности «мучительной заботой», «тоской», о том, что они «болезненно чего-то ищут», и т. д. Вряд ли будет натяжкой утверждать, что именно такой стиль поведения определялся идеологами средневековья как «тяжкое и зверообразное рвение».

Косность Обломова, «рвение» Штольца — пока только они дают основание для сопоставления гончаровского романа с миром культуры русского средневековья. Если к этому нечего добавить, то куда уместнее говорить не об «основании», а о «поводе», не о генетическом родстве, а о случайном созвучии разнородных явлений. Но косность не единственная точка сопряжения идейно-художественной системы романа с системой средневековых представлений о человеке и его месте в мироздании.

Центральной фигурой средневековья был аскет, а не деятель, как в новое время. Монашество возникло как институт, способствующий максимальной сосредоточенности на устремленности к Богу, подразумевающей полное безразличие ко всему тому, что уводит от Абсолюта. Отсюда — уход от мира и отречение от всего, что связывает человека с этим миром. На монашеском языке связи эти назывались «страстями», и практически любое аскетическое наставление было посвящено прежде всего науке «борения страстей». Со времен «первобытного монашества», с IV века, страстей выделялось восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня. И вот что интересно, ни одной из этих страстей не подвержен Обломов. Сребролюбие, тщеславию и гордыне — в первую очередь! Это чувства совершенно незнакомые Илье Ильичу. Гнев, печаль, уныние изредка посещают его, но как бы мимоходом, Илье Ильичу даже не приходится с ними бороться, чувства эти сами удаляются, а в душе героя вновь воцаряются спокойствие и гармония,

<sup>26</sup> Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 6.

то самое состояние, для достижения которого аскеты полагали столько сил, времени и стараний.

Блуд? Все, что связано с этим архаичным словечком? «Душа его была чиста и девственна» (4, 61) — так отвечает на этот вопрос сам автор. Пусть в его реплике изрядная доля комплиментарной патетики, но и с учетом этого допущения очевидно, что в *этом* отношении Обломов если и не полностью бесстрастен, то как-то не очень состоятелен. Вспомним ту сцену (последние страницы главки XII, части второй), где Обломов пытается выступить в роли соблазнителя; право, как мужчине она не делает ему чести. Распространяемый Захаром слух, будто бы его барин наведывается ко вдове-соседке, как известно, действительности не соответствовал. Свое отношение к институту брака Обломов высказал уже на первых страницах романа: «Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся!» (4, 18). Правда, вскоре узнаем, что Илья Ильич вовсе не прочь помечтать о семейной жизни, но мечты эти — скорее поэтические упражнения, Обломов и отдается им с такой охотой и готовностью только потому, что понимает их неосуществимость: жениться, как он заявляет Штольцу, начиная своей экскурс в будущее, ему «состояние не позволяет».

Обломов в конце концов женится, но опять же как-то бесстрастно, хотя его женитьбе как раз предшествовало то, что называлось в свое время блудом. Любовь к Ольге заставляла его «трепетать», а на Агафью Матвеевну он взирал совершенно бестрепетно, любовался ее локтями вполне целомудренно. И разве сама Агафья Матвеевна могла вызвать иное состояние духа? Уже при первой встрече Обломов обратил внимание на ее «никогда не волнующуюся грудь» (4, 302). А вот Ольга: «Глаза у ней сияли таким торжеством любви, сознанием своей силы; на щеках рдели два розовых пятна» (4, 267). «Грудь тяжело дышит и облегчается частыми вздохами (...) У меня здесь горит... — указывала она на грудь» (4, 274).

Наконец, чревоугодие. От этой слабости, или страсти, Обломов как будто не свободен. Мотивы застолья, всего того, что связано с приготовлением и поглощением пищи, повторяются в романе едва ли не чаще любых других, все соответствующие сцены написаны прямо-таки с раблезианским размахом. Дружинин в той же связи вспоминал о живописи фламандских художников.<sup>27</sup> Сон и еда — это альфа и омега существования Обломова, гастрономическое изобилие и разнообразие представляет собой необходимую составляющую его утопических проектов... Но ведь тот же Илья Ильич в сущности неприхотлив в еде: проживая на Гороховой, он держал довольно скромный стол, так что Тарантьев упрекал его за то, что он живет «по-мещански». При случае Илья Ильич готов был довольствоваться остатками вчерашнего ужина, сыром и ветчиной, а при их отсутствии удовлетворялся куском булки, которую Захар, по своей нерасторопности, на глазах барина вываливал на полу. Оказавшись в доме Агафьи Матвеевны, он с наслаждением поглощал те яства, коими угощала его хозяйка. Но когда, стараниями «братца», наступил черный день, он смирился с более чем скромным рационом: не стало «янтарной осетрины» и форели — ел соленого судака, не было рябчиков и розовой телятины — довольствовался жареной бараниной, перестали доставлять лафит из «английского магазина» — с удовольствием пил водку на смородинном листе. Штольц, куда как больше приспособленный к жизни, застав друга за обеденным столом, так и не смог разделить с ним трапезу.

<sup>27</sup> Дружинин А. В. Указ. соч. С. 112.

Итак, страсти не властны над Обломовым и ему незачем читать «старые книги», в частности «Лествицу» Иоанна Синайского, основное руководство православных монахов всех поколений в деле «борения страстей». Сребролюбие, гордыня, тщеславие, т. е. «превышеестественные» страсти, угасли в Обломове полностью, а «естественным» был возвращен их природный статус — потребностей, присущих человеку как биологическому существу. Обломов принял их в том самом виде, в каком их санкционирует христианство, освятившее брак как таинство и никого не понуждающее морить себя голодом.

Печать аскетизма лежит и на жилище Обломова. Из четырех комнат своей квартиры он пользовался только одной, которая служила ему и спальней, и кабинетом, и приемной. Да и эта единственная была убрана так, что сразу становилось ясно: человек, обставлявший ее, хлопотал не об удовлетворении прихотей своего вкуса, не о комфорте, а о стремлении хоть как-то соблюсти «decorum неизбежных приличий» (4, 9). Все это прекрасно понимал Захар, ставший своеобразным alter ego своего хозяина: «Врешь! (...) до пыли и до паутины тебе и дела нет» (4, 15).

Единственное, не всерьез затюбило Обломова, так это сохранение покоя. Мысль о необходимости переезжать на новую квартиру повергала его в ужас, он готов был доедать вчерашний ужин, мириться с пылью на подоконниках, грязью на полу и паутиной в углах — лишь бы в квартире не появлялись посторонние, лишь бы ему самому не покидать стен дома. Стоило Захару, изучившему своего барина до мелочей, не без дальней мысли намекнуть, что для уборки «надо еще баб нанять», как разрешение проблемы беспорядка в квартире было отложено до лучших времен... Стремление к обретению или сохранению покоя — сугубо монашеское. Пустынничество, отшельничество, затворничество считались высшей формой монашеского устройства, доступной лишь самым опытным аскетам. Ищущий уединения монах ставил в безлюдном месте (в лесу, в горах, в пустыне) келью, где и проводил жизнь в посту, молитве и созерцании. Иногда с течением лет вокруг таких келий возникали монастыри.

Для Обломова «пустыней» или «затвором» сперва была его квартира на Гороховой, а затем дом на Выборгской стороне. Преимущества этого последнего своего пристанища Обломов объяснял Штольцу следующим образом: «Покойно здесь, тихо, Андрей, никто не мешает...» (4, 394). Неслучайность ассоциаций, сближающих Обломова со взыскующим безмолвия и тишины отшельником, подтверждается самим Гончаровым, сравнившим в финале романа своего героя со «старцем пустынным» (4, 481). К слову сказать, подобного «старца» напоминал и сам писатель: последние тридцать лет своей жизни он провел в квартире на Моховой, практически нигде не показываясь, да и сама эта квартира, по свидетельству современников, напоминала скорее «келью отшельника»,<sup>28</sup> чем жилище отставного статского генерала.

Возвратимся ненадолго к статье Добролюбова и напомним, что критик усматривал «большую неправду» в добрых словах, обращенных к Обломову. О. М. Чемена в своей книге проявила полную солидарность с Добролюбовым: в «слащаво-сентиментальном» штольцевском «панегирике» ей слышалась «режущая ухо фальшь».<sup>29</sup> С этим мнением трудно согласиться

<sup>28</sup> Гончаров И. А. Очерки. Литературная критика... С. 520.

<sup>29</sup> Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., 1966. С. 44.

уже потому, что люди с таким безупречным эстетическим чувством, как Дружинин и Григорьев, этой фальши не заметили.

Но нельзя не видеть и того, что мнение Добролюбова небезосновательно. Какие из поступков своего друга смог бы припомнить Штольц в подтверждение слов о его «хрустальной душе»? Он не вспоминает ни одного. Не потому ли, что сделать это исключительно трудно? Не только Штольцу, но и любому непредвзятому читателю. Пожалуй, единственным эпизодом в романе, когда в полной мере проявились и хрустальная чистота обломовской души и глубина его сердца, является сцена предпоследней встречи героев. Узнав о свадьбе Штольца и Ольги, Обломов «радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут. — Какой ты добрый, Илья! — сказал он. — Сердце твое стоило еel» (4, 438). Но ... Во-первых, вряд ли уместно в этом случае говорить о «поступке», речь идет о движении души, которое никак не подведешь под разряд «благородных и возвышенных деяний», «подвигов», «которые заслуживали бы столь лестной оценки»<sup>30</sup> и за отсутствие которых О. М. Чемена упрекала и Обломова, и Штольца, и Гончарова. А во-вторых, фактов и обстоятельств, дискредитирующих Обломова, в романе куда больше.

Вместе с тем сказанное не является основанием для выводов о «слащавости» и «фальши»: оправданием для литературных героев и для писателя может стать пример реальных исторических лиц, живших в одно время с создателем Обломова и Штольца. Об Оптиной пустыни теперь знают практически все. О притягательности тамошних старцев — тоже. Но вот если мы попытаемся разгадать загадку их притягательности и с этой целью обратимся к их жизнеописаниям, то столкнемся с той же проблемой, с какой имели дело, подтверждая уместность штольцевских комплиментов в адрес Обломова: полнейшим отсутствием фактов, объясняющих нашему современнику, почему в Оптиной перебивали едва ли не все великие писатели России, почему сюда стекались тысячные толпы богомольцев всех сословий и любого уровня достатка. Оптинские старцы представляли многовековую аскетическую традицию, в ряду их предшественников одно из наиболее почетных мест принадлежит преподобному Сергию Радонежскому, бесспорно, самой притягательной русской личности в XIV столетии. И вот как писал о нем его биограф уже вскоре после его кончины: «...кто зря на лице его, не веселяшесь? Или кто видя святое его житие, не покаася? Или кто видя кротость его и незлобие, и не оумилился?»<sup>31</sup>

Если мы переадресуем полуриторические вопросы Епифания Премудрого Обломову, то на них можно будет легко ответить: «...кто видя кротость его и незлобие, и не оумилился?» Голубиная кротость Ильи Ильича умиляла Штольца, Ольгу, Захара, Агафью Матвеевну... Дружинина, Аполлона Григорьева, Никиту Михалкова наконец. Не умилялись только Тарантьев и Мухояров, но ведь им это состояние души наверняка незнакомо. Добролюбов, а вслед за ним Чемена требовали от Обломова «благородных поступков» и только в этом случае были готовы согласиться с «лестной оценкой» Штольца, а таких поступков и быть не могло, ибо Обломов — это герой, «благородство» которого проявляется в совсем ином измерении.

<sup>30</sup> Там же. С. 44—45.

<sup>31</sup> Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца. СПб., 1885. Сообщил Архимандрит Леонид. С. 156. (Памятники древней письменности. Т. 58).

То, за что любили Обломова, нельзя взвесить, измерить, оценить в рублях. Однако название этому есть, и подобрал нужное слово Захар, который при жизни хозяина особенно теплых чувств к нему как будто не испытывал: «На радость людям жил...» (4, 499). И что, как не радость, единицы измерения которой так и не существует, побуждает нищего, спившегося лакея отказаться от сытой, покойной жизни у Штольца и остаться в Петербурге, подле могилы своего барина. Обстоятельство знаменательное, ибо это уже традиционное для христианского благочестия почитание места упокоения почившего праведника: «Вот сегодня на могилке у него был; как в эту сторону приду, так и туда, сяду да и сажу; слезы так и текут и т. д.» (4, 499).

Не случайно и то, что Обломов умер так, как умирали в «обетованной» Обломовке. «Безболезненно, непостыдно, мирно», так, как и должен умереть праведник. Его кончина является естественным и достойным завершением его жизни, представленной в романе как *житие*.

Немало сказано и написано о монографичности русского классического романа вообще и в частности — «Обломова», в отношении которого термин «монография» может быть применен с большим основанием, чем к любому другому классическому произведению, будь то «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Рудин» и т. д. По словам современного исследователя, роман Гончарова вырастает из Обломова и вокруг него.<sup>32</sup> К числу монографических относится и агиографический жанр, отзвуки которого то и дело угадываются у Гончарова. Так, автор пытается окинуть единым взором весь жизненный путь своего героя: с раннего детства, с того момента, как Илюша начал осознавать себя, до момента кончины и даже далее. Ни Онегин, ни Печорин, ни Рудин такого внимания со стороны своих создателей не удостоивались.

Житийная традиция предписывала интересоваться родителями героя, и мы многое узнаем о матери и особенно об отце Ильи Ильича. Прежде всего то, что людьми они были благочестивыми. Любой человек русского средневековья согласился бы (хотя и не без оговорок, но о них разговор особый!) с этим выводом, если бы получил возможность прочитать следующее: «Старик Обломов как принял имение от отца, так передал его и сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние (...) Как и чем засеивались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем.

Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего: он называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег.

— Отцы и деды не глупее нас были, — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, — да прожили же век счастливо; проживем и мы: даст Бог, сыты будем.

Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему, чтоб каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями, он *благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше*.

Если приказчик приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал:

<sup>32</sup> Котельников В. А. Указ. соч. С. 110.



— *Воля Божья; с Богом спорить не станешь! Надо благодарить Господа и за то, что есть*» (4, 66) (курсив наш. — В. К.).

Есть в «Обломове» и такой необходимый композиционный элемент любого жития, как «слово похвально», — это штольцевский панегирик, к которому мы так часто обращались. Здесь есть (насколько позволяют это каноны реалистического произведения) даже нечто такое, что отдаленно напоминает посмертные чудеса у могилы святого. Продолжим прерванное ранее на полуслове признание Захара: «Вот сегодня на могилке у него был; как в эту сторону приду, так и туда, сюда и сижу; слезы так и текут... Этак-то иногда задумаюсь, притихнет все, и почудится, как будто кличет: „Захар, Захар!“ Инда мурашки по спине побегут!» (4, 499).

Для русского человека XIX века житийная литература была явлением куда менее архаичным и гораздо более живым, чем для современного. Семейю Гончаровых отличало лишь то, что здесь не только читались произведения древнерусской литературы, но и поддерживались ее традиции. Причем в самом буквальном смысле...

Семья была глубоко религиозной. Один из племянников писателя говорил впоследствии о «византийской» обстановке, царившей в симбирском доме.<sup>33</sup> Здесь было немало икон древнего письма (некоторые из них оказались позднее в писательской квартире на Моховой), здесь находили приют и кусок хлеба странники и юродивые. В 1732 году дед писателя начал «Летописец» семьи Гончаровых. Это был не просто дневник жизни нескольких поколений семьи, в его структуре угадывается ориентация на литературные традиции допетровской Руси: «Большую часть его занимает „Книга, глаголемая о вольной страсти и о распятии Господа нашего Иисуса Христа“. Затем идут другие списки, произведения религиозного характера. Собственно „Летописец“ помещен в начале и представляет собою повременные записки о событиях семейной жизни, редких явлениях природы и крупнейших политических фактах».<sup>34</sup> К семейной летописи относились исключительно серьезно, из года в год она пополнялась новыми записями, и уже в 1822 году Авдотья Матвеевна Гончарова зафиксировала здесь один из очень немногих поворотов в судьбе своего сына: «1822 года, июля 8 числа, отправлен Ваничка в Москву, а определился в коммерческое училище августа 6 дня».<sup>35</sup> Все сказанное допускает возможность вывода о том, что присутствие древнерусских, агиографических мотивов в произведении Гончарова — вполне закономерно.

На этом в разговоре о «хорошем» Обломове может быть поставлена точка. Но остается еще и тот Обломов, который напоминал «ком теста», «кисель», тот, в котором невозможно отыскать ничего, кроме «решительной дрянности». Спрямяя и упрощая образ гончаровского героя, Добролюбов писал именно об этом Обломове, сущность которого исчерпывалась одним словом и «слово это — обломовщина».<sup>36</sup> Для Штольца, впервые употребившего это словечко, оно было совершенно однозначным, для Добролюбова, который вынес его в название своей статьи, — тоже. И для того и для другого «обломовщина» — это явление, сводимое к «бездельничеству», «дармоедству» и обеспеченное институтом крепостного права, избавлявшим Илью Ильича, владельца «трехсот Захаров», от забот о хлебе

<sup>33</sup> *Ляцкий Е.* Гончаров: Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. 3-е изд. Стокгольм, 1920. С. 69.

<sup>34</sup> Там же. С. 61—62.

<sup>35</sup> Там же. С. 69.

<sup>36</sup> Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. С. 40.

насущном. Выше мы пытались показать, что жизненный уклад, названный «обломовщиной» и сформировавший гончаровского героя, не столь однозначен, но не видеть в нем среди прочих составляющих и того, о чем с таким негодованием писал Добролюбов, никак нельзя.

На одно обстоятельство необходимо обратить внимание сразу. Несмотря на то что, обличая современный ему миропорядок, Илья Ильич открыто солидаризируется с «древними», что в его мечтах о спокойной и несуетной жизни угадывается масштаб средневековой шкалы ценностей, его крепостническое байбачество никоим образом не может быть отождествлено со средневековой «косностью», с тогдашними идеалами «тихого и безмолвного жития». Более того, иногда Обломов торопится сознательно и демонстративно отмежеваться от этих идеалов, причем таких, которые подкреплены авторитетом Священного писания. Речь идет об известном этическом постулате апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е послание к фессалоникийцам, гл. 3, ст. 10). У Обломова же эти слова употреблены в контексте, который, сообщая им весьма неожиданное преломление, полностью лишает их ореола сакральности.

Захар неосторожно сравнивает своего барина с «другими» и тем самым глубоко его оскорбляет. Илья Ильич, не жалея «жалких слов», пытается втолковать неблагодарному лакею, чем он, Обломов, отличается от «других»: «„Другой“ работает без усталости, бегаёт, суетится (...), не работает, так и не поест» (4, 94). В этих патетически произнесенных словах — покушение на универсальный смысл новозаветного предписания, имеющего отношение к любому христианину за исключением... Обломова. Далее Илья Ильич начинает похвалиться тем, в чем с точки зрения христианского и тем более средневекового сознания надлежало каяться: он и чулки себе ни разу в жизни не надевал, и «хлеба себе не зарабатывал», и не работает он, и не художав на вид и т. д. Напомним, что в великопостной молитве Ефрема Сирина, больше знакомой современному читателю по гениальному переложению Пушкина «Отцы пустытники и жены непорочны...», «дух праздности» среди прочих грехов вынесен на первое место: «...дух праздности... не даждь ми». Справедливости ради заметим, что покаянные настроения все же посетили Обломова, когда, оставшись наедине с самим собой, он вновь «углубился в сравнение себя с „другим“» (4, 98).

Ориентируйся Обломов в мире древнерусской литературы так же хорошо, как, скажем, обитатели дома Гончаровых в Симбирске, он бы знал, что едва ли не в любой «старой книге» можно найти слова упрека в его адрес. Как, например, в анонимном «Поучении святых отец к ленивым и не хотящим делати»: «Друзи и братия моя любимая! Не уподобляйтесь ленивым рабом — не долго спити, не долго лежите, вставайте рано, ложитесь поздно (...). Лежа добра не видати, а горя не избыти и спасение не получити, Бога не умолити и грехов не очистити, чести и славы не получити, цветных риз не напивати, медвеного пития не пивати и сладкого брашна не ядати! (...)

Такой человек ленивый и лежливый в дому не господин, жене не муж и детям не отец, и добрыми людьми не знаем; в деревне жити ленится, а на посаде не годится, в селе его не пустят, а во граде и места несть (...)

О, люте! Привязалась к нему лень, как милая жена к мужу своему, — и часто въздыхает, а разстанися не хочет! Окаянные же беси, аки любовные друзи; а сон тяжкий, аки милый отец; злая же слабость, аки родимая его мати; а упрямство и непослушание любит и держится, аки брата и сестры не лишиться; а укоры и поносы, и безчестие ему воздают, аки

снег на главу летить. И навывкнет, окаянный, чужими трудами кормиться, аки червь капусту ясти. И от многого уныния спит без числа, и беси ему во сне сония кажут и видения являют; и убудився от сна, разрешает мечтание и умышляет горшую погибель и потом вечную муку наследит, — от нея же да избавит нас Господь Бог, молитвами Пречистыя Его Матери и всех святых, всегда и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».<sup>37</sup> Созвучия настолько впечатляют, что кажется, будто речь в «Поучении» идет о судьбе именно Ильи Ильича, только свидетельствует о ней не литератор или критик XIX столетия, а средневековый морализатор.

Тот же морализатор неизбежно нахмурился бы, узнав, что «благочестивые» родители Обломова, смиренно вверявшие себя воле Промысла и грехом почитавшие «приобретать больше», усматривали благоволение Божие только в возможности «каждый день обедать и ужинать без меры». А поупущение нечестивому домоправителю, обкрадывавшему своих хозяев, надо полагать, вызвало бы просто гнев.

Однако за экскурсами в русское средневековье не будем забывать, что и Гончаров и его герой были людьми XIX века. Роман дописывался в конце 50-х годов и являл, в ряду прочих произведений, своеобразный аккомпанемент великим либеральным реформам Александра II, знаменовавшим очередную и исключительно мощную рывок России на пути европеизации, а значит, — и прочь от средневековья! «Обломовщина» вместе с человеческим типом, ею порожденным, оставалась рудиментом, осколком, «обломком» средневековья, занесенным в новое время. Но и это не самое главное, хотя оказаться в положении исторического рудимента — это всегда трагедия, причем, как правило, высокая. Так, к слову, обстояло дело с литературной современницей Ильи Обломова Катериной Кабановой... В заштатный Калинов, обыватели которого кто с ужасом, а кто с упованием прислушиваются к раскатам надвигающейся социальной грозы, Катерина приходит из мира патриархального, населенного странниками и богомолками, озвученного духовными стихами, пахнущего ладаном. Она тоже осколок, она одинока и никем не понята, она тоже гибнет... Но кто же усомнится<sup>38</sup> в цельности и монументальности этого характера? Недаром ее, богобоязненную купеческую жену, богоборец Добролюбов назвал «лучом света».

Трагедия имеет место и в случае с Обломовым, но его неоднозначная фигура для монумента никак не годится, к тому же сама трагедия обусловлена его архаичностью лишь отчасти. Истоки ее обозначились задолго до появления на свет Илюши, тогда, когда «обломовщина» и Обломовка были оторваны от тех идеологических, духовных корней, на которых некогда выросли и от которых, возрастая, многие столетия питались.

Сказать, что главной формой идеологии во времена средневековья была религия (а приблизительно так и говорили до недавних пор), значит высказаться не по существу. Религия составляла душу той эпохи, «в средние века все слои, все формы жизни были религиозно насыщены (...) Практически не было вещей или обстоятельств человеческой жизни, безразличных с религиозной точки зрения».<sup>39</sup> Патриархальность Катерины прежде всего в том и проявляется, что она истово религиозна, до такой

<sup>37</sup> Красноречие Древней Руси (XI—XVII вв.). М., 1987. С. 302—303.

<sup>38</sup> Кажется, Писарев остается и по сей день единственным усомнившимся.

<sup>39</sup> *Гвардини Р.* Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 156—157.

степени, будто живет в порубежье, отделяющем мир зримый от мира запредельного; чтобы убедиться, достаточно вспомнить, *как* она молится.

А какова степень религиозной «насыщенности» жизни в патриархальной Обломовке? Она крайне незначительна, причем до такой степени, что ею можно было бы пренебречь, если бы не обряды, занимавшие в обиходе обломовцев исключительное место: в них состояли «вся их жизнь и наука» (4, 126), их ожидали «с бьющимся от волнения сердцем», в них был сосредоточен «весь пафос их жизни». Катерина же, напротив, к освященной традицией ритуалистике была абсолютно равнодушна. И это сближает героиню Островского с героем Гончарова, который, обитая в доме на Гороховой, вполне обходился без обрядов, т. е. с переездом его в Петербург оборвалась и эта нить, хоть в какой-то степени связывавшая обломовцев с религией. Сам же Илья Ильич, укрывшийся в своей квартире от «лежащего во зле мира» с его суетой, развлечениями, стяжательством, борьбой честолюбий и т. д. и т. д., оказался в положении индифферентного к религиозной вере... отшельника или затворника.

Словосочетание оксюморонное, но ведь такова и ситуация, им характеризующая: если для средневекового человека, убегающего суеты и греховности, «тихое и безмолвное житие» было *средством* «выделки», совершенствования души, то для Обломова, увы! и не помышляющего о своей загробной участи, покой становится высшей ценностью, о сохранении которой он заботится с тем же тщанием и серьезностью, с какой его далекий предок радел о спасении души. Даже в тех случаях, когда Обломов пытается в своих поэтических мечтах воспарить над диваном, выскользнуть из своего знаменитого халата и хотя бы мысленно устремиться к «идеалу утраченного рая» (4, 184), туда, где «несть печали ни вздыханий», даже тогда живописуемые им картины вожделенного блаженства «насыщены» не чем-нибудь, а истомой праздности. В райском саду преображенной неизвестно кем и как Обломовки должно было присутствовать все, что знаменовало для Ильи Ильича «полноту удовлетворенных желаний» (4, 182): персиковые деревья и виноградные лозы, «синее-пресинее небо», «бесконечные темные аллеи», волнующиеся на ветру колосья, узкий круг дорогих сердцу людей, в глазах которых увидишь только «симпатию»... Единственное, чему не отводилось места в этих планах, так это «никакой заботе», никакому напряжению — все равно, физическому или духовному.

Утопические прожекты Ильи Ильича, если взглянуть на них глазами ревнителя христианского благочестия, попросту погибельны, ибо средневековые идеалы «косного» жития не допускали даже возможности состояния расслабленности. «Бодрствуйте, — заповедал Христос, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф.; 25, 13). Обломов же помышляет о «рае», о «норме, идеале жизни, который указала природа человеку» (4, 178), лежа на диване, заложив руки «под затылок» и «глядя в потолок» (4, 180).

Воспитанный в благочестивой семье, писатель не мог не знать, что каждой своей строкой православные молитвы утверждают состояние духа, разительно отличающееся от того, что утвердился в Обломовке. Вот два отрывка из утреннего молитвенного правила, т. е. такого, которое, помимо прочего, определяло стиль поведения и внутреннее состояние молящегося человека в течение всего предстоящего дня. «Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане лъстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков, аминь». «И даруй

нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне Единородного твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (...), да не падше и обленившися, но бодрствующе и воздвижени в делании обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную».

Второй отрывок, извлеченный из молитвы св. Василия Великого, интересен тем, что в общих чертах представляет картину райского блаженства. Но как отлична она от обломовской! Рай, явленный святителю в молитвенном озарении, — это реальность динамичная, тогда как «рай», что привиделся Обломову в «сонном мечтании», это место, где хотя и «отложено» «всякое житейское попечение» (Херувимская песнь), но вовсе не для того, чтобы, «иже херувимы», воспеть «трисвятую песнь» Животворящей Троице; цель иная — сохранить привычное и комфортное состояние «погруженности в апатию» (4, 126). Вспомним, что спящему «без числа» «от многого уныния» ленивцу из древнерусского «Поучения святых отец...» подобные «сония» и видения «кажут» и являют «беси».

В «душеполезных» изданиях XIX века весьма часто встречаются графические изображения монастырей. Довольно условные, с обязательным присутствием некоего «божественного» знака: то ли это ангелы, парящие над обителью с иконой в руках, то ли святые, предстоящие престолу Царицы Небесной или Вседержителя. Обломовка — это райская идиллия, не отмеченная «божественным» знаком, ангелы над нею не летают. Но ведь они и не нужны здешним обитателям, ибо жизненный уклад, здесь определившийся и известный под именем «обломовщины», вполне может быть определен и как *безрелигиозное средневековье*. Сочетание как будто опять абсурдное, ибо раззять религию и средневековье — все равно, что иззять у последнего душу. Но в том и состоит трагизм ситуации, что душа действительно иззята, она отлетела от «тела» Обломовки, продолжающей существовать как обезматочивший улей, как бы по инерции, в согласии с традицией и в соответствии с «нормой», что была «преподана... родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки» (4, 125). Когда отлетела душа, когда повинующиеся роевому инстинкту пчелы остались без матки, никто не заметил. «Всякая существующая вещь, — утверждает философ, — есть нечто большее, нежели она сама. Всякое событие означает нечто большее, нежели сухой факт своего совершения. Все соотносено с чем-то иным, лежащим глубже или выше его самого. И все обретает свою полноту только вместе с этим высшим. Если соотносительность исчезает, вещи и структуры оказываются пусты внутри. Они теряют свой смысл и убедительность».<sup>40</sup>

«Обломовщина» утратила свой смысл, ни глубже, ни выше ее нет уже ничего, а поэтому кончина ее неотвратима. Она еще может вдохновить художника (вдохновить не в последнюю очередь и фактом своего очевидного умирания!) на создание красочного полотна, восхищающего или умиляющего читателей и критиков вот уже многих поколений. Она еще может произвести на свет и воспитать сибаритствующего «аскета» с «хрустальной душой», но сама эта душа годится разве для того, чтобы стать музейным экспонатом, чтобы любоваться, как «открыто и ясно» «светится» она в глазах героя. Требовать от нее какого-то напряжения, хоть какой-то работы, ради собственного спасения, ради блага ближнего — дело абсолютно

<sup>40</sup> Там же. С. 158—159.

безнадежное. «Радость моя! — наставлял своих учеников старший современник Гончарова, затворник и пустынный, преподобный Серафим. — Стяжи дух мирен и тысячи подле тебя спасутся». Обломов не спас никого, хотя мирный дух как будто приобрел.

Можно подытожить наши рассуждения... Трагедия гончаровского героя и породившего его жизненного уклада не в том, что они архаичны (в конце концов современные Гончарову оптинские или саровские аскеты были связаны со средневековьем куда очевиднее и куда решительнее вторачивались от неблагообразия окружающего мира — трагедий это не порождало), а в том, что сама их архаичность утратила соотнесенность с тем императивом, который санкционировал ее и сообщал ей смысл. Это обстоятельство и обусловило их (Обломова и «обломовщины») трагическую обреченность и труднодостижимую неоднозначность, когда невозможно разъять положительное и отрицательное, прекрасное и безобразное без того, чтобы не разрушить «цветущую сложность» (К. Н. Леонтьев) умирающего уклада.

Шкала традиционных для средневековья ценностей оказалась в «обломовском» мире (где свято соблюдались традиции предков!) перевернутой: то, что было средством, стало целью, об истинной же цели попросту забыли и, невостребованная, она была утеряна. Обособившись от грешного и суетного мира, обломовцы сохраняют душевную чистоту и непосредственность чувств, но покой лишает их всякой духовной деятельности, он обретает характер апатии, предопределяет их человеческую несостоятельность. Так у птицы, избавленной волею обстоятельств от необходимости летать, очень скоро атрофируются крылья. Она перестает быть птицей, хотя может оставаться источником мяса или эстетических впечатлений. Илья Ильич, при всей его «исключительной человечности» (М. М. Бахтин), перестает быть полноценным человеком, а «обломовщина» — жизнеспособным укладом. Поэтому прав В. Кантор в своей критике Ю. Лощица,<sup>41</sup> защищавшего Обломовку от будто бы разрушающего ее Штольца.<sup>42</sup> Она и без того была обречена, и спасти ее могла только решительная реконструкция, после которой Обломовка перестала бы быть сама собой.

Нас могут упрекнуть в том, что мы нарочито усложняем существо явления и пытаемся усмотреть сложность там, где ее нет. Попытаемся оправдаться, призвав в союзники великих братьев Гончарова по писательскому цеху. Русская действительность включала в себя такие явления, которые допускали возможность диаметрально противоположных оценок, причем со стороны людей, которых антагонистами трудно назвать. Вспомним, как относились писатели к такому социальному, хозяйственному, бытовому, культурному и т. д. феномену, как русская дворянская усадьба? Какое воплощение получил этот феномен в произведениях, с одной стороны, С. Т. Аксакова и Льва Толстого, а с другой — М. Е. Салтыкова-Щедрина? В каком из этих видений и воплощений больше правды: в поэтизации, тяготеющей к идеализации, или в «свирепой» сатире и однозначном неприятии? Вопросы можно ставить бесконечно долго, можно писать книги и статьи, объясняя или защищая какую-либо из точек зрения... нельзя только отмахнуться от проблемы как несущественной или даже несуществующей.

Гончаров от названных и неназванных писателей отличался тем, что он, с его вошедшими в историко-литературное предание неторопливостью

<sup>41</sup> Кантор В. Указ. соч. С. 170.

<sup>42</sup> Лощиц Ю. Указ. соч. С. 190.

и основательностью, смог, говоря его же словами, «осмотреть дело со всех сторон» (4, 426) и разглядеть в «обломовщине» (явлении если и не тождественном, то, безусловно, родственном «дворянским гнездам») и то, что достойно поэтизации, и то, что заслуживает обличения. И не только разглядеть, но и художественно претворить, так что одно у него попросту не живет без другого.

Жизнь за истекшие после выхода романа неполных сто сорок лет изменялась часто и радикально. В зависимости от этого менялись оценки и истолкования лиц, событий, явлений... романа Гончарова в частности. В последнее десятилетие так называемого «застоя», которое, применительно к русской общественной мысли, было и временем частичного пробуждения исторической памяти, появились книга Ю. Лоцица и кинофильм Н. Михалкова, отмеченные стремлением защитить и хотя бы в ностальгических воспоминаниях воскресить «цветущую сложность» патриархального уклада. Обломов при этом либо полностью (в киноверсии Михалкова), либо частично (у Лоцица) реабилитировался. Знаменательно, что реабилитация Обломова при этом достигалась и за счет дискредитации Штольца — частичной (у Михалкова) или полной (у Лоцица).

В разгар «перестройки», когда сперва до «социализма с человеческим лицом», а затем и до «рыночного» рая, казалось, рукой подать, была опубликована статья В. Кантора, критиковавшего Лоцица и Михалкова, обличавшего «воспитание и образ жизни», загубившие «благородного человека» Обломова; статья, где динамичный «рыночник» Штолец признавался бесспорно «новым человеком», призванным гарантировать отрадную будущность России. Критические замечания Кантора имели под собой основание, с этим нельзя не согласиться, но, хотя после выхода его статьи прошло не так много лет, рыночного энтузиазма у общества поубавилось и становится очевидной излишняя прямолинейность его выводов. Гораздо убедительнее звучит мнение автора последнего по времени монографического исследования о Гончарове: писатель «решал в „Обломове“ главную задачу нового романа — отыскивание общего связующего смысла в разрозненных историей, распадающихся элементах русской жизни».<sup>43</sup> Вряд ли стоит, даже в условиях «перехода к рынку», возносить на пьедестал Штольца, но и демонизировать его тоже не за что (в этом мы полностью солидарны с В. Кантором): Андрей Иванович — человек достойный если и не восхищения, то всяческого уважения: сколько сил потратил он ради спасения друга, из каких передрыг его выручал... Впрочем, Штолец и проблемы, с ним связанные, — это тема отдельного разговора.

<sup>43</sup> Котельников В. А. Указ. соч. С. 110.

## ПИСЬМА НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

Андрей Лесков лишь отчасти прав, утверждая, что его великий отец был органично неспособен к исповедальной искренности: «Безупречно цельное и строго точное повествование о днях и трудах своей жизни не удавалось и бросалось. Задачи были не по складу натуры, характера, неодолимых уже навыков. Его влекло художественно живописать. Методический, как бы дневниковый, историзм и исповедное, в стиле Жан-Жака Руссо или дневников Льва Толстого, обнажение (...) своих движений и действий — было не в его средствах. „Могий вместити да вместит“. Он не вмещал». <sup>1</sup> Вряд ли, однако, можно так уж строго определить и отмерить, что вмещал и что неспособен был вместить Лесков. Публично исповедоваться он действительно не собирался, как и следовать примеру Руссо и Л. Толстого, но нелогично ставить Лескову это в вину. Не вел Лесков и дневников, очевидно не испытывая в них потребности и, возможно, считая слишком большой роскошью тратить время на такое занятие. Его записные книжки почти всецело заполнены цитатами, словами и характерными выражениями, полемическими набросками: материал для творчества, «сырье». Здесь неуместны записи сугубо личного, интимного характера. Лесков ничего не писал для будущих читателей, и не все увидело свет при его жизни только по невежеству или трусости издателей, редакторов, цензуры. Его произведения были адресованы современникам, как, разумеется, и письма. Они, кстати, spolна возмещают отсутствие дневников, исповеди, подробной автобиографии (впрочем, небольшие автобиографические заметки Лескова превосходны). В письмах Лесков нараспашку, здесь он высказывается без оглядки на внешнюю и внутреннюю цензуру, откровенно, с присущей ему резкостью и прямоотой. Великолепно вырисовывается в письмах (особенно «родственных», но не только) характер, «норов» Лескова. В специфическом свете предстает творческий и духовный путь писателя. Но не следует смотреть на письма Лескова только как на ценнейший, но все же дополнительный материал к его творчеству и «эмпирической» биографии. Они неотъемлемая и драгоценная часть как его биографии, так и творчества. Лесков любил переписываться. Дорожил этим старинным способом свободного, непринужденного и — что немаловажно — литературного общения. Очень характерно однажды вырвавшееся у него в письме к А. С. Суворину признание: «Сношения с Вами у меня бывают потребностью, и в них есть та особенность, которая свидетельствует о нашей поглощенности литературою: в личных беседах от уст к устам (что легче писанья) мы никогда не умеем сказать ничего сердечного друг другу, а как расстанемся, — так сейчас же что-то напишем!.. Это что-то вроде прирожденного писательства...» <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т. 1. С. 111.

<sup>2</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 388. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.



Литературные заботы, хлопоты, события в газетно-журнальном мире (в том числе и кулуарно-закулисные), литературное дело в самом широком смысле слова составляет главное, доминирующее содержание писем Лескова. Ничего, понятно, в этом удивительного нет: то же самое можно сказать о письмах Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Некрасова, Тургенева. Поразительна одержимость литературой. Хорошо знавший Лескова В. Г. Авсеенко уловил фанатичную увлеченность писателя литературой, поглотившей почти все другие импульсы и интересы: «Лесков любопытен уже тем, что хотя литературный труд являлся для него средством к жизни, но поглощал его всецело, напрягая все его нервы и создавая для него особый мир, органически связанный с его существованием (...) Лесков был настоящий писатель, нервный, страстный, постоянно волнуемый условиями и обстановкой своего авторства, словно перегорающий в нем».<sup>3</sup> Когда П. К. Щербальский, уставший от литературных передраг, задумал обосноваться землевладельцем на благодатном южном берегу Крыма, Лесков ему посылает длинное письмо, где в типичном полшутливом, полусерьезном стиле, уснащая послание воспоминаниями, прибаутками, солеными и рискованными параллелями, «грубит» его «превосходительству», показывая всю тщету наивной мечты о «винограде». «У литературы есть своя „священная мерзость“, — уверенной и властной рукой выводит Лесков, — которою мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите Вы и рассуждайте: почему бы уличной женщине не сделаться хорошею женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет *женою*, но на деле она все-таки останется виконтессой Дюшкуранс! (...) То же и с литературой: Вы со всем Вашим умом заблуждаетесь, что, сажая виноград, Вы уже и „не заглянули бы ни в газету, ни в журнал“. Нет-с; этот „разврат“, которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не дает нам силы обречь себя на целомудренное молчание. Не быть из литератора вертоградарю (...) Ни из одного литературного человека хозяина не вышло и не выйдет, а тем паче сельского хозяина».

В назидание Щербальскому Лесков вспоминает своего отца, Н. В. Кукольника, С. С. Громеку и, не ограничившись столь яркими и убедительными примерами, приводит в финале весьма колоритную фольклорную притчу-анекдот: «Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаз у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий „утробу“ вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы „утробу лекаря и съели“. Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что „что, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после говнеца хочется“. Вот Вам подобие силы литературной жизни, к которой *тянет* и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого „говнеца хочется“, а то застой, коснение, измельчание» (10, 309—311).

Так остроумно и озорно «грубил» Лесков самому близкому ему человеку в стане «Русского вестника», на благородство и дружеские чувства которого он всегда мог положиться, хотя и строго оспаривал многие консервативные мнения Щербальского. С ним Лесков был явно на короткой и дружеской ноге. В письмах к Щербальскому он не церемонился в выражении мыслей и чувств. Изливал душу. Писал раскованно и образно, абсолютно уверенный

<sup>3</sup> А. О. Из литературных воспоминаний // Новое время. 1900. 25 мая. № 8705.

в благорасположении к нему Щебальского. За долгие годы близкого знакомства с Щебальским и его домом Лесков имел достаточно доказательств искренности, порядочности и независимости человека, ставшего его литературным конфиденнтом.

Лесков ценил «литературный характер» и бескорыстную приверженность Щебальского к литературе. Отчетливо понимал Лесков, что еще с большим основанием «глупую сказку» можно применить к нему. Понимал и тогда, когда в отчаянии просил И. С. Аксакова подыскать ему через миллионера В. А. Кокорева какое-нибудь доходное место, чтобы поправить материальные дела и на какое-то время отдохнуть от опостылевшей, все больше на заказ, каторжной литературной работы. Даже если бы Кокорев пожелал стать благодетелем и меценатом Лескова (а он не пожелал), все равно вся эта коммерческая затея рухнула бы очень быстро. Литература уже всецело поглотила Лескова, ввергнув в заколдованный круг журнально-газетных страстей, изматывающих душу и тело «мук слова».

Вне литературы Лесков невымыслим. Письма рельефно запечатлели непрекращающийся интенсивный литературный труд Лескова, писателя исключительно взыскательного к себе и другим. И очень щедрого, радостно делящегося со своими коллегами открытиями и находками, всегда готового оказать посильную помощь, особенно литературную. С. Терпигореву он время от времени посылает ценные словарные справки, маленькие этимологические изыскания, вроде: «*Келарь* — то же, что в Писании — „приставник“, — „пристав“, по латине *dispensator*. „Келарня“ — особая в обителях храма, где хранятся вещи, по должности келарю (т. е. «приставу») подлежащие (Устав Церковный)». А. П. Милюкову рекомендует вычитанное у Ивана Посошкова слово «простец» и пишет по поводу слова блестящее эссе, полемически направленное против «парлянтов» (10, 469). И Л. Н. Толстому Лесков сообщает любопытные сведения о некоторых старинных значениях слова «задница»: «Известно ли Вам, что на старом языке у нас „наследство“ называлось „задница“? Это встречается два раза в примечаниях к „Истории“ Карамзина (506): „*тяжати о задницу*“. По изъяснению Петрова, „Опыт словаря древних речений“ (1831 г.), это означает: „иметь спор о наследстве“» (11, 593).

Радость от таких находок у Лескова неизменно велика — старинными поговорками, пословицами, прибаутками, народно-этимологическими фантазиями-верояниями (под них умело, изобретательно «подстраивается» художник, конструируя сказовый стиль, особенной густоты достигающий в «Левше», «Леоне — сыне дворецкого», «Часе воли Божией», «Полунощниках», «Заячьем ремизе») испещрены его письма, поражающие словесной экзотичностью и причудливым сочетанием различных «штилей». Лесков и учительские наставления перемежал анекдотами, солеными пословицами, смешными сравнениями и употреблением, совершенно справедливо полагая, что от этого они только выигрывают, лучше запоминаются. Пасынка Б. М. Бубнова он так наставлял: «Очень рад, что жажда света в душе твоем не утоляется, а горит. „Кто ищет — тот и найдет“. Не дай Бог тебе познать успокоение и довольство собою и окружающим, а пусть тебя томит и мучит „святое недовольство“. Тогда будешь расти, а иначе „одебелеет и утучнится сердце твое, и будешь яко свиния в теплом кале“, — от чего и да сохранит нас живой Бог, „живущий в движении естества“» (11, 515). Здесь и Державин к месту, да и «свиния» хороша. Родственникам и литературным дамам Лесков еще и не такие наставления и укоры посылал.

Характерны и постоянные в письмах колебания от высокого, риторико-проповеднического стиля до низкого, фарсово-анекдотического. Особую разновидность составляют целиком стилизованные шуточные послания, своего рода замысловатые импровизации: таково, к примеру, послание «во всех хитростях благоискусному и любвеобильному брату нашему, исоподинготу же Сергию (С. Н. Терпигореву), чищebníку же тамбовскому и козловскому и всея Русии пустобреху» от «смиренного ересиарха Николая», извещающего, что из-за немощей и «многих ради недостойнств наших» не может пожаловать на обед к его «утробию» (11, 442, 443).

Лесков-художник, неутомимый собиратель старинных и «отреченных» книг, рукописей, редких изданий, создатель бытовых, исторических и литературных «апокрифов», и в письмах остается верным своей эстетической натуре. Сохранили письма также интереснейшие замыслы (невоплощенные или частично воплощенные) произведений писателя: «Бовы-Королевича» с «подделкою в старом, сказочном тоне» для «Посредника», «Записок расстриги», публицистического цикла «Наблюдения, опыты и заметки», предложенного редактору «Нового времени», «рассказа кстати» «Мамзель Хальт» («...Начал писать француженку „Мамзель Хальт“, которую звали у нас „Халда“ и которая принесла нам первые примеры добра и благородства и была не похожа на то, что ворочается в океане, „иде же сливаются животные малые с великими, им же несть числа“»).

Есть в письмах и фрагменты не дошедших до нас произведений Лескова. Цитаты из одного «дурачества» (реакция на «всю окружающую глупость»), переходящие в пересказ, приводит Лесков в письме к Толстому: «Написал в самом архаическом „штыле“ — „Сказание о протяженносложенном братце Иакове, — како изыде на ловитвы своя и усрете некоего льва, рыкающа при поляне, и осети его, и множицею брався с ним, и растерза его, и обрете нескудно злата, на нем же и опочи в мире со ужики свои». Там же есть «эпизода» о Вышнеградском, «како плакася, иже рекут его вора быти», и поэты возводят его на Геликон и низводят на землю освященного и с новым именем — «Всевышнеградского» (11, 476). Персонажи ядовитого «сказания» — поэт и цензор Я. П. Полонский, которому «гнилозубый Аполлон» (А. Н. Майков) «дал (...) поручение составить доклад» о сочинениях Толстого на английском языке (11, 473), сам Лев Толстой, распространение сочинений которого, изданных в Англии, было комитетом иностранной цензуры запрещено в России, министр финансов И. А. Вышнеградский, знакомый Полонского, успешно обогатившийся игрой на бирже.

Лесков создает в письмах яркую общественно-литературную хронику русской жизни, точнее, сатирическую летопись «роста», обозрение характерных и примечательных фактов с широким использованием слухов, анекдотов, закулисных подробностей. Реальные лица в этой хронике случайно наделены ласковыми или презрительными кличками, «псевдонимами»: «Пыляич» (М. И. Пыляев), «шамбелян», «Бобоша», «хлыщ» (Б. М. Маркевич), «голубой гусар» (В. К. Крестовский), «церквин сын Тертый» (Т. И. Филиппов), «кобель потрясучий» (В. П. Буренин), «форейтор» (Н. А. Любимов), «отец Пэтр» (переписчик П. А. Богословский), «фрейшиц» (Ф. А. Фаресов), «Поша», «Не-Гайдуков» (П. И. Бирюков), «нигилист» (А. К. Шеллер-Михайлов), «Модестыч» (А. М. Хирьяков), «Николавра», «Безешник» (Н. Н. Ге), «благочинный из Россопи» (В. Г. Чертков), «генерал интендантского ведомства», «опахальщик» (С. Н. Шубинский), «подкузьмич», «солдат» (П. К. Мартьянов), «старичок-милючок» (А. П. Милюков), «важный пристав» (Е. М. Феок-

тистов), «Тер-Пигор» (С. Н. Терпигорев), «Мимочка», «пренепорочная Лидия» (Л. И. Веселитская), «Пержан» (Иоанн Кронштадтский), «раб божий Ивантий» (И. И. Горбунов-Посадов), «граф», «Гришка Скоробрешко» (Г. П. Данилевский), «Висюша» (В. В. Комаров), «красноносый» (А. И. Георгиевский) и др. Да и сам Лесков подписывался ересиархом (смирненным и лжесмирненным) и старцем, иногда предельно расширяя свою власть: «Ересиарх Ингерманладский и всеа России».

Лесков чрезвычайно ценил острое слово, меткие клички, сам изобрел их великое множество, щедро рассыпая по письмам и произведениям; с удовольствием подхватывал и чужие mots. С похвалой отозвавшись о фельетоне Буренина, Лесков счел необходимым присовокупить и критику: «Фельетон Виктора Петровича написан прекрасными стихами и заключает много правды, но в нем нет того, что „липнет“ к лицу, как меткая кличка, например „трехполенный Панин“, „трехпрогонный Муравьев“, „Муханов на Висле“ и т. п. Все только о происхождении да о каком-то малоизвестном прошлом, — в чем и покура немного, да и не все достоверно. Одна кличка „Луиза Мишель“, данная Гамме (Г. К. Градовскому) Модестом Ив. Писаревым или Терпигоревым (настоящий автор неизвестен), — гораздо язвительнее и метче, чем все намеки о его перебежничестве. Его голос, его фигура, его блекотание горлом и кличка бабьим именем „Луиза Мишель“ — это пресмешно и полно образного о нем представления» (11, 342). В письмах Лескова так много метких кличек, прозвищ, определений, что остается пожалеть, что писатель не дал к ним необходимых «указаний», как сделал это в письме к В. А. Гольцеву, расшифровывая закодированных персонажей очерка «Нашествие варваров»: «Здесь описана правда, смешанная с вымыслом и затупеванная, чтобы иметь право быть печатаемой. Указываю для Вас некоторые имена: „Цибелла“ — Новикова, „княгиня“ — Радзивилл, „баронесса“ — Иксуль, „Корабант“ — Комаров, „Редела“ — сами знаете кто. События верны действительности» (11, 487).

Вообще к произведениям и письмам Лескова просто необходимо составить толковый словарь-указатель. Без этого путеводителя легко можно заблудиться в усложненном метафорическом океане идей и образов Лескова. Надо знать особенности его «тайнописи», владеть лесковским шифром. А грань между творчеством и эпистолярным наследием писателя весьма условна и хрупка. Не редкость в письмах и отточенные литературные фельетоны-антикритики, вроде блестящей карикатуры на деятельность Буренина в письме к Меньшикову, где заодно перепадает Атаве—Терпигореву (11, 558). То и дело вклиниваются в текст писем мастеровитые художественные зарисовки, картинки с натуры, в которых правда сложным образом мешается с вымыслом, «фантазией». Бесподобен рассказ Лескова (в письме к Л. Н. Толстому) о «подвигах» и «чудесах» Иоанна Кронштадтского, непосредственно примыкающий и дополняющий «Полунощников»: «Область же его (Иоанна Кронштадтского) все расширяется „милостью божиею“, — так, в день его юбилея, когда он (по отчетам хроникеров) съел подряд три обеда и „встал с удивительною бодростью“ — председатель общества трезвости, именитый законоучитель Петербурга протоиерей Михайловский, ошибся мерою вина и, приняв на нутро более, чем можно главе трезвенных, не встал вовсе, а был изнесен на руках своих духовных детей, и Иван Ильич его от этого не исцелил, а теперь сам избран на его место, так как он не пьет иного вина, кроме мадеры братьев Змеевых в Капшине» (11, 476). По сути, это «эпизода» из «Полунощников», несколько не менее яркая, ироничная, художественная, чем сама повесть.

Лесков, взыскательный и тонкий критик, многоопытный и закаленный в схватках журналист, естественно, и в письмах продолжает увлеченно заниматься привычным делом. Больше всего пишет о себе — странном и уединенном положении в литературе, травле, испортившей жизнь, подорвавшей здоровье, о сложной, драматической судьбе произведений, испытывавших давление всех цензур — официальной, либеральной, консервативной: бесконечная история с то и дело прерывавшимся печатанием «Соборян» («Божедомы», «Чающие движения воды»), мытарства со «Скоромоухом Памфалоном», «Горой», потрясшее Лескова запрещение шестого тома собрания сочинений. И так вплоть до вежливого, комплиментарного отказа М. М. Стасюлевича напечатать в «Вестнике Европы» «Заячий ремиз» — отказа, опечалившего последние дни умирающего писателя. За две недели до смерти Лесков в письме к Стасюлевичу грустно подытожил: «Есть поговорка: „пьян или не пьян, а если говорят, что пьян, то лучше спать ложись“. Так я и сделаю: „веселую повесть“ я не почитаю за такую опасную, но *положу ее спать*... Это мне уже за привычку: „Соборяне“ спали в столе три года. „Обозрение Пролога“ — пять лет. Пусть поспит и эта. Я Вам верю, что поводы опасаться есть, и, конечно, я нимало на Вас не претендую и очень чувствую, как Вы хотели мне „позолотить пилюлю“. Подождем. Возможно, что погода помягчает» (11, 607).

Что ж? Закономерный финал долгого плавания «против течений», органического неприятия Лесковым всех разновидностей направленной лжи. А тон письма спокойный, печальный — чувствуется, что силы Лескова на исходе. Время, «когда воспитания и науки не было, а между тем надо было петухом петь и чтобы перья болтались», давно минуло: в девяностые годы разве что по привычке Толиверовой «разметную грамоту» пошлет... На заре литературной юности совсем иначе. Тогда сочинялось письмо «литературному промышленнику» А. А. Краевскому с требованием немедленно уплатить гонорар за рассказ «Овцебык», с угрозами подвергнуть телесному наказанию (даже *мягкие части*) упоминались) в случае отказа или промедления: «...если Вы мне не пришлете счета и денег, то я Вам не забуду завтра сообщить, как я разделяюсь с теми, которые меня донимают до зла горя (...) Я Вас завтра заставлю провести пренеприятную минуту в Вашей почтенной жизни. Мне ведь терять меньше Вашего, а я потружусь для других» (10, 252). Правда, на следующий день Лесков сердечно сожалеет об этом вызове, просит извинить его, но, однако, каков нор, какая безудержность в гневе! Немало таких «напрягаев» разослал Лесков: родственникам и людям, с которыми его связывали давние дружеские и литературные отношения. Не щадил Лесков ни лиц, ни авторского самолюбия. Похвалив в начале письма фельетон Шубинского «о балах», Лесков затем пустился в критику и положительно увлекся, позабыв о благих намерениях: «Где это Вы слышали, что „рука“ будто может „встряивать болото“?.. Как может это переносить Ваше ухо и как такая нелепица может согласоваться в умопредставлении образованного человека?» (11, 514). А ведь Лесков хотел похвалить, одобрить и ободрить «генерала», да вот увяз в «болоте» и незаметно сочинил желчный «реприманд». Но надо сказать, что обо всем, имеющем отношение к литературе, Лесков обыкновенно высказывался с предельной прямой, задористо и неллицеприятно. Здесь для него мелочей не было — и «болото», которое столь безграмотно «встряивнул» Шубинский, Лескова самым искренним и чувствительным образом разозлило. Возмутило небрежное обращение со «словом», что, с точки зрения Лескова, было тяжким преступлением, насилием над языком. Весьма сочувствуя новой редакции «Северного

вестника» (А. Л. Волинский и Л. Я. Гуревич), Лесков совершенно не собирався скрывать критического отношения как к составу книжек, так и к сочинениям руководителей журнала. Он без всяких церемоний «разгромил» журнал в письме к Л. И. Веселитской: «Беллетристика „Северного вестника“ очень плоха, а редакции нет и в намеке. Это пехотные поручики даже так не пишут. Что же у них делают редакторы?! Бедная наша добрая знакомая! Неужто она думает, что это можно так вести журнал?» (11, 548).

Советы, каким образом вести хлопотное и многотрудное литературное дело, присутствуют в письмах к С. А. Юрьеву, Н. Н. Страхову, П. К. Щербальскому, В. Г. Черткову, В. М. Лаврову, В. А. Гольцеву, М. О. Меньшикову, А. Н. Пешковой-Толиверовой и даже Л. Н. Толстому. Критика нередко переходит в пространные наставления — литературные манифесты. Собственно, это конспективные статьи, эссе, фельетоны, эстетические фрагменты Лескова. Они представляют огромную ценность, принадлежат к шедеврам русской эстетической мысли второй половины XIX столетия.

Письма дают редчайшую возможность войти в художественную мастерскую Лескова, ощутить огонь творческого горения, оценить «копотливую», филигранную работу писателя над словом, искусную, как у его любимых «артистов» в «Запечатленном ангеле», «Левше», «Штопальщике», «Тупейном художнике». Особенно примечательны случаи, когда на наших глазах рождаются образы и сюжеты, критика вдруг и с неизбежностью переходит в художественное творчество, в свободный и головокружительный полет фантазии. На Лескова огромное впечатление произвел рассказ А. С. Суворина «Трагедия из-за пустяков» (Новое время. 1885. № 3531. 25 дек.). Он тут же излил восторг в крайне преувеличенных выражениях Шубинскому: «По смелой реальности и верности жизни я не знаю равного этому маленькому, но превосходнейшему рассказу». Рассказ выше, по мнению Лескова, романов Достоевского: «В этом рассказе материала художественного на целую повесть, в которой анализа можно было обнаружить столько, сколько его не обнаруживал нигде Достоевский (...) Это не „пустяки“, а „преступление и наказание“ по преимуществу» (11, 306).

Восторги не могут, однако, заслонить одной особенности критического отзыва: рассказ Суворина все же только «материал», из которого «можно было» сделать повесть. Да и художественное исполнение не удовлетворяет Лескова. Много изъянов: «несоответствующее заглавие», «несколько сомканное окончание», «холодй остался не выписан» (11, 306). Лесков, не ограничившись критикой, набрасывает свой вариант произведения, радикально пересочиняя и перелицовывая суворинский рассказ: «Она могла в трех строках рассказать, как она в первый раз отдалась лакею... Ее томил страх после смерти любовника... она не спала... ей что-то чудилось... лакей вышел из ниши, где тот погиб, и тут его смелость и нахальство и ее отчаяние. Думала отделаться одним мгновеньем, а он ввел это в хроническое дело... она все обтирала руки (как леди Макбет), чтобы от нее не пахло его противным прикосновением. Эта новая ее привычка до развязки рассказа увеличивала бы силу чего-то в ней совершающегося». Лесков «кстати» вспоминает орловскую даму, которая «попалась в руки своего кучера и дошла до сумасшествия, все обтираясь духами, чтобы от нее „конским потом не пахло“» (11, 307).

И вот, набросав гениальный план произведения, создав вчерне еще одну художественную параллель «Леди Макбет Мценского уезда», далеко отклонившись от суворинского «сужекта», Лесков восклицает: «Очень

глубокий и сильный рассказ». Но глубоки и сильны как раз «фантазии» Лескова, а не рассказ Суворина, где «все как-то легко сошло... Очень уж легко».

Автору он пишет о том же (через день), но сущее, предлагая широкую программу крайне необходимых перемен и уточнений. Умные, драгоценные советы дает Лесков. Да зря — осуществить их не в силах Суворин. К величайшему сожалению, Лесков далее критики и советов не пошел, не написал свое «Преступление и наказание».

Лесков уже в зрелом возрасте, устав от государственной и частной служб, решил попробовать свои силы в литературе. Либеральная эпоха, наступившая после 1854 года, к этому весьма располагала. Лескова захватила бурная общественная жизнь, в которую он энергично включился, вложив в первые публицистические произведения весь свой страстный темперамент. Разобраться в обстановке, сложившейся в пореформенной России, провинциалу без «школы» и выработанной системы убеждений было не только необыкновенно трудно, но и невозможно. В горячей «полемике идей» 1860-х годов он допустил бестактность, за которую заплатил сверх всякой меры. Современники не пощадили задиристого публициста «Северной пчелы», и обвинять их в несдержанности выражений и чрезмерной суровости оценок не стоит: у общественной борьбы своя жестокая логика. Оступившийся публицист сразу же был заклеимен и осужден по всем статьям неписанного либерально-демократического кодекса: обскурант, провокатор, даже агент III Отделения.

Конечно, далеко не все можно объяснить случайностями или недоразумениями. «Постепенновец» Лесков естественно и неизбежно ввязался в полемику с «нетерпеливцами» «Современника» и «Русского слова», поначалу, впрочем, носившую довольно корректный характер. Но появившаяся 30 мая 1862 года в «Северной пчеле» статья Лескова о петербургских пожарах, содержащая обращение к полиции с просьбой назвать истинных поджигателей (а в обществе циркулировали слухи о студентах-поджигателях), стала сенсацией, погубившей репутацию писателя в глазах поколения шестидесятников. Между тем ничего чрезвычайного или вопиющего в запальчивой статье Лескова не было. Писатель опирался на молву, на широко распространенное мнение, побудившее, как известно, Достоевского нанести визит вождю «нигилистов» Чернышевскому. Время, однако, было напряженное, страсти накалены: неудивительно, что статью Лескова восприняли как призыв к расправе над студентами. Лескову выпала незавидная доля «козла отпущения». Положение его стало столь невыносимым, что писателю пришлось бежать за границу.

Бегство ничего не изменило. Современники и сам Лесков оказались на диво «злопамятными». Лесков было собирался съездить в Лондон к Герцену и объясниться, но по многим причинам не сделал этого, вместо оправдания представив на суд читателей роман «Некуда» (1864), памфлетные страницы которого буквально разъярили либералов и радикалов. Роман появился в период резкого обострения политической ситуации в России, наступления реакции (арест Чернышевского, подавление крестьянских бунтов и польского восстания 1863 года). Выпады Лескова в это время против ряда деятелей либерального и демократического лагерей закономерно вызвали суровое осуждение прогрессивной журналистики. Тогда-то Д. И. Писарев в статье, иронически названной «Прогулки по садам российской словесности», вынес Стебницкому-Лескову приговор, который не подлежал смягчению и обжалованию и был авторитетно под-

держан М. Е. Салтыковым-Щедриным. Так совершился акт отлучения Лескова от литературы. Нужно сказать, что и Лесков сделал немало, чтобы укрепить свою нелестную репутацию, выпустив одновременно в 1871 году желчный памфлет «Загадочный человек» и тенденциозный роман «На ножах». Памфлетность ощутима в романе «Обойденные», хронике «Соборяне», других произведениях писателя — художественных и публицистических. Прошлое продолжало тяготеть над Лесковым, который и сам не мог отрешиться от нигилистических «фантомов», даже в 1880—1890-е годы, когда оно уже стало историей, не очень интересной и малопонятной новым поколениям.

Лесков никогда не забывал о катастрофе, постигшей его в 1862 году. Не забывал и о длительной литературной травле, заставлявшей метаться в поисках заработка и надежного журнального пристанища, о злонамеренном молчании критики, удостоивавшей его лишь пренебрежительной бранью. «Личные „терзательства“ Лескова были беспредельны. Они „засели“ у него „в печенях“ на всю жизнь. Он положительно трепетал всегда при воспоминании о них. Это была незаживляемая, неослабно кровоточащая рана. Она была тем больнее, что упорно почиталась им незаслуженной».<sup>4</sup> Это бесспорно и подтверждается бесчисленными эпистолярными и беседными высказываниями. Даже в последний период жизни, когда отношение к Лескову читающей публики и журналистики было самым благожелательным, писатель по закоренелой привычке возвращался на круги своя. Чрезвычайно показательно неведение об этой быльем поросшей истории И. Е. Репина, очень удивившегося гневу Лескова на «обидчиков». Выражая мнение, сложившееся в кругу русских читателей, он писал Лескову: «Не я один, вся образованная Россия знает Вас и любит, как очень выдающегося писателя с несомненными заслугами, как мыслящего человека в то же время (...) Уж Вы простите, не мне, грешному, объяснять Вам Ваше значение в русской литературе и русской жизни. Это значение большое, оно есть, и мы его, если бы даже и пожелали, не можем не признавать (...) Что же касается каких-то нападков на Вас, когда-то бывших, как Вы пишете, то я о них первый раз слышу, и это, вероятно, какие-нибудь шавки из подворотен шавкали на Вас (...) Право, Вы делаете так много чести какому-то темному и совсем неизвестному шантажу против Вас, что мне даже обидно».<sup>5</sup> Слова Репина были несомненно приятны Лескову, но о «шавках» (тем более что травили его и весьма породистые гончие — Писарев, Щедрин, Суворин, Михайловский) он никак не мог забыть.

Неукротимая ярость Лескова при воспоминаниях о прошлых обидах удивила и А. Л. Волынского, профессионального критика и историка литературы. Волынский склонен был видеть в этом некий природный изъян, нравственную слабость Лескова: «До последних дней жизни в нем кипела мстительная страсть по отношению к людям, которые обеславили первые проявления его литературного таланта (...) Старая неловкость не переставала мучить его совесть. Беседуя о пожарах, Лесков почти невольно обходил молчанием наиболее опасные пункты, а выдвигал вперед ничтожные обстоятельства. В нем не было нравственных сил для открытого покаяния и прямодушного объяснения. Даже в обществе людей, которые любили его удивительный талант и превыше всяких недоразумений ставили его художественную деятельность, у него не хватало силы духа

<sup>4</sup> Лесков А. Жизнь Николая Лескова. Т. 1 С. 213.

<sup>5</sup> Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям. М., 1950. С. 37.



для обезоруживающей откровенности. Ошибка, сделанная в молодые годы, как бы сжилась с его душой».<sup>6</sup>

Волынский явно тенденциозно истолковал слова Лескова, точно передав накал эмоций, бурлящую ненависть к противникам, многие из которых уже ушли в мир иной. Но совершенно напрасно критик подозревает Лескова в слабости духа, будто бы не позволившей ему исповедально очиститься от давнишних ошибок и неловкостей. Лесков однажды откровенно, не щадя себя, писал (1890) П. В. Быкову: «Большая ошибка была в желании остановить бурный порыв, который теперь представляется мне естественным явлением... Я был молод и не подозревал в „благородном консерватизме“ всей его подлости и себялюбия. В этом и есть моя ошибка; она сделана искренно, т. е. без дурных побуждений, но я ее себе не прощаю и не могу простить». Однако в том-то и дело, что Лесков, признавая (до определенной черты) собственные промахи, ставил себе одновременно в заслугу борьбу с нигилизмом. И чаще всего писатель сожалел лишь о некоторых карикатурных крайностях в романе «Некуда».

Лесков считал роман произведением, в котором «пророчески» угадан ход дальнейших событий русской общественной жизни (со слов Лескова известно, что о «пророческом значении» романа говорили Щербальский и Страхов; в том же духе, как передает А. И. Фаресов, высказывался и Лев Толстой). Если пророчество, то о каких серьезных ошибках можно говорить? Напротив, следует энергично защитить оклеветанное произведение, что и делает Лесков многократно, повторяя одни и те же аргументы и свидетельства в письмах корреспондентам самых разных воззрений и убеждений. Он неутомимо очищает роман от всего случайного и наносного, лежащего сугубо в плоскости полемики идей шестидесятых годов и тогда же умершего, выделяет то, что сохранило значение «в долготу дней». Да и в обструкции, устроенной Лескову «прогрессивными» современниками, воспитанными на новейших «катехизисах» — романе «Что делать?» и статьях Писарева о «мыслящем пролетариате» и «маленьком Пушкине», он не всегда видел лишь одно несчастье и темную сторону своего промежуточного и странного положения в литературе, полагая, что история всех рассудит, каждому воздав по заслугам. Бумерангом возвращая «уважаемому недругу» Суворину упрёки в лагерной и тенденциозной позиции («Вы не свободны и партийны, гораздо более чем я, которого в этом укоряете»), Лесков далее эмоционально и резко писал о себе: «„Ран“, нанесенных мне мерзавцами, клеветавшими на меня, я не чувствую. Поверьте мне в этом! Да и что чувствовать? Неужто у меня нет друзей, или мне заперты двери честных домов, или мне негде помещать моих работ? Боже мой! Какой же вред они мне сделали? Кто же, зная меня, не знает, что я имею право быть назван человеком не глупым и честным? Затем, когда смерть сделает свое дело, все это получит новое освещение, и стыдно будет не моим детям, а детям тех, кого я по совести называю клеветниками и подлецами» (10, 297, 298).

Лесков, с благодарностью откликнувшись на статью М. А. Протопопова (он неизменно отзывался о критике в письмах с теплотой, всячески стараясь защитить от несправедливых нападок коллег), был задет главной мыслью, формулой, заданной ее названием: «Большой талант». Возражая Протопову, Лесков предложил иное объяснение замысловатой траектории своего литературного пути: «Говоря об авторе, „хотя не законченном, но samozаклучившемся“, — Вы забыли его время и то, что он есть дитя

<sup>6</sup> Волынский А. Л. Н. С. Лесков. Критический очерк. СПб., 1899. С. 12.

своего времени. Мне просто надо было снять с себя путы, опутывающие с детства дворянское дитя в России. Я бы, писавши о себе, назвал статью не „больной талант“, а „трудный рост“. Дворянские тенденции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т. п. Во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но... я не видел „где истина!“ (...) я не знал: чей я? „Хорошо прочитанное евангелие“ мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства... Я блуждал и воротился, и стал *сам собою* — тем, что я есмь. Многие мною написанное мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде — я всегда и везде был прям и искренен... Я просто заблуждался — не понимал, когда подчинялся влиянию, и вообще — „не прочел хорошо евангелия“» (11, 509). Почти в тех же выражениях пишет по поводу статьи Протопопова Лесков и В. А. Гольцеву, предлагая другие, более справедливые и точные, с его точки зрения, определения — «тугой рост», «возраст».

Писатель, опираясь на свой тридцатилетний опыт, говорит о «возрасте», «трудном» или «тугом» росте. Не следует понимать, разумеется, слишком узко и формально слова о «хорошо прочитанном евангелии»: речь идет о все более глубоком постижении смысла христианской религии, освобождении от пут и помочей, духовном возмужании — дороге тернистой, с многочисленными завалами и искушениями, которую приходилось одолевать в одиночестве, без мудрых учителей и наставников, все больше в кольце «соблазнительей смысла». Горек был литературный хлеб. «Что попало — я все работал и ни у кого ничего не сволок и не зажил, — с достоинством и болью отвечал Лесков Суворину, не признавая за ним нравственного права его судить. — Не укоряйте меня в том, что я работал. Это страшная драма! Я работал *что брали*, а не что я хотел работать. От этого воспоминания кровь кипит в жилах. Героем быть трудно, когда голод и холод терзает, и я еще был не один. Я предпочел меньшее: остаться честным человеком, и меня никто не может уличить в бесчестном поступке» (11, 385).

В середине 1870-х годов Лесков даже впал в «отчаяние», устав продирается сквозь тернии. Письма той поры (особенно к И. С. Аксакову и Щербальскому), когда Лесков даже помышлял на какое-то время уйти из литературы, переполнены жалобами. Чувствуется, что Лескову уже совсем невмоготу «жить в этой задухе». Ненавистны литературные «столончатники» всех мастей. Ненавистны критики, для которых главное «общий вывод и направление», усредняющие художника до размеров публициста определенной идеологической окраски: «Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически от своих чувств и понятий» (10, 400). Лескова такое отношение к творчеству и личности художника глубоко возмущало. Всегда. И чем дальше, тем больше. Но выработка своей независимой линии давалась нелегко. Ему долго был заказан путь в журналы радикальной и либерально-демократической ориентации. Заделало Лескова отношение Некрасова и Щедрина, писателей, чье творчество он высоко ценил, которые ему, в сущности, были гораздо ближе, чем М. Н. Катков и И. С. Аксаков (впрочем, перепиской, дружескими и литературными связями со знаменитым славянофилом весьма дорожил). «В одном знакомом доме, — рассказывает Лесков в письме к Аксакову, — Некрасов сказал: „Да разве мы не ценим Лескова? Мы ему *только ходу не даем*“, а Салтыков пояснил: „А у тех на безлюдье он да еще кой-кто мотается, так они их сами *измором возьмут*“» (10, 397). Лесков приводит

окололитературный разговор, возможно, творчески им переработанный, но в основном точно и образно передающий суть. Обстоятельства сложились так, что Лескова в литературе зачислили в консервативно-охранительный лагерь, определили в «загон» М. Н. Каткова. Не очень уютно себя там Лесков чувствовал. Зависимость тяготила. Несогласия и «нестроения» с годами резко усилились. Имел Лесков и редчайшую возможность узнать людей «московского уряда мыслей» очень близко, а это знание только приблизило разрыв. В публицистике и письмах Лескова исключительно выразительны, остры шаржированно-карикатурные портреты консерваторов. Бесподобно, в частности, аттестует Лесков издателя «Гражданина», «князя-точку» В. П. Мещерского, плодовитого бульварного прозаика и нравственно растленную личность: «Это просто какой-то литературный Агасфер: тому сказано: „иди“, а этому: „пиши“, и он пишет, пишет, и за что ни возьмется, все опоплит. Удивительное дело, что при его заступничестве за власть хочется чувствовать себя бунтовщиком, при его воспевании любви помышляешь о другом, даже при его заступничестве за веру и церковь я теряю терпение и говорю чуть ли не безумные речи во вкусе атеизма и безверия... Я согласен с Вами, что ему не худо бы „запретить“ писать; но еще лучше — нельзя ли его склонить к этому по чести: нельзя ли ему поднести об этом адрес?» (10, 393).

Один из постоянных персонажей писем Лескова — Болеслав Маркевич. Именно — персонаж, «герой»: Лесков воспроизводит жесты, словечки, манеры Маркевича, «портретирует», движимый психологическими и эстетическими причинами. Для Лескова Маркевич любопытный «литературный характер», тип проходимца с претензиями на светскость. Вражды к нему он не испытывает, наблюдая с интересом за карьерой и «эволюциями» бесподобного «камергера» и «шамбеляна» Бобоши. Симпатизировал Лескову и Маркевич, ходатайствуя перед Катковым за «Очарованного странника», ценя талант и беседы автора «Соборян». Не прервались между ними отношения и после скандальной истории с Б. Маркевичем, уличенным во взятке, чем он крайне разозлил щепетильного и прямолинейного Каткова. Конечно, Лескова возмутила «грязная история»; возмутило и трусливо-лакейское поведение Маркевича. Еще больше потрясло другое — зловещие приметы разложения общества: «...падение заносчивого хлыща с его двухаршинной высоты взбурывило такие нравственные подонки общественных страстей, что мнится, не стоят ли уже какие-нибудь вестготы за шлиссельбургскою заставою вашего сгнившего Рима? Что за подлые и жестокие сердца! что за низкие умы!» (10, 381). Вот что ужасало Лескова, а не проступки Маркевича, который, подобно гоголевскому поручику Пирогову, скоро утешился, «поправился и духом и брюхом» (10, 428).

С самим Катковым и главным штабом «Русского вестника» отношения у Лескова складывались куда серьезнее, драматичнее, жестче. Недоразумений было много. Они накапливались постепенно, ведя к логически неминуемому разрыву. Долгое время Лесков в недоразумениях склонен был винить в основном «форейтора», «ужасного оператора», «приготовителя к печати» Н. А. Любимова, бунтуя против странных придирок и беззастенчиво-произвольных купюр в текстах своих произведений. Только позднее, после письма Любимова к нему, из которого следовало, что как раз Катков противился публикации на страницах журнала «Очарованного странника», гнев Лескова переключился на него. Не сразу это произошло: Лесков был признателен Каткову за вовремя оказанную помощь и искренне собирался активно сотрудничать в его журнале. Он

с благодарностью принял протянутую в тяжелую минуту Катковым руку. Щедрую, добавим, руку: «Катков был благородный человек к сотрудникам: зачем он платил мне по 150 руб., когда мог платить, подобно Кашпиреву, по 50, и мне „некуда“ было деться!.. А он еще мне подарил издание „Соборян“» (11, 384). Симпатичны были Лескову целеустремленность и твердость характера Каткова; он его даже однажды сравнил с Л. Толстым: «...кроме Толстого и Каткова нет людей, которых неправда может взять за живое и заставить говорить языком чести и истины (как ее кто понимает)». С удовольствием вспоминал и лестные оценки Катковым своих произведений.

Но период сближения с Катковым был относительно непродолжительным. Раздражал политический курс руководителя «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Возмущало пренебрежительное, утилитарное отношение к литературе. Уже в апреле 1875 года Лесков, пытаясь сохранить объективность, пишет Аксакову: «Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня как на писателя он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а, напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние» (10, 396).

«Развод» с редактором «Русского вестника» состоялся спокойно, без обид, хлопания дверьми и камней за пазухой. «С Катковым мы разошлись по поводу „Захудалого рода“ и разошлись мирно, по несогласию во взглядах». В дальнейшем, когда позиции Лескова окончательно устоялись, определились, он по достоинству заклемит Победоносцева, Феоктистова, Делянова и других сеятелей зла и раздора; не пощадит он и одного из «отцов реакции» Каткова. Иронически освещена «историческая фигура Каткова», его «лейб-агитация» в собственной «лейб-газете» в очерке «Вдохновенные бродяги». Почтил память Каткова Лесков и в памфлетном «антинекрологе», видимо руководствуясь правилом, что о мертвых следует говорить правду, а не приукрашивать их жизненный путь риторико-торжественными и фальшивыми фразами. Некролог вызвал крайнее неудовольствие Суворина (на гранках его резолюция: «Зачем Ф. И. (Булгаков) давал в набор эту сумасшедшую вещь?»), воспротивившегося публикации. Причины запрета ясны. Лесков выразил в некрологе свое отвращение к тем плакальщикам, кто «сопричисляют льяворостного кормчего „Московских ведомостей“ к сонму праведников и навеки вплетают имя его в благоуханный венок преподобных» (11, 159). Не о литературном «презрителе», а о политических деяниях «воителя» идет речь в этом уникальном некрологе. Припомнил Лесков «классицизм», внедрявшийся Катковым, стремившимся загнать «всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия», и, конечно, его заслуги («всемирная слава») в годину польского восстания 1863 года: «Теперь, когда прошел угар порушенной отчизны, видно, что в пылу священного восторга М. Н. не разглядел и не сообразил, на чью мельницу льет воду, не понимая, какого непримиримого и лютого врага готовит России и русским в каждом поляке, согнанном с отцовского будынку и лишенном права даже с сыном разговаривать на языке своих отцов...» (11, 161). Словом, поразительный «складень содеянного... при жизни» предъявляет Каткову Лесков, называя «превосходительного трибуна Страстного бульвара» «грамотным наследником Ивана Яковлевича Кореяши на Шеллинговой подкладке» (11, 162).

Как видим, ничего личного в некрологе нет. Нелепо говорить и о злопамятности, зломнительности Лескова. Статья — плод долгих размышлений над «историческими» заслугами неистового «воителя». Создал Лесков и нечто вроде комического послесловия к некрологу, послав его, бесспорно, с умыслом Суворину. Злости в гротескной зарисовке Каткова, тщетно пытающегося подражать «светским» манерам толстозадаго Маркевича («Маркевич был толстожоп и имел удивительно округленные око-рока, по которым умел при разговоре громко хлопать себя ладонями»), нет — рассказан «пресмешной случай» в добродушно-ироническом стиле автора «Печерских антиков», «Умершего сословия», подсмотревшего в зеркало «трибуна» за совершенно мальчишеским занятием: «...я увидал, что М. Н. встал с места, поднял фалду и начал себя хлопать по тем самым местам, из которых Маркевич извлекал у себя громкие и полные звуки... У М. Н-ча ничего подобного не выходило, и он, оглянувшись по сторонам, сделал большие усилия, чтобы хлопнуть себя, как Маркевич, но все это было напрасно: звук выходил какой-то тупой и плюгавый, да и вся фигура его в этом положении не имела той метрдотельской, величавой наглости, какую отличалась массивная фигура Маркевича. — Тогда М. Н. вздохнул, опустил фалду и с усталостью и грустью сел писать передовую статью, в которой очень громко хлопнул по голове Валуева» (11, 350). По всей видимости, Лесков здесь немало прибавил, дофантазировал, придав сценке художественно завершенный характер. Оттого она и запоминается отчетливее, чем прямые инвективные суждения Лескова. И ярко изображает некоторые черты личности Каткова.

Духовный рост Лескова — явление необыкновенно сложное и многоставное, органичное, но включающее как колебания, так и резкие, кардинальные идеологические перемены. А. Лесков вспоминает: «Однажды, должно быть, в начале девяностых годов, за ужином у П. А. Гайдебурова зашла речь об устойчивости и изменчивости взглядов. Лесков утверждал, что пока человек жив, если он действительно одушевлен еще живою мыслью, он неминуемо должен менять некоторые свои воззрения, прогрессировать в них, а если застыл, — значит, надо умирать, впереди уже ждать нечего!»<sup>7</sup>

Говоря так, Лесков оглядывался на собственный творческий путь, на свои долгие «блуждания». Слишком многое отделяет «Некуда», «Соборян», «На ножах» от таких поздних произведений Лескова, как «Продукт природы», «Загон», «Импровизаторы», «Заячий ремиз». Конечно, можно возразить, указав на то, что в раннем рассказе «Язвительный» содержится зерно «потрясательного» «Загона». Но это лишь свидетельствует об органичности и постепенности эволюции Лескова. К тому же все-таки только зерно; нет еще резких и гневных обобщений «Загона», мощной иронии Лескова девяностых годов. Перемены убеждений ярко запечатлены в творчестве художника. Еще обнаженнее — в письмах. Перемены поражают — так контрастны и противоположны суждения Лескова разных лет. В 70-е годы (и в начале 80-х) Лесков предлагает свои услуги в письмах к Н. Н. Страхову и С. А. Юрьеву журналам почвеннической и неославянофильской ориентации. Последнего уверяет в неизменной верности славнофильскому воззрению: «...я всегда тяготел к Вашему стягу, но я вышел на литературную работу тогда, когда „Русская беседа“ уже не существовала, а к газетной работе я мало способен» (10, 280). Но уже

<sup>7</sup> Лесков А. Жизнь Николая Лескова. Т. 1 С. 181.

публикации в «Руси» И. С. Аксакова говорят о весьма специфическом понимании Лесковым служения славянофильскому стягу. Переписка Лескова с Аксаковым выявила немало идеологических и эстетических разногласий. Вскоре Лесков станет высказываться только в антиславянофильском духе, не делая исключения и для И. Аксакова. Он резко возражает Суворину: «„Славянофилы“. Я знаю их, да и как еще знаю! Тем, конечно, любо было полемизировать, но вообще это никакого удовольствия и никакой пользы не приносит. Употреблю Ваши слова: „Врут всяк во что хочешь!“ У славянофилов же было не так: они вопрошали „Какое веруеши?“ И хорошая вера была только их вера, „яже вселенную утверди“. Это были величайшие спорщики, и спорам их не было конца, если бы они просто не перевелись на свете. За свободу совести и за то, что выше всего в учении Христа, — они не стояли никогда и не могли стоять за это. — Вы совсем не правы». П. И. Вейнбергу Лесков писал еще откровеннее: «...я не только не партизан славянофильского настроения, но даже просто не люблю его». Постепенно, но неуклонно возрастает и неприязнь Лескова к почвенникам и «православистам» Н. Н. Страхову и Ф. М. Достоевскому, достигающая кульминации в статье «О кувельном мужике» и письмах к М. О. Меньшикову.

Лесков нисколько не преувеличивал и не рисовался, утверждая, что знает Россию как свои пять пальцев. Он рос в самой гуще великорусской жизни, на Орловщине, и в дальнейшем, служа по разным ведомствам, изучил досконально быт и нравы соотечественников всех сословий. Неизменно велик был интерес Лескова к истории и религиозным движениям в России (в прошлом и настоящем). Лесков — «очарованный странник», волшебник слова — поистине «пронзил Русь»: удивительно богатство и разнообразие национальных типов и характеров, мягкость и в то же время роскошь красок, неповторимые задушевные интонации великого «сказочника». Сколько простора и шири в произведениях Лескова! Он сохранил для истории образы русских богоносцев и праведников, без которых, как известно, не стоит село. Лескова чересчур пристрастные и утилитарные современники упрекали даже в квасном патриотизме. Не мог быть Лесков квасным патриотом, потому что слишком хорошо знал и любил Россию. Продолжал ее любить, даже впадая в отчаяние, подавленный «зверством», бестолковщиной, абсурдностью российской жизни. Горькие настроения необыкновенно сильны в поздних произведениях Лескова, которые Стасюлевич метко назвал «отрывками из Содома и Гоморры». Но и значительно раньше грусть и тревога часто овладевали Лесковым, проникая и в самые веселые, «комические» произведения, в том числе и в «добрую сатиру» «Смех и горе». «...Боже мой! Боже мой! что мы за необыкновенный народ! И кто, какой чужеземец может нас знать, и понимать, и отводить нам место и значение? Куда стремишься, куда плывешь ты, о святая родина, на своем утлом корабле со своими пьяными матросами?» — восклицал и вопрошал Лесков в «Монашеских островах на Ладожском озере».<sup>8</sup> С. Н. Шубинскому однажды Лесков в очень мрачную минуту (таких минут с годами становилось все больше) писал: «Скучно, тяжело, и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести. Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми

<sup>8</sup> Лесков Н. С. Очерки и рассказы. Петрозаводск, 1988. С. 134.

ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства...» (11, 283).

Представить Лескова французским писателям, конечно, невозможно, да он и сам о такой перспективе пишет в сослагательном наклонении (Лескова на юг поехать нельзя было уговорить, какая уж там Франция!). Просто так он гиперболически выражает охватившие его гнев и отчаяние. Эмоции, рожденные любовью и потому столь сильные. Через три дня Лесков, снова в письме к Шубинскому, скажет и о любви, и о муках, не позволяющих ему холодно философствовать: «Родину-то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничество, либо пошрое пяченье назад, „домой“, то есть в допетровскую дурость и кривду. Как с этим „бодриться“? Одно средство — презирать и ненавидеть эту родину, а быть философом и холодным человеком... Но до этого без мук не дойдешь. И на небе ни просвета, везде *minimum* мысли. Все истинно честное и благородное сникло: оно вредно и отстраняется, — люди, достойные одного презрения, идут в гору... Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?» (11, 284, 285).

Неудивительно, что Лесков отказывается от роли утешителя, выбирая долю Ювенала, обличителя. По-дружески выговаривает он Тершигорову: «„Истины“ пора говорить без улыбки, и это можно, а еще более — это должно. Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях» (11, 576). Для Лескова же вдохновляющим примером был Лев Толстой. Он с недоумением писал Меньшикову в ответ на какие-то сомнения критика: «Лев Николаевич есть драгоценнейший человек нашего времени и я не знаю: чем он может или мог обидеть людей, которым не противно христианское настроение духа? Но я однако понимаю, что тем, которые хотят делать и делают карьеры, и стремятся стать „правителями“, и для того и лгут, и ползут, и бесятся — он должен быть очень неприятен... Ведь он же их *вскрывает*, и еще не *вскрыл* до дна... Они „чуют правду“, которую „возвестит заря“ (...) „Кое убо общение свету со тьмою?“ А у них „если таков свет, то какова же их тьма?“»

В свете этих и других высказываний о Толстом становится особенно понятным, почему Лесков с таким волнением ожидал его оценки «Загона» — квинтэссенции размышлений писателя о старой и новой России. Толстой не обманул ожиданий, одоблив тенденцию и строгое, правдивое отношение к «достохвальному прошлому»: «Что же вам говорили, что не следует говорить? нечто то, что вы не восхваляете старину. Но это напрасно. Хороша старина, но еще лучше свобода». Вполне логичный ответ автора статьи «Христианство и патриотизм», включившего в «Круг чтения» афоризм: «Последнее прибежище негодяя — патриотизм», о котором недавно запальчиво и с горечью рассуждал В. Распутин. Думаю, что гораздо тоньше и справедливее оценил мысль и намерения Толстого Г. Адамович: «Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления „Толстой“, опровергает полюбившийся ему старый английский афоризм.<sup>9</sup> Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно бы

<sup>9</sup> Адамович Г. Комментарии // Знамя. 1990. № 3. С. 170.

сказать, что патриотизм надо „выстрадать“, иначе ему грош цена. В особенности — патриотизму русскому».<sup>10</sup>

Выстраданным патриотизмом и отмечены «Загон» и другие «рассказы кстати» Лескова девяностых годов. Бесспорно, преобладает, даже бушует в них «очистительный огонь отрицания». Но поклепа, клеветы нет. Лесков остается верным психологической и исторической правде, восстанавливая с особенным акцентом этапы национального «роста», обнажая глубинные процессы и корни трагикомических парадоксальных импровизаций в «загоне». Отношение Лескова к старине сложно и, так сказать, диалектично. Толстому он писал: «Умную старину я всегда любил и всегда думал, что ее надо бы приподнять со дна, где ее завалили хламом (...) Только надо, реставрируя старое, не подавать мыслей к уничтожению нового». Несправедливое, нигилистическое отношение к прошлому Лесков осуждал безоговорочно. Его сильно задели слова А. Л. Волынского, писавшего в заметке «Ответ „Вестнику Европы“», что «полуневежественная Обломовка не дала ни одного борца за теоретическую истину». Потрясенный таким «открытием», Лесков посылает Веселитской (о том же он пишет и Меньшикову) гроздь рассерженных риторических вопросов: «А раскол?! А сожженный погами Курицын и его товарищ? А Косой и Матвей Башкин и вообще „религиозные вольнодумцы“? Неужели это не „борцы за теоретическую истину“?» (11, 541). Патриотическое чувство Лескова уязвлено столь явной и фельетонной несправедливостью.

Эволюция религиозных воззрений Лескова требует особого, большого и серьезного разговора. В настоящей статье можно только коснуться некоторых главных тенденций, контурно определить направление движения, преимущественно опираясь на эпистолярные суждения писателя.

Лесков периода «Соборян» и «Запечатленного ангела» верил (точнее, стремился верить) в то, что «старгородской поповне ударил час всеобщего обновления», хотя отказывался кадить современным деятелям церкви и суетно «пророчествовать». Мысль о приспособлении «Соборян» к охранительным тенденциям возмущает Лескова, отклоняющего советы Щебальского: «Я не враг церкви, а ее друг, или более: я покорный и преданный ее сын и уверенный православный — я не хочу ее опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью, но в новом колене слуг алтаря я не вижу „попов великих“...» (10, 329). Через четыре года Лесков пишет Щебальскому, уже не рекомендуя себя «покорным и преданным» сыном церкви и «уверенным православным»: «Вообще сделался „перевертнем“ и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью... (...) Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя. „Соединение“, о котором молится наша церковь, если произойдет, то никак не на почве согласования „артикулов веры“, а совсем иначе (...) меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина*, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей» (10, 411, 412).

Перемена разительная, и это еще не предел «еретического» настроения Лескова. Он часто писал о своем неприятии современной церковности,

<sup>10</sup> Из книги Д. Босуэлла «Жизнь Самуэла Джонсона» («Patriotism is the last resource of a scoundrel», — запись от 7 апреля 1775 года.)



олицетворением которой для него был ненавистный «Лампадоносец». Особенно — Суворину (но то же самое в разных вариациях — и другим корреспондентам): «На церковность не для чего злиться, но хлопотать надо не о ней. Ее время прошло и никогда более не возвратится, между тем как цели христианства вечны» (11, 287); «Веры же во всей ее церковной пошлости я не хочу ни утверждать, ни разрушать. О разрушении ее хорошо заботятся архиереи и попы с дьяками. Они ее и ухлопают» (11, 406).

Естественно для Лескова и противопоставление «православия» и «толстовства». Лесков с воодушевлением откликнулся на трактаты и статьи создателя «Войны и мира», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича». В полном смысле Лесков «толстовцем» не был, а некоторые ригористические крайности в его воззрениях не разделял, весьма зло отзываясь о слишком догматических учениках Толстого. Но абсолютно бесспорно, что очень многое ему было близко и дорого в проповеди и критике Толстого. «Я всегда с ним в согласии, — писал Лесков В. Г. Черткову, — и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, — там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях, — что всегда изменчиво и зависит от случайностей» (11, 356). Не считал себя Лесков и учеником Толстого. Неизменно подчеркивал органичность своего пути, выстраданность убеждений, «совпавших» с мыслями и настроениями Толстого. За полгода до смерти Лесков взволнованно и искренне писал о духовном «аккорде» с Толстым, встреча с которым имела поистине громадное и спасительное значение для него, способствовала самоопределению в утомительном и трудном плавании «против течений»: «...люблю я то самое, что и Вы любите, и верю с Вами в одно и то же, и это само так пришло и так продолжается. Но я всегда от Вас беру огня и засвечиваю свою лучинку и вижу, что идет у нас ровно, и я всегда в философеме моей религии (если так можно выразиться) спокоен, но *смотрю на Вас* и всегда напряженно интересуюсь: как у Вас идет работа мысли. (...) Мои мнения все почти *сродные* с Вашими, но они менее сильны и менее ясны: я нуждаюсь в Вас *для моего утверждения*» (11, 591, 592).

Толстой — великий духовный ориентир, Толстой — могучий источник света, «святыня на земле — священник Бога живого, облакающий правдою». Чтение произведений Толстого для Лескова напряженный процесс сопереживания и самоутверждения. В мощном и ярком свете толстовского «маяка» сподручнее было и брести со своим «фонарем» («плошкой», «лучинкой») по извилистой, усеянной шипами литературной дороге. А в том, что такая «работа с верою» есть истинное христианство и высшая духовная потребность, Лесков как религиозный человек был убежден. И тем с большей силой восставал он на узурпаторов и «соблазнительей смысла», поставивших веру в рабскую зависимость от государства, бесстыдно торгующих «святынями» от имени православной церкви. Потому Лесков и решил свои силы отдать расчистительной работе, разоблачению лжи, ханжества, лицемерия, отравляющих сознание народа, уводящих его от учения Христа: «...я смерял мои силы и окинул глазом работу, и увидел как раз то, что видел Каульбах: „Вижу, что в храме торгуют и что торговля мешает быть в храме тому, что должно быть там“. И понял я, что прежде всего надо выгнать торгующих в храме и выместить за ними

их мусор, и тогда, когда горница будет подметена и постлана, — придет в нее тот, кому довлеет чистота, и нет ему общения с продающими и покупающими. И я взял метлу и все выметаю мусор и гоню к выходу торговцев, и почитаю это за мое дело, которое я умею и могу делать, тогда как другого, большего, я не умею делать и если бы взялся за него, то сделал бы его худо и не принес бы даже и той пользы, которую, может быть, принес, поталкивая торговцев и выбрасывая их пометы за церковный порог» (11, 581).

Лесков чересчур скромно оценивает свои силы. Он великолепно мог делать и другое, о чем убедительнее всяких слов свидетельствуют «Соборяне», «Запечатленный ангел», «На краю света», большой цикл «Праведники». Но действительно в последние годы он стал преимущественно чистильщиком, разгребателем грязи. Не атеистом и нигилистом, разумеется, а христианином, исполняющим свое предназначение, готовящим путь тому, «кому довлеет чистота».

Лесков ценил и любил наивную и трогательную веру народа «с Христом за пазушкой», «живой дух веры». Религиозные воззрения писателя — сердцевина его широкого, гуманного и толерантного мирозерцания, чуждого национализма, нетерпимости, лжи: «Единство рода человеческого, — что ни говорите, — не есть утопия; человек прежде всего достоин участия, потому что он человек, его состояние я понимаю, к какой бы национальности он ни принадлежал». «Родство же духовное паче плотского». В письмах Лескова впечатляюще, с подкупающей искренностью и большой художественной силой, развернута история рождения этого гуманного мирозерцания. Эпистолярные диалоги с П. К. Щебальским, С. Н. Шубинским, И. С. Аксаковым, А. С. Сувориным, Л. Н. Толстым, М. О. Меньшиковым, В. Г. Чертковым, Л. И. Веселитской и другими современниками писателя воссоздают важнейшие этапы пути Лескова «через тернии и колючий волчец» к свету.

## «ТРАГЕДИЯ МАШЕТ МАНТИЕЙ МИШУРНОЙ...»

(ИЗОБРАЖЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ В ПЬЕСАХ М. А. БУЛГАКОВА)

В своих пьесах М. А. Булгаков создал образы императора Николая в пьесе «Александр Пушкин», Иоанна Грозного в пьесе «Иван Васильевич», Петра I в либретто «Петр Великий» и Николая II в пьесе «Батум». Фантастический рассказ о последнем русском царе и монолог об убитых императорах появляются в «Днях Турбиных». Портрет Александра III возникает в «Театральном романе», в рассказе о том, как генерал Комаровский-Эшшпар де Бионкур попросил отставки у императора. Сцену встречи Александра I с московским дворянством Булгаков включает в инсценировку «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

На первых же страницах «Белой гвардии» возникает детское воспоминание Булгакова — царь Алексей Михайлович с соколом на рукавице, вытканый на потертом малиновом ковре. И вслед за тем, при описании катастрофических событий в Киеве 1918 года, в образный ряд включается крушение монархии: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а „Капитанскую дочку“ сожгут в печи».<sup>1</sup> Одна из гениальных фраз русской литературы XX века — свидетельством того, что на подсознательном уровне размышления Булгакова о судьбе России тесно сплетены с судьбой монархии. Любимый герой писателя, Алексей Турбин, прямо признается, что он монархист. Совершенно очевидно, однако, что нельзя воспринимать эту тему лишь как политическую. Образы царей затрагивают глубокие мировоззренческие и эстетические корни творчества Булгакова.

По способу восприятия и воспроизведения мира Булгаков был, безусловно, архаистом, создающим свой духовный мир и воспринимающим реальность как иерархию ценностей и положений. Если бы начало литературной судьбы писателя пришлось на другое время, то, возможно, иерархичность не приобрела бы столь важного значения в его творчестве. Однако Булгаков создавал свой первый роман о разрушенном мире, а последний — о мире забытом. Он старался восстановить их хотя бы в реальности литературного текста, воплотить свое духовное видение. Творчество Булгакова было во многом борьбой с уничтожением, разрушением, исчезновением человеческих судеб и христианских понятий, исключенных из новой действительности, как старые правила грамматики. Черты вечного царства истины, проступающие сквозь контуры царства земного, были характерной чертой средневекового миросозерцания, сохранившегося в русской культуре вплоть до романов Достоевского и Толстого. Последний всплеск этой традиции — творчество Булгакова, где истина земная поверяется истинной небесной и проблемы современности осмысляются с привлечением библейской образности.

<sup>1</sup> Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1989. С. 181.

Если в целом определить отношение Булгакова к монархии, то идея России была для него выше идеи монархии, а идея монархии выше ее отдельных носителей. По-видимому, читателя не должна вводить в заблуждение фраза, написанная Булгаковым в дневнике 1923 года: «Черт бы побрал всех Романовых!»<sup>2</sup> Она относится к эмигрантской деятельности вел. кн. Николая Николаевича и угрозе новой гражданской войны. Вероятно, в ней косвенно запечатлелось и отношение Булгакова к событиям 1 и 3 марта 1917 года — отречению от престола Николая II и Михаила Романовых. В произведениях писателя фигура царя всегда важна. Отношение к царю — носителю верховной власти, жертве революционного насилия или представителю древней цивилизации — определяет масштаб личности персонажа и часто раскрывает его характер. На этом приеме построено действие пьесы «Иван Васильевич».<sup>3</sup> Сопоставление исторических фактов с текстами Булгакова позволяет в некоторой степени приоткрыть способ шифровки мыслей, которые писатель хотел запечатлеть в своих произведениях, но не мог высказать прямо.

Как известно, сразу после приезда в Москву осенью 1921 года Булгаков задумывал пьесу о последних днях династии Романовых. В письме матери 17 ноября 1921 года он сделал специальную приписку сестре Надежде Афанасьевне:

«Просьба, передайте Наде (не в силах писать отдельно — сплю!) — нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая и Распутина в период 16-го и 17-го годов (убийство и переворот). Газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего „Дневник“ Пуришкевича — до зарезу! Описание костюмов, портреты, воспоминания и т. д. Она поймет. Лелею мысль создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го года.

Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно. В Москве нет „Дневника“. Просите Надю достать во что бы то ни стало! (...)

Если „Дневник“ попадет в руки ей временно, прошу немедленно теперь же списать дословно из него все, что касается убийства с граммофоном, заговора Феликса и Пуришкевича, докладов Пур(и)шкевича) Николаю, личности Николая Михайловича, и послать мне в письмах (...) В Румянцевском музее нет комплектов газет 17 г.!! Очень прошу».<sup>4</sup>

Письмо Булгакова свидетельствует о его специальных занятиях с документами. Следы этих занятий всплывают позднее: в 1931 году при встрече с завлитом Ленинградского Красного театра Е. М. Шереметьевой, обладавший прекрасной памятью Булгаков безошибочно назвал имя и должность ее отца, чиновника одного из министерств последнего царского правительства. «Михаил Афанасьевич (...) спросил, не родственник ли мне Михаил Шереметьев, который был московским казначеем и подал в отставку в апреле 1917 года, хотя его единогласно избрали служащие после февральской революции. Я удивилась: откуда у него такие подробные сведения о моем отце? Оказалось, что Булгаков работал в архиве и случайно наткнулся на материалы учреждений министерства финансов, запомнил имя своего тезки и фамилию — она редко встречается. Я тогда в первый раз подумала, что память у него цепкая и точная».<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Булгаков М. А. Под пятой: Дневник 1923—1925 годов. М., 1991. С. 14.

<sup>3</sup> См. об этой пьесе: Лурье Я. С. Иван Грозный (...) в творчестве М. А. Булгакова // ТОДРЛ ИРЛИ (ПД) РАН. Т. XLV. СПб., 1992. С. 315—321.

<sup>4</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1990. С. 404—405.

<sup>5</sup> Шереметьева Е. М. Повесть о Красном театре. [Рукопись] // Архив РИИИ. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 142. Л. 130.

В начале двадцатых годов в журналах «Красный архив» и «Былое» публиковались документы об истории последнего царствования, дневники царских министров, письма, мемуары. В 1921 году вышел отдельной книгой очерк А. Блока «Последние дни императорской власти», в 1923 — книга воспоминаний французского посла М. Палеолога «Царская Россия накануне революции», в 1924 — книга министра внутренних дел генерала П. Курлова «Конец русского царизма». В 1924 году в «Былом» появились воспоминания комиссара Временного правительства В. Панкратова «С царем в Тобольске». В 1925 вышла книга воспоминаний В. Шульгина «Дни». В то же время интенсивная публикация воспоминаний о событиях 1917 и 1918 годов шла в эмиграции. В 1920 году в парижской газете «Illustration» были опубликованы воспоминания бывшего воспитателя наследника, сопровождавшего царскую семью в Тобольск, П. А. Жильяра. В 1921 году в Ревеле, а затем в Вене воспоминания П. Жильяра вышли отдельной книгой — «Трагическая судьба императора Николая II и его семьи». В 1923 году в Берлине вышли воспоминания корреспондента газеты «Таймс» в России Р. Вильтона «Последние дни Романовых», в которых частично были использованы материалы следствия в Екатеринбургe и Алапаевске. Во Владивостоке в 1922 году появилась книга генерала М. К. Дитерихса «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале». Наконец, в 1925 году в Берлине, через несколько месяцев после смерти автора, была опубликована книга судебного следователя по особо важным делам Омского Окружного суда Николая Алексеевича Соколова, расследовавшего обстоятельства убийства царской семьи и собиравшего показания по делу в течение нескольких лет на территории России и в эмиграции, — «Убийство царской семьи». Следственное дело об убийстве Романовых Н. А. Соколов вывез из России через Харбин.

К 1925—1926 гг. — времени работы Булгакова над пьесой «Белая гвардия» («Дни Турбиных») стали известны два самых важных источника о событиях в Тобольске и Екатеринбургe — книги П. А. Жильяра и Н. А. Соколова.

В романе «Белая гвардия» (1922—1924) поручик Шервинский подробно объясняет, каким образом удалось спастись последнему русскому императору:

«Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества (...) вымышлено самими большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то есть, виноват, гувернера наследника, мосея Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».<sup>6</sup>

Шервинский почти точно называет путь, которым следователь Соколов вывез в Европу дело об убийстве Романовых.

В пьесе рассказ Шервинского о встрече свиты гетмана с «императором Николаем Александровичем» у Вильгельма II и о бегстве царя через Сингапур сохраняется полностью. В первой редакции пьесы, созданной летом 1925 года, сохранялась и фраза Студзинского (в романе ее произносит Мышлаевский): «Убиты все: и государь, и государыня, и наследник». Впоследствии, при работе автора с театром, упоминания о государыне и наследнике исчезли из текста: в 1925 году напоминание об убитом в подвале ипатьевского дома четырнадцатилетнем наследнике-цесаревиче со сцены МХАТ было не просто нежелательно — невозможно. Убийство цар-

<sup>6</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 1. С. 211—212.

ской семьи становилось для широкой публики темой запретной на десятки лет. И подлинные факты преподносятся в пьесе в оболочке безудержного вранья Шервинского, мешающего правду с самой беспардонной ложью. Однако чем ужаснее врет Шервинский, тем внимательнее стоит прислушаться к тому, из чего именно сплетается его вранье.

Любопытные изменения произошли во втором фантастическом рассказе Шервинского. Сюжет о пении эпиталамы в Жмеринке занимает в романе «Белая гвардия» всего три строки: «В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо *fa* взял *la* и держал его пять тактов».<sup>7</sup>

В пьесе вранье Шервинского становится еще более неправдоподобным. Кроме того, меняется имя влюбившейся в него графини и появляется мрачный финал:

«Шервинский. ...Вы знаете, Елена Васильевна, я однажды в Жмеринке пел эпиталаму из „Нерона“, там сверху „фа“, как вам известно, а я взял „ля“ и держал девять тактов. ...Напрасно вы не верите. Ей-богу! Там была графиня Гендрикова, красавица ... Она влюбилась в меня после этого „ля“.

Елена. И что же было потом?

Шервинский. Отравилась. Цианистым кали».<sup>8</sup>

«Напрасно вы не верите» — эта фраза сопровождает вранье Шервинского о чудесном спасении Николая II Жильяром в романе и о смерти красавицы графини Гендриковой в пьесе. Оба фантастических рассказа Шервинского действительно связаны между собой: в них упоминаются реальные исторические лица, связанные с историей ссылки семьи императора Николая II в Тобольск и ее гибели в Екатеринбурге. Замена имени красавицы графини имела совершенно определенный смысл: рядом с именем Петра Андреевича Жильяра, воспитателя наследника-цесаревича Алексея, появляется имя личной фрейлины императрицы графини Анастасии Васильевны Гендриковой, также сопровождавшей царскую семью в Тобольск. Эти два имени вводят в подтекст пьесы о белой гвардии одно из самых трагичных событий революции: убийство семьи царя в Екатеринбурге.

В книге следователя Н. А. Соколова приводятся выдержки из тобольского дневника графини, ее портрет и фотография трупа, найденного следственной группой на месте расстрела в Перми. Вместе с царем, царицей и великой княжной Марией Гендрикова была привезена из Тобольска в Екатеринбург. Прямо с вокзала ее отправили в екатеринбургскую тюрьму: по-видимому, участь личной фрейлины императрицы была уже решена. Самым вероятным источником появления этого подспудного сюжета в действии пьесы была вышедшая в 1923 году в Берлине книга англичанина Р. Вильтона, корреспондента «Таймс» в России. Он был хорошо знаком с генералом Дитерихсом и следователем Н. А. Соколовым, помогал Соколову вывезти материалы следственного дела через Харбин в Европу, один экземпляр дела хранился у него. Именно из книги Вильтона широкая публика впервые могла познакомиться с результатами следствия Н. А. Соколова, восстановленной им картиной убийства. В главе «Верные до конца» Вильтон писал: «Молодая девушка, графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина императрицы, заслуживает особого внимания. Ее бумаги, случайно сохранившиеся, находятся в деле. Я их читал, в особенности письма императрицы к ней. Из страниц этих писем выступает

<sup>7</sup> Там же. С. 207.

<sup>8</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1989. С. 120.

образ девушки исключительного благочестия, безграничного самоотречения (...) Я присутствовал вместе с генералом Дитерихсом на погребении этих жертв в Перми. Череп прелестной девушки был разбит ударами дубины».<sup>9</sup>

Шутовство Мышлаевского и Шервинского в пьесе о белой гвардии имеет горький привкус: в нем горечь правды, которую знает автор. Это шутовство отчаяния, шутовство русского Уленшпигеля.

История создания пьес Булгакова на исторические сюжеты — «Бег», «Кабала святош», «Александр Пушкин», «Батум» — свидетельствует о том, что писатель с необычайной тщательностью изучал все доступные ему исторические источники. По географическим названиям в «Беге» можно проследить путь отступления армии Врангеля в Крыму. Практически каждая смысловая фраза в «Александре Пушкине» имеет своим источником документальные или мемуарные свидетельства из книги В. Вересаева «Пушкин в жизни» и других исследований. Для работы над пьесой о Мольере Булгаков использовал около пятидесяти книг и статей на русском и французском языках. Герои «Батума» большей частью реальные исторические лица, имена их лишь слегка изменены при окончательной доработке текста.

Всякое искажение исторического факта всегда обусловлено у Булгакова какой-то целью — прежде всего законами драмы. Но в случае «Дней Турбиных» это искажение явно связано с обстоятельствами времени, с положением старого театра, который пытался приспособиться к новым веяниям, — и автора, который вынужден скрывать свою первую профессию лекаря и службу в Белой армии. Внешне все эпизоды, связанные с гибелью русских царей, носят явно комичный, шутовской оттенок. При постановке пьесы на сцене эти черты усиливались: на словах Шервинского о встрече гетманской делегации во дворце Вильгельма с Николаем II: «Портьера раздвинулась и вышел наш государь...» — на сцене действительно раздвигалась портьера во внутренние комнаты турбинской квартиры и появлялся пьяный Лариосик.<sup>10</sup>

Между тем, вранье Шервинского в пьесе ясно имеет свою систему. В сущности, оно полностью сплетено из подлинной информации, но поданной в совершенно фантастических сочетаниях. Булгаков сам раскрывает эту систему в истории с портсигаром. Собственно, вранье Шервинского — в трактовке событий, в непреодолимом стремлении выдать желаемое за действительное. Артистическая натура баритона пытается преодолеть паскудную реальность и хоть немного облагородить ее. Вранье Шервинского о встрече с Николаем II — не что иное, как лапидарно изложенная сцена встречи императора Александра I с московским дворянством при нашествии Наполеона из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Включенная через десять лет в булгаковскую инсценировку романа, эта сцена начинается выходом императора и заканчивается ремаркой: «...выходит Александр, плача...»<sup>11</sup> Давая Шервинскому фразу о том, что Николаю удалось спастись с помощью «верного гувернера мосье Жильяра», Булгаков вводит в пьесу два подлинных сюжета. И верный гувернер Николая II Терентий Чемодуров, и воспитатель детей царя П. А. Жильяр действительно остались в живых. Чемодуров был переведен из камеры екатеринбургской тюрьмы в тюремную больницу и случайно избежал расстрела. Когда город заняли

<sup>9</sup> Последние дни Романовых: Сб. документов. М., 1991. С. 453.

<sup>10</sup> Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989. С. 121.

<sup>11</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 4. М., 1990. С. 79.

белые части, он давал показания и помогал опознать найденные вещи царской семьи. П. Жильяр был освобожден как подданный Франции.

Романтическая гибель юной красавицы графини Гендриковой, отравившейся от любви, преобразует чудовищные подробности реальности: разбитый череп расстрелянной Анастасии Гендриковой, разделившей участь царской семьи. «После обеда состоялся четвертый домашний спектакль, — записал Николай Романов 28 января 1918 года. — Ольга, Татьяна, Мария, Настенька Гендрикова и Татищев дружно сыграли „La Bête noir“ («Черный зверь», фр. — *Ред.*)...»<sup>12</sup>

Неприятие, отторжение, мысленное преобразование реальности были характерными чертами психологии русских в 1918 году. Сознание с трудом справлялось с грандиозностью перемен и невозвратимостью прошлого. Реальность воспринималась как фантазмагория. Это ощущение запечатлено в «Беге» во фразе Голубкова, приват-доцента, бежавшего из Петербурга в Крым и оказавшегося в монастыре: «...временами мне начинает казаться, что я вижу сон...» Стремительность социальных катаклизмов разорвала целостное представление человека о действительности. То, что было непривычным и не могло по своей огромности быть осмыслено с той же стремительностью, становилось для человеческого сознания областью ирреального. Действительность воспринималась как сон или театр — с ожиданием финала. Поэтика сна, то есть обостренное восприятие только тех моментов, о которых, по выражению Достоевского, «грезит сердце», и «перелетание» через иные, чуждые, становилась характерной чертой психологии и почвой невероятных слухов и легенд Киева, Харькова и Севастополя времен гражданской войны. Булгаков запечатлел эти свойства сознания своих современников и ровесников в пьесе 1925 года.

Сама фантастическая история о появлении Николая II у его врага Вильгельма была придумана отнюдь не поручиком Шервинским и не автором пьесы Булгаковым. Это была белая легенда о последнем Романове, в которой запечатлелись надежды на несбыточное и неприятие реальности. Булгаков мог слышать ее во время пребывания в Киеве осенью 1918 года. Характерна реплика, которой Алексей Турбин — герой, наделенный в первой редакции жизненным и духовным опытом двадцатисемилетнего Булгакова, — отвечает на вранье Шервинского о чудесном спасении царя: «Слушай, это легенда. Я уже слышал эту историю».<sup>13</sup>

В книге Н. А. Соколова «Убийство царской семьи» названы некоторые источники этой легенды. Согласно одной из версий, слухи о том, что царская семья жива, летом и осенью 1918 года распространялись советским правительством специально, так как одним из условий при заключении мира немцы ставили жизнь немецких принцесс. Кроме того, Соколов, в течение нескольких лет собиравший свидетельства офицеров-монархистов, пришел к выводу, что и в попытках освобождения императора в Тобольске, и в распространении слухов о его спасении принимали участие немецкие агенты. Одним из них был офицер Сергей Марков, живший в Тюмени под именем Сергея Соловьева и командовавший в качестве красного офицера «революционным уланским эскадроном».

«В августе месяце 1918 года Марков — в Киеве, занятом тогда немцами, — пишет Соколов. — Его роль здесь все та же. В Петрограде он лгал русским монархистам, что все готово для спасения царской семьи.

<sup>12</sup> Дневник императора Николая II. М., 1991. С. 666.

<sup>13</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. С. 52.



В Киеве он лгал им, что ее спасли».<sup>14</sup> Соколов приводит показания одного из свидетелей, который был допрошен в Омске 2 сентября 1919 года:

«В Киеве в германской комендатуре я встретился с неизвестным мне господином. Он называл себя корнетом Крымского Конного полка имени Государыни императрицы Александры Федоровны (...). Марков рассказывал, что он ездил по пятам за царской семьей (...). Все, кто его слушали, указывали ему на это, что царская семья убита (...). Марков уверял нас, что вся царская семья жива и где-то скрывается. Он говорил, что он знает, где они все находятся, но не желал указать, где именно (...). В Киеве этот самый Марков был на совершенно особом положении у немцев. Он сносился телеграммами с немецким командованием в Берлине. Немцы за ним очень ухаживали. Из Киева он выехал не с нашим эшелоном, а с германским командованием. Если он выходил в город, его сопровождали два немецких капрала...»<sup>15</sup>

В 1921 году Н. А. Соколову удалось получить письменные показания самого С. В. Маркова о событиях 1918 года:

«В период с 19 июля по 5 августа (когда я уехал из Петербурга в Киев) по всем наведенным мною справкам у немцев, которые имели связь тогда со Смольным (...) семья была жива (...). Магнер в половине октября приехал в Киев (...). Магнер категорически заявил, что царская семья жива (...). Это он узнал от германской разведки в Пермской губернии. Он говорил с Иоффе и Радеком, они оба категорически сказали, что царская семья жива».<sup>16</sup>

Действие пьесы Булгакова о белой гвардии происходит в декабре 1918 года — в то время, когда слухи о гибели и легенды о спасении царя и его семьи прочно вошли в жизнь переполненного беженцами из Москвы и Петербурга Киева. «Врун с аксельбантами» Шервинский связан с немецкой темой в пьесе. Во втором действии адъютант гетмана становится свидетелем его бегства. При этом Шервинский выслушивает от немецкого офицера фон Шратта загадочную сентенцию: «Никогда не следует покидать своя родина».<sup>17</sup> Этим словам предшествует ремарка: «Входят гетман и Дуст. Гетман переодет германским генералом. Растерян, курит». Разумеется, Булгаков писал сцену во дворце не для того, чтобы посмеяться над неправильным произношением немцев, с которыми четыре года воевала русская армия. Знаменательно, что эту фразу драматург вкладывает именно в уста немецкого генерала, явно знающего о том, что происходит, гораздо больше гетмана и Шервинского. Позорное бегство самозванного правителя в германском мундире, с наглухо забинтованной головой, чтобы его лица не увидела брошенная свита, — контраст судьбы тех, кто разделил судьбу России и для кого измена была невозможна.

Подобно С. Маркову и гетману, покинул город с немецким эшелоном один из героев пьесы Булгакова — полковник Тальберг. Это третье, наряду с именами Жильяра и Гендриковой, имя в тексте пьесы, которое связано с екатеринбургской темой. Среди людей, имевших отношение к следствию по делу об убийстве царской семьи, был человек, носивший фамилию Тальберг — и человек этот сыграл в расследовании негативную, предательскую роль. Это был сотрудник, а затем министр юстиции в правительстве

<sup>14</sup> Соколов Н. А. Убийство царской семьи. М., 1991. С. 129.

<sup>15</sup> Там же. С. 130.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. С. 72.

А. В. Колчака. О Тальберге Р. Вильтон писал в главе с характерным названием «Шакалы» своей книги «Последние дни Романовых»:

«В марте 1919 года эсеровская „Заря“ напечатала сущность того, что заключалось в деле, и, между прочим, весьма секретный рапорт Соколова о предшествующем следствии. Адмирал Колчак был возмущен и навел справку. Выяснилось, что эту „нескромность“ учинили трое официальных лиц: Старынкевич, Тальберг и Новиков, редактор „Зари“. Новиков был прокурором Сената в Омске; Тальберг был преемником Старынкевича на посту министра юстиции и впоследствии обнародовал протоколы дела в Америке. (...) Никогда еще судебный следователь не был еще жертвой такой циничной измены со стороны своих начальников. Я могу засвидетельствовать, что то же министерство отказало Соколову в деньгах, необходимых для его содержания...»<sup>18</sup>

В истории литературы бывают необыкновенно красноречивые совпадения. При всей пристрастности изложения событий в книге Вильтона, ценность его сообщений об обстоятельствах и событиях, свидетелем которых он был, неоспорима. Сенсационная публикация о ходе следствия в омской «Заре» в марте 1919 года вполне могла быть известна Булгакову, выехавшему из Киева в расположение Добровольческой армии в октябре 1919 года. Булгаков был не просто военврачом: он активно публиковался в печати, был близок редакциям газет. Уже 13 ноября 1919 года в газете «Грозный» была опубликована широко известная сегодня статья М. Булгакова «Грядущие перспективы» о судьбе России. В феврале 1920 года имя Булгакова упомянуто среди предполагаемых авторов в первом номере новой газеты «Кавказ» — за короткое время он стал достаточно известным журналистом.

Убийство царя, царской семьи и членов династии было одной из самых важных тем газет 1919 года: 27 января в Петрограде были расстреляны великие князья, заключенные в Петропавловской крепости; в марте состоялась публикация в «Заре» о екатеринбургском убийстве; 28 сентября 1919 года белые вошли в Алапаевск, где были обнаружены тела великих князей и великой княгини Елизаветы Федоровны, расстрелянных в июле 1918 года, тогда же были захоронены жертвы, обнаруженные в Перми (в том числе графиня Гендрикова и Шнейдер). Уже в октябре 1919 года подробности этих событий могли стать известны Булгакову не только из киевских слухов и легенд, но из газет, выходивших на территории, занятой белыми войсками. В начале 1920-х годов, когда Булгаков приехал из Владикавказа в Москву, эти знанияполнились, прежде всего, на наш взгляд, за счет воспоминаний П. А. Жильяра и Р. Вильтона. Документальные свидетельства из книги Н. А. Соколова подтверждают, насколько точно Булгаков — как историк — воспроизвел события и психологию героев 1918 года. При этом существует вероятность того, что в 1925—1926 годах, когда шла работа над пьесой, Булгаков мог познакомиться с книгой следователя по делу об убийстве царской семьи. Она была известна в России: в вышедшей в 1926 году в Свердловске (уже переименованном Екатеринбургe) книге председателя Екатеринбургского совета П. Быкова «Последние дни Романовых» ссылки на «Убийство царской семьи» постоянны.<sup>19</sup> От романа «Белая гвардия» (1922—1924) к пьесе (лето 1925 года) интерес к теме цареубийства явно возрастает.

<sup>18</sup> Последние дни Романовых. С. 461—462.

<sup>19</sup> Быков П. М. Последние дни Романовых. Свердловск, 1926. С. 28 и др.

Если сравнить текст романа с текстом пьесы, то очевидно, что произошедшие изменения целенаправленны. Эпизоды первого действия выстраиваются в значащую цепочку. Изменяется сцена с влюбленной графиней и в тексте появляется имя расстрелянной фрейлины и мрачный финал с цианистым кали. Вслед за сценой с маузером, когда Мышлаевский кричит: «Который из вас Троцкий?» — идет сцена вранья Шервинского о спасении Николая Романова при помощи его «верного гувернера мосье Жильяра». Далее следует монолог Мышлаевского об убитых императорах, которого в романе нет. Этот монолог об убийстве Петра III, Павла I и Александра II вызван напоминанием о судьбе последнего русского царя. В ответ на слова Мышлаевского о бомбе, брошенной в Александра II, Алексей Турбин произносит: «Вот Достоевский это и видел и сказал: „Россия — страна деревянная, нищая и опасная, а честь русскому человеку только лишнее бремя!“»<sup>20</sup> Фраза Кармазинова из «Бесов» Ф. М. Достоевского восходит к «Катехизису революционера», который стал известен во время процесса группы Нечаева «Народная расправа». Процесс этот, как известно, послужил материалом для некоторых линий романа Достоевского. В начале второго действия, во время сна Алексея эту же фразу произносил Кошмар Алексея, явно ведущий свое происхождение от Черта Ивана Карамазова.<sup>21</sup> Кошмар уговаривает доктора Турбина не ходить в дивизион, и в этой реплике заключается оценка Турбиным собственной возможной трусости: насилие одних и трусость других одинаково губительны для судьбы России.

Достоевский видел корни революционного насилия в теориях западников, перенесенных на русскую почву: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, что они родные отцы Нечаева», — писал он будущему царю Александру III после завершения романа «Бесы».<sup>22</sup> Булгаков, переживший крушение самодержавия, правление Временного правительства и семь лет советской власти, видит проблему насилия как проблему цены всякой власти.

Вслед за монологом Мышлаевского и репликой Турбина о нищей и опасной России, Шервинский произносит: «На Руси возможно только одно. Вот правильно сказано: вера православная, а власть самодержавная!» После этого Николка рассказывает о случае, приключившемся с ним в театре: «Я, господа, неделю тому назад был в театре на „Павле Первом“, и, когда артист произнес эти слова, я не вытерпел и крикнул: „Правильно!“ (...) Что же вы думаете? Кругом стали аплодировать, и только какой-то мерзавец в ярусе крикнул: „Идиот!“».<sup>23</sup>

«Павел I» Д. С. Мережковского, пьеса о цареубийстве, появляется в тексте «Белой гвардии» еще раз. В картине 2-й акта второго офицеры дивизиона, чтобы подбодрить юнкеров, открывают портрет Александра I: «Поднимаются со Студзинским навверх к портрету, шапками срывают кисею. Появляется громадный Александр I. Скупой зимний, последний луч падает на портрет. Гул. Удивление. (...) Алексей (указывая на портрет). Правильно, капитан. А гляньте-ка, и солнце, как нарочно, вышло. Воистину — се дней Александровых восходящее солнце.»<sup>24</sup> Алексей произносит, как и Шервинский в первом акте, слова из пьесы «Павел I»: реплика о «днях Александровых» принадлежит генералу Депредадовичу,

<sup>20</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. С. 53.

<sup>21</sup> Там же. С. 351.

<sup>22</sup> Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 7. Л., 1990. С. 689.

<sup>23</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. С. 54.

<sup>24</sup> Там же. С. 63.

одному из участников заговора против царя Павла I, приведшего Александра I к власти...<sup>25</sup> В третьем акте, когда гимназию захватывают гайдамаки и погибает командир преданного дивизиона Малышев, действие вновь сосредоточивается на площадке у огромного портрета императора: «Гайдамаки поднимают труп. (...) Раскачивают Малышева и бросают его в провал. (...) Знамена плывут вверх по лестнице. Галаньба наверху у портрета. (...) Гайдамаки пашками выламывают портрет, поднимают его. (...) Портрет с громом падает в провал».<sup>26</sup>

Пьяный Мышлаевский, начиная свой монолог, «плачет горькими слезами»: «Алеша... Разве это народ... Профессиональный союз царевичей». Капитан явно уравнивает участников дворцовых переворотов и тех, кто бросал бомбы в Александра II и расстреливал Николая II и его семью в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге. «Мерзавец в ярусе», обиженный юнкера Николку, не только лучше понимал смысл пьесы Мережковского, но и смысл происходивших событий. В «Днях Турбиных» впервые обозначен тот конфликт веры и власти, государственных целей и христианских истин, который занимал Булгакова на протяжении всей его жизни и получил завершение в споре бродячего философа с прокуратором Иудеи в романе «Мастер и Маргарита»:

« — В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть....

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон...

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся».<sup>27</sup>

После отречения Николая II ошибки и несовершенства власти, глупость или жестокость министров, грехи царей сменились открытым насилием и открытой борьбой за власть. Насилие стало государственной доктриной, обосновывавшейся теоретически. Официальная враждебность новой власти к церкви сделала явным и неразрешимым конфликт между истинами государства и истинами христианства. Борьба с религией была в то же время борьбой со свергнутой монархией, с той формулой о вере православной и власти самодержавной, которая крепко засела в головах жителей России: и после окончания гражданской войны жестокая война с «царством небесным» продолжалась десятилетия.

Редактура текста пьесы, предпринятая во время работы с театром и постановки спектакля, подтверждает, что сильная монархическая линия, в которой сквозила оценка автором не только роли монархии, но и убийства в Екатеринбурге, была замечена и «укорочена». В окончательном тексте пьесы, который звучал со сцены МХАТ и получил осенью 1926 года название «Дни Турбиных» (премьера состоялась 5 декабря), уже нет имени воспитателя детей царя П. А. Жильяра. Отсутствует реплика Студзинского: «Убиты все — и государь, и государыня, и наследник». Исключен ответ Алексея Турбина на монолог Мышлаевского об убитых императорах — фраза о нищете и опасной России из пророческого романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Исключена реплика Шервинского: «В России

<sup>25</sup> Лурье Я. С. Комментарий к пьесе «Белая гвардия» // Пьесы 1920-х годов. С. 525.

<sup>26</sup> Пьесы 1920-х годов. С. 83.

<sup>27</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1990. С. 33.

возможно только одно: вера православная, а власть самодержавная» и рассказ Николки о спектакле «Павел I». Имя автора «Бесов» вообще исчезает из окончательного текста: «богоносцы Достоевского» в репликах капитана Мышлаевского заменены на «милых мужичков сочинения графа Толстого». Между тем несомненно, что через легенду Шервинского о мнимом спасении царя и монолог Мышлаевского Булгаков выразил свое отношение к убийству в Екатеринбурге и революционному насилию вообще в той форме, в какой мог это сделать. «Не верю в светильник под спудом, говорил он, — вспоминала Л. Е. Белозерская слова писателя. — Рано или поздно писатель скажет то, что он хочет сказать ... Неважно, заказная ли работа ... „Аида“ — заказная опера...»<sup>28</sup>

В начале тридцатых годов Булгаков создает сразу три пьесы, в которых рисует образы земных властителей: это французский король Людовик XIV в «Кабале святош» (1930), император Николай I в пьесе «Александр Пушкин» (1934—1935), царь Иоанн IV Грозный в пьесе «Иван Васильевич» (1935). Теперь фигура царя не является лишь символом прошлого. В характерах и окружении деспотически правящих Людовика и Николая I проступают черты современного Булгакову деспотизма: абсолютная власть, кабала идейных святош, всеисилие тайной полиции.

Едва ли не самый обширный раздел подготовительных материалов к пьесе «Александр Пушкин» посвящен Николаю I. Первая выписка сделана из замечания Николая на письме к нему А. Х. Бенкендорфа о бале у французского посланника в августе 1830 года: «Кстати об этом бале. Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда все были в мундирах...»<sup>29</sup> Продолжение выписок — из письма Николая Бенкендорфу по поводу прошения Пушкина об отставке в 1834 году: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 32-х лет, мужу и отцу семейства».<sup>30</sup> Булгаков добавляет к текстам Николая всего одну фразу: «Похож на каналью-фрачника!» — и под его пером из двух исторических документов возникает набросок разговора Николая I с Жуковским на балу:

«Кстати, скажите Пушкину, что неприлично ему быть на бале во фраке, когда все в мундирах. Похож на каналью-фрачника! Объясните ему всю бессмысленность его поведения... Слава богу, муж, отец семейства».<sup>31</sup>

Этот метод использования исторических документов чрезвычайно характерен для работы Булгакова с источниками. Практически каждая смысловая фраза текста и каждая ситуация пьесы восходит к тому или иному документальному свидетельству. На основе одного источника Булгаков иногда делает два наброска, меняя интонацию и лексику персонажа. К сцене царя с Жуковским на балу относится еще одна реплика Николая в подготовительной тетради: «Распущенный человек... Пусть забудет он то время, когда на балы ездил во фраках... По долгу его звания...»<sup>32</sup>

<sup>28</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 59. Ед. хр. 5. Л. 33, 46.

<sup>29</sup> Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. I—II. М.; Л., 1932. Т. II. С. 26.

<sup>30</sup> Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. Спб., 1909. С. 516.

<sup>31</sup> Булгаков М. А. Александр Пушкин. Пьеса. [Рукопись] // ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 106.

<sup>32</sup> Там же. С. 111.

Сцена царя с воспитателем наследника в I варианте пьесы (закончен 29 марта 1935 года) вызвала негодование В. Вересаева, соавтора Булгакова: «Мне ясен основной источник наших разногласий, — органическая слепота ваша на общественную сторону пушкинской трагедии... Показательна история разговора Николая и Жуковского на балу. Я вам предложил в качестве материала схему этого разговора. Вы ее отвергли и заставили Николая негодовать только... на фрак Пушкина!»<sup>33</sup> Это один из тех случаев, который ярко демонстрирует основную причину назревавшего разрыва между соавторами: невосприимчивость старого писателя к особенностям драматургии Булгакова на фоне современной литературы.

В исследовании «К вопросу о пушкинских традициях в отечественной литературе (на примере произведений М. А. Булгакова)» И. Ф. Бэлза пишет: «Чем внимательнее читаем мы Булгакова, тем более отчетливым представляется нам его виртуозное мастерство подтекста и сложной ассоциативной техники письма...»<sup>34</sup>

Это мастерство Булгакова ярко сказалось в созданном им образе Николая I, одного из центральных персонажей пьесы о Пушкине. Мундир камер-юнкера — знак того униженного положения, в которое пытался поставить царь поэта при дворе. Не случайно сцене Николая и Жуковского предшествует сцена с камер-юнкером. Прервавший беседу царя с Наталией Николаевной юный камер-юнкер слышит от него: «Болван!» — и «улыбается счастливой улыбкой». Сразу вслед за этим Николай негодует на то, что камер-юнкерский мундир не надевает на бал Пушкин. Более того, от первого вопроса императора: «Василий Андреевич, скажи, я плохо вижу отсюда, кто это черный стоит там у колонны?» — всего две реплики до явно содержащего угрозу вопроса: «Может быть, он собрался с другими либералистами в Convention Nationale?» Причем одна из этих реплик — о «бессмысленности поведения» поэта — из письма Николая об отставке Пушкина. Фрак Пушкина в этой сцене — знак гражданского неповиновения, неприятия той общественной иерархии, в которой отвел ему место Николай I.

Эта сцена, несомненно, характеризует также психологию императора, столь много внимания уделившего уставу и военной дисциплине. Еще в черновой рукописи первой редакции пьесы «Блаженство», написанной зимой 1933—1934 гг., Николай I появлялся из машины времени изобретателя Бондерора с выражением характерного неудовольствия:

«Николай I (выходит)...

Бунша. Не надо нам царей... (У телефона.) В доме 151 в Жакте 900 появился император...

Бондерор (вырывая трубку). Сию минуту! Кретин!

Бунша. Караул! Меня контрреволюционер душил!

Николай I. Что это за шут гороховый? Что это за наряд?

Бондерор. Это пиджак.

Николай I. Пиджак?»<sup>35</sup>

Эта сцена могла быть навеяна Булгакову чтением книги В. Вересаева «Пушкин в жизни», академическое издание которой 1932 года имелось в библиотеке драматурга. В ней по крайней мере трижды приведены свидетельства о неудовольствии Николая I неуставной формой одежды поэта. Не случайно здесь и грубоватое выражение царя — «шут гороховый».

<sup>33</sup> Булгаков М. А. Письма. Жизнеописание в документах. М., 1989. С. 351.

<sup>34</sup> Контекст. 1980. М., 1981. С. 236.

<sup>35</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 348.

В Дневнике, 10 мая 1834 года, после пожалования ему камер-юнкерского звания, Пушкин, повторяя известные слова М. В. Ломоносова, писал: «Государю неуютно было, что о своем камер-юнкерстве отозвался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом — но холопом и шутком не буду и у царя небесного...»<sup>36</sup>

Характер Николая I, его отношение к поэту и оскорбительное для тридцатичетырехлетнего Пушкина пожалование низшего придворного звания осмыслились Булгаковым гораздо раньше начала работы над пьесой. Главу о Пушкине в «Записках на манжетах» Булгаков назвал «Камер-юнкер Пушкин» (1922). Невосприимчивость к поэзии и оценка гения с точки зрения его придворной роли невероятным образом сблизили позицию Николая I и «цеха местных поэтов» во Владикавказе, один из которых громил Пушкина: «За белые штаны, за „вперед гляжу я без боязни“, за камер-юнкерство и холопскую стихию вообще, за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи и ужасивание за женщинами...»<sup>37</sup> Эстетическая глухота, узость «социального» взгляда на художника и явная агрессивность обрисована Булгаковым в пьесе в образе самодержца.

В. Вересаев, обвиняя Булгакова в слепоте на общественную сторону пушкинской трагедии, писал ему: «Под моим давлением вы ввели упоминание о декабристах и Пугачеве, но настолько этим не могли зажечься, что переплавив, механически вписали в пьесу мою черновую схему...»<sup>38</sup>

Между тем упоминание о декабристах в завуалированной форме присутствует уже в тексте I варианта. В разделе «Николай Первый» подготовительной тетради Булгаков зимой 1934—1935 годов делает несколько выписок, касающихся событий 1825 года:

«Одинако дурные люди... Изменническая рука... Я страшусь... Все в исправности... К щастию... Меня ужас объял... 1825 г.»

К декабрю 1825 года относятся выписки из писем императора брату вел. кн. Михаилу Павловичу: «...за тебя скучаю...» — из письма от 7 декабря 1825 г.; «Я догадываюсь истины...» — из письма 10 декабря.

К январю 1826 года относится выписка из письма вел. кн. Константину Павловичу выражения «слова мои несвязны!» (письмо Николая от 16 января). К весне и лету 1826 г. — выписки из писем вел. кн. Михаилу Павловичу: «Я прошу серьезно перестать этот тон, который неприличен...»; «Бездельники распуцают нелепости...»<sup>39</sup>

Последняя фраза вошла в текст Дубельта в картине «III-е Отделение»: «Вот, ваше величество, бездельники распространяют в списках пушкинское стихотворение по поводу брюлловского распятия...»

«Бремя», в котором говорит царь, его слова об «измученном сердце», упоминание о Национальном конвенте, то есть о Французской революции, — несомненно, косвенные напоминания о событиях декабря 1825 года. Наконец, в ответ на слова Жуковского в I варианте пьесы: «Я приемлю на себя смелость сказать о нем: ложная система воспитания, то общество, в котором он провел юность...» — Николай I произносит: «Общество! Уголь сажей не замараешь... Не верю. В нем сердца нет».<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. I—II. М.; Л., 1932. Т. II. С. 133.

<sup>37</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. I. С. 480.

<sup>38</sup> Булгаков М. А. Письма. Жизнеописание в документах. С. 351.

<sup>39</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 107—111.

<sup>40</sup> РО ИРЛИ. Ф. 369. Ед. хр. 218. Л. 25. Реплика В. А. Жуковского — на основе письма А. Х. Бенкендорфа А. С. Пушкину 30 сентября 1826 г.

Фраза Николая о Пушкине «Уголь сажей не замараешь...» перекликается со словами графа Строганова в окончательном тексте пьесы: «Он карбонарий». Карбонарий — буквально угольщик. Так называли себя члены тайного итальянского общества борцов за восстановление и независимость Италии. В устах Николая I эта фраза — явное напоминание о тайных обществах декабристов. Не случайна испуганная реакция Жуковского на слова царя: «Жуковский (изменившись в лице). Ваше величество...»

Перерабатывая сцену Николая и Жуковского, Булгаков, в сущности, расшифровывает свой собственный текст: «Общество! Уж не знаю, общество ли на него повлияло, или он на общество. Достаточно вспомнить стихи, которыми он радовал наших друзей четырнадцатого декабря».<sup>41</sup>

Первоначально написанный драматургом текст отнюдь не лишен «общественной стороны событий». Однако, следуя художественной логике пьесы и логике созданного им характера, Булгаков считал психологически более достоверным именно завуалированное упоминание о событиях, от которых императора «ужас объял», и невозможным прямое упоминание о восстании декабристов в разговоре с воспитателем цесаревича на великосветском балу. Тема была слишком серьезной и для Пушкина опасной.

Ошибался соавтор Булгакова и в том, что, включив в окончательный текст пьесы фразу об «Истории Пугачева», Булгаков следовал его «схеме». Вересаев был уверен, что Булгаков взял эту фразу из его наброска сцены с Жуковским. Однако в подготовительной тетради Булгакова целая страница посвящена выпискам к сцене бала. Среди них: «Ваши речи понуждают меня просить вас, чтобы вы не выражались столь тривиально...» (фраза вошла в текст Долгорукова. — И. Е.). «И, не угодно ли, пишет — „История Пугачева“... Преступник как Пугачев истории не имеет! (Николай)». «Против воли никого не держу. Это противно правилам моим. (Николай)».<sup>42</sup>

Первая и третья фразы вошли уже в текст I варианта пьесы (29 мая 1935 года). Тогда же — зимой или весной 1935-го, была сделана и выписка об «Истории Пугачева». Между тем сцену Вересаева с диалогом Николая и Жуковского на балу Булгаков получил лишь в начале августа 1935 года, о чем свидетельствует письмо Булгакова Вересаеву 16 августа.<sup>43</sup> То есть в окончательный текст Булгаков под давлением соавтора вписал фразу из собственной черновой тетради, которую заполнял зимой 1934—1935 годов.

Свое отношение к характеру Николая I Булгаков высказал в этом письме: «Проверяя сцену Николая и Жуковского на балу, я с ужасом увидел фразу Николая: „Я его сотру с лица земли!“ Другими словами говоря, Николай в упор заявляет зрителю: „Не ошибитесь, я злодей“, а Вы, очевидно, хотите вычеркнуть сцену у Дубельта, где Николай, ничем себя не выдавая, стер Пушкина с лица земли...»<sup>44</sup>

«Ничем себя не выдавая» — лейтмотив характера императора в пьесе. В разделе «Николай Первый» есть отсылка к книге Г. И. Чулкова «Императоры. Психологические портреты» (М.; Л., 1928), в которой главе о Николае I автор предпосылает стихотворение Ф. И. Тютчева со строкой: «Ты был не царь, но лицедей»: «Наружность: у Чулкова „Императоры“,

<sup>41</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 3. М., 1990. С. 481.

<sup>42</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 173.

<sup>43</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. С. 544—548.

<sup>44</sup> Там же. С. 545.



стр. 222». <sup>45</sup> Вероятно, знакомо было драматургу и высказывание П. Щеголева в статье о Каховском: «Царь-актер, искусно меняющий личности...» <sup>46</sup> Во всяком случае, мотив лицедейства чрезвычайно ярок в характере императора, и особенно в его сцене с Наталией Пушкиной на балу. В подготовительных материалах Булгаков делает к этой сцене три наброска, восходящие, по сути, к одному основному документу — воспоминаниям самого Николая I после смерти Пушкина, известным по записи М. Корфа:

«...Встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с ней о камеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя и для счастья ее мужа при известной его ревности. Она, верно, рассказала мужу это, потому что, увидясь где-то со мною, он стал благодарить меня за добрые советы его жене. — Разве ты мог ожидать от меня другого? — спросил я. — Не только мог, — ответил он, — но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою». <sup>47</sup>

Булгаков в набросках к пьесе дает ситуацию в совершенно ином освещении, нежели сам император, добавив к этому тексту всего одну реплику из рассказа Пушкина о Николае и обратив вопрос царя не к поэту, а к его жене:

«*Наталии*). Я вас искренно люблю как очень добрую женщину. Но красота ваша опасна, она подвергает вас камеражам в обществе. Будьте сколько можно осторожнее, берегите свою репутацию для мужа, для самой себя.

Наталия. Благодарю вас за добрый совет.

Николай I. Разве вы могли ожидать от меня другого? Скажите, почему у вас всегда опущены шторы?» <sup>48</sup>

Последняя фраза взята из воспоминаний П. В. Нащокина (по записи П. Бартенева), которому Пушкин рассказывал, что император «как офицеришка ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены». <sup>49</sup>

Не изменив ни одной строки исторически достоверного текста, Булгаков создает сцену своей драмы о Пушкине с ее своеобразными характерами и явно ощутимой в обрисовке их авторской интонацией.

Второй набросок представляет собой вольную вариацию на ту же тему и мог бы служить продолжением первого:

«Говоря это вам, я следую чувству собственного сердца. Я говорю с вами с душою чистой.

Наталия. Я признательна вам за доверие.

Николай. И дружбу... От кого ждать мне спасибо за ту печальную жизнь, которую я веду?

Наталия. ...Все мы жертвы воли Божией. Терпите смиренно, как ангел. Вы будете вознаграждены и утешитесь. Я буду молить о том провидение. {...}

<sup>45</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 111.

<sup>46</sup> Щеголев П. П. Г. Каховский // Былое. 1906. № 2. С. 193—194; см. также: Лемке М. К. Николаевские жандармы... С. 467.

<sup>47</sup> Пушкин в жизни. Т. II. С. 242.

<sup>48</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 107.

<sup>49</sup> Пушкин в жизни. Т. II. С. 242.

Николай. А вы поддержите меня в том грустном ремесле, на которое я обречен. Мы живем в век, когда ничему нельзя удивляться». <sup>50</sup>

Заключительную реплику императора Булгаков пишет в трех вариантах, из которых и по смыслу, и по уловленной уже в черновых набросках ритмике речи Николая I выделяется фраза о «грустном ремесле».

В следующем наброске заложено драматическое строение картины «Бал у Воронцовых». Вслед за сентиментальной репликой, обращенной к жене поэта, возникает полная неприкрытого раздражения реплика о нем самом:

«Николай (Наталии). Примите мои слова за исповедь измученного сердца, обратитесь ко мне в критическую минуту {...}

Распущенный человек... пусть забудет он то время, когда на балы ездил во фраках... По долгу его звания...»

Контрастность этих реплик прекрасно характеризует царя-лицедея.

Завершает Булгаков выписки фразой: «Идешь по дороге, усеянной цветами...», которая, несомненно, относится к разговору императора с женой поэта и вносит в него последний штрих.

Рассуждения о «тихом журчании ключей», «тени дубрав», «уединении лесов», «мирных долинах» демонстрируют неловкие попытки Николая говорить на поэтическом языке, которым с такой свободой владел Пушкин. Император не поднимается выше банальности. Более того, его манера говорить с Наталией Николаевной о самом себе в приподнятом, поэтическом тоне явно пародийна. По содержанию и стилю «поэтический» монолог императора — не что иное, как неловкое изложение своими словами пушкинской «Деревни»:

Я твой: я променял порочный двор цирцей,  
Роскошные пиры, забавы, заблужденья  
На мирный шум дубров, на тишину полей,  
На праздность вольную, подругу размышленья.  
Я твой: люблю сей темный сад  
С его прохладой и цветами,  
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,  
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.

В этом случае Булгаков прибегает к приему самохарактеристики персонажа. Сатирическая подоплека поэтических опытов императора подчеркивается еще и тем, что запрещенная и ходившая в списках вторая часть «Деревни» заканчивается словами:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный  
И рабство падшее, и павшего царя...

К картине «III-е Отделение» Булгаков в подготовительной тетради делает несколько набросков, почти дословно вошедших в пьесу:

«Он себя погубит невозвратно (Пушкин).

Ничем не смое с себя пятно...  
Посланник! Какую роль он играет.  
Дуэль: — Дать законное течение». <sup>51</sup>

В сущности, в набросках проступают все три сцены, в которых появится в пьесе император Николай I: сцена с Пушкиной, сцена с Жуковским на балу и сцена в III Отделении. Весь раздел, в котором преобладают не

<sup>50</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 13. Ед. хр. 5. С. 108—110.

<sup>51</sup> Там же. С. 108, 111.

выписки, а наброски реплик и почти готовые эпизоды, свидетельствует о том, что еще до начала работы над пьесой образ императора Николая I был тщательно продуман драматургом.

В тексте пьесы характер царя, сконцентрированный в набросках, дается в развитии. Резкая и отрывистая речь императора в картине «III-е Отделение» черновой рукописи в последующих текстах становится более плавной. Лицемерие Николая, которое в набросках носит почти гротескный характер и раскрывается чрезвычайно быстро, в окончательном тексте завуалировано плетением словес и приобретает тяжеловесные, угрожающие черты.

Рукописные тетради в сочетании с последующими текстами позволяют в полной мере представить себе задуманный Булгаковым характер императора Николая I. Важно отметить также, что, начиная с первой подготовительной тетради и заканчивая последним текстом пьесы, 10 сентября 1935 года сданным в Театр имени Евг. Вахтангова, Булгаков ни разу не отступил от своего замысла и ни разу не использовал сочинений своего соавтора. Даже изменяя, по совету Вересаева, реплику Николая I, драматург включил в текст выписку из собственного черновика.

Через два года, летом 1937-го, Булгаков пишет либретто оперы «Петр Великий» для Большого театра. Петр в либретто — народный царь, опера должна была завершаться сценой наводнения, когда царь спасал тонущих солдат. При первой публикации либретто в 1988 году оно было сопровождено статьей, в которой сказано, что это произведение Булгакова создавалось явно не по зову сердца, что под его пером героическая эпоха Петра I перекликается с царством самодуров Островского, что «сближение бала у Петра и бала у сатаны говорит об отношении Булгакова к заданной тенденции оперы» и очевидно ироничное отношение писателя к победоносному царствованию.<sup>52</sup> По-видимому, самодуры Островского должны остаться на совести автора, а бал у Петра I гораздо ближе традиционному театральному балу из «Лебединого озера» или «Спящей красавицы». Не случайно исследователь либретто Н. Шафер находит в его композиции и в решении арий традиционные приемы классической оперы,<sup>53</sup> а Н. Кузьякина обнаруживает в «Петре Великом» отголоски виденной Булгаковым в детстве на сцене Киевского оперного театра оперы немецкого композитора А. Лортцинга «Царь-плотник», которая начиналась хором плотников на верфи Саардама.<sup>54</sup> Что же касается ироничного отношения автора к создателю Российской империи, то, используя выражение самого Булгакова, его ирония по отношению к Петру I невозможна вследствие грандиозности фигуры последнего. Отношение писателя к царю-деспоту в 1937 году могло быть выражено, пожалуй, лишь фразой пушкинского Евгения: «Ужо тебе».

Литературной основой либретто был, несомненно, роман Д. Мережковского «Петр и Алексей», текст которого лег в основу некоторых сцен и даже арий: колыбельной Екатерины на верфи, сцены доклада кабинет-секретаря Алексея Макарова, в частности, разнообразия дел, которые решает Петр, в том числе дела о подкидных младенцах. Однако Булгаков использовал сцены романа Мережковского лишь как литературную и

<sup>52</sup> Володин В. Либретто, которое никому не понадобилось // Советская музыка. 1988. № 2. С. 61—62.

<sup>53</sup> Шафер Н. Неизвестное произведение мастера // Советская музыка. 1988. № 2. С. 48—49.

<sup>54</sup> Кузьякина Н. Б. Булгаков и оперный театр в Киеве. Доклад на III Булгаковских чтениях в Ленинграде (1988).

отчасти историческую основу. Вероятно, фигура Петра интересовала драматурга давно: в его записной книге 1929—1932 годов приведена выписка из «Дела о белой вороне», помеченная так: «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т. II, стр. 335».<sup>55</sup> Возможно, Булгаков смог познакомиться с содержанием тетрадей с выписками Пушкина к его «Истории Петра Великого» — над этими тетрадями, обнаруженными в октябре 1932 года в усадьбе Гончаровых в Лопасне, работал в Пушкинском Доме друг писателя П. С. Попов.

Осмысление событий в «Петре Великом» совершенно самостоятельно. Прежде всего это касается образа царевича. Создавая Петра идеальным государем, Булгаков, в сущности, делал определенный выбор, выдвигая на первый план идею великого государства. Алексей — прямой антипод и враг Петра I. При первом же появлении на сцене он желает отцу смерти и обещает сжечь все его корабли. И в пространстве либретто Булгаков сумел сказать то, что хотел, причем теми средствами, которыми обладал в эти годы лишь он. В подоплеке славных дел Петра постоянно присутствует убийство царевича Алексея. Измена, окружающая царя, отнюдь не умаляет его трагедии. Трагедия великого монарха заключалась в нарушении христианской нравственности, в преступлении — ради великого царства. Трагедия самого писателя состояла в том, что возрождение и укрепление России как государства было в руках людей, которых он ненавидел. И в 1937 году тема монархии связывается в сознании Булгакова с темой насильственного убийства, но уже под другим углом зрения: как цены всякой власти. Булгаков видел единую суть кровавых дворцовых событий XVIII века, революционного террора XIX века и «строительства нового мира» века XX: она заключалась в нарушении христианских заповедей ради борьбы за власть. Размышления писателя о сути и цене государственной власти сказались в строгой композиции и образах либретто «Петр Великий». От этого либретто был всего шаг к проблематике и самой возможности написания «Батума».

Булгаков начал писать «Батум» через год после окончания «Петра Великого». Позади была работа над «Александром Пушкиным», где он создал блистательный образ Николая I — монарха, обладавшего поистине царственным лицемерием. Позади была и комедия «Иван Васильевич» с колоритной фигурой Иоанна Грозного в Москве тридцатых годов. В контексте творчества Булгакова последний царь Николай II в «Батуме» сопоставляется с правлением его предков. Именно в клетке с канарейкой, которая появляется в кабинете царя в девятой картине «Батума», были найдены родными поэта листы «Истории Петра Великого» А. С. Пушкина (об этом 23 октября 1932 года внук поэта Г. А. Пушкин сообщил редактору собрания сочинений Пушкина П. С. Попову, близкому другу М. А. Булгакова). В сцене царя Николая II в Петергофском дворце в «Батуме»; где «трагедия машет мантией мишурной», сошлись несколько линий монархической темы в творчестве Булгакова. Горечь несчастного царствования становится особенно очевидной при сравнении с правлением великих предков последнего Романова.

Девятая картина «Батума» воспринимается обычно лишь как издевательская по отношению к Николаю II. В статье «Первая и последняя попытка» М. О. Чудакова пишет о драматурге: «Теперь он хладнокровно воссоздавал ту самую пьесу, которая была объектом его пародирования в „Багровом острове“ — сцена Николая II и министра почти буквально

<sup>55</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 17. Ед. хр. 18. Л. 2.

воспроизводит диалоги Сизи и Кири (...). К 1939 году он испил чашу горького опыта едва ли не до конца. У него не осталось никакого сочувствия к последнему российскому монарху, и для его изображения он не пожалел самых гротескных средств».<sup>56</sup>

Канадский исследователь К. Райт обнаружил в «Багровом острове» кроме образа Сизи-Бузи — «тупого злодея на троне» — еще одну монархическую аллегория: трехсотлетнее молчание вулкана Муанганам в пьесе Василия Артурыча Дымогацкого — Жюль Верна означало трехсотлетнее правление династии Романовых.<sup>57</sup>

Между тем, в отличие от Дымогацкого, сам Булгаков писал свою пьесу «Багровый остров» как сатиру на *современность*, на тупую идеологичность Саввы Лукича, с удовольствием отдыхающего на троне и черпающего сужденья «из забытых газет времен колчаковских и покоренья Крыма». Прикрывшись образами героев Жюль Верна со включенными на туземный манер волосами, Булгаков в образе Сизи пародировал не столько погибшего императора России, сколько современных ему властителей, и пародировал очень жестоко. На наш взгляд, это очевидно из самого текста пьесы:

Лорд. Вы управляете, а они работают?

Сизи. Так, дорогой, так. (...)

Лорд. Вы говорите — жемчуг? И много вы его добываете?

Сизи. Немного, дорогой. Пудов пятьсот... (...)

Лорд. Сейчас есть жемчуг?

Сизи. Сейчас, дорогой, не имеем. (...)

Лорд. Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов?

Сизи. Нет, дорогой. Это что? (...) Я, дорогой, все забыл».<sup>58</sup>

Содержание разговора, вопрос о фунте стерлингов, бессмысленный по отношению к Николаю, грузинское «дорогой» (во Владикавказе Булгакову приходилось писать революционную пьесу «из туземной жизни» — «Сыновья муллы») — все это имело отношение скорее к современным властителям России. Блистательное легкомыслие дорогого стоило автору — именно после «Багрового острова» все пьесы Булгакова были запрещены и он разделил судьбу одного из своих героев — вечно печального рыцаря, который «когда-то неудачно пошутил». Премьера «Багрового острова» состоялась в Камерном театре 11 декабря 1928 года. 2 февраля 1929 Сталин пишет ответ на письмо В. Билль-Белоцерковского (одного из прототипов Василия Артурыча Дымогацкого — именно из его пьес попал на сцену, в частности, говорящий попугай). Сталин начинает свое письмо с «Бега», о котором шла речь в письме-доносе Билль-Белоцерковского. А заканчивает его «Багровым островом»: «Вспомните „Багровый остров“, „Заговор равных“ и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительного буржуазного Камерного театра».<sup>59</sup> К концу сезона все пьесы Булгакова были запрещены.

Более плодотворно, на наш взгляд, сравнение сцены с царем в «Батуме» с эпизодами «Дней Турбиных». Шутовской характер картины девятой, где министр докладывает царю дело Джугашвили, вызван теми же причинами, что и «вранье» Шервинского — невозможностью говорить прямо. И в той, и в другой пьесе о царе рассказано то, чего не было: в

<sup>56</sup> Чудакова М. О. Первая и последняя попытка // Современная драматургия. 1988, № 5. С. 216.

<sup>57</sup> Wright C. A. Mikhail Bulgakov. Life and Interpretation. Toronto, 1968. P. 119.

<sup>58</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 3. С. 166—167.

<sup>59</sup> Сталин И. В. Сочинения. Т. 11. 1949. С. 347.

«Днях Турбиных» — белая легенда, в «Батуме» — легенда красная, та, которая усиленно распространялась официальной пропагандой после убийства в Екатеринбурге. Как бы жестко ни оценивал Булгаков царствование последнего Романова и его отречение от престола, комическая фигура Николая II в «Батуме», как и романтический образ Сталина, были вынужденными. И здесь Булгаков запечатлел не собственно образ Николая II, а представление современников о нем в 1938 году: слащавый офицерик, невежественный, суеверный, абсолютно оторванный от реальной жизни России, баснословно глупый царь, произносящий почти гоголевскую фразу: «Среди тульских чиновников вообще попадаются исключительно талантливые люди»<sup>60</sup> — прекрасно дополнял героический образ будущего генсека.

Появлению царя предшествует сцена Сталина с Реджебом, где Николай заранее оказывается легендарной фигурой. Реджеб рассказывает, что видел сон, как царь утонул и весь народ обрадовался. Хитрый старик, который пришел узнать, не печатает ли Сталин фальшивые деньги в подвале дома, рассказывает историю, приятную товарищу Сосо. По сути, то же самое делает и Булгаков: он рисует убитого императора таким, каким его приятно видеть самому Сталину и всему сонму «тонкошеих вождей». Никакое другое изображение последнего русского царя в театре времен Джугашвили и Берии было невозможно. Всю ситуацию с «Батумом» до конца проясняет реакция Булгакова на запрещение пьесы: «Он подписал мне смертный приговор». Прервав поездку в Батуми, возвращаясь обратно на попутной машине в Москву, он повторял: «Навстречу чему мы мчимся? Может быть — смерти?» Дома, бродя по затемненной, зашторенной квартире, говорил: «Покойником пахнет».<sup>61</sup>

Причина появления царя в шутовском колпаке под пером автора «Белой гвардии» отнюдь не в том, что «у него не осталось никакого сочувствия к последнему российскому монарху», но в невозможности говорить правду и в этом постоянном подсознательном присутствии «покойника».

Законы времени неумолимы. Булгаков написал «Батум». Его обвинили в том, что он хотел «навести мосты» в отношениях с властью. Через полгода Булгаков умер. Прошло еще сорок девять лет. Булгакова вновь обвинили в том, что он написал «Батум». Однако... Можем ли мы, живущие в другом времени и по другим законам, судить людей тридцатых годов? В особенности того, кто открыл на страницах «Мастера и Маргариты» и донес оттуда, из тридцатых годов, мир интеллектуальной свободы, так поразивший людей шестидесятых. Пушкин писал критикам Жуковского: «Отчего кусаем мы груди кормилицы нашей? Оттого ли что зубки прорезались?» Вероятно, лишь современник может понять события 1939 года. А современник судил не так строго. «И гостью страшную ты сам к себе впустил. И с ней наедине остался», — написала после смерти писателя Анна Ахматова.

Законы времени неумолимы. Но неумолимы и законы драмы. На наш взгляд, именно сцена Николая II выявляет ту меру условности, с которой создавались персонажи «Батума». Здесь уместно вспомнить переписку Булгакова с В. Вересаевым по поводу пьесы «Александр Пушкин» и их спор об образе Дантеса. «Ваш образ Дантеса считаю сценически невозможным, — писал Булгаков. — Он настолько беден, тривиален, выхолощен,

<sup>60</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 3. С. 565.

<sup>61</sup> Дневник Елены Булгаковой М., 1990. С. 277.

что в серьезную пьесу поставлен быть не может. Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицера... Дело идет о жизни Пушкина в этой пьесе. Если ему дать несерьезных партнеров, это Пушкина унизит».<sup>62</sup>

Товарищу Сосо в «Батуме» Булгаков таких партнеров дает. Его чудесное спасение из проруби в Сибири и излечение от грудной болезни явно перекликается с убогими чудесами Саровского прудика, о котором рассказывает царь Николай. Комические фигуры царя и кутаисского губернатора оттеняют отсутствие сомнений и целеустремленность будущего вождя народов.

В контексте пьесы неизбежно происходит сравнение Сталина с Николаем. Канарейка в кабинете начинает выпевать «Боже, царя храни!» лишь в момент вынесения решения по делу Джугашвили — до этого царь не мог добиться от птицы ни звука. Его поведение и манера речи напоминают Лариосика Суржанского, явившегося в дом Турбиных с птицей в руке. Но это жестокий Лариосик, сокрушающийся по поводу малого числа жертв при стрельбе взвода солдат по толпе. Сама эта несвойственная Булгакову прямолинейность решения и фраза «Мягкие законы на святой Руси», двусмысленно звучащая в устах царя, убитого без суда в подвале, и напоминающая глумливую реплику Кошмара из сна Алексея в «Белой гвардии»: «Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная, а честь русскому человеку только лишнее бремя», — заставляет внимательнее присмотреться к тексту.

Как и в «Днях Турбиных», он соткан из достоверных исторических деталей. Известно, что Николай II с большим пристрастием относился к военной службе и с гордостью носил полковничьи погоны. За участие в усмирении забастовок и волнений воинские части удостоивались его похвал. Так, узнав о действиях Фанагорийского полка во время усмирения забастовки в Ярославле, Николай воскликнул: «Молодцы фанагорийцы!» Известно также, что в семье Николая II, у его сестры великой княжны Ольги Александровны действительно была канарейка, умевшая петь царский гимн. А. С. Суворин записал в своем дневнике 31 октября 1896 года: «На половине княжны Ольги Александровны в клетке канарейка, которая поет „Боже, царя храни“». Иван Павлович слышал и говорит, что поет очень хорошо. Выучивший птицу получил высочайший рескрипт».<sup>63</sup> Известная мистическая одержимость царицы Александры Федоровны и мягкий характер царя также нашли свое отражение в комической сцене «Батума», в каждой паузе которой явно должен звучать смех зрительного зала.

Казалось бы, у Булгакова был один выход: Николай II, погибший столь страшной смертью, мог вообще не появляться в этой пьесе. Утверждение им приговора по делу горийского крестьянина и бывшего семинариста Джугашвили факт явно выдуманный, невероятный, никакого отношения к подлинной истории не имеющий. Это последнее обстоятельство и позволяет понять, почему появляется убитый император России в пьесе о Сталине 1939 года. Он появляется именно потому, что был убит. Вместе с образом Николая II в пьесу входит тема жестокости власти и несправедного убийства. Она стала лейтмотивом всей драматургии писателя тридцатых годов. Судьба Ефросимова и Рейна, судьба Мольера и Пушкина — это трагический конфликт с властью, завершающийся гибелью

<sup>62</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. С. 539.

<sup>63</sup> Суворин А. С. Дневник. СПб., 1908. С. 131—132.

или бегством. Этот же конфликт проступает и в «Батуме». Но он словно перевернут, поставлен с ног на голову, так как Сталин, избиваемый тюремщиками в пьесе, в реальности находился на вершине власти, а бесчеловечный царь-офицерик вызывал в памяти страшную гибель Николая II и его детей, ставшую символом революционного насилия. Для большинства зрителей 1939 года, мало знакомых с подлинными историческими фактами и чтившими Краткий курс ВКП(б), убийство в Екатеринбурге было вовсе неизвестно или оставалось лишь эпизодом гражданской войны. Создавая свою «верноподданническую» пьесу, Булгаков использовал красную легенду о последнем Романове и расставил фигуры так, как их видело большинство. Но через головы простых зрителей он, несомненно, обращался к герою своей пьесы. И обращение это было серьезным. Оно заключалось в идее возмездия, воплощенной в дальнейшей судьбе героев. Именно поэтому так подчеркивается противоположность их положения: сцена в кабинете царя следует сразу за сценой избиения Сталина в тюрьме, где заключенный из уголовников напевает куплет:

Царь живет в больших палатах  
И играет, и поет!  
Здесь же, в сереньких халатах,  
Дохнет в карцерах народ!..

Заканчивается сцена в тюрьме многозначительным эпизодом:

«Сталин встречается взглядом с Трейницею. Долго смотрят друг на друга.

Сталин (*поднимает руку, грозит Трейницу*). До свиданья!  
Занавес».

Сразу вслед за этим, в начале четвертого действия на сцене возникает кабинет Николая II в Петергофе.

Булгаков создает здесь персонаж, который в точности воспроизводит то, что писалось о Николае Романове в Советской России после 1918 года. В предисловии к книге П. Быкова некто И. Таняев писал:

«...видный деятель самодержавия начала 900-х годов, ген. Куропаткин в одном месте своего дневника отмечал, что у Николая „явилося желание подражать Павлу“ и (...) утверждал, что Николай превзошел Павла. Трудно сказать, кто из этих двух вырожденцев династии Романовых действительно превзошел другого, но что один другого стоил — это несомненно. У них было много черт сходства в характере. Прежде всего, оба они были до нельзя умственно ограниченными людьми. (...) Николай являл собою, несомненно, человека ненормального с явно выраженной пониженной чувствительностью и сознательностью. (...) В поощрении правительственного террора Николай проявил необычайный размах. Кажется, ни в какой другой отрасли государственного управления им не было проявлено столько кипучей энергии, принципиальной выдержанности, как именно в этой области. (...) Советской власти было не до Романовых: пришлось „ликвидировать“ их в чрезвычайном порядке. Советская власть проявила крайний демократизм: она не сделала исключения для всероссийского убийцы и расстреляла его наравне с обыкновенным бандитом».<sup>64</sup>

В начале картины девятой царь доверительно рассказывает министру о чудесах саровского прудика, произнося при этом глупости, чрезмерные даже для легендарного царя-дурака:

<sup>64</sup> Таняев И. Вместо предисловия // Быков П. М. Последние дни Романовых. Свердловск. 1926. С. 4—5, 11—12, 15.



«Николай. ...Василий босоногий. Никогда сапог не надевает... Он мне объяснил, что раз уж снял сапоги, то не надо их надевать никогда. (...) И вот этот самый Василий, на моих глазах исцелил Владимира Борисовича. Велел ему обыкновенные бутылочные пробки нарезать ломтиками, как режут колбасу, и нанизать на ниточку. И это ожерелье надеть на голую ногу, предварительно намазав слюною под коленом...»<sup>65</sup>

Далее, спросив простодушно: «Что же у вас там, в портфеле?» — Николай узнает о преступлении, совершенном крестьянином Горийского уезда Тифлисской губернии Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, который предводительствовал шеститысячной толпой. Узнав, что при усмирении демонстрации из толпы убито лишь четырнадцать человек, царь сильно огорчается и строго произносит: «Придется отчислить от командования и командира батальона, и командира роты». Когда министр сообщает, что преступление Джугашвили карается высылкой в Восточную Сибирь, Николай II произносит: «Мягкие законы на Святой Руси», — и в этот момент «канарейка вдруг... пропела тенором: „...жавный!“» Услышав гимн, Николай проделывает следующее: «Очень оживившись, подходит к клетке, начинает щелкать пальцами и дирижировать». Он просит министра подыграть канарейке и деловой разговор вновь прерывается — на этот раз речь идет не о Василии босоногом, а об удивительных талантах тульских чиновников, причем император России добавляет: «Ну, правда, у них там, в Туле, и канарейки какие!» Утвердив приговор бывшему семинаристу, царь отпускает министра. Следующим «в дверях появляется министр Куропаткин...». В дневнике генерала А. П. Куропаткина, опубликованном в «Красном архиве», было сделано сравнение Николая II с Павлом I: по-видимому, появление именно Куропаткина в финале сцены с царем не было случайным. Воспоминания министра, опубликованные в советское время, акцентировали внимание на дальнейшей судьбе героев.

Создавая пьесу о Сталине и для Сталина, Булгаков использовал исторические фигуры, хорошо известные генеральному секретарю. Перенеся после жестокого избиения Сталина действие в Петергофский дворец царя, Булгаков подчеркивает в трагикомичной марионеточной фигурке, все время занятой какой-то одной мыслью или одним чувством, подобно традиционному глупому царю в кукольном балагане, — удивительное бессердечие и жестокость. Надо полагать что и контраст дворца со сценой в тюрьме, и жестокость Николая II соответствовали замыслу Булгакова.

После гибели Ягоды и Ежова идея расплаты за содеянное современными властителями России перестала быть запретной. Характерно, что последняя пьеса, которую задумал Булгаков в 1939 году и над которой работал параллельно с «Батумом» (в дневнике Е. С. Булгаковой есть запись о ней 18 мая 1939 года),<sup>66</sup> была посвящена всесильному чину НКВД, карьера которого рушится. Мотив жестокости власти в «Батуме» явно связан с идеей возмездия. На наш взгляд, именно в христианской идее греха и возмездия заключалось обращение Булгакова к генсеку в его пьесе 1939 года. Оно, несомненно, было основано на том, что в юности Сталин получил богословское образование в семинарии. Хотя «возмездие» происходит в реальной истории и перемена судеб героев вмещается в пространстве жизни Сталина, тема судьбы, рока, предопределения событий присутствует в «Батуме» — с первой сцены, где Иосиф рассказывает о том, что цыганка нагадала ему быть «большим человеком», и до за-

<sup>65</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 3. С. 563—564.

<sup>66</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 260.

ключительной сцены, в которой товарищ Сосо рассказывает о своем чудесном спасении из проруби и внезапно обретенном здоровье.

Если все остальные сцены «Батума» основаны на исторических фактах, то сцена в Петергофском дворце вымышлена полностью. При этом каждый эпизод ее построен на таких ассоциациях, которые противоположны внешне декларируемому смыслу. Косное суеверие царя в «Батуме» явно связано с его жестокостью. Жестокость царя, как и манипуляции с пробочками и бутылочками, противоречат милосердию истинно христианской веры и мудрости Серафима Саровского, кротостью смирявшего диких зверей. Поведение царя, вполне соответствующее официальной пропаганде, абсолютно противоречит тем известным наставлениям, которые старец Серафим давал «пастырю словесных овец»:

«Истинное познание добра и зла можно иметь только тогда, когда подвижник благочестия придет в сочувствие будущего осуждения и предвкушения вечного блаженства. (...)

Прежде рассуждения добра и зла человек не способен пасти словесных овец, но разве бессловесных, потому что без познания добра и зла мы действий лукавого постигать не можем.

А потому настоятель, яко пастырь словесных овец и должен иметь дар рассуждения. (...)

Настоятелю должно иметь также дар пронизательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших мог он предусматривать и будущие. (...)

...Истинного пастыря, по словам Иоанна Лествичника, показывает любовь его к своему стаду. Ибо любовь принудила распяться на кресте Верховного Пастыря. (...)

...Настоятель должен (...) болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших преступленьями подымать с кротостью (...), чтобы никогда не было слышно ни малейшего вопля их, ниже ропота...»<sup>67</sup>

Первоначальное название пьесы Булгакова — «Пастырь».<sup>68</sup> Это была одна из подпольных кличек Сталина на Кавказе и во время пребывания в Батуме. Для религиозного человека или того, кто знаком с Законом Божьим, слово «пастырь» имеет совершенно определенный смысл: оно олицетворяет подвиг милосердия Христа. Первоначальное название пьесы раскрывает, на наш взгляд, замысел автора «Мастера и Маргариты» обратиться к генеральному секретарю на языке христианских истин, понятный бывшему семинаристу, но ушедших из сознания подавляющего большинства населения страны: уже в 1931 году Булгаков в пьесе «Адам и Ева» назвал Библию «произведением, неизвестным совершенно».<sup>69</sup> Сцена с царем и вводит в пьесу понятия жестокости и милосердия власти, греха и возмездия, воли провидения и высшего суда. Удивительная судьба Николая II, его падения с вершины императорской власти и смерть без суда от руки екатеринбургского фотографа, стала историей. Но Булгаков писал пьесу, обращенную к современности, с призывом к тому, кто жил теперь в «больших палатах», взглянуть на свой народ. Разоблачения Ягоды и Ежова, казалось, означали конец террора. Фигура Серафима Саровского, с его даром пророчества, основанном на «соображении вещей

<sup>67</sup> Извлечения из наставлений преподобного отца нашего Серафима... Из кн. «Житие старца Серафима Саровской обители». Изд. Саровской обители. 1901 год // Святой преподобный Серафим Саровский Чудотворец. М., 1990. С. 41—43.

<sup>68</sup> ОР РГБ. Ф. 562. К. 14. Ед. хр. 7. Л. 1.

<sup>69</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 3. С. 380.

настоящих и прошедших», с его наставлениями «пастырю словесных овец» и призывом подчиняться всякой власти, была напоминанием о возможности иного правления, основанного на милосердии.

Был ли услышан этот исторический урок и призыв драматурга проявить «милость к падшим»? Известны слова Сталина, сказанные о «Батуме» через несколько лет после смерти Булгакова: «Мы даже Булгакова заставили писать так, как нам нужно». Высказывание это ясно показывает, что для Сталина «Батум» был отнюдь не продолжением разговора «равных», о котором мечтал Булгаков после телефонного разговора со Сталиным 18 апреля 1930 года. Для Сталина «Батум» был идеологической победой над классово чуждым, хотя и талантливым писателем. Глагол «заставили» говорит об уровне осмысления вождем народов проблем художественной интеллигенции. В статье «Соблазн классики» М. О. Чудакова делает необычайно интересный анализ отношений Булгакова к власти в его письмах к правительству и к И. В. Сталину: писатель явно пытался воспроизвести формы отношений между литератором и властью прошлых времен, его обращение к генсеку с предложением-просьбой быть его первым читателем напоминает договор о личной цензуре Николаем I произведений Пушкина.<sup>70</sup> Однако и сами правители России были не прочь примерить на себя одежды бывших владык империи. Булгаков отметил этот процесс еще в «Багровом острове», где Савва Лукич с удовольствием отдыхает на троне Сизи-Бузи. В тридцатые годы в официальной пропаганде стали использовать аналогии с царствованием Петра I и Ивана Грозного — врагов боярской вольницы и собирателей Руси. В драматургии Булгакова современность проступает в одеждах абсолютизма. Собственная судьба драматурга подтвердила точность исторического анализа тридцатых годов как времени «русской реакции», советского абсолютизма со всем комплексом разветвленной бюрократической машины и методичного удушения свободной мысли и свободного слова. Отзыв Николая I на восхваляющем его стихотворении Пушкина «Друзьям» (1828): «Это можно распространять, но нельзя печатать»<sup>71</sup> — поразительно напоминает отзыв Сталина о пьесе Булгакова «Батум», зафиксированный в дневнике жены писателя: «...генеральный секретарь разговаривал с Немировичем, сказал, что пьесу „Батум“ он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». Несколькими днями раньше сделана еще одна запись об отзыве о «Батуме» «сверху»: «Пьесу нельзя ни ставить ни публиковать».<sup>72</sup>

В известном анекдоте Булгакова о его дружбе со Сталиным и о посещении Сталиным в отсутствие друга Мико оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» сподвижники вождя прямо называют его «ваше величество»:

«Ворошилов. Так что, вашество, я думаю, что это сумбур. <...>

Молотов. Я, вваше ввеличество, ддумаю, что это ккаккофония. <...>

Каганович. Я так считаю, ваше величество, что это и какофония и сумбур вместе!»<sup>73</sup>

Любопытно, что в этом анекдоте сам Булгаков появляется босой, без сапог:

«Миша останавливается у дверей, отвечает поклон.

<sup>70</sup> Чудакова М. О. Соблазн классики // Atti del convegno «Michail Bulgakov». 1984. Т. 1. Milano, 1986.

<sup>71</sup> Пушкин в жизни. Т. II. С. 249.

<sup>72</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 279.

<sup>73</sup> Там же. С. 310.

Сталин. Что такое! Почему босой?

Булгаков (разводя горестно руками). Да что уж... нет у меня сапог...

Сталин. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему! (...) Ворошилов снимает, но они велики Мише. (...) Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят. (...) Наконец, сапоги Молотова налезают на ноги Мише».<sup>74</sup>

Возможно, что кроме основного, важного смысла, в обращении к генсеку присутствовал элемент словесной игры и содержанием этого анекдота, который, по законам времени, должен был быть известен Сталину, объясняется загадочная фраза Василия босоногого в «Батуме»: «Он мне объяснил, что раз уж снял сапоги, то не надо их надевать никогда».

Неудивительно, что литературная игра сосредоточивается вокруг фигуры царя — фигуры чисто условной, язного комического символа российской власти. Булгаков сам раскрывает это в эпизоде с канарейкой, поющей гимн российской империи: Николай просит министра подыграть ей «на органчике». Известный образ «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина вплетается в текст «Батума» практически незаметно. Однако появление столь редкого и оригинального слова — «органчик» — в тексте такого писателя, как Булгаков, случайным быть не могло. Трудно сказать даже, стремился ли Булгаков акцентировать на нем внимание. По-видимому, напротив, он к этому не стремился, и тем не менее, по воле автора органчик в тексте «Батума» звучит.

В известном письме Правительству СССР, датированном 28 марта 1930 года и ставшем причиной телефонного разговора Сталина с Булгаковым, писатель дал себе следующую самохарактеристику: «...черные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и великой эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина».<sup>75</sup> Имя Щедрина здесь естественно вплетается в контекст истории России. В октябре 1933 года, отвечая на разосланную редакцией «Литературного наследства» анкету о Салтыкове-Щедрина, Булгаков сосредоточивается на персонажах «Истории одного города», говоря о современности: «Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные Клементинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывший прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным...»<sup>76</sup>

Дементий Варламович Брудастый, градоначальник города Глупова, вступивший на пост в 1762 году, отличался, как известно, одной особенностью — в голове его, которая легко снималась с плеч, находился органчик, игравший две музыкальные мелодии: «Раззорю!» и «Не потерплю!» В романе Булгакова, законченном к 1939 году, чиновник Прохор Петрович Полыхаев также сидел за служебным столом без головы, в виде одного костюма и продолжал исполнять свои служебные обязанности. Близкое знакомство Булгакова именно с этим персонажем книги Щедрина не вызывает сомнений.

<sup>74</sup> Там же. С. 308.

<sup>75</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 5. С. 446.

<sup>76</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 339.

На первый взгляд, ассоциации с «Историей одного города» лишь дополняют сатирическое изображение автором пьесы императора России. Это было бы верно, если бы М. А. Булгаков не был автором инсценировки «Мертвых душ». Блестящий знаток гоголевского текста, имевший домашнее прозвище «Капитан Копейкин», он, несомненно, хорошо помнил, как Ноздрев уговаривал Чичикова купить у него собаку: «Я тебе продам такую пару, что просто мороз по коже подирает! брдастая с усами...»<sup>77</sup> Булгаков, как известно, любивший читать книги о старинной охоте, несомненно знал свойства этой породы. Комментаратор «Истории одного города» Б. Эйхенбаум писал: «Брдастые — одна из пород борзых и гончих собак, отличающихся сильной шерстистостью (усы, борода как у козла, нависшие брови) и злобностью. В охотничьих словарях о русских брдастых гончих говорится, что они „роста крупного (до 17 вершков), масти обыкновенно серой, характера свирепого, упрямого и сварливого, обладают хорошим чутьем, неутомимостью и «мертвою» злобою к зверю“. Называя градоначальника Брдастым, Щедрин, конечно, имел в виду все эти признаки».<sup>78</sup>

Судя по ответу на анкету «Литературного наследства», Булгаков хорошо помнил и значение слова «прохвост», которым жители Глупова называют Брдастого, — это исковерканное «профос», так назывались в немецкой армии полковые экзекуторы и палачи. В русской армии при Петре I слово «прохвост» имело то же значение, а впоследствии так называли смотрителей военных тюрем, убиравших нечистоты в камерах. «В „Органчике“, — сообщает комментатор, — Щедрин употребляет слово „прохвост“ в двух значениях: и как историческое (палач) и как современное, бранное».<sup>79</sup>

Все эти признаки, которые открывает имя «органчика», явно не подходят для последнего Романова. В главе «Органчик» он ассоциируется скорее с Карлом Простодушным, «который имел на плечах хотя и не порожний, но как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал», тем более, что средневековый король Карл Простодушный, который действительно вел неудачные войны, вынужден был уступить Нормандию и был низложен. Брдастый и описание его правления вызывает явные ассоциации с самим героем пьесы и жизнью России двадцатых-тридцатых годов:

«Жители ликовали, еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его „красавчиком“ и „умницей“. Явились даже опасные мечтатели, (...) они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. (...) Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говориться, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты) и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. (...) Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города: частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочкиники позабыли, что значит путем поехать. (...) Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают. (...) Гул и треск проносится из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит злоеущее: «Не потерплю!» (...) В

<sup>77</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 4. С. 34.

<sup>78</sup> Эйхенбаум Б. Комментарии // Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. М., 1960. С. 253.

<sup>79</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. С. 39—40, 42—43.

особенности тяжело было смотреть на город поздно вечером (...) густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловеющий свет». Эзопов язык великого сатирика вновь ожил в новые времена: краски русского деспотизма не померкли. Мастерство Булгакова в девятой картине «Батума» сказалось в полной мере: органчик, подыгрывающий самодержавной канарейке, позволяет увидеть истинные лица нарисованных «верноподданнической» рукой фигур: «И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью (...), если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом его разгаре...»<sup>80</sup> Образ революционного Горация сменяет серая морда «брудастой с усами», отличающейся сварливым характером, неутомимостью и «мертвостью злобою» палача.

В картине с царем в «Батуме» Булгаков сумел сказать, что послереволюционные властители России с их торопливым захватом власти и размахом террора легко вписывались в галерею градоначальников Салтыкова-Щедрина. И Сталин, засиживающийся по ночам над прокрипционными списками, что заставляло не спать всю Москву, — образ гораздо более соответствующий реальности, чем молодой революционный вождь, которого возмущает, что в тюрьме «зверски обращаются с заключенными», и устроивший бунт отчаянным криком: «Женщину тюремщик бьет!» После запрещения «Батума» Булгаков, который к этому времени почти ослеп и носил черные очки, сделал 11 февраля 1940 года надпись на фото жене: «...Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличать правду от неправды».<sup>81</sup>

Тема столкновения милосердия и жестокости власти проходит через все пьесы Булгакова, в которых созданы образы царей. Фигура царя в драматургии двадцатых и тридцатых годов — это всегда некое обращение к современности: судьбы и характеры властителей прошлого проливают свет на его отношение к государственной власти как таковой. Писатель каждый раз раскрывает конфликт милосердия и жестокости власти через характер царя, как это сделано в образе Николая I, или через истолкование его современниками и потомками, как это происходит в «Днях Турбиных» и «Батуме». Мастерство Булгакова при всех условиях позволяет ему высказать свои подлинные мысли. Трагические фигуры русской истории приходят к зрителю в шутовском облике, жертвы меняются нарядом с палачами, правда переплетается с вымыслом. Но в конце концов за мишурной мантией героев встают подлинные, трагические лица и подлинные мысли автора, говорящие о трезвости его ума и его высоком чувстве правды.

<sup>80</sup> Там же. С. 46.

<sup>81</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 287.

## ПЬЕСА М. А. БУЛГАКОВА «БАТУМ»

(К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

Ситуация с «Батумом» издавна смущала исследователей творчества М. А. Булгакова. Писатель, сильно пострадавший от сталинского режима и выше всего ценивший чувство собственного достоинства (и то и другое хорошо видно хотя бы из его «Письма правительству» 1930 года), вдруг на исходе своей творческой жизни взялся за написание пьесы о Сталине, о годах его революционной юности. Произведение получилось хотя и не совсем апологетическое, но, по признанию В. Лакшина, вполне «вписывалось в круг сочинений, добросовестно создававших „культ личности“ вождя».<sup>1</sup> Такой поступок по меньшей мере не укладывается в представление о стойком и последовательном противнике жизнеустройства по большевистским меркам, каким несомненно был и оставался Булгаков до конца своих дней.

Тем интереснее проследить за попытками объяснения этого факта, предпринимавшимися в последние годы. Писавшие на эту тему сосредоточились в основном на выяснении трех вопросов, имевших важное значение для понимания творческой личности Булгакова: что побудило его обратиться к теме Сталина, каков реальный уровень пьесы «Батум» на фоне других произведений писателя и почему постановка ее на сцене была запрещена? Понятно, что от ответа на эти вопросы зависит многое. Точки зрения на них уже достаточно определились, и без большого труда можно заметить, что они не только различны, но и прямо противоположны.

Первая публикация «Батума» в нашей печати (альманах «Современная драматургия», 1988, № 5) сопровождалась статьей М. Чудаковой. В ней утверждается, что замысел пьесы возник у Булгакова не без влияния стихов Б. Пастернака о Сталине, опубликованных в «Известиях» 1 января 1936 года и привлечших к себе внимание всей отечественной читающей публики. Однако к реализации своего замысла Булгаков приступил лишь в 1939 году. Время между оглашением замысла пьесы и его осуществлением было заполнено работой над завершением романа «Мастер и Маргарита». Это значит, что, создавая пьесу о Сталине, Булгаков не мог не думать о судьбе своего «последнего закатного романа». Что касается оценок «Батума», то в статье М. Чудаковой она дана весьма определенно: «Пьеса лежала вне сферы проблемного, в ней все было решено заранее. Писание было делом технологии — как в первые годы его литературной работы. Но теперь профессионализм сильно облегчал дело».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Лакшин В. Судьба Булгакова: Легенда и быль // Воспоминания о Михаиле Булгакове. Сб. М., 1988. С. 30.

<sup>2</sup> Чудакова М. Первая и последняя попытка // Современная драматургия. 1988. № 5. С. 216.

Заданность пьесы, ее «сделанность» для М. Чудаковой очевидны: вещь писалась ради спасения других, более важных для Булгакова произведений, и прежде всего романа «Мастер и Маргарита». В самом факте обращения гонимого писателя к сталинской теме исследователь не видит ничего сверхнеобычного для тех лет. Мифологизированные представления о творце «великого перелома» были тогда широко распространены. Их не чурались и писатели, порядком претерпевшие от режима, о чем свидетельствуют не только стихи о Сталине Б. Пастернака, но и «Горийская симфония» Н. Заболоцкого, ода О. Мандельштама и др. Лишение же «Батума» права на постановку объясняется в статье тем, что Сталину не хотелось напоминать о своей юности, о «темном времени своей жизни — недаром он неукоснительно уничтожал в те годы его свидетелей».<sup>3</sup>

Такая трактовка пьесы и самого факта ее создания, по-видимому, не удовлетворила редакцию альманаха, которая сочла нужным оговориться, что «версия М. Чудаковой интересна, но не бесспорна».<sup>4</sup>

Дальнейшие события подтвердили предусмотрительную оговорку редакции: вокруг «Батума» завязалась дискуссия, длящаяся до сих пор. Почти одновременно со статьей М. Чудаковой появилась книга А. Смелянского «Уход». В ней мотивы, побудившие Булгакова к написанию пьесы о Сталине, изложены примерно в том же духе, но несколько подробнее. Автор книги соотносит рождение замысла пьесы с политической кампанией, начатой «Правдой» в статье «Сумбур вместо музыки» и вскоре затронувшей самого Булгакова. В этой ситуации писатель «решил упредить расправу над своими произведениями», сообщив официальным лицам — сначала директору МХАТа М. Аркадьеву, а затем председателю Комитета по делам искусств П. Керженцеву — о своем намерении писать пьесу о Сталине. По мнению А. Смелянского, «обдуманый характер этих „сигналов“ («наверх» — В. М.) очевиден»,<sup>5</sup> хотя в условиях уже начавшейся кампании это не помогло: очередной удар по Булгакову был нанесен редакционной статьей «Правды» от 9 марта 1936 года «Внешний блеск и фальшивое содержание» (о мхатовском спектакле «Мольер»).

Однако, в отличие от М. Чудаковой, А. Смелянский не склонен считать «Батум» беспроблемным произведением, написанным «хладнокровной» рукой драматурга-ремесленника. «Пьеса не укладывалась в общепринятые, незыблемые каноны представлений о Сталине. (...) Отдельные реплики и сцены были сомнительны с точки зрения литературного официоза 1939 года». Из-под пера драматурга вышла «пьеса, в которой сталинская эпоха была развернута и сопоставлена с полицейской практикой русского самодержавия начала века». Более того, пьеса не только «далека от канонического жития вождя», но и «заключает в себе полупридушенный, зашифрованный, но от этого не менее отчаянный вызов насилию». Иначе говоря, пьеса, посвященная юности вождя, получилась по сути антисталинской, что вполне объясняет запрет на ее постановку. «Сталин оказался гораздо более квалифицированным чтецом „Батума“, чем театральные современники Булгакова»,<sup>6</sup> — утверждает А. Смелянский.

Таким образом, сразу вслед за публикацией «Батума» наметилось принципиальное расхождение в подходе к нему между двумя, пожалуй,

<sup>3</sup> Там же. С. 219.

<sup>4</sup> Там же. С. 204.

<sup>5</sup> Смелянский А. Уход (Булгаков, Сталин, «Батум»). М., 1988. С. 25.

<sup>6</sup> Там же. С. 46, 47.



наиболее авторитетными исследователями творчества Булгакова. И хотя в данном случае они не спорили друг с другом (это расхождение выявлялось в их работах объективно), впоследствии А. Смелянский вступил в открытую полемику с М. Чудаковой по поводу «Батума».<sup>7</sup> В позиции ее он видит стремление установить «непроходимый рубеж между Булгаковым до „Батума“ и тем человеком, который написал пьесу о Сталине».<sup>8</sup> С точки зрения А. Смелянского, не может быть двух «разных» Булгаковых, противоречащих друг другу, и задача состоит в том, чтобы «понять, как трансформировались в „Батуме“ глубинные булгаковские темы пророка, власти, Бога и Дьявола».<sup>9</sup>

Мы еще вернемся к оценке позиции А. Смелянского. Пока же отметим, что она получила солидную поддержку на страницах журнала «Театр» со стороны двух исследователей — М. Петровского и А. Нинова. Оба они решительно отмежевались от интонации «милосердного понимания» и «снисходительной амнистии» по отношению к автору «Батума» (дескать, ничего не поделаешь: нужно было спасать если не себя, то свое творчество). По мнению М. Петровского, «Булгаков не льстил, не угодничал, он написал „Батум“ о том же, о чем написаны и все остальные его пьесы».<sup>10</sup> Тем самым критик внес в дискуссию необходимый и важный акцент: нельзя отрывать «Батум» от предшествующего творчества Булгакова, и в частности его историко-биографических произведений. Это пьеса «о столкновении молодого пророка-революционера со старой властью», о превращении его в «вождя». Причем Сталин в изображении Булгакова — «пророк более чем сомнительный, пророк с чертами демона»,<sup>11</sup> соединяющий в себе Христа и Сатану. Критик усматривает в пьесе даже некую параллель между Сталиным и Гришкой Отрепьевым из пушкинского «Бориса Годунова», проведенную драматургом для того, чтобы «выявить самозванчество своего героя».<sup>12</sup> «Булгаков написал к юбилею Сталина свою пьесу, а ждали от него совсем другую (в жанре «жития»). Это и определило судьбу „Батума“»,<sup>13</sup> — подытоживает свои наблюдения М. Петровский.

Трактовка булгаковской пьесы в этом же духе была продолжена А. Ниновым.<sup>14</sup> Он в полной мере разделяет взгляд на пьесу как на зашифрованный «вызов насилию». Основной ее смысл, по мнению исследователя, «глубоко критический», ибо Сталин, каким показывает его Булгаков, — не что иное, как «образ Антихриста». Пьеса выявляла слишком большой контраст между «батумским» и «московским» периодами биографии Сталина, и потому запрет ее был неминуем. Развивая эту мысль, критик пишет: «Будущий вождь бывшей Российской империи мог бы только посмеяться в 1939 году над системой тюрьмы и ссылки, через которую он сам прошел в молодости как через „подготовительный класс“. На месте разрушенной в годы революции репрессивной машины самодержавия Сталин и его приспешники создали несравненно более усовершенствованную систему подавления человека государством (...) Его собственный

<sup>7</sup> Смелянский А. Драмы и театр Михаила Булгакова // Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 602—609.

<sup>8</sup> Там же. С. 603.

<sup>9</sup> Там же. С. 604.

<sup>10</sup> Петровский М. Дело о «Батуме» // Театр. 1990. № 2. С. 168.

<sup>11</sup> Там же. С. 165.

<sup>12</sup> Там же. С. 167. О параллели Сталин—Лжедмитрий в пьесе «Батум» см. также: Тайнопись Михаила Булгакова. Беседа с В. Лосевым // Литературная Россия. 1991. 5 июля. С. 15.

<sup>13</sup> Там же. С. 163.

<sup>14</sup> Нинов А. Загадка «Батума» // Театр. 1991. № 7. С. 39—57.

режим, утвердившийся четверть века спустя, обнаружил прямую связь с кровавыми методами правления Николая II». <sup>15</sup>

Любопытно, что слова эти могут восприниматься и безотносительно к «Батуму». Но поскольку они сказаны по поводу него, то создается впечатление, что в них заключена реальность, отраженная в самой пьесе, в том числе и осознанная ее автором связь будущего советского диктатора с кровавым режимом правления последнего русского царя. Поневоле возникает вопрос: не привносятся ли в подобную трактовку «Батума» позднейшие (т. е. выходящие за пределы 30-х годов) знания о Сталине и его злодеяниях, и насколько такое «забегание вперед» согласуется с действительными представлениями Булгакова об этой исторической личности? Ведь «Батум» пришел к читателю с опозданием почти на полвека. Он оказался как бы вынутым из «своего» времени и перемещен в совершенно другое. В такой ситуации и само восприятие произведения становится иным, невольно провоцируя желание задним числом приписать его автору наше сегодняшнее знание и мышление. Чтобы избежать этой опасности, необходимо посмотреть на Сталина глазами писателей 30-х годов, а не современных демократических газет.

Статья А. Нинова написана обстоятельно, в ней анализируются источники «Батума», черновая и беловая его редакции, а также несколько вариантов общего плана пьесы, составленных ее автором. Но вот парадокс: содержание статьи «Загадка „Батума“» неожиданно приходит в противоречие с ее заглавием. Если судить по данной статье, то выходит, что никакой загадки-то и нет, все достаточно четко объяснено и растолковано.

И все же точку в этой полемике ставить рано. М. Чудакова продолжает отстаивать свое понимание того, с какой целью был создан «Батум». И она в этом не одинока: близкие ей позиции в оценке данной пьесы занимают В. Лакшин, В. Боборыкин, М. Золотоносов и другие исследователи творчества Булгакова. В одной из своих недавних статей М. Чудакова вновь вернулась к этому вопросу: «...Работая в последний год своей жизни над „Батумом“, Булгаков знал, что вслед за пьесой на стол Сталину — при удаче! — ляжет роман „Мастер и Маргарита“. Сегодняшние комментаторы пьесы (в собрании сочинений писателя <sup>16</sup>) напрасно, на наш взгляд, отыскивают в ней скрытую конфронтацию со Сталиным. Вынужденность пьесы очевидна, и она не столько в том, на мой взгляд, что Булгаков пишет о Сталине (хотя никакими находками хитроумных уколов Сталину, будто бы заложенных в пьесе, нельзя перешибить, увы, той радостной персонажей возвращению Сталина, которая господствует в пьесе, писавшейся в 1939 году), а в том, что он пишет о революционере и сочувственно изображает теперь „революционный процесс в моей отсталой стране“... Риск заключен был совсем не в „Батуме“, а в „Мастере и Маргарите“». <sup>17</sup>

Оппоненты, таким образом, остаются на своих позициях, уточняя и развивая их. Одни видят в «Батуме» завуалированные выпады против Сталина, подлинный смысл которых характерен скорее для нынешней эпохи, нежели для 30-х годов. Другие, напротив, усматривают в пьесе сочувственное изображение будущего вождя, предпринятое писателем с

<sup>15</sup> Там же. С. 55, 56.

<sup>16</sup> Имеются в виду комментарии А. Смелянского и А. Нинова в третьем томе пятитомного собр. соч. М. А. Булгакова (М., 1990).

<sup>17</sup> Чудакова М. Михаил Булгаков и Россия // Литературная газета. 1991. 15 мая. С. 11.

сугубо прагматической целью спасения главного творения своей жизни — романа «Мастер и Маргарита». При этом какие-либо иные человеческие побуждения и мотивы (невольное тяготение к личности вождя, увлеченность его образом, чувство признательности и т. п.) считаются, по-видимому, маловероятными и даже невозможными для такого писателя, как Булгаков. Хотя они, на наш взгляд, вовсе не исключены. Напомним в связи с этим об удивительном, но бесспорном факте: в соблазн сталинизма (в смысле упования на вождя как на некую высшую надежду и справедливость, искомую защиту от насилия и произвола со стороны его же сатрапов) на какое-то время впадали многие известные люди 30—40-х годов, в том числе и писатели и ученые, несмотря на то, что их собственная жизненная судьба, искалеченная сталинским режимом, должна была, казалось бы, настроить их совсем иначе.<sup>18</sup> Этот нравственно-психологический феномен тех лет еще по-настоящему не изучен и не объяснен. Влияние его ощущается и в сегодняшней нашей действительности, дающей немало примеров живучести корней сталинизма в сознании и поведении людей.

Картина дискуссии вокруг «Батума» будет неполной, если не упомянуть неожиданного заявления Виктора Ерофеева, сделанного им вскоре после юбилея М. А. Булгакова (100-летия со дня его рождения): «Меня радует, что советскому правительству не понравилась последняя пьеса Булгакова „Батум“ о романтической юности Сталина. Не в свои сани не садись. Хочешь быть порядочным — будь до конца, даже если тебе делают немножко больно. Непорядочное, вымазанное в народной крови правительство спасло Булгакову репутацию порядочного писателя».<sup>19</sup> Заявление это резко нарушило более или менее спокойное течение дискуссии и породило ряд эмоциональных выступлений в защиту Булгакова.<sup>20</sup> Авторы их оценили подобный выпад как намеренную и неуместную попытку принизить классика новейшей русской литературы.

Однако эпатирующая форма заявления В. Ерофеева не должна заслонять того, что он вольно или невольно коснулся существа рассматриваемой нами полемики, затронул ее основной нерв. Современная критика о «Батуме» так или иначе остановилась перед дилеммой: либо признать хотя бы отчасти конформизм Булгакова, вынужденного под давлением обстоятельств пойти на уступку тоталитарной системе, но тогда непонятно, почему власти запретили ставить пьесу, неужто они и впрямь по-своему заботились о реноме писателя («хочешь быть порядочным — будь до конца»); либо попытаться отыскать в «Батуме» признаки скрытого протеста, сопротивления режиму и тем самым как бы убить двух зайцев: писатель сохраняет свое «лицо» и запрет на постановку пьесы получает свое объяснение. Значительная часть критиков, как мы уже видели, пошла по второму пути, весьма соблазнительному, снимающему, казалось бы, все вопросы, в том числе и морального порядка. Но недаром говорят, что легкий путь не всегда самый верный. Взгляд на «Батум» как на зашифрованную критику сталинского режима не только не освобождает от трудных вопросов, но, напротив, еще больше порождает их. Он делает позицию

<sup>18</sup> См.: А. В. Толстовцы как интеллигенция // Новый мир. 1993. № 11. С. 189.

<sup>19</sup> Ерофеев Виктор. Между двух юбилеев // Московские новости. 1991. 7 июля. С. 14.

<sup>20</sup> См.: Красухин Г. Где нет любви // Литературная газета. 1991. 10 июля. С. 10; Золотусский И. Привет от Фаддея Булгарина // Литературная газета. 1991. 31 июля. С. 10, и др.

его сторонников внутренне противоречивой и потому недостаточно убедительной.

В самом деле, если «Батум» создавался с целью «упредить расправу над своими произведениями», как утверждает автор книги «Уход», или, иначе говоря, с целью творческого самосохранения, то зачем же понадобилось Булгакову превращать его, по словам того же автора, в «отчаянный вызов насилию», вызов существующему режиму, пусть даже в скрытой форме? Бывает, конечно, что намерение писателя не согласуется с конечным результатом его творения. Но вряд ли это тот самый случай. Ведь Булгаков писал не просто пьесу, а пьесу договорную, которой предстояло (как хотел и надеялся автор) быть поставленной на сцене МХАТа, да еще и к юбилею «великого ленинца». Разве не ясно, что вкладывать в такую пьесу сугубо критический смысл — значит заранее обрекать дело на неудачу? Это не просто обесмысливало весь труд, но в тогдашних условиях было равносильно самоубийству. И неужели опытейшие мхатовцы, которым Булгаков читал свою пьесу и которые уже начали предварительную работу над ней, были настолько наивны, что не могли разглядеть якобы заложенный в ней антисталинский смысл? Попытки приписать автору «Батума» намерение протащить под покровом юбилейной пьесы некие «преступные», по меркам конца 30-х годов, политические аллюзии, превратить ее героя в антигероя противоречат не только ее содержанию, но и здравому смыслу.

А. Смелянский, как видно, исходит из того, что «крупнейший художник, только что завершивший свой закатный роман»,<sup>21</sup> не мог написать сверхлояльной пьесы и вообще не мог оступить, проявить слабину. В противном случае это был бы какой-то иной Булгаков, не похожий на себя. Отсюда сентенция о «непроходимом рубеже», которым оппоненты будто бы хотят отделить «Батум» от всего написанного Булгаковым и выдать эту пьесу за «нечто совершенно чужеродное» для него. Но ведь и сам критик пишет при этом о «вымученном „Батуме“»,<sup>22</sup> о двусмысленности пьесы. Что означают эти его слова, как не фактическое признание совершенного художником насилия над собой? Известно, что при всех тяжелых оковах, при всем давлении на него внешних обстоятельств Булгаков был внутренне чрезвычайно свободен в своем творчестве. К «Батуму», однако, это не относится. Недаром союзник критика по дискуссии М. Петровский, восхищаясь своеобразной «находкой» Булгакова, неожиданно преобразившего юного революционера в самозванного лжепророка, вынужден тут же говорить о художественной слабости «Батума», который выглядит «поплоше других булгаковских вещей».<sup>23</sup> И объясняется это, как верно заметил М. Петровский, не одним лишь отсутствием доступа к архивным материалам о Сталине, но и неизбежной в данном случае творческой скованностью, слишком рискованным предметом изображения, сильно ограничившим мощную творческую фантазию автора. Взявшись за тему о Сталине, Булгаков поставил себя в такое положение, при котором он не мог «дать волю фантазии»,<sup>24</sup> т. е. использовать наиболее сильное свое оружие как писателя.

С этим связана и сама «технология» работы над пьесой, почему-то сильно взволновавшая А. Смелянского. Можно, вероятно, оспаривать явно

<sup>21</sup> Смелянский А. Драммы и театр Михаила Булгакова. С. 604.

<sup>22</sup> Смелянский А. Уход. С. 35.

<sup>23</sup> Петровский М. Указ. соч. С. 167.

<sup>24</sup> Там же. С. 162.

заостренную мысль М. Чудаковой о том, что создание «Батума» было для Булгакова всего лишь вопросом драматургической техники. Но это не меняет сути дела. По сохранившимся свидетельствам, сам процесс работы над пьесой (и по времени, и по затратам усилий) не представлял для Булгакова большой проблемы. Как утверждает Е. С. Булгакова, при написании «Батума» писатель не испытывал каких-либо особых творческих мук. Побуждаемый настойчивыми просьбами МХАТа, который был «жадно заинтересован пьесой о Сталине»,<sup>25</sup> Булгаков довольно быстро сочинил и отредактировал ее. При этом опорой ему, как уже установлено, служили лишь несколько общедоступных и официально признанных изданий из истории революционного движения на Кавказе. (Невольно напрашивается сравнение с внушительным количеством самых разнообразных источников, использованных Булгаковым при работе над романом «Мастер и Маргарита»).

Не стоит поэтому преувеличивать меру труда, затраченного Булгаковым на создание «Батума». Так же, впрочем, как не следует думать, что писал его будто бы «заурядный халтурщик». Слова эти — не более чем полемический выпад А. Смелянского по адресу М. Чудаковой, которая, разумеется, не считает автора «Батума» таковым.

И тем не менее скованность таланта в пьесе налицо: нет той степени свободы в обращении с материалом, которая обычно характерна для Булгакова, почти отсутствует привычный булгаковский юмор, озорство, занимательность. Тема пьесы и сам объект изображения настраивали писателя совсем на другой лад. К чести Булгакова следует сказать, что «Батум» не воспринимается как откровенный панегирик Сталину, здесь чувство меры и достоинство писателя дали о себе знать. В то же время в изображении юности вождя он ни в чем не отступил от официальной версии биографии Сталина. Он добросовестно проиллюстрировал ее соответствующими сценами, написанными, однако, не в сурово-монументальном стиле, в каком нередко рисовали Сталина другие писатели и кинематографисты, а в обычном человеческом ракурсе, хотя и заметно романтизированном.

В пьесе отсутствует явная апологетика, но есть все же апологетика скрытая, предопределенная самой расстановкой персонажей. Заданность ощутима с самого начала: молодой Сталин уже в прологовой сцене исключения из духовной семинарии поставлен в положение, возвышающее его над остальными действующими лицами. Примечательно, что сам акт исключения превращается в своеобразную демонстрацию морального превосходства юного ученика не только над своими сверстниками, но и над ректором и другими служащими семинарии. Предсказание как бы случайно оказавшейся здесь цыганки — «большой ты будешь человек!» — лишь подчеркивает исключительность молодого героя, избранника судьбы. Черты будущего вождя заявлены в нем априори: окружающие безоговорочно признают его своим лидером, проявляют о нем особую заботу, оберегают от возможных опасностей. Фигуры батумских рабочих, сподвижников Сталина, в сущности, декоративны, сугубо функциональны, каждый из них лишь по-своему оттеняет образ будущего правителя России. Характеры их, за исключением, может быть, Наташи, по-настоящему не прорисованы, схематичны. Трудно сказать, чем отличается Теофил от Канделаки, Геронтий от Хиримьянца, Дариспан от Котэ и т. д. Они нужны скорее для

<sup>25</sup> Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 262.

общего фона, на котором разворачивается революционная деятельность «товарища Сосо».

Более удачно написаны персонажи, олицетворяющие защитников самодержавия: губернатор, жандармский полковник Трейниц, полицмейстер, переводчик Кяквива. В обрисовке их виден Булгаков-сатирик, насмешник. Эти образы относительно более индивидуализированы, по сравнению с рабочими. В том же ряду естественно возникает и фигура царя, беседующего со своим министром юстиции о судьбе организатора батумского бунта Иосифа Джугашвили. Эта сцена (диалог Николая II и министра), пожалуй, одна из лучших в пьесе с точки зрения психологической нюансировки персонажей. Она построена по-булгаковски иронично и тонко: существо «дела», основной предмет беседы, ради которого встретились царь и его министр, затрагивается ими как бы вскользь, мимоходом, между обычными светскими разговорами, например, о святой воде из пруда Серафима Саровского и ее чудесных лечебных свойствах, о не менее удивительной канарейке, живущей в царском кабинете и научившейся петь «Боже, царя храни!», и т. д. Но это не более чем отдельные блестящие булгаковского таланта, которые местами просвечивают даже в этом поистине «вымученном» произведении.

В жанровом отношении пьеса аморфна: отдельные сатирические штрихи в изображении деятелей самодержавно-полицейского государства не делают ее сатирической комедией; драмой же ее можно назвать весьма условно, ибо драматизм судьбы молодого героя выражен лишь событийно, внешне, внутренний его мир остается на замке. Прав В. Боборыкин: при всем драматургическом профессионализме Булгакова, «Батум» является «самым бесцветным и худосочным из его сочинений».<sup>26</sup> В критике, однако, чаще употребляется другой, более деликатный вариант той же оценки: данная пьеса — далеко не лучшее произведение писателя. Это вынуждены признать даже те, кто пытается отыскать в ней глубокую философию на тему «пророка» и «лжепророка» или своеобразно воплощенную «иронию истории», как бы не замечая, что речь идет о слабой в художественном отношении вещи, не соответствующей реальным возможностям булгаковского таланта. Как-то неловко рассуждать о наличии серьезных философских проблем в пьесе, отмеченной, по общему признанию, чертами заданности, иллюстративности. Иначе говоря — безотносительно к ее уровню.

Если смотреть на факты трезво, то никуда не деться от того, что пьеса «Батум» и роман «Мастер и Маргарита» исторически соседствуют как произведения по своему уровню не совместимые друг с другом, но тем не менее принадлежащие перу одного автора. Да, перед нами действительно как бы два «разных» Булгакова, но разве это такое уж редкое явление в истории литературы? Вспомним хотя бы двух «разных» Горьких, имея в виду до сих пор разгадываемую исследователями тайну несовместимости его публицистики 30-х годов и романа «Жизнь Клима Самгина». О двух «разных» Маяковских в разное время писали А. Луначарский и В. Катаев. Что касается якобы необъяснимой разницы в качестве самих произведений, созданных художником почти одновременно, то хорошо сказал по этому поводу В. Лакшин применительно к булгаковской пьесе: «Даже талант Булгакова оказался бессилем перед ложной апологетической задачей».<sup>27</sup> Поэтому истинный интерес заключается не в противопоставлении «Батума»

<sup>26</sup> Боборыкин В. Михаил Булгаков. М., 1991. С. 198.

<sup>27</sup> Лакшин В. Указ. соч. С. 30.

остальным произведениям Булгакова (в этом нет никакой необходимости, ибо данная пьеса и без того выделяется как наиболее слабое его творение), а в попытках выяснения предпосылок и причин этого «срыва» на фоне выдающихся достижений писателя в романе «Мастер и Маргарита». Именно здесь возникают вопросы, на которые литература о Булгакове не дает однозначного ответа. Какими реальными мотивами руководствовался писатель, работая над пьесой «Батум»? Как вообще возник ее замысел — по собственной инициативе, по внутреннему побуждению драматурга или исключительно под воздействием внешних факторов? Выяснение этих вопросов, по всей видимости, невозможно без учета всего комплекса очень непростых связей, соединяющих двух современников 20—30-х годов — Булгакова и Сталина.

Нельзя забывать, что пьесе «Батум» предшествовала длительная и сложная история взаимоотношений Булгакова со Сталиным. Теперь уже вряд ли кто сомневается, что легенда об особом покровительстве писателю со стороны кремлевского лидера имела под собой определенное основание. Дело не только в самом факте многократного посещения Сталиным спектаклей «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира». Гораздо важнее его высказывания в защиту «опальной» пьесы «Дни Турбиных», которую он считал «не такой уж плохой, ибо она дает больше пользы, чем вреда».<sup>28</sup> Явное предпочтение вождя «контрреволюционному», по мнению критиков и театральных чиновников, спектаклю для многих современников тех лет было странным и непонятным. И надо прямо сказать: до сих пор мы не имеем сколько-нибудь удовлетворительного объяснения этого факта.

В одной из последних книг, посвященных творчеству Булгакова, читаем: «Что привлекло Сталина в „Днях Турбиных“? Надо полагать, офицерская среда старой русской армии, традиции которой, как известно, подерживались в армии белых. Не случайно по его приказу в Красной Армии были введены почти все старые военные звания (...) Может быть, и жизнь Булгакову была сохранена, (...) потому что в глазах Сталина он был прежде всего певцом армии. Пусть и вражеской, но русской и во многих отношениях образцовой».<sup>29</sup> Как видим, автор ищет объяснение особой симпатии Сталина к «Дням Турбиных» во внешнеэстетической сфере, полагая, очевидно, что диктатор был вообще невосприимчив к любым средствам художественного обольщения. Для него Булгаков — не более чем «певец армии», ее лучших традиций.

Такое объяснение не только малоубедительно, но и неверно по существу. Сталин прекрасно знал истинную цену Булгакова как драматурга, о чем свидетельствует Александр Николаевич Тихонов (его рассказ воспроизведен Е. С. Булгаковой): «Он (Тихонов — В. М.) раз поехал с Горьким к Сталину хлопотать за эрдмановского „Самоубийцу“. Сталин сказал Горькому: „Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно). Это мне нравится!»<sup>30</sup> Столь выразительное сопоставление двух драматургов, проведенное Сталиным, не оставляет сомнений, что в основе его особого интереса к «Дням Турбиных» лежали причины, имевшие прямое отно-

<sup>28</sup> Сталин И. Соч. Т. 11. М., 1952. С. 326.

<sup>29</sup> Боборыкин В. Указ. соч. С. 128.

<sup>30</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 301.

шение к уровню таланта, мастерства художника. Не случайно Сталин, преодолевая мощное сопротивление критики, содействовал тому, чтобы продлить сценическую жизнь «Дней Турбиных». Вмешательство его помогло в 1932 году вернуть эту пьесу на сцену, после того как она была изъята из репертуара. Более того, именно Сталин, несмотря на возражения некоторых членов Политбюро ЦК, настаивал на включении «Дней Турбиных» в афишу зарубежных гастролей МХАТа в Париже в 1937 году. Все это, в сочетании со знаменитым телефонным звонком от 18 апреля 1930 года, создавало впечатление (в том числе и у самого Булгакова), что Сталин не только внимательно следит за его творчеством, но и покровительствует ему.

В то же время имеются и другие факты, которые если и не опровергают, то заметно осложняют эту версию, привнося в нее поистине драматический смысл. В письме В. Билль-Белоцерковскому от 2 февраля 1929 года Сталин дал отрицательный отзыв о пьесе «Бег», из-за чего она при жизни Булгакова так и не появилась на сцене. Сталин прямо оценил ее как «антисоветское явление».<sup>31</sup> И хотя он высказал свое пожелание автору доработать пьесу в нужном, с его точки зрения, направлении, для Булгакова это уже ничего не меняло. Здесь не помог даже положительный отзыв М. Горького о «Беге». Показательно и то, что на последующие письма Булгакова Сталину (после 1930 года) тот вообще не ответил. Осталось без ответа и письмо Булгакова от 31 января 1938 года, где он просил Сталина о смягчении участи драматурга Н. Эрдмана. Наконец, именно Сталин запретил ставить на сцене пьесу «Батум» уже после того, как МХАТ приступил к работе над ней. Реакция Булгакова на это была по сути выражением чувства обреченности: «Он (Сталин) подписал мне смертный приговор».<sup>32</sup>

Следовательно, знаки внимания, которые Сталин оказывал Булгакову и его произведениям, в действительности играли двойственную роль. В одних случаях они были необходимой для писателя защитой от чрезмерных нападок вульгарно-социологической критики и — что еще важнее — от вполне реальной угрозы его физического уничтожения. В других случаях, напротив, — своего рода поощрением к расправе над ним предпочтительно руками самих писателей и критиков. Что и делали такие писатели, как Вс. Вишневский, и такие критики, как Л. Авербах, О. Литовский, И. Нусинов, В. Блюм и др.

Что касается самого Булгакова, то ему, несомненно, хотелось верить в покровительство со стороны Сталина, и верилось в это. Его устные рассказы о Сталине, сочиненные в критический для писателя момент, лишний раз подтверждают это.<sup>33</sup> Устные рассказы о вожде — это первое прикосновение Булгакова к сталинской теме, разработанной им в сугубо «озорном», юмористическом духе, с очевидным оттенком самоиронии. В них Сталин неизменно выступает как покровитель и защитник попадающего в нелепые ситуации писателя, т. е. в том качестве, в каком и хотелось его видеть Булгакову.

«Батум», таким образом, продолжает прежнюю тему, но уже в совершенно иной тональности, диктуемой хорошо знакомыми его автору канонами жанра историко-биографической пьесы. Уступка Булгакова как художника заключалась в данном случае не в повторном обращении к

<sup>31</sup> Сталин И. Указ. соч. С. 327.

<sup>32</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 380.

<sup>33</sup> См. публикацию их в журнале «Огонек». 1991. № 20. С. 10—12.



теме Сталина, а в отказе от комического элемента в ее освещении, характерного для его устных рассказов о вожде и глубоко органичного для природы таланта самого писателя. Вследствие этого «Батум» в целом получился пресно-назидательным отражением отдельных эпизодов из жизни сугубо «правильного» (по меркам 30-х годов) молодого героя-революционера, которого попросту не в чем упрекнуть. Здесь Булгаков в некотором смысле изменил своей творческой манере, а не только своей известной позиции в отношении «революционного процесса в моей отсталой стране». Не этим ли (помимо слабости самой пьесы) объясняется и тот факт, что «Батум» до сих пор так и не стал заметным явлением театральной жизни, в то время как другие произведения Булгакова переживают в последние годы настоящий сценический бум?

Требуют уточнения и некоторые обстоятельства, связанные с рождением замысла «Батума». Пьеса была закончена в июле 1939 года, за несколько месяцев до 60-летия Сталина. Но это не значит, что она и создавалась как исключительно юбилейная пьеса. Замысел ее возник на три года раньше, задолго до юбилея правителя. Изначально эта пьеса в творческом сознании Булгакова отнюдь не связывалась с юбилеем (это сделали позднее мхатовцы). В работе над ней у писателя был иной импульс — творческий. Дело в том, что в 30-е годы, начиная со знаменитого телефонного звонка, Сталин жил в творческом сознании Булгакова постоянно, он обращался к нему не только мысленно, но и реально. Нет прямых доказательств того, что невзгоды, которые выпали в то время на долю писателя, он связывал прежде всего с именем вождя. Напротив, он пытался преодолеть их с помощью Сталина, сохраняя определенные надежды на понимание и соучастие со стороны последнего. Недаром в своих неоднократных письменных обращениях к генсеку Булгаков просил его быть своим «первым читателем», просил его о личной встрече, о заступничестве.

Вспомним трактовку «Батума» современными авторами как сугубо критического произведения и задумаемся на минуту: мог ли Булгаков одной рукой писать письма-прошения, обращенные к Сталину, а другой рукой — антисталинскую пьесу? Он мог заблуждаться насчет Сталина, но двоедушие ему не было свойственно.

В этой же связи обращает на себя внимание один любопытный факт. Е. С. Булгакова в своем дневнике лаконично сообщает о том, что 7 ноября 1935 года Булгаков с утра отправился на праздничную демонстрацию. Спрашивается: что побудило его, не любившего толпы, сторонившегося всяких официальных мероприятий, пойти в такой день на Красную площадь? Трудно даже представить себе Булгакова, слившегося с колонной демонстрантов. Единственное, что могло заставить писателя сделать это — непреодолимое желание увидеть Сталина. «Потом рассказывал, — пишет Елена Сергеевна, — видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке».<sup>34</sup> В дневнике отмечен лишь сам факт «свидания» со Сталиным, устроенного Булгаковым по собственной инициативе. И хотя мы не знаем, что переживал при этом писатель, фигура вождя, несомненно, обладала для него неким магнетизмом, возбуждая неподдельный интерес и всеобщее внимание современников. Трудно объяснить завороченность обликом диктатора (на фоне усиления репрессий по всей стране) испытывали в те годы даже трезвомыслящие писатели, отнюдь не склонные к оправданию формирующейся авторитарной государственной системы.

<sup>34</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 108.

Вот, например, свидетельство К. Чуковского о том, что пережил он вместе с Б. Пастернаком при появлении Сталина на X съезде ВЛКСМ в апреле 1936 года: «Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства... Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко, заслоняет его!“ (на минуту). Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».<sup>35</sup> Эмоциональные натуры писателей, как видим, легко поддавались гипнозу всеобщего преклонения перед Сталиным, чему способствовала, разумеется, и соответствующая атмосфера на комсомольском съезде.

Булгакову же, судя по всему, не просто хотелось, но и нужно было увидеть Сталина 7 ноября 1935 года, увидеть хотя бы издали, на трибуне. Если у писателя появилась такая внутренняя потребность, значит, в этот момент он уже мог думать о Сталине как возможном объекте изображения. Тем более что другого случая повидать вождя у него попросту не было (к тому времени Булгаков уже не надеялся на личную встречу с ним). Не исключено поэтому, что замысел пьесы о Сталине возник у писателя еще в конце 1935 года, а в феврале 1936 он лишь объявил о нем. Произошло это после завершения работы над спектаклем «Мольер», что наводит на мысль о наличии определенной связи между мольеровской темой и новым замыслом. М. Золотонос, например, утверждает, что «длительная работа Булгакова над биографией Мольера, изучение его сочинений сопровождалось философской переориентацией его собственной творческой деятельности».<sup>36</sup> В результате для Булгакова, как и для Мольера, «высшей целью оказывается уже не сам художник, а его произведения...». Ради желания спасти их писатель готов пойти на все что угодно, хоть «на сделку с дьяволом». Да и сами письма Булгакова, адресованные лично Сталину, очень напоминают, по мнению М. Золотоносова, «послания Мольера королю».<sup>37</sup>

Разумеется, это не исключает и других возможных мотивов, подвинувших Булгакова к работе над «Батумом», в том числе уже упоминавшихся стихов Б. Пастернака о Сталине. Для нас важно, что писатель подошел к этой теме по внутренней логике своего творчества, по личному побуждению, а не под чьим-либо давлением со стороны. Влияние внешних факторов сказалось в основном на завершающем этапе работы над «Батумом», когда Булгаков уже был связан договором с МХАТом, конкретным сроком окончания пьесы и подготовки спектакля, ориентированного непосредственно на сталинский юбилей. Это был творческий компромисс, на который писатель пошел прежде всего по собственной воле, надеясь таким образом поправить свои дела, и лишь потом понукаемый настойчивыми просьбами мхатовцев.

«Был ли стратегический ход Булгакова безуспешен? — резонно ставит вопрос современный критик. — Кто знает. Хотя пьеса и не пошла, сам факт ее создания, возможно, сказался на судьбе его творческого наследия. Оно сохранилось полностью. И дождалось своего времени».<sup>38</sup> Причем «Батум», надо признать, — не первая уступка Булгакова. Ранее была создана

<sup>35</sup> Чуковский К. И. Из дневника. 1932—1969 // Знамя. 1992. № 11. С. 170.

<sup>36</sup> Золотонос М. Михаил Булгаков: позиция писателя и движение времени // Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 179.

<sup>37</sup> Там же. С. 178.

<sup>38</sup> Боборыкин В. Указ. соч. С. 198.

пьеса «Адам и Ева», которая не только не принесла ему творческого удовлетворения, но и вызвала своеобразную реакцию авторского отторжения: «М. А. ненавидит всей душой пьесу „Адам и Ева“, написанную „под давлением обстоятельств“, в ответ на „оборонный заказ“». <sup>39</sup> Как говорится, прецедент уже был.

Что же в таком случае движет исследователями, утверждающими, вопреки очевидному, что Булгаков умело зашифровал пьесу о Сталине, сознательно повернув ее в критическое русло? Не является ли это очередной попыткой «приподнять» Булгакова, представить его лучше, чем он есть? Эта своеобразная литературоведческая игра на «повышение» или «понижение» Булгакова была затеяна почти десятилетие назад и, с небольшими перерывами, продолжается и поныне на страницах периодической печати. <sup>40</sup> Еще не так давно отдельные критики, отбросив старую легенду о Булгакове как «певце белой гвардии», впадали в другую крайность и пытались, что называется, по-своему «революционизировать» писателя. В статьях, сопровождавших публикацию пьесы «Багровый остров» в журнале «Дружба народов» за 1987 год, утверждалось, например, что «к самой революции Булгаков относился вполне сочувственно» и что пьесой «Багровый остров» он «говорит революции свое „да“». <sup>41</sup> Делалось это, естественно, из самых добрых побуждений, из желания закрепить за Булгаковым подобающее ему место в истории русской литературы советского периода. Тем более что, по давней традиции, признание или непризнание того или иного писателя советским определялось прежде всего его отношением к Октябрьской революции.

Теперь уже ясно, что такая трактовка позиции Булгакова выставляла его в ложном свете, ибо, как показывают многие факты, он был сторонником не революционного, а эволюционного пути общественного развития. Но, видимо, произвольная тяга к улучшению и даже некоторой идеализации «пострадавших» от советского режима писателей весьма живуча и достаточно характерна для нынешнего времени. На этот раз она обнаружила себя в подходе к «Батуму» и его трактовке. Если раньше Булгакова пытались хотя бы немного «революционизировать», чтобы облегчить ему путь к официальному признанию, то теперь мы имеем дело с намерением «улучшить» его с другого конца — представить его анти-сталинистом в пьесе о Сталине, написанной к юбилею последнего.

В сущности, проблема «Батума» сегодня — это проблема воссоздания подлинного облика Булгакова как писателя и гражданина. Поэтому понятие пафос М. Чудаковой, последовательно выступающей против любых попыток «прихорашивать» Булгакова, выпрямлять его творческий путь. Надо ли говорить, что автор «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» в этом не нуждается, ибо, независимо от «неудобного» для биографии писателя «Батума», его творчество принадлежит к лучшим страницам русской послеоктябрьской литературы.

Думается, что те, кто смотрит на «Батум» как на проявление скрытой борьбы с тоталитарным режимом, принимают желаемое за действительное. Пьеса не дает основания для такого вывода. Конечно, напоминание о

<sup>39</sup> Свидетельство Е. С. Булгаковой. Цит. по: Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989. С. 363.

<sup>40</sup> Из последних публикаций на эту тему см. статьи Р. Арбитмана «Кладбище домашних любимцев» и В. Воздвиженского «Игра на понижение. Не хватает ли?» // Литературная газета. 1993. 29 сентября. С. 4.

<sup>41</sup> См. послесловия Б. В. Соколова и А. В. Караганова к публикации пьесы Булгакова «Багровый остров» // Дружба народов. 1987. № 8. С. 189, 191.

царских тюрьмах, о жандармском произволе времен юности Сталина могло и само по себе, независимо от воли автора, вызвать ассоциации с современностью, со сталинской тиранией 30-х годов. Но именно помимо воли автора, а вовсе не потому, что он сознательно выстраивал свою пьесу как антисталинскую. Да и вряд ли МХАТ вообще принял бы к постановке пьесу с подобным «подтекстом». Сам факт одобрения «Батума» (после читки его Булгаковым) в Комитете по делам искусств и на заседании Свердловского райкома партии столицы<sup>42</sup> свидетельствует, что в этом произведении не было ничего «криминального». Напротив, пьеса, как известно, вполне устраивала слушателей, а они были людьми весьма искушенными в таких вопросах.

Сомнительным в связи с этим выглядит и упомянутый ранее тезис о том, что Сталин, запретивший постановку пьесы, «оказался гораздо более квалифицированным чтецом „Батума“, чем театральные современники Булгакова». Никакой особой проницательности со стороны вождя здесь не требовалось: пьеса сделана хотя и на скудных источниках, но вполне добросовестно по отношению к ним. Автор не позволил себе каких-либо «вольностей» и отступлений от фактов, приводимых в официальных материалах и документах того времени. Этим, по-видимому, и объясняется не совсем обычная оценка Сталиным булгаковской пьесы. Необычная потому, что имеется один существенный нюанс: запрет на постановку «Батума» вовсе не означал, что Сталин вообще отверг данное произведение. В дневнике Е. С. Булгаковой от 18 октября 1939 года приведено важное свидетельство по этому поводу: «Звонок от Фадеева. Было во МХАТе Правительство, причем Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу „Батум“ он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить».<sup>43</sup> (Сравним с отзывом Сталина о «Беге», тоже запрещенном к постановке и прямо названном им «антисоветским явлением».) И снова возникает резонный вопрос: мог ли Сталин дать такую характеристику пьесе «Батум» («очень хорошая»), если бы она по своему содержанию и впрямь была антисталинской?

Проблема, как видно, заключается не в том, что в заранее объявленной, доведенной до сведения «верхов» пьесе о вожде Булгаков неожиданно проявил себя борцом против сталинского режима, превратив ее героя в некое подобие Антихриста (надуманность подобной постановки вопроса столь же очевидна, как и ее парадоксальность). А вот почему Сталин при такой оценке пьесы («очень хорошая») все же воспрепятствовал ее постановке на сцене — это действительно загадка, требующая объяснения.

Здесь вот что интересно: несмотря на настойчивые призывы к созданию в литературе образа «отца всех народов», звучавшие с трибуны Первого съезда писателей, русская драматургия тех лет почему-то отнюдь не спешила к выполнению этой задачи. В прозе вскоре появилась повесть А. Толстого «Хлеб», в поэзии — множество стихов о Сталине, а в драматургии — лишь пьеса того же А. Толстого «Путь к победе» (1939), которая по сути является продолжением повести «Хлеб». Это, пожалуй, единственная пьеса 30-х годов, поставленная на сцене, где был выведен образ Сталина. Хотя попытки такого рода, вполне возможно, и предпринимались другими авторами. Иное дело — кинодраматургия, известные фильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Великое зарево», где Сталин выглядел самым достойным и незаменимым соратником Ленина.

<sup>42</sup> См.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 467.

<sup>43</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 285.

Пьеса А. Толстого, посвященная борьбе советской республики против интервентов в годы гражданской войны, создавалась почти одновременно с «Батумом». Причем изначально она задумывалась автором как пьеса о Ленине, однако в процессе работы образ Сталина занимал в ней все большее место. «Я хочу показать, — говорил А. Толстой, — как великие идеи Владимира Ильича воплотились в плане разгрома интервентов, гениально разработанном товарищем Сталиным».<sup>44</sup> Это предопределило не только место, но и сам характер изображения Сталина в пьесе — в полном соответствии с реально установленным в 30-е годы культом личности вождя. В противовес плану Троцкого Сталин выдвигает в пьесе свой план разгрома Деникина, который Ленин, разумеется, целиком поддерживает. Мало того, Ленин постоянно одобряет реплики Сталина такими словами: «Вы совершенно правы, товарищ Сталин», «Правильно... Это вы хорошо сказали»<sup>45</sup> и т. п.

Пьеса «Путь к победе» была поставлена Р. Н. Симоновым на сцене московского театра имени Е. Б. Вахтангова. Премьера состоялась 31 мая 1939 года (в это время Булгаков еще продолжал работать над «Батумом»). Спектакль, однако, не удовлетворил автора пьесы, хотя он сам принимал активное участие в его подготовке. Не вызвала особого энтузиазма эта постановка и у зрителя.

Позднее, в конце 40-х годов, драматургия откликнется на упомянутый призыв еще одним, более чем откровенным панегириком вождю — «Незабываемым 1919-м» Вс. Вишневского. Естественно, что на фоне этих произведений «Батум» выглядит не столь уж плохо. В нем нет и не могло быть безудержного величания и славословия по адресу героя — отчасти потому, что он показан еще в совсем юном возрасте, но главным образом потому, что он написан Булгаковым, художником, которому вообще не свойственен подобный стиль. И если «Батум», как мы уже выяснили, был по-своему одобрен Сталиным, но все же не разрешен к постановке, то за этим, по всей вероятности, кроются какие-то особые, трудно уловимые обстоятельства.

Попробуем поразмышлять о причинах запрета «Батума» с иного конца, имея в виду уже названные произведения. Почему, например, Сталин не запретил пьесу «Путь к победе» А. Толстого или «Незабываемый 1919-й» Вс. Вишневского? Дело, видимо, не только в импонирующей ему апологетичности этих произведений, но и в том, что ему было небезразлично, какой период его биографии в них затрагивается. Показательно, что, когда дело касалось периода революции и гражданской войны, Сталин был вполне удовлетворен, особенно если учесть, что в изображении названных писателей он предстал в героическом ореоле, в ореоле «вождя революции», сопоставимого с Лениным. Это относится и к упомянутым фильмам М. Ромма, с той необходимой оговоркой, что соратник Ленина добивался здесь желаемого результата с помощью «поправок» сверху, непосредственно вмешиваясь в творческий процесс художника.

Булгаков же прикоснулся к самому «невьирышному» периоду жизни Сталина, о котором мало что было известно и который вряд ли полностью удовлетворял самого героя. Об этом косвенно говорят слова Сталина, переданные руководству театра в качестве некой мотивировки отказа в постановке «Батума»: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо

<sup>44</sup> Толстой А. Н. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 10. М., 1949. С. 689.

<sup>45</sup> Там же. С. 387, 388.

ставить пьесу о молодом Сталине». <sup>46</sup> Понятно, что автору этих слов не хотелось привлекать внимание к годам своей молодости (по каким причинам — это уже другой вопрос).

С этим связана и другая особенность пьесы, возможно, повлиявшая на ее судьбу. «Батум», при всей его заданности, наполнен не только эпизодами революционной борьбы, но и характерным для Булгакова пафосом человечности. Образ юного героя далек от какой-либо чопорной монументальности, его внешние приметы подчеркнута невыразительны и даже как бы снижены до уровня «массового» человека: «телосложение среднее, голова обыкновенная», «на левом ухе — родинка» и т. п. Такие портретные детали, как и некоторые эпизоды (например, сцена избиения Сталина надзирателями во время отправки его в другую тюрьму), могли и не понравиться вождю. Впрочем, не только ему. Ко времени создания пьесы культ Сталина уже достиг такого предела, что любое напоминание о сугубо конкретных человеческих чертах, сближающих его с массой обыкновенных людей, воспринималось уже как нечто недопустимое, кощунственное. Иначе чем объяснить столь категорическую реакцию на «Батум» чиновников из ЦК партии, ревностно оберегавших обожествляемый ими облик вождя от малейших попыток его «очеловечивания». По свидетельству В. Сахновского, эта реакция была выражена следующими словами: «Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова». <sup>47</sup> Суть этого заявления такова, что его можно было понять и как запрет на создание художественного образа Сталина вообще (ведь «без выдумки нет искусства», <sup>48</sup> как справедливо говорил М. Горький).

Заслуживает внимания и еще одно обстоятельство. Достаточно поставить вопрос так: безразлично ли было Сталину, кем написана пьеса о нем? Почему Сталин не только не возражал, но и был явно заинтересован в том, чтобы его беллетризированной биографию писал М. Горький (последний, как известно, уклонился от этого дела). И почему тот же Сталин не проявил подобной заинтересованности по отношению к историко-биографической пьесе Булгакова? Можно с уверенностью сказать, что он придавал немаловажное значение и тому, кто о нем пишет, не говоря уже о том, как пишет. Имя Булгакова к тому времени было слишком одиозным из-за постоянных нападок на него партийной и литературной печати. Нападки эти были столь решительны и активны, что даже Сталин не мог с ними не считаться. При этом он вынужден был в какой-то степени «оправдывать» постановку «Дней Турбиных» во МХАТе — не только в письме В. Билль-Белоцерковскому, но и в своем выступлении на встрече с украинскими писателями (12 февраля 1929 года), стенограмма которой недавно опубликована. <sup>49</sup>

Возражая писателям с Украины, считавшим «Дни Турбиных» не только антисоветским, но и антиукраинским явлением, Сталин настаивал на том, что эта пьеса «сыграла большую роль», хотя ее «никак нельзя назвать советской». <sup>50</sup> Свое мнение он обосновал тем, что к художественной литературе следует применять не узко партийные мерки («левая», «правая»

<sup>46</sup> Цит. по: Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 31.

<sup>47</sup> Дневник Елены Булгаковой. С. 279.

<sup>48</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. М., 1953. С. 223.

<sup>49</sup> См.: Юмашева О., Лелихов И. И. В. Сталин: Краткий курс истории советского театра. К 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова // Искусство кино. 1991. № 5. С. 132—140.

<sup>50</sup> Там же. С. 136.

и т. п.), а более общие: нереволюционная и революционная, советская — несоветская, пролетарская — непролетарская. «Вы требуете от Булгакова, — говорил Сталин, — чтобы он был коммунистом — этого нельзя требовать».<sup>51</sup> Достаточно и того, что общее впечатление от его пьесы в целом позитивное: «большевиков никакая сила не может взять!», «Я против того, чтобы огульно отрицать все в „Днях Турбиных“, чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов».<sup>52</sup> Нетрудно заметить, что здесь Сталин по-своему развил те аргументы в защиту «Дней Турбиных», которые приводил ранее в письме В. Билль-Белоцерковскому. Тем не менее, как полагают авторы, опубликовавшие стенограмму данной беседы, встреча вождя с украинскими писателями сыграла свою роль в изъятии спектакля «Дни Турбиных» из репертуара МХАТа в 1929 году. Сталин вынужден был отступить под столь дружным напором непримиримых противников Булгакова.

Что касается конца 30-х годов, периода создания «Батума», то к этому времени о Булгакове почти уже и не вспоминали как о художнике слова. Когда молодой поэт А. Чуркин впервые увидел Булгакова (в августе 1937 года), он необычайно удивился, полагая, очевидно, что после столь мощных и жестоких ударов критики того давно уже не должно быть в живых. И действительно, чем дальше, тем больше Булгаков воспринимался современниками из левого лагеря как некий реликт старой эпохи, уцелевший, вероятно, по недоразумению. При этом репутация антисоветского писателя продолжала прочно сохраняться за ним до самой смерти (и посмертно). Создание «Батума» в этом смысле ничего не изменило. Да и не могло изменить: об этой пьесе знал только лишь довольно узкий круг людей.

Сталину же, по-видимому, не так просто было принять этот «подарок». Сам факт, что пьесу о нем написал именно Булгаков, писатель очень талантливый, но «опальный» в общественном мнении, ставил вождя, надо полагать, в неловкое положение. Это создавало для Сталина некую проблему: он попадал в невыгодную ситуацию в глазах современников. Ведь одно дело — многократно посещать спектакль «Дни Турбиных» и наслаждаться необычной его атмосферой, великолепной игрой актеров (вспомним сталинский отзыв об игре Н. Хмелева в роли Алексея Турбина), а другое дело — быть самому выведенным на сцену по воле Булгакова, стать, так сказать, объектом булгаковского пера. Изредка выступая в роли адвоката Булгакова, Сталин в то же время (с учетом общей ситуации, сложившейся вокруг автора «Дней Турбиных») не был, как видно, заинтересован в том, чтобы афишировать эту свою роль. Напротив, даже защищая писателя от неумеренных нападков критики, он не упускал случая подчеркнуть, что «Булгаков не наш», «чужой», что «едва ли он советского образа мысли»<sup>53</sup> и т. п. Не потому ли Сталин и удовлетворился самим фактом написания пьесы о нем Булгаковым, не дав, однако, ей ходу в театр и тем самым освободив себя от неприятной обязанности быть лично представленным на сцене в образе, созданном «не нашим» писателем?<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Там же. С. 138.

<sup>52</sup> Там же. С. 137.

<sup>53</sup> Там же. С. 135.

<sup>54</sup> По словам Вс. Вишневского, высказанным им на одном из собраний творческого коллектива МХАТа в 1946 году, Сталин якобы заявил по поводу «Батума»: «Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать» (См.: *Смелянский А. Уход*. С. 15).

Дополнительным подтверждением того, что Сталин занимал неоднозначную позицию по отношению к Булгакову, является недавняя публикация письма А. В. Луначарского к генсеку от 2 февраля 1929 года по поводу «Дней Турбиных».<sup>55</sup> Это письмо обнажает явное противоречие между периодическими решениями Политбюро ЦК РКП(б) о продлении жизни «Дней Турбиных» на мхатовской сцене и позицией Агитпропа ЦК, заинтересованного (вместе с когортой «левых» критиков) в том, чтобы похоронить этот спектакль навсегда. Отсутствие элементарной согласованности в действиях высшего партийного органа по отношению к «Турбиным», столь поразившее Луначарского, как раз и является следствием коварной двойной игры Сталина.

Запрещение ставить «Батум» явилось неожиданным не только для мхатовцев, но и для Булгакова. Последствия этой акции были для него тем более тяжелыми, что плохие предчувствия, связанные с его положением как автора пьесы, оправдались. Ведь ее могли и даже пытались истолковать «наверху» как предложение о сотрудничестве. Протянутая рука писателя была отвергнута в самой невыгодной для него ситуации. Это обострило и без того кризисную атмосферу последних лет жизни Булгакова и безусловно приблизило роковой день его смерти.

Но и здесь применима известная русская поговорка: «Нет худа без добра». Представим себе, что «Батум» в том виде, в каком его создал Булгаков, был бы все же поставлен на мхатовской сцене — прибавило бы это славы и чести автору? Вряд ли. Так же, как не прибавляют славы и чести хвалебные стихи о Сталине (сочиненные по аналогичным мотивам и в сходных обстоятельствах) другим современникам Булгакова, «не вписавшимся» в советскую систему, — Б. Пастернаку, А. Ахматовой, О. Мандельштаму, Н. Заболоцкому... Истинное предназначение Булгакова как писателя лежало отнюдь не на этом пути. «Батум» был в его творческой биографии всего лишь эпизодом, неудавшейся попыткой компромисса, оплаченного писателем в конечном итоге самой дорогой ценой — ценой своей жизни. Поэтому он дает повод не для упреков по адресу Булгакова (желающих бросить в него камень всегда хватало), а для серьезных раздумий о взаимоотношениях выдающегося художественного таланта и его эпохи, о политической власти и ее роли в судьбе писателя, вынужденного творить в условиях чуждой ему социальной системы. В этом эпизоде из творческой жизни Булгакова имеются, наконец, свои эстетические и нравственные уроки, ценные для всей нашей литературы.

<sup>55</sup> См.: Московские новости. 1993. 25 апреля. С. 4.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Мясоедова Н. Е.

## ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА А. С. ГРИБОЕДОВА С К. К. РОДОФИНИКИНЫМ (август—декабрь 1828 года)

Публикуемые письма Полномочного Министра России при Персидском дворе А. С. Грибоедова и Директора Азиатского департамента К. К. Родофиникина появляются в печати впервые и своим содержанием дополняют уже известные письма этих лиц, внося в их отношения неожиданные нюансы. Эти письма извлечены нами из литературного наследия Н. В. Шаломытова, длительное время изучавшего грибоедовские материалы в Главном архиве МИД<sup>1</sup> и снявшего с них довольно точные копии. Н. В. Шаломытов не успел опубликовать собранные им материалы и не завершил задуманную им работу о причинах гибели Грибоедова. К счастью, его материалы не пропали бесследно, а оказались в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии Наук.<sup>2</sup> В 1963 году известный исследователь творчества Грибоедова И. К. Ениколопов опубликовал из тетради Шаломытова неизвестное ранее письмо Грибоедова к К. В. Нессельроде.<sup>3</sup> Почему И. К. Ениколопов не опубликовал остальные неизвестные письма Грибоедова, находившиеся в бумагах Шаломытова? — Возможно, этому помешал трудный для прочтения почерк Шаломытова и его оригинальная система записей «для себя».

В настоящей публикации, основанной на шаломытовских копиях, мы приводим лишь переписку Грибоедова с директором Азиатского департамента К. К. Родофиникиным (письма Грибоедова к К. В. Нессельроде из архива Шаломытова сейчас готовятся к печати). Это документы делового характера. Они в основном касаются вопросов формирования русской дипломатической миссии в Персии. Уже в Петербурге усилия Грибоедова сформировать миссию из специалистов своего дела наткнулись на глухое сопротивление начальства. Общеизвестен отказ К. В. Нессельроде включить в состав миссии Николая Дмитриевича Киселева (младшего брата П. Д. Киселева) и его активное протезирование И. С. Мальцову (единственному оставшемуся в живых члену миссии): «Я берегу моего маленького Киселева для большого посольства, а именно в Рим, он превосходно знает французский, у него есть такт, природная любезность, и он везде сумеет приобрести друзей».<sup>4</sup> За этой поверхностной характеристикой Н. Д. Киселева скрывается весьма важное обстоятельство. Дело в том, что Н. Д. Киселев был секретарем при Дейкарганских

<sup>1</sup> Согласно данным Н. В. Шаломытова, копии сделаны им с оригиналов, находящихся в Главном архиве МИД (IV—2. 1828. № 9, по Азиатскому департаменту).

<sup>2</sup> Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии Наук. Рукописный отдел. Ф. 14 768.

<sup>3</sup> См.: Известия Академии Наук Армянской ССР. Общественные науки. 1963. № 5. С. 101—107.

<sup>4</sup> *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 369.

и Туркманчайских переговорах. Он деятельно помогал Грибоедову, их связывали дружеские отношения, он был в курсе всех задач, предстоящих русской миссии, так как они определялись параграфами заключенного в Туркманчае мира. К тому же Н. Д. Киселев был предан Грибоедову; на предположение А. О. Смирновой-Россет относительно того, что, отправься Киселев вместе с Грибоедовым в Персию, он был бы убит вместе со всей миссией, тот ответил: «Без всякого сомнения, я не вел бы себя как Мальцев; я дал бы себя зарубить рядом с Грибоедовым».<sup>5</sup>

Публикуемые нами бумаги показывают, что Грибоедов прилагал все усилия, чтобы сформировать профессионально подготовленную миссию. 10 июля 1828 года в опубликованном ранее письме Грибоедов писал из Тифлиса К. К. Родофиникину: «Что прикажете делать с юными ориентальными дипломатами, которые цветут здесь как сонные воды, в бездействии? Разве вы изволите ассигновать им особенное жалование? Бероева можно будет со временем поместить на консульское место где-нибудь при Каспийском море. Шаумбург просится в отпуск. Лебедев! Кузьмин! Ваценко etc».<sup>6</sup>

Помимо некомпетентности и лени «юных ориентальных дипломатов», одним из наиболее унижительных моментов, с которыми приходилось сталкиваться Грибоедову, была нехватка денежных средств, отпущенных на содержание русской миссии. 12 июля 1828 года Грибоедов писал К. К. Родофиникину из Тифлиса: «Здесь такая дороговизна, что мочи нет. Война преобразила этот край совершенно. Рублями серебром считают там, где платили прежде абазами, или, по-вашему, пиастрами. Зачем же вы, достойнейший мой начальник и покровитель, ускурили у меня жалование более нежели на месяц? Здесь в казенной экспедиции получен указ, что я удовлетворен с 25-го апреля, а мне отпущено *ipso facto*<sup>7</sup> только с 2-го июня. Нельзя ли дополнить к концу года? Притом за что же Амбургер лишается того, что грудью заслуживает? Я знаю, что вы в Петербурге дружны и уважаемы всеми министерствами; напишите требование и поможете нам, грешным».<sup>8</sup>

Сообщая же состояние финансовых дел миссии Генеральному консулу в Тавризе Андрею Карловичу Амбургеру, Грибоедов в достаточной степени смягчил ситуацию; в письме от 7 августа 1828 г. из Тифлиса он писал: «...вы недовольны вашим назначением. Но почему же? Если это из-за маленького жалования, то я уже поставил это на вид графу (Паскевичу. — Н. М.) и он все нам устроит. Я в этом деле исходил из соображения, что, составляя независимое от него ведомство, я все же должен обратиться к нему, потому что вы действовали под его управлением и он был временно вашим начальником. Если вы недовольны значением вашего места, то вы неправы, так как оно очень влиятельное, и вы, конечно, поймете, любезный друг, что не мне вас разочаровывать в недостатках службы, и это было бы неблагоприятно с моей стороны, на что, само собой разумеется, я не способен. Вы уже уверенный в делах *ipso facto*, и так будет всегда. Работайте и верьте, что я оценю это более, как если бы это касалось моей собственной репутации, которой я, впрочем, не придаю значения в дипломатии. Только случай заставил меня вступить на этот путь».<sup>9</sup>

Публикуемые нами материалы свидетельствуют о том, что Грибоедов должен был предоставлять детальные отчеты об использовании отпущенных средств К. К. Родофиникину и К. В. Нессельроде. Как политик, он понимал, что ожидать финансовой

<sup>5</sup> Там же. С. 370.

<sup>6</sup> Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988. С. 579.

<sup>7</sup> *Ipso facto* (лат.) — здесь: фактически.

<sup>8</sup> Грибоедов А. С. Сочинения. С. 580—581.

<sup>9</sup> Там же. С. 583—584.

поддержки от Родофиникина бесполезно, реальнее было бы надеяться на поддержку И. Ф. Паскевича, который во многом был обязан ему и А. К. Амбургеру. О последнем следует сказать несколько слов, не только потому, что эта тема уже прозвучала в вышеприведенном фрагменте («вы уже поверенный в делах»), но и потому, что Грибоедов в своей переписке постоянно возвращается к этой теме. Наиболее четко позиция Грибоедова высказана им в письме к А. К. Амбургеру от 20 сентября 1828 года: «Об жаловании вашем мы переговорим и настроим графа Ивана Федоровича (Паскевича. — Н. М.), которому я уже внушил, как он должен написать к вице-канцлеру (Нессельроде. — Н. М.), как скоро получит на этот счет отношение от меня из Тавриза. С Родофиникиным нечего толковать, он, свинья, всех нас кругом обрезал, просто сказать обокрал. И если бы Государь один день оставался в Петербурге после моего назначения, то я бы нашел случай ему доложить».<sup>10</sup>

Ответ на вопрос, почему Грибоедов так полагался на помощь Паскевича в отношении А. К. Амбургера, был найден в архиве Паскевича и впрямую связан с событиями зимы—весны 1827 года, в частности со смещением генерала А. П. Ермолова с должности Главноуправляющего Грузией и назначением на эту должность И. Ф. Паскевича. Советское литературоведение в значительной степени абстрагировало эту ситуацию, объясняя опалу Ермолова недоверием Николая I к продекабристски настроенному проконсулу Кавказа. Ситуация же в действительности была не такой однозначной. Прежде всего она включала в себя дипломатические аспекты, в частности ноту персидского шаха,<sup>11</sup> недовольного политикой Ермолова и его военными успехами на Кавказе, пограничные конфликты из-за территориальных разногласий с Персией и стремление Ермолова к самостоятельным действиям, в обход петербургского кабинета и самого императора. В этой довольно запутанной ситуации А. К. Амбургер сыграл достаточно существенную роль, на которую и намекал Грибоедов, называя его «поверенным в делах» Паскевича. Суть этой «роли» раскрывается в письме И. Ф. Паскевича, в 1827 г. прибывшего в штаб Кавказского округа, к Начальнику Генерального штаба И. И. Дибичу. Приводим это письмо (публикуемое здесь впервые) без сокращений:

«Милостивый государь

Иван Иванович!

Податель сего письма, бывший поверенный в делах при Персидском Дворе, Коллежский ассесор Амбургер. — Он имеет весьма любопытные дела рассказать о своем пребывании при дворе Шаха и Аббас-Мирзы.<sup>12</sup> Он может дать большие объяснения на счет политических происшествий, бывших при оном Дворе. — Записку, что показалось мне достойным любопытства, при сем прилагаю.

С истинным почтением и с совершенной преданностью имею честь быть  
Вашего Высокопревосходительства

Милостивого Государя

Покорнейший слуга

Иван Паскевич.

1827 года

Генваря 8 дня

г. Тифлис

<sup>10</sup> Там же. С. 605.

<sup>11</sup> Фет-Али-шах из династии Каджаров (1762—1834), правил Персией с 1797 г.

<sup>12</sup> Аббас-Мирза (Наиб-султан; 1782—1833) — сын Фет-Али-шаха, наследник персидского престола (с 1816 г.). В его обязанности входили сношения с иностранными державами и их представительствами при Персидском дворе.

## ЗАМЕЧАНИЯ

1-е. При отпускной аудиенции поверенному в делах Мазаровичу,<sup>13</sup> Шах сказал, что если брат мой Император Российский потребует не этот незначущий кусок земли,<sup>14</sup> о котором идет спор, но вдесятеро больше, я ему с радостью отдам: но я ничего не хочу уступить капризам Ермолова.

2-е. В Баш-Абарани начали строить укрепление, в то самое время, когда узнали о приезде посла (Меньшикова. — Н. М.) для заключения положительного мира.

3-е. Шах присылал чиновника весьма знатного в Тифлис, с письмом к Государю Императору или к генералу Ермолову — неизвестно, что в сем письме было сказано, но когда князь Меньшиков<sup>15</sup> объявил им, что на бумагах или положениях генерала Ермолова будет трактовать, то они с удивлением спросили, разве Шахское письмо ему неизвестно, и он должен был признаться, что не знает.

4-е. Г(осподин) Амбургер говорит, что во все время наши поверенные у Персидского двора действовали противу инструкций ими от двора полученных. Генерал Ермолов всегда старался иметь раздор с Персидским правительством; в Петербург же писал, что они готовятся к войне.

5-е. Г(осподин) Амбургер весьма настоятельно упрашивал генерал-адъютанта Меньшикова, дабы он сделал некоторые уступки, ибо он имел вернейшие доказательства, что Персияне согласились бы на мир, если бы предложена была уступка. Г(осподин) Амбургер не знал, что князю Меньшикову позволено некоторые уступки сделать в Тальшинском ханстве».<sup>16</sup>

Хотя данное письмо раскрывает лишь часть проведенной Паскевичем интриги, но роль в этой интриге А. К. Амбургера вырисовывается достаточно четко. Грибоедов был хорошо осведомлен об этих событиях, добиваясь увеличения жалования для Амбургера, он 12 ноября 1828 года с истинно дипломатическим тактом писал Паскевичу: «По выступлении наших войск из Тавриза, надворный советник Амбургер, по лестному выбору Вашего Сиятельства был оставлен здесь в качестве комиссара (...) По прибытии моем сюда он в течении почти 10-ти лет почти бесперывно находился в службе в Персии, исключая кратчайший промежуток, когда он отбыл в С.-Петербург вслед за кн. Меньшиковым, и вскоре опять воротился на службу (...) я почел долгом обратиться с ходатайством к вашему благосклонному посредству, чтобы Амбургеру испросить прибавку к нынешнему его жалованию (...). Я уверен, что представительство ваше как государственного человека, облеченного особенным доверием Его Императорского Величества, и как разборчивого начальника, имевшего случай оценить по достоинству способности и усердие Амбургера, непременно будет уважено Министерством иностранных дел, что и побудило меня утрудить Ваше Сиятельство моим представлением в его пользу, преимущественно пред Вице-Канцлером (К. В. Нессельроде. — Н. М.), в глазах которого, конечно, мое мнение не может иметь равного веса с отношением к нему Вашего Сиятельства».<sup>17</sup> (Курсив мой. — Н. М.).

Непосвященному в события отставки А. П. Ермолова письмо Грибоедова покажется тонкой лестью И. Ф. Паскевичу, но сам Паскевич прочел в этом письме иное: долг платежом красен. Грибоедов достаточно прозрачно напомнил ему, чем он обязан Амбургеру.

<sup>13</sup> Мазарович Семен Иванович (? — 1852), с 1821 по 1827 российский поверенный в делах в Персии.

<sup>14</sup> Спорной была территория около озера Гокча.

<sup>15</sup> Меньшиков Александр Сергеевич, кн. (1787—1869) — военный и дипломатический деятель, в 1826 г. послан в Персию с особой миссией.

<sup>16</sup> ЦГИАЛ. Ф. 1018. Оп. 2. № 397. Л. 9—9 об.

<sup>17</sup> Грибоедов А. С. Сочинения С. 634—635.

В публикуемых ныне материалах есть еще по крайней мере три неожиданных нюанса. Прежде всего — это раскрытие позиции Грибоедова в отношении переводчиков-персиян, о том, что таковой был у Амбургера, вскользь упоминалось в письме Грибоедова от 20 сентября 1828 г.: «Желание ваше насчет переводчика я угадал и не везу вам никакого ориентального шута, институтского ветренника (sic). Я знал, что мирза для вас гораздо нужнее».<sup>18</sup> Теперь мы знаем имя этого переводчика — Мирза Али Энбер. Новым оказалось так же и то, что Грибоедов также взял себе в переводчики персиянина. Родофиникин, хотя и утвердил временно это назначение, остался при своем особом мнении (см. письмо № 2022), и, к сожалению, позиция Родофиникина в этом вопросе кажется нам более мудрой и осмотрительной.

Второй нюанс — просьба Родофиникина найти индийского переводчика для МИД. Это безусловно свидетельствует о наличии каких-то планов в отношении Индии, следовательно, беспокойство английской миссии и, в частности, Ост-Индской компании было не таким уж необоснованным. Между тем это обстоятельство не учитывалось при анализе причин гибели русского посольства, в основном здесь рассматривались планы Грибоедова о создании «Российской Закавказской компании».

И последнее. Нигде ранее не упоминалось о тех волнениях и той негативной реакции, как со стороны персиян, так и со стороны английской миссии, на успехи военных действий России в Турции.

Все вышеизложенное в определенной степени конкретизирует задачи, стоявшие перед Грибоедовым на посту Полномочного министра при Персидском дворе, но, с другой стороны, ставит перед исследователями новые вопросы в анализе причин, приведших к трагической гибели русского посольства в Тегеране.

<sup>18</sup> Там же. С. 605.

## ПИСЬМА А. С. ГРИБОЕДОВА

### 1

К. К. Родофиникину

Милостивый государь

Константин Константинович!

В бытность мою в лагере при Ахалкалаках,<sup>1</sup> принял я к Персидской нашей миссии, состоявшего при Канцелярии Его Сиятельства графа Паскевича-Эриванского, Министерства Иностранных Дел переводчика ВАЦЕНКО,<sup>2</sup> по окладу 200 червонцев в год. — Представляя на благоусмотрение Вашего Превосходительства сие распоряжение, имею честь быть с совершенным почтением и такового же преданностию, Милостивый Государь

Вашего Превосходительства  
всепокорнейший слуга

Александр Грибоедов.

№ 23

Тифлис

17 августа 1828<sup>3</sup>

Текст написан рукою переписчика, три последние строки и подпись принадлежат Грибоедову; справа сверху листа помета: «Получ(ено) 3 сентября 1828».

<sup>1</sup> Согласно «Журналу» И. Ф. Паскевича, в лагере при Ахалкалаках 29 июля произошел обмен ратификационными грамотами Туркманчайского договора (ЦГИАЛ. Ф. 1018. Д. 194. Л. 93).

<sup>2</sup> Ваценко Василий Яковлевич, переводчик.

<sup>3</sup> Публикуемый рапорт № 23 предшествует уже известному рапорту К. К. Родионкину за № 24, написанным в один и тот же день. См.: *Грибоедов А. С. Сочинения. С. 593—595.*

## 2

Министерство Иностранных Дел в Азиатский Департамент  
Российского Императорского Полномочного Министра при Персидском Дворе  
Действительного Статского Советника и Кавалера Грибоедова

## Донесение

В следствие предписания Азиатского Департамента за № 1281, честь имею донести, что производство жалования как себе, так и Секретарям Миссии гг. Мальцову<sup>1</sup> и Аделунгу,<sup>2</sup> буду считать с 5 числа минувшего июля, а переводчикам, с того дня, в который они мною утверждены были в сем звании, а именно; поручику Шахназарову<sup>3</sup> и коллежскому регистратору Дадашеву<sup>4</sup> с 6-го минувшего июля, а переводчику Ваценко с 20-го числа того же месяца. Касательно же производства жалования г. Амбургеру<sup>5</sup> и секретарю Генерального консульства Иванову,<sup>6</sup> не имею я никаких положительных предписаний. — Усматривая, что по особенному распоряжению Его Превосходительства г. Директора Азиатского Департамента, сумма на Миссию и Генеральное Консульство была отпущена из Главного Казначейства с 2 минувшего июля по 1 генваря будущего года, и именно, что время выдачи мне подорожной с Санкт-Петербурга не входило в соображение при назначении срока, с которого г. Генеральный Консул должен получать жалование свое, я должен был заключить, что Департамент, вероятно, определил производить оное с упомянутого 22 июня, с которого времени отпущена и сумма на Генеральное Консульство. — Не быв уведомлен о правилах, которыми Азиатский Департамент руководствовался при назначении суммы на Генеральное Консульство с 27 июля сотрудникам, как г. Амбургер с самого начала безвыездно находился в Персии, сперва в качестве Комиссара, а потом с 25 минувшего апреля в качестве Генерального Консула, я не мог касательно сего представить ему никаких удовлетворительных причин. Почему и осмеливаюсь прибегнуть к Азиатскому Департаменту с убедительнейшею просьбою почтить меня по сему предмету нужными наставлениями и подать мне тем способ сообщить г. Амбургеру удовлетворительный ответ.

Ст(атский) советник

Грибоедов.

№ 67

16 окт(ября) 1828

Табриз

Текст написан рукой переписчика, за личной подписью Грибоедова; сверху справа помета: «Получ(ено) 10. XII. 1828».

<sup>1</sup> Мальцов Иван Сергеевич (1807—1880) — первый секретарь посольства, единственный спасшийся во время резни в Тегеране.

<sup>2</sup> Аделунг Карл Федорович (? — 1829) — второй секретарь посольства в Персии. Убит в Тегеране вместе с А. С. Грибоедовым.

<sup>3</sup> Шахназаров (Мелик-Шахназаров) Мирза-Нориман — член миссии в Персию кн. Меншикова в 1826 г.

<sup>4</sup> Дадашев Василий (Дадаш-бек) — переводчик Грибоедова, убитый вместе с ним в Тегеране.

<sup>5</sup> Амбургер Андрей Карлович (? — 1830) — сослуживец Грибоедова с 1818 г., русский генеральный консул в Тавризе (см. вступительную статью).

<sup>6</sup> Иванов — секретарь А. К. Амбургера; Грибоедов ему не доверял и в письме к Амбургеру от 20 сентября 1828 г. дал это понять («Совсем не говорите об этом с вашим секретарем»). Именно на Иванова выписан Грибоедовым «Открытый лист», который мы публикуем ниже (см. № 7).

## 3

## МИД в Азиатский департамент

Российского Императорского Полномочного Министра при Персидском дворе  
Действительного Статского Советника и Кавалера Грибоедова

## Донесение

Десять экземпляров договора и торговой конвенции, заключенной с Персией в Туркманчае, препровожденные при предписании Азиатского Департамента за № 1229 я имел честь получить и таковым числом оных доставить Генеральному Консулу в Табризе г. Надворному Советнику Амбургеру, в чем имею честь донести упомянутому Департаменту

Ст(атский) Советник  
Грибоедов.

№ 69

Окт(ября) 17 дня 1828

Табриз

Текст написан рукой переписчика за личной подписью Грибоедова.

## 4

## К. К. Родофиникину

Милостивый государь

Константин Константинович!

В следствие отношения Вашего Превосходительства за № 1504 имею честь донести следующее: 1) Поручик Шахназаров и кол(лежский) рег(истратор) Дадашев приняты мною в Персидскую Миссию в качестве переводчиков 6-го минувшего июля; 2) Три курьера 10 того же июля месяца по окладу 50 червонцев в год; предоставив себе право переменить их в случае нерадения их в исполнении своей обязанности, я почел ненужным поименно представить их на утверждение Вашему Превосходительству; 3) Переводчик Ваценко был мною принят в Миссию 20-го минувшего июля; осмеливаюсь йспросить для сего чиновника единовременно сто червонцев на экипировку. Так как выбор и определение к Миссии вышеупомянутых чиновников были уже достойны благосклонного одобрения Вашего Превосходительства, я почел себя в праве утвердить их каждого в своем звании со дня определения их к нашей Персидской Миссии, чем и руководствовался при назначении времени, с которого начать производить им жалование, по окладу, о котором имел уже честь предварительно донести Вашему Превосходительству.

С истинным почтением и совершенной преданностию пребываю Милостивый Государь, Вашего Превосходительства

всепокорнейший слуга

А. Грибоедов.

№ 72

18 окт \ ября > 1828

Табриз

Текст написан рукой переписчика за личной подписью Грибоедова; сверху на листе помета: «Получ(ено) 10 декабря 1828».

5

К. К. Родофиникину

Милостивый Государь

Константин Константинович!

Согласно с видами Министерства относительно чиновников дипломатических, прикомандированных к г. Главноуправляющему в Грузии,<sup>1</sup> о которых Ваше Превосходительство известили ныне меня уведомлением за № 1402, я рекомендовал Генеральному нашему консулу г. надворному советнику Амбургеру избрать себе переводчика из числа оных чиновников наших, он сделал мне на то весьма уважительное представление, что так как ему нужен переводчик, умеющий хорошо писать по-персидски, а таковых из числа вышедших из Восточного института воспитанников еще нет, то он находит гораздо для себя удобным держать при себе по-прежнему персидского Мирзу Али Энбера, который познаниями своими, усердием и хорошим поведением в полной мере заслуживает его одобрения. Сей Мирза находится при г. Амбургере не в качестве чиновника, но на основании статьи Трактата, которою предоставляется персидским подданным право находиться в Российской службе и пользоваться нашим покровительством. Почитая также для себя полезным испросить на этом же основании персидского Мирзу, я уже нанял такого из суммы, назначенной мне на содержание переводчиков, уведомляя о сем Ваше Превосходительство, честь имею быть Милостивый Государь, Вашего Превосходительства

всепокорнейший слуга

А. Грибоедов.

№ 93

25 окт(ября) 1828

Табриз

<sup>1</sup> Паскевич-Эриванский Иван Федорович, гр. (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, наместник и главнокомандующий на Кавказе с 1827 г.

6

К. К. Родофиникину

Милостивый государь

Константин Константинович!

Вследствие почтеннейшего отношения Вашего Превосходительства за № 1691, октября 16-го о приискании здесь для Министерства Иностранных дел переводчика,



знающего индийский язык, я не упущу приложить всевозможное старание, дабы чрез Армянское духовенство отыскать такового между армянами, часто ездящими по торговым делам в Индию. О последующем долгом поставлю себе уведомить Ваше Превосходительство.

С совершенным почтением и таковою же преданностию имею честь быть, милостивый государь, Вашего Превосходительства

всепокорнейший слуга

А. Грибоедов.

№ 204

29 ноября 1828.

Текст написан самим Грибоедовым; вверху помета: «Получено 2 Генваря 1829 г.».

7

Открытый лист на ноябрь № 20

Секретарь Российского Императорского Генерального Консульства в Персии г-н титулярный советник и Кавалер Иванов с при нем будущими следует с самонужнейшими бумагами в Тифлис. Гг. Российские начальники сим приглашаются нигде, как его, так и будущих при нем не задерживать, с Казачьих же постов давать по 5 лошадей за указанные прогоны с проводником.

Российский Императорский Полномочный Министр в Персии

Грибоедов.

Табриз

13 ноября 1828 года.

Печать  
с гербом Грибоедова  
(неясный оттиск)

*На обороте листа:*

По сему открытому листу дать с Нахичеванского поста казачьих 5 лошадей за указанные прогоны с проводником. — г. Нахичевань. Ноября 16 дня 1828 г. В должности бригадного адъютанта Подпоручик Павлоцкий.

По сему открытому листу дать Ериванского поста казачьих лошадей за указанные прогоны с проводником. — г. Еривань. Ноября 18-го 1828 года. Кн. Аргутинской-Долгоруков.

Сей открытый лист в Гергерском карантине явлен Ноября 19 дня 1828 года. Исполняющий должность плац-майора Тифлисского пехотного полка прапорщик Мамаджанов.

По сему открытому листу дать от Джелалогинского поста 5 лошадей за указанные прогоны и безопасный конвой. Декабря 3 дня 1828. В должности плац-адъютанта прапорщик Тамнович.

## ПИСЬМА К. К. РОДОФИНИКИНА А. С. ГРИБОЕДОВУ

## 1

Милостивый Государь

Александр Сергеевич!

Вашему Высочайшему известно, что в числе прочих Азиатских народов, торгующих в Астрахани, находится довольно большое количество индийцев, которые с недавнего времени приезжают даже в Москву и Петербург. Сей народ по торговым оборотам входит естественно с другими в долговые обязательства и тяжёлые дела, подлежащие решению наших судилищ; и нередко поступают документы на природном языке его. По сему уважению Министерство Иностранных дел давно уже имело в виду приобрести Переводчика для языка индийского, но все старания по сему предмету были безуспешны. — В Персии, не столько отдаленной от Индостана, легче может быть встретиться случай исполнить сие. Без сомнения почти невозможно иметь теперь же Переводчика, знающего российский или один из перенейских языков. Но для Министерства на сей раз было бы достаточно, если знаток индийского языка будет иметь при том познание турецкого, персидского или татарского.

Сообщая сие Вам, Милостивый Государь, покорнейше прошу, обратив внимание на означенный предмет, осведомиться о возможности достигнуть желаемой цели, и буде найдется достойный переводчик, то на каких условиях согласится он переселиться в Санкт-Петербург, с тем чтобы занять должность переводчика и вместе преподавать индийский язык двум студентам, если же не отыщется желающий сюда переехать, то не представит ли удобство открыть которому-либо из переводчиков, при poste вашем находящихся, способ заняться в самой Персии изучением индийской словесности, дабы он со временем мог здесь быть употреблен по сей части.

В ожидании от Вас отзыва на сие два нумера с изложением собственного Вашего мнения, пребываю с истинным почтением и преданностию

Родофиникин.

№ 1691

16 октября 1828

## 2

〈10—18 декабря 1828 г.〉

Милостивый государь

Александр Сергеевич!

Отношения Ваши за № 72 и 93 я имел честь получить. В первом из них, уведомляете о распоряжениях, Вами сделанных, касательно определения при poste Вашем разных чиновников, как равно и окладов им назначенных. Все вами учиненное по сему предмету г. Вице-Канцлер<sup>1</sup> вполне изволил утвердить. Что касается сообщаемого за № 93 определения двух Персиян для переписки при Вас и при г. надворном советнике Амбургере, Министр, убеждаясь представленной Вами необходимостью иметь таковых, на сей раз утверждает временно означенное распоряжение, но при всем-таки, оставаясь твердо при своем правиле, изложенном мною в отношении № 1402, должен почтительно снова поставить вам на вид, что необходимо нужно исподволь преуговаривать своих Российских подданных к занятиям на Персидском языке, а наипаче получивших обучение в Восточном

институте или пребыванием Генеральном в Персии Консульстве; ибо для настоящей пользы службы, равно как и для будущей, потребно, чтобы иностранцы и Персияне в особенности отнюдь не были пребываемы при Миссии и консульствах наших в Персии. — Министерство уверено, что Вы, при свойственной Вам пронизательности, объяв всю важность сего предмета употребите все старания к достижению со временем желаемой цели. Пребываю с истинным почтением Вашему Высокородию

Родофиникин.

№ 2022

<sup>1</sup> Нессельроде Карл Васильевич, гр. (1780—1862), вице-канцлер и министр иностранных дел.

3

Милостивый государь

Александр Сергеевич!

Из последних донесений Ваших увидел я злобные разглашения, распространяемые в Персии касательно военных наших действий против турок в Европе. Сие меня отнюдь не удивляет, ибо не все с удовольствием смотрят на наши успехи, а туркам не остается другого оружия против нас, как вымыслы. Для объяснения однако неосновательности тех разглашений приказал я составить источники изложения нынешней кампании нашей, и как скоро оное будет приготовлено то, доставлю Вам, Милостивый Государь. Тогда, сообщив оные Персидскому Министерству, Вы положите колебание умов.

Пребываю с истинным почтением Вашему Высокородию

Родофиникин.

№ 2042

18 декабря 1828.

4

Милостивый Государь

Александр Сергеевич!

По прошедшей экстрапochте я уведомил Вас, что неукоснительно найду я возможность доставить Вам истинное начертание всех военных действий во время прошедшей кампании противу турок. Записка по сему предмету составлена и по высочайшему соизволению напечатана. — Содержание сей записки не оставьте сообщить Персидскому Министерству и Английской Миссии. Я надеюсь, что по прочтении оной увидят ясным образом, что если мы в один поход не достигли цели нынешней войны с Портою Оттоманскою, не меньше того поход в сравнении с походами прежних времен должно признать увенчанным блистательными успехами как в Европе, так и в Азии.

Пребываю с истинным почтением Вашему Высокородию

Родофиникин.

№ 2097

25 декабря 1828

## 5

Полномочному в Персии Министру.

Милостивый Государь  
Александр Сергеевич!

Дабы поставить Вас в возможность объяснить Персидскому Министерству настоящее положение дел в Европе и цель к коей стремятся усилия наши как равно союзных нам держав, препровождаю при сем к Вам список с партикулярной депеши, мною всем Миссиям сообщенной по Высочайшему повелению.

Пребываю с истинным почтением Вашему Высокородию

Родофиникин.

№ 2098

25 декабря 1828

Н. Ю. Грякалова

«МОЙ СКЕПСИС — СУТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ»

(О СТИХОТВОРЕНИИ А. А. БЛОКА «НИКТО НЕ УМИРАЛ.  
НИКТО НЕ КОНЧИЛ ЖИТЬ...»)

«Мистический скептицизм (возврат!)» — такой пометой сопроводил Блок окончательную редакцию стихотворения «Никто не умирал. Никто не кончил жить...», датированную им 5 ноября 1904 года.<sup>1</sup> Эта маргиналия, возможно, не заслуживала бы пристального внимания, если бы являлась только лаконичной характеристикой указанного текста. Но за термином «мистический скептицизм» скрывается рефлексия поэта середины 1902—1904 годов — периода, окрашенного сомнением в достоверности мистического «знания» и полноте картины мира, открывающейся на этом пути. «Мистический скептицизм» можно рассматривать как фазис того самого «эгоистического исследования», программу которого Блок наметил летом 1902 года и цель которого усматривал в обосновании «мистической философии своего духа».<sup>2</sup>

Известно, что Блок осознал себя мистиком («Есть миры иные»),<sup>3</sup> дорожил собственным мистическим опытом («...мистицизм... есть самое лучшее, что во мне когда-нибудь было...»<sup>4</sup>), оценивал его как творческую интенцию («Это — моя природа. От него я пишу стихи»<sup>5</sup>). Находя подтверждение своим интуициям (в первую очередь о Вечно-Женственном начале) в мифологии, философии (прежде всего античной), литературе (см. так называемый «Набросок статьи о русской поэзии»), поэт поначалу приходит к абсолютному оправданию мистического опыта, дающего возможность непосредственного вхождения в трансцендентный мир. Однако «крайний мистицизм» всегда пугал Блока опасностью догматизации умозрительных идей и был чреват, по его мнению, подчинением творчества рационализирован-

<sup>1</sup> ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 41, об.

<sup>2</sup> Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 7. С. 48 (далее ссылки на это издание в тексте).

<sup>3</sup> Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 22 (далее ссылки на это издание в тексте с сокращением «ЗК»).

<sup>4</sup> Блок А. А. Письма к жене // Лит. наследство. 1978. Т. 89. С. 107.

<sup>5</sup> Там же. С. 108.

ной схеме. Поэтому он все-таки ставил пределы в своем общении с «Неведомым», сознательно допуская скептицизм как защиту от безграничного мистицизма. Симптоматично, что мысль об «отречении от крайностей мистицизма» пришла к Блоку при чтении «талантливейшего господина Мережковского» (VII, 53) как своеобразный внутренний протест против «мистического рационализма», пытающегося языком логики передать «невыразимое». <sup>6</sup> По мнению Блока, это «отречение» есть шаг «вперед — к „отрицанию“», «есть утверждение (сознательное) своего рода „неверия“» (VII, 53). Запись сделана 28 июля 1902 года, а 14 августа он занесет в дневник сакраментальную фразу: «Мой скепсис — суть моей жизни» (там же), тем самым лаконично обрисовав свой душевный ландшафт и пророчески предугадав творческий символ веры на многие годы.

О перепадах своего мистического настроения (от «чувствования» к «созерцанию») и о новых его оттенках Блок писал, в частности, отцу, человеку, который отнюдь не являлся его конфидентом. В письме от 5 августа 1902 года — признание в «разочарованности» «чрезмерной сказочностью» своего «недавнего мистицизма» и желание выйти из метафизических «потемок» на «свет Божий» — к «объективности», «реализму», который, однако, по предположению поэта, всегда будет «граничить с фантастическим». <sup>7</sup> В письме к З. Н. Гиппиус (от 14 сентября 1902 года) он назовет открывшуюся ему внутреннюю перспективу «мистическим реализмом» и свяжет с ним возможность обретения неких «реальных» оснований в духовно-творческом строительстве (VIII, 46). На языке эзотерического общения велась речь о «предчувствиях и предвестиях» близящегося «воплощения» идеала.

Еще одна альтернатива «крайнему мистицизму» — «молчаливый мистицизм», который, по признанию Блока, сделанному в письме к отцу от 26 сентября 1902 года, помогал ему сохранять «роль наблюдателя» в «отвлеченных» разговорах об Антихристе и «общем деле», ведшихся в кругу Мережковских. <sup>8</sup> Таким образом, уже к осени 1902 года Блок ощутил прилив первых волн «мистического скептицизма». Живя «мистическими мерцаниями души» и доверяясь им, поэт утрачивает веру в синтез «земного» и «небесного» на почве мистического рационализма и добровольно (и полемично по отношению к «петербургским мистикам») надевает на себя маску декадента, чуждающегося проповеди «нового религиозного сознания» и отстаивающего право на собственный — «эгоистический» — путь постижения трансцендентности. Непрестанное ощущение трепещущих — «Живых» — связей с Неведомым вместо «математических вычислений» сроков чаемых мистических событий — таково духовное и творческое исповедание поэта.

Конец 1902—начало 1903 года — грань между мистической и скептической фазами блоковского творчества. Как показала З. Г. Минц, переход от «высокой» мистики «Стихов о Прекрасной Даме» к «нарастающим эмоциям разочарования, „ущерба“ мистического чувства» <sup>9</sup> стал итогом развязки «мистического романа», в результате реальных биографических обстоятельств постепенно переключавшегося в иной психологический регистр. Сверхреальное, «несказанное» вдруг обернулось «слишком человеческим» и вызвало ощущение не только исчерпанности мистической темы, но и неподлинности ее. Отсюда — прямой путь к «замещению» образов лирического героя и героини, персонажей «мистического романа», «призраками», «подобиями», «двойниками» (стихотворения «Голос», «Сбежал с горы и

<sup>6</sup> См.: Минц З. Г. Блок в полемике с Мережковскими // Блоковский сб. IV. Тарту, 1981. С. 125. (Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 535).

<sup>7</sup> Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 76—77.

<sup>8</sup> Там же. С. 79.

<sup>9</sup> Минц З. Г. Цикл Ал. Блока «Распутья» // Блоковский сб. [V]. Мир А. Блока. Тарту, 1985. С. 3. (Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 657).

замер в чаше...», «Свет в окошке шатался...», «Я ждал под окнами в тени...» и др.).

Предчувствия «изменения облика» Ее посещали поэта и прежде, в разгар «мистического лета» («Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», 4 июня 1901 — I, 94), рано пришло к нему и ощущение душевной раздвоенности, которое поначалу возникло как лирическая тема (VII, 19), но постепенно стало устойчивой психологической чертой. Неудивительно, что людей близких «соловьевскому кругу» эта двойственность, ими пронизательно замеченная, настораживала (хотя и «подекадентски» привлекала). «Страшные», «ужасные» стихи — так оценивала О. М. Соловьева блоковские произведения осени 1902 года, в которых ей виделось «что-то жуткое» («Мне страшно с Тобой встречаться...» и др.).<sup>10</sup> С. Соловьев еще раньше почувствовал «мучительный мистицизм» Блока, проявившийся, в частности, в стихотворении «Мы преклонились у завета...» (18 января 1902), где спустившийся «из страшной глубины» призрак («Кто-то») несет на устах «улыбку ласковой Жены».<sup>11</sup> Конечно, это была не Дева Радужных Ворот, не Жена, облеченная в солнце, не мудрость, сходящая с неба, а «лживый, но прекрасный» демонический образ, «лжевоплощение», прелесть. Летом 1902 года (не позднее 6 июля) Блок писал Соловьеву о переживаемой им отдаленности от Жены, облеченной в солнце и боязни ее «астартических» воплощений.<sup>12</sup> В творческом плане это настроение выразилось в темах «жестокой арлекинады» и «мистического треугольника», в котором соперником лирического героя выступает его же собственный двойник. В позднейших мемуарах Андрей Белый характеризовал состояние душевной раздвоенности поэта как «бегство себя самого от себя самого» и, переходя на язык оккультных терминов, выстраивал мифологему борьбы двух типов двойников: люциферического (сфера рассудка) и ариманического (чувственная сфера). «...Поэт ощущает два „я“, или два зренья Ее — двумя „я“: перемешивает ее сферы («Ты — здесь... ты — близко... Тебя здесь нет: ты — там»), появляется „Я“ и „я“, „Дама“ и „дама“ ...на расщепях душевных двух „я“ распыто невоскресшее духовное „Я“ поэта ...части „Я“, похищенные Люцифером и Ариманом, — обложены явно пределами: неразмыкаемым кругом рассудка; и чувственным „мутным кольцом“ ...»<sup>13</sup>

Процитированный фрагмент — не только «антропософская» рецепция творчества Блока, но и скорректированный временем личностный взгляд мемуариста. Однако он не теряет значимости, ибо в ретроспективе восходит к лейтмотиву переписки двух поэтов-символистов первого года их эпистолярного общения. В течение всего 1903 года их письма друг к другу становятся той эзотерической сферой, в которой разворачивается гнозис о Ней. Известно, что основывался он на метафизике Вл. С. Соловьева, а именно на главных ее философемах: Душа мира и София.

В космологии Соловьева Душа мира есть «единое и все», она объединяет мир, обуславливая его единство, сама же противостоит Абсолюту и противопоставляет ему мир. Таким образом, понятие Мировой души используется философом для

<sup>10</sup> См. письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттх от 17 и 20 октября и 21 ноября 1902 года (Лит. наследство. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 186, 187 и 192). Ср. в комментариях Андрея Белого к переписке с Блоком: «Бугаев по переписке с Блоком был напуган Блоковскими строками „Мне страшно с тобой встречаться“ (...Бугаев вполне разделял ...разговоры у Соловьевых об опасностях, угрожающих Блоку)... было подозрение, что у Блока „Она“ — „без Христа“» (Cahiers du Monde russe et soviétiques. 1974. Vol. XV. № 1—2. P. 86).

<sup>11</sup> Лит. наследство. 1980. Т. 92. Кн. 1. С. 328.

<sup>12</sup> Там же. С. 331.

<sup>13</sup> Белый Андрей. Воспоминания о Блоке // Эпопея. 1923. № 4. С. 270, 271.

объяснения дуализма в бытии. И сама Душа мира «есть существо двойственное: она заключает в себе и божественное начало и тварное бытие, но, не определяясь ни тем, ни другим, пребывает свободной».<sup>14</sup> Идя по ступеням космогонического развития, Мировая душа пытается примирить изначальные онтологические противоречия, а на стадии исторического процесса (с появлением человека) раскрывается как «идеальное человечество» и именуется Софией. «Мировая душа, по природе своей причастная Божеству, идущая через космогонический процесс преодоления дуализма (в котором она сама виновна), воссоединяется с Божеством, — точнее говоря, с Логосом. Это воссоединение осуществляется в сознании и достигает своего завершения во Христе — „центральном и совершенном личном проявлении Софии“».<sup>15</sup> Так излагает о. Василий Зеньковский концепцию Соловьева в ее первоначальном виде, как она представлена в «Чтениях о Богочеловечестве». Здесь понятие Софии еще тождественно понятию Мировой души, в книге же «Россия и Вселенская Церковь» философ рассматривает этот образ как «антитип Божественной Премудрости».<sup>16</sup> София теперь есть «субстанция Божественной Троицы», «истинная причина творения и его цель», в ней идеально заключена «объединяющая сила разделенного и раздробленного мирового бытия». Она — не Душа мира, она — «лучезарное и небесное существо, отделенное от тьмы земной материи».<sup>17</sup> Душа мира остается доступной действию «противобожественного начала» — хаоса, с которым София вступает в борьбу за власть над Мировой душой.

Тесная связь Мировой души с «первобытным хаосом» остается неизбывной темой Соловьева-философа. «Хаос, то есть отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должного — вот глубочайшая сущность мировой души и всего мироздания».<sup>18</sup> Метафизический дуализм, как замечает Зеньковский, «ведет Соловьева к настойчивому раскрытию двух начал в человеке»,<sup>19</sup> ибо метафизика тесно связана у Соловьева с философской антропологией.

О, как в тебе лазури чистой много  
И черных, черных туч!  
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,  
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.

И как в твоей душе с невидимой враждою  
Две силы вечные таинственно сошлись,  
И тени двух миров нестройною толпою  
Теснясь к тебе причудливо сплелись...<sup>20</sup>

Это стихотворение, где реальное лицо-адресат и его мифопоэтический «прототип» неразличимы, — переложенная на язык поэзии философская диалектика Соловьева. Бытийный макрокосм и микрокосм души отражены друг в друге и предстают в извечном борении добра и зла, света и тьмы. Здесь же — жизнетворческое кредо философа: вера в преображение тварного мира силой бо-

<sup>14</sup> Соловьев Вл. С. Соч. СПб., [Б. г.]. Т. 3. С. 139.

<sup>15</sup> Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 2. Ч. 1. С. 46.

<sup>16</sup> Соловьев Вл. С. Россия и Вселенская Церковь. М., 1911. С. 339.

<sup>17</sup> Там же. С. 347.

<sup>18</sup> Соловьев Вл. С. Соч. Т. 7. С. 125, 126.

<sup>19</sup> Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 54.

<sup>20</sup> Соловьев Вл. Стихотворения. М., 1881. С. 14—15. Уместно привести здесь комментарий С. М. Соловьева: «Характер С. П. Хитрово лучше всего изображен в стихотворении „О, как в тебе лазури чистой много“... Все та же знакомая тема. В душе любимой женщины Соловьев видит все ту же богиню, „душу мира“, отделившую себя от божественного света, одержимую силами хаоса и потому находящуюся в состоянии распада и страдания» (Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 209).

жественного Логоса. И потому финал стихотворения — гимн торжествующему идеалу Всеединства:

Но верится: пройдет сверкающий громами  
Средь этой мглы божественный глагол,  
И туча черная могучими струями  
Прорвется вся в опустошенный дол.

И светлую росой она его омоет,  
Огонь стихий враждебных утолит,  
И весь свой блёск небесный свод откроет  
И всю красу земли недвижно озарит.

Этот комплекс философских и художественных идей, которые делают творчество Соловьева-мыслителя и Соловьева-поэта нераздельным, наследовали младшие символисты. Соловьев привил своим последователям «эстетический вкус к дуализму» (Н. А. Бердяев). Представление о метафизической двойственности, антиномичности мирового бытия и человеческой души делает их действующими лицами и одновременно творцами вселенской драмы тотальной разделенности.

Безусловно, и Блок, и Андрей Белый чтили Соловьева и как создателя философии всеединства и учения о теургической миссии искусства, и как поэта, заговорившего о сокровенной тайне мира. Но, главное, они видели в нем «учителя жизни». Для Блока, которого его московский корреспондент поначалу воспринял как «соловьёвца par excellence», всегда существовала грань между Соловьёвым — поэтом-мистиком и Соловьёвым — творцом громоздкой и малопонятной философской системы. И если поэзия Соловьёва была пережита им как «откровение», то его философское наследие предстало «скукой и прозой».<sup>21</sup> Слова эти были сказаны в июне 1904 года, после второй неудачной попытки «одолеть» «Оправдание добра». И все же не стоит забывать, что многие тома «Собрания сочинений» Соловьёва были прочитаны поэтом со вниманием, о чем свидетельствуют пометы на них,<sup>22</sup> и, несмотря на свойственное Блоку всегдашнее сопротивление философским абстракциям, «соловьёвский комплекс» был им активно воспринят и остался во многом не изжит до конца. Но, конечно, никогда «Философские начала цельного знания» не смогли бы привести Блока в экстатический восторг, подобный тому, какой пережил С. Соловьёв при чтении этого труда по гносеологии.<sup>23</sup>

Андрей Белый, более тесно связанный и биографически, и духовно с родными и близкими философа, был глубже «посвящен» в гнозис соловьевской софиологии. Неудивительно, что сложная диалектика отношений Души мира и Софии выделась ему отчетливее и ближе к «оригиналу», чем петербуржцу Блоку, которому «соловьёвское заветное» служило той философской, скорее, даже мифопоэтической основой, на которой развевывалась его собственная картина мироздания с центральным образом Вечно-Женственного, являющимся, в свою очередь, художественной объективацией опять же его собственных интуиций. В письме к Блоку от 6 января 1903 года Андрей Белый довольно четко излагает суть соловьевской

<sup>21</sup> Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.; Л., 1936. С. 11.

<sup>22</sup> См.: Библиотека А. А. Блока: Описание. Л., 1985. Кн. 2. С. 227—270. См. также: Максимов Д. Ал. Блок и Вл. Соловьёв (по материалам из библиотеки Ал. Блока) // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1981.

<sup>23</sup> См. его письмо к Андрею Белому от 6 февраля 1903 года: «Почти окончил „Философские начала цельного знания“ и нахожусь в неопишемом восторге. Когда читал, то почти шептал: „учитель, учитель“, обращаясь, разумеется, к дяде Володе. (...) Нигде в другом сочинении он не высказывает с такою определенностью, как здесь, свой взгляд на превосходство мистики перед всяким другим способом познания. Нигде так резко не выражается различие между логическим мышлением и художественной интуицией, при отдавании полного предпочтения второй» (цит. по: Максимов Д. Указ. соч. С. 156).



концепции: «„Душа мира есть существо двойственное“ (Вл. Сол(овьев)). Воплощая Христа, она — София, Лучистая Дева; не воплощая Христа — Лунная Дева, Астарта, Огнезарная Блудница, Вавилон».<sup>24</sup>

«Двуликость» Ее — это тот мотив, заданный дуализмом соловьевской метафизики, который постоянно тревожит Блока. Он даже пытается интуитивно уловить различие софийных и астартических «воплощений». И если летом 1902 года результатом его мистических созерцаний стали строчки: «Дева! Астарта! Невнятная!»,<sup>25</sup> то ровно через год свое «знание» о Ней он сделает предметом теоретизирования. В письме к Андрею Белому от 18 июня 1903 года поэт делится своими «узнаниями» Ее и Астарты. При этом, что чрезвычайно важно в аспекте рассматриваемой темы, его интуитивные прозрения темперированы рефлексией по поводу «мистического скептицизма». Он ощущает себя во власти двух настроений — мистического и скептического: «...первое просит не отравлять его мыслью... а второе или обязывает мысль к молчанию или направляет ее к тому, чтобы „знала свое место“. Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя» (34). Мистика и скепсис — два полюса, создающие то поле, где осуществляется духовная практика и выстраивается иерархия отношений Ее и Астарты. «Внутренно» он постиг разноприродность этих символов-антиномий и обрел «интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения» (36).<sup>26</sup> «Это — при мистическом состоянии, — уточняет поэт. — Но вопрос столь краеуголен, что необходимо ввести скептицизм. Сначала, переходя к „мистическому скептицизму“, можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистицизма) остается „незабвенной“ одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе — религиозные краски» (36).<sup>27</sup>

Художественная мысль Блока, непосредственно связанная с самопознавательной деятельностью, центрирована на образе Ее. Она — не что иное, как всеобъемлющее Единое.<sup>28</sup> Главные признаки Ее, субстанции истинно-духовной (в отличие от ложно-духовной Астарты), — Неподвижность и Окончателность (36), в то время как у Соловьева Она — в движении, посредничая между человеком и Христом.<sup>29</sup> В этой, по словам Белого, «недопустимой гипертрофии Ее» — назревающий узел разногласий между Блоком и правоверными «соловьевцами», кульминацией чего

<sup>24</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 9 (далее ссылки на это издание в тексте).

<sup>25</sup> См. Записную книжку № 1 // ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 321. Л. 31.

<sup>26</sup> Ср. в письме Блока к Белому от 1 августа 1903 года: «Однако я знаю, что Она отлична от Трехвечной. Знаю внутренно» (44). «Трехвечная» — эпитет Изиды в стихотворении Вл. Соловьева «Нильская дельта»: «Не Изида Трехвечная // Ту весну нам приведет, // А нетронутая, вечная // „Дева Радужных Ворот“». Заметим, что древнеегипетская богиня плодородия Изида (Исет) в эпоху эллинизма отождествлялась с западно-семитской богиней любви Астартой (см.: Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 115—116).

<sup>27</sup> Здесь же — еще один «термин», появившийся в результате интроспекции: «предварительный скептицизм», который «лежит в основе мистицизма, построенного не на песке, и составляет тот „страх“, который „изгоняет совершенная любовь“» (36). Аналогичный образно-ассоциативный ряд — в письме Блока к З. Гиппиус от 14 сентября 1902 года: «Открылся уголок „мистического реализма“, открылась возможность строить здание не на песке...» (VII, 46), что позволяет сблизить эти два понятия.

<sup>28</sup> Ср. реплику Поэта в лирической драме «Незнакомка»: «Снова Она объемлет шар земной» (IV, 79).

<sup>29</sup> Ср. комментарии Андрея Белого: Блок «не увидел Ее со Христом, в Христе. Ей отдал окончательность („Она“ — не окончательна, а предконечна в Апокалипсисе, как „Жена, облеченная в Солнце“; окончателен в Апок(алипсисе) Христос)... в „там“ духовного мира Она — во Христе; и вне Его — Ее нигде нет. Так что Она — в движениях sui generis; и Она всегда между человеком, с одной стороны, и Христом — с другой; так и брал Ее Соловьев; и оттого называл „Девой Радужных Ворот“. Она — подвижна и срединна...» (Сahiers... P. 99).

станет полемика вокруг «Нечаянной Радости» — «второго тома» стихотворений Блока.

Какие же опасности подстерегали Блока на путях внехристианского (читай: внесоловьёвского) гнозиса? В сфере мистического опыта — это угроза «срыва» в бездны хаоса, профанация ценностей «высокой» мистики, как только Она «изменит облик». А такая метаморфоза непременно произойдет, ибо Она (неясно, Душа мира или София) без спасительного импульса, идущего от Христа, неизменно ввергается в хаос, порождая своим страхом демонов (эта гностическая мифологема лежит в основе софиологии Соловьёва). Вслед за ней заглядывает в глубины бездн («голубоватую мглу») и лирический герой Блока, с упоительным ужасом заигрывающий с собственным «белым призраком» («Сбежал с горы и замер в чаще...») или же предстающий пугающе «двуликим и безликим» («По узким улицам ловил я тень девицы...»), а также в других inferнальных обликах вплоть до превращения в «двойников второй степени» (по выражению П. М. Бицилли). Мотив движения как «дурного», «астартического», таящего в себе угрозу измен и подмен, вычитывался из лирического сюжета «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий» (позднее он будет развернут в нарративной структуре «трилогии») и трактовался, в частности Андреем Белым, как лейтмотив рока, преследующего поэта: «...кто строит на неподвижности образа, тому рок — „измена“». <sup>30</sup>

Отвечая на «скептическое» письмо Блока, Белый предлагал не «объезжать» скепсис, легший камнем на пути духовного познания, а воздействовать на него силой Христова Ума, т. е. оросить логику рассудка Логосом мысли, и призывал соединить символизм и критицизм, т. е. «„платонизировать“ Канта». <sup>31</sup> Причину мировоззренческого уклона Блока к скептицизму он видел опять-таки в подмене «знания о Христе» «знанием» и «мыслью» о Ней. Для Блока, больше лирика, чем мыслителя, который самораскрытие и свободное волеизъявление человека всегда ценил неизмеримо выше теоретических рецептов, наставления его корреспондента, подкрепленные ссылками на историко-философскую традицию от Канта до Риккерта, обернулись еще одной разновидностью «догматизма» и «схоластики» и отнюдь не разубедили его. Иначе как объяснить настойчиво повторяющуюся, почти как заклинание, фиксацию своего настроения в записной книжке (после 29 июля 1903 года): «Мистический скепсис (задумчивость) (...) Задумчивость (скепсис)» (ЗК, 52)? <sup>32</sup> Очень существенно здесь слово «задумчивость», сужающее объем исходного понятия и переключающее его из гносеологического в психологический план. Самим поэтом задан новый смысловой ряд, и это позволяет включить в круг текстов, отражающих настроение «мистического скептицизма», те, которые на первый взгляд таковыми не являются, точнее, их принадлежность к ним внешне никак не маркирована (например, стихотворение «Ответ», о котором речь пойдет ниже).

Настроение «мистического скептицизма» переживалось Блоком на трудных путях творческого самоопределения при переходе от «тезы» к «антитезе» и по существу подготавливало всю «мифологию» «второго тома». Такое движение, впрочем, не противоречило и программе «„эгоистического“ исследования», предполагавшей, наряду с наблюдением за отражением женственного начала «в духе», изучение его «внешних форм», т. е. «антитезы» (VII, 48). И подобно тому как в

<sup>30</sup> Ibid. P. 94.

<sup>31</sup> Письмо Белого от 14 июля 1903 года не опубликовано. См. автокомментарий к нему: Cahiers... P. 99—101.

<sup>32</sup> Ср. также в письме к Белому от 13 октября 1903 года: «Тот „скептицизм“, о котором я писал (мистический), лучше сказать ту *задумчивость* (так точнее) я простираю на что-то внешнее» (52).

истории человеческой мысли скептицизм всегда знаменовал собой «протест против слишком большой абсолютизации философских положений и художественных предметов»<sup>33</sup> и завершал эпохи господства субъективной точки зрения, в эволюции Блока скептицизм неизменно сменял периоды «догматизации». В кризисные моменты, когда накапливалась усталость от постоянного соприкосновения с трансцендентным и от тотального мифологизма, скептицизм служил ферментом дальнейших поисков, бесстрашно устремленных в неизвестность исторического будущего.

Блок расценивал склонность к скептицизму как сущностную характеристику своей личности. Неудивительно, что ему, всегда открытому к диалогу с культурной традицией и воспринимающему ее в ритме индивидуальных сближений и совпадений, оказались интересны те эпизоды в истории философии, которые связаны с античным скептицизмом. Экземпляр «Истории философии» Д.-Г. Льюиса из личной библиотеки поэта носит следы его внимательного чтения, а в главе «Скептики», в § 1, посвященном взглядам Пиррона, родоначальника скептицизма, знаком № отмечен, в частности, следующий фрагмент: «Скептики утверждают — и притом основательно, что *т. к. наше знание есть только знание феноменов, а не нуменов* (т. е. что мы знаем вещи такими, как они нам кажутся, а не какими они суть на самом деле), *то все старания проникнуть в таинства бытия тщетны, потому что мы можем изучать только одни виды вещей*».<sup>34</sup> Блоком акцентированы те моменты, которые включались им в процесс актуального осмысления: проблема взаимоотношений феноменального и ноуменального — лейтмотив их переписки с Андреем Белым, а сомнение в достоверности знания (эмпирического и мистического) о них — его неизменная *idea fix*. Действительно, «когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое» (ЗК, 21).

Обратимся наконец к поэтическим текстам, иллюстрирующим идею «мистического скептицизма», и прежде всего к стихотворению «Никто не умирал. Никто не кончил жить...» Примечательно то, с какой ритмичностью Блок возвращался к этому тексту. Первоначальная его редакция под заглавием «Метемпсихоз (Сонет)» датируется 12 марта 1903 года.<sup>35</sup> Через некоторое время (фактов, свидетельствующих о том, когда это произошло — в 1903-м или уже в 1904 году, нет) текст был переработан и в значительной степени приближен к основному, однако правка его на этой стадии осталась незавершенной.<sup>36</sup> 5 ноября 1904 года текст записан в окончательной редакции (I, 527—528) без первоначального заглавия и сопровождается пометой под текстом: «Мистический скептицизм».<sup>37</sup> И наконец, еще один «возврат»: над стихами 9 и 11 окончательной редакции синим карандашом вписаны и зачеркнуты слова «ларец» и «мудрец (мертвец)», т. е. поэтом были предложены и тут же отвергнуты возможные варианты стихов 9 и 11: «Внимательно следи. Разбей души ларец» (в основном тексте: «Разбей души тайник») и «Признаешь ли его, скептический мудрец (мертвец)?» (в основном тексте: «...скептический двойник?»), а также рядом с пометой «мистический скептицизм» вписано в скобках: «возврат!»

<sup>33</sup> Лосев А. Ф. Культурно-историческое значение античного скептицизма и деятельность Секста Эмпирика // Эмпирик Секст. Соч. В 2 т. М., 1975. Т. 1. С. 5. Ср.: «Стоило только ослабить внимание к абсолютному бытию идей, как уже весь космос оказывался предметом сомнения, предметом противоречивых суждений, предметом только еще вероятным, только еще правдоподобным, но уже не абсолютно истинным» (там же. С. 15).

<sup>34</sup> См. Льюис Д.-Г. История философии от начала ее в Греции до настоящего времени: Древняя история философии. СПб., 1865. С. 274 (библиотека ИРЛИ, шифр 94 9/9). (Выделенные курсивом слова подчеркнуты Блоком).

<sup>35</sup> ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 42 (Тетрадь № 3).

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Там же. Л. 41, об. Над текстом двух автографов помета: «Варианты» (Л. 41, об. — 42).

Тема метемпсихоза — «переселения душ» — была заветана символистской культуре орфическо-пифагорейско-платоновской традицией и очень лично воспринята и пережита Блоком. 23 и 29 ноября 1899 года датированы два стихотворения — «Ты много жил. Негодование...» (в Тетради № 1 носит заглавие «Переселение душ») и «Устал я. Смерть близка. К порогу...», варьирующие мотив, которому суждено будет стать уже в несколько ином «изводе» в связи с темами анамнезиса и вечного возвращения<sup>38</sup> «сквозным» в творчестве Блока, связующим поэзию и прозу. Дневниковые заметки начала 1900-х годов, многочисленные аллюзии в письмах к разным корреспондентам, маргиналии на полях прочитанных книг,<sup>39</sup> студенческие конспекты<sup>40</sup> свидетельствуют о том, какое важное место в своих «античных штудиях» он отводил натурфилософским и метафизическим воззрениям орфиков и пифагорейцев, а также философии Платона и Плотина и как накладывались они на его собственный поэтический и мифотворческий опыт.

Рассуждения Блока о пифагорейской «музыке сфер» и особенно «философема» Числа, развернутая в письме к Белому от 3 февраля 1903 года, произвели на последнего столь глубокое впечатление (осознанное им, впрочем, позже), что он склонен был увидеть в Блоке «пифагорейца». «Пифагорейство» же, по мнению Белого, сближало их «в эсотерике мировоззрительных переживаний».<sup>41</sup> Однако оно же их и разделяло: Блок в тот период был заморожен пифагорейской символикой числа («все есть число») и «музыкой» десяти противоположностей (см.: ЗК, 46); Белый, по его собственному признанию, «теософизировал» пифагорейство, актуализируя в нем именно идею перевоплощения и «взгляд на причинность, как на Карму».<sup>42</sup> Позже этот первоначальный импульс найдет подкрепление в антропософском учении о ритмах перевоплощения, на чем Белый построит «свое Главное» — духовный путь, «историю самопознающей души». Блок, конечно, прислушивался к голосам стихий и был захвачен их вихрями, особенно в период «антитезы», но никогда желание полностью подчиниться ритмам космической жизни не становилось у него самодовлеющим. Ему удалось избежать «космического прельщения» эпохи, и ни теософия, ни антропософия не обрели для него жизнестроительного смысла. Космическое и историческое, хотя и связанные символическим единством, все же существуют в представлениях Блока как два самостоятельных бытийных плана, и мироощущение, питаемое «памятью о событиях космической жизни» (Андрей Белый), не получит в глазах Блока приоритета над историческим мировидением, признающим диалектику трагической необходимости и свободного творчества истории.

Пафос орфическо-пифагорейского учения — в апологии мощной, оргиастической, всеохватывающей и всенаполняющей жизни Космоса. Жизнь эта подчинена закону смерти и рождения, т. е. вечному природному круговороту, вечно повторяющимся мировым периодам. И если душе, просветленной таинствами и достигшей «чистоты», удалось, казалось бы, выскочить из томительного круга перевоплощений и достичь обители богов, то, как следует из орфического мифа, изложенного Платоном в «Федре», у нее нет надежд там остаться навсегда,

<sup>38</sup> См.: *Исупов К. Г.* Русская эстетика истории. СПб., 1992 (глава «Историзм А. Блока и символистская мифология истории»).

<sup>39</sup> См.: *Виндельбанд В.* История древней философии. СПб., 1898 (библиотека ИРЛИ, шифр 94 1/87); *Льюис Д.-Г.* Указ. соч.

<sup>40</sup> Конспект «Очерков греческой философии» М. Н. Каткова (Прописки: Сб. статей по классической древности. М., 1851. Кн. 1. С. 305—359) см. в тетради «Моя декламация...» (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 74—76).

<sup>41</sup> Cahiers... P. 93.

<sup>42</sup> Ibid. Ср.: «...я был еще пифагорейзирован математическими идеями отца, принимавшего гостеприимно идеи Кармы в свою „Монадологию“» (Ibid.).

возможны ее новые и новые «падения» с вершин божественной жизни. И в этом — глубинный пессимизм натуралистических религиозно-философских воззрений. «Божественная, просветленная жизнь, — замечает по этому поводу религиозный мыслитель Н. Арсеньев, — есть жизнь лишь тех же высших космических сил, и, как ни жаждет того душа, но круг ложного бытия, злое, мучительное „колесо генезиса“ еще не отменено навеки. Это могла сделать лишь вера в сверхмирного, чистого, победившего слепую силу Рока, бытия и тления, утвердившего на место неизменного природного процесса умираний и возрождений царство вечной полноты жизни — абсолютного Бога».<sup>43</sup>

Сонет Блока — это драма неверия в блаженство инобытийного существования. И потому процесс «воплощений» души предстает не в виде восхождения по ступеням совершенствования, а как унылое повторение бесчисленной череды «рождений в смерть»:

Там — в гулкой тишине — вертится тот же круг.  
Безмолвная толпа — гробница возвращений —  
Хранилище вечерних озарений

(I, 682)

По мере движения текста от первоначальной редакции к окончательной усиливается элемент скепсиса и тема повтора получает новое решение — как трагическое расщепление личности на иные «я». Если в первоначальной редакции психологическая коллизия была сосредоточена на абстрактном образе «усопшего друга», которого невозможно узнать «под маской безобразной» в новом его перевоплощении, то в окончательной редакции появляется «скептический двойник» — тень самого лирического героя, его «карма». Углубление пессимистических настроений демонстрирует заключительный терцет сонета. Поэтическая мысль развивается от непроясненной картины вселенского круговорота смертей и рождений в первоначальном варианте, процитированном выше, до осознания безрадостной перспективы вечной неуспокоенности и «томления духа» и *здесь и там*:

Там — в темной глубине — такое же томленье  
Таких же нищих душ и безобразных тел:  
Гармонии безрадостный предел.

(I, 528)

Свой скептицизм, выстраданный «ценою утраты части души», Блок готов был защищать от упреков как «петербургских», так и «московских мистиков». Усиливающиеся настроения «мистического скептицизма» постепенно отдаляли его от С. Соловьева, который не мог простить Блоку измены заветам соловьевского братства и «отречение от прерафаэлитизма». Однако былую просветленность восприятия уже затмила дисгармония мира, открывшаяся взору поэта. И потому Блок все более удалялся от «прерафаэлитства», считая его несовременным и несвоевременным: «Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему времени. Лицо искажено судорогой, приходит постоянное желание разглаживать его морщины, но они непременно опять соберутся».<sup>44</sup> В стихотворении «Ответ» (19 сентября 1903), обращенном к Соловьеву, Блок утверждал свое право на «задумчивость» и сомнение в истинности мистических заповедей, период поклонения которым он назовет «детством жизни».<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Арсеньев Н. Пессимизм и мистика в Древней Греции // Путь. (Париж), 1926. № 5. С. 603.

<sup>44</sup> Лит. наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 356 (письмо к С. Соловьеву от 20 декабря 1903 года).

<sup>45</sup> Там же. С. 355.

Сквозь тонкий пар сомнения  
Смотрю в голубоватый сон.  
В твоих словах — веления  
И заповедь святых времен.  
Когда померкнут звонкие  
Раздумья трехвенечных снов,  
Совьются нити тонкие  
Немеркнущих осенних слов.  
Твои слова — любимый клик,  
Спокойный зов к осенним дням,  
Я их люблю — и я привык  
Внимать и верить глубинам.  
Но сам — задумчивей, чем был,  
Пою и сдерживаю речь.  
Мой лебедь здесь, мой друг приплыл  
Мою задумчивость беречь.

(I, 537)

Идея стихотворения просвечивает сквозь его образно-символическую ткань. Это декларация «мистического скептицизма» как умонастроения, признание его творческой ценности. Вспомним, что «задумчивость» — синоним «скептицизма», а «раздумья трехвенечных снов» могут быть дешифрованы как «астартические» искусства рефлектирующего духа.<sup>46</sup> Но кто этот «лебедь», хранитель «задумчивости» лирического героя? Как подсказывают черновые варианты,<sup>47</sup> он — из музыкальной драмы Р. Вагнера «Лоэнгрин», возвращающей главного героя, рыцаря мистического ордена, на его прародину. Возникает еще один вопрос: почему этот мифопоэтический образ вдруг оказался связан с темой «мистического скептицизма»? Не углубляясь в блоковский опыт восприятия-переживания творчества немецкого композитора, обратим внимание лишь на некоторые моменты его интерпретации.

Известно, что начало лета 1903 года, которое Блок проводил в Бад-Наугейме, — период увлечения рыцарской романтикой вагнеровских мистерий, что отразилось на общей тональности стихотворений, написанных в это время («Если только она подойдет...», «Заклинание» и др.). Освоение поэтом нового «жанра» — «песни рыцарского склада» — осмыслялось как приближение к «так называемой „эротической“ области поэзии».<sup>48</sup> Одно другому не противоречит, ибо эротизм пронизывает всю куртуазную культуру средневековья и рыцарский культ Прекрасной Дамы не отчужден от конкретно-чувственных форм.<sup>49</sup> В музыке и драматургии Вагнера поэт чутко уловил не только господствующую в них чувственно-эротическую атмосферу, но и языческий оргиазм и даже «инфернальность» страстей. Его герои воплощали идею мистического Эроса, на вершинах любовного экстаза соприкасаясь со смертью, понимаемой не как смерть физическая, а как выход в трансцендентность. Финал «Тристана и Изольды» — «смерть от любви» (Liebestod) — был мистически пережит поэтом, о чем он сообщал в письме к невесте от 2 июня, а дальше делился возникшими в связи с этим мыслями о близости Даме «сильной

<sup>46</sup> О Трехвенечной Изиде см. прим. 26.

<sup>47</sup> См. первоначальный вариант стихов 15—16 в черновом автографе (Записная книжка № 6): «Мой белый лебедь вдаль уплыл // И я, Лоэнгрин, останусь здесь» (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 326. Л. 54, об.).

<sup>48</sup> Блок А. А. Письма к жене. С. 140.

<sup>49</sup> Ср.: «...Средние века создали культ женственности, чуждый античному миру. (...) Это был культ вечной женственности — божественного начала, это любовь к Божеству своему в конкретно-чувственной форме, тут личное сплетается мистически со вселенским. (...) Средние века, вновь ставшие нам родными и понятными, были и самой аскетической, и самой чувственной эпохой: аскетическое отвержение земной плоти окрасило небо в чувственно-эротический цвет...» (Вердяев Н. А. Эрос и личность: Философия пола и любви. М., 1989. С. 32). См. также: Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.

страсти, наивной и некультурной», «германской страсти Валькирий и Богов». <sup>50</sup> Можно предположить, что на волне «мистического скептицизма», когда осуществлялся переход от «чувствования» к «созерцанию», от «созерцания» — к мистифицированной *чувственности*, Блок находил в мистериях Вагнера и их образах (например, в рыцаре Лебеда — Лоэнгрине) искомое «слияние» духовного и чувственного, языческого и христианского.

Символистский Эрос в глубинах своего происхождения — «язычник». Но он помнит об изначальной двойственности своего «прототипа», сына Пороса и Пэнии — изобилия и скудости, и в крайних пределах тяготеет к духовному «верху» (мистическая влюбленность, торжество Афродиты Небесной) и телесному «низу» (демонизм плоти, культ Афродиты Простонародной). Символистская метафизика любви — это путь по мосту, воздвигнутому Эросом pontifex'ом между небом, землей и бездной ада. Весь символизм — в чаянии преображения мировой плоти силой божественного Эроса. Символисты наследуют эротико-эстетическую утопию Соловьева, а вместе с ней его «жизненную драму» — драму эротики, связанной с платонизмом. Ибо платоновский Эрос — антиперсоналистичен, это любовь к Идее, к Красоте, к Истине. Он не знает личности и поклоняется лишь ее Образу. «На этом пути, — пишет Бердяев, — эротические иллюзии непреодолимы. Не иллюзией оказывается лишь божественная красота». <sup>51</sup>

«Пережив» и «перечувствовав» свой мистицизм, Блок ощутил кризисный разлад между сферой умозрения («соловьевское заветное») и реальной жизнью и искал разные возможности его преодоления, вплоть до «примирения с позитивистами» (ЗК, 63) — путь, который два года назад, когда он записал «белые и чистые святыни» от нападок позитивизма, казался принципиально невозможным. Отказ от былых «святынь» давался поэту непросто. На страницах записных книжек (с конца апреля по октябрь 1904 года) — признания в утрате руководящего присутствия Души мира, в творческом бессилии. «Я слаб, бездарен, немощен. Это все ничего. Она может всегда появиться над зубчатой горой» (конец апреля — ЗК, 63). «Написать стихи — пора! пора! Хочу. Люблю ее» (1 мая — там же). «Господи! Без стихов давно! Чем это кончится? Как черно в душе. Как измучено!» (7 мая — там же, 64). Наконец, 11 октября набросок неудавшегося стихотворения с присутствием образа Ее окончательно убеждает поэта в исчерпанности некогда вдохновлявшего метафизического идеала:

И оставила на башне обращенной на восток  
Утром я бродил в долине, не замеченный тобой  
[И заметил в дымке синей]  
[Встрети(л)]  
Видел в дымке синей нежный  
облик голубой  
[Отходящую]  
Отходящей <sup>52</sup>

Авторский комментарий к наброску подводит итог всем сомнениям: «Дальше и нельзя ничего. Все это прошло, минуло, „исчерпано“» (ЗК, 67). Поэт вступал в период «антитезы» — очередной акт «религиозно-мистической трагедии».

<sup>50</sup> Блок А. А. Письма к жене. С. 142.

<sup>51</sup> Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 122.

<sup>52</sup> ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 329. Л. 38, об.—39.

## ПЕРЕПИСКА Л. И. ШЕСТОВА С А. М. РЕМИЗОВЫМ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ  
И. Ф. ДАНИЛОВОЙ И А. А. ДАНИЛЕВСКОГО)

(Окончание) \*

141

25.1.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

не сердись: никак не мог вчера к тебе. Задержал меня Paul Westheim, редактор Das Kunstblatt.\*<sup>1</sup> Пришел в час, когда уходит. И неловко было уйти.

У меня была мысль — предложить к тебе. Но я не решился.

\* ( Это такой журнал, где печатают мои сны с моими рисунками)  
( немецкий сюрре(а)лист )<sup>2</sup>В субботу ждали тебя.<sup>3</sup> Кончилось тем, что под Петрушей<sup>4</sup> подломился стул и, как пробка, выскочила пуговица.

(расскажу тебе, как зайдешь по пути «по зубу»)

Решено насчет журнала.<sup>5</sup> Конечно, не денежное дело. Но попробовать надо. Для начала было выпито 2 б(утылки) Royal Gaillac<sup>6</sup>АУ<sup>7</sup>под редакцией П. П. Сувчинского  
при ближайшем участии  
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ<sup>8</sup> — ЛЬВА ШЕСТОВА  
АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА — кн. Д. П. Святополк-Мирского<sup>9</sup>  
завед(ующий) редакцией Сергей Ефрон<sup>10</sup>( в 2<sup>а</sup> месяца раз.<sup>11</sup>  
10–12 листов. без политики<sup>12</sup> ) кончилось фокстротом —  
играл Сувчинский 13 после  
паденияв этом журнале ты можешь писать как вздумается: с конца или из сер(е)дки<sup>14</sup>  
Кланяюсь Анне Елеазаровне<sup>15</sup> и всему дому de l'Alboni<sup>17</sup>  
от Серафимы Павловны<sup>16</sup> поклоны

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> В статье «Рукописи и рисунки А. Ремизова» (впервые: Числа (Париж). 1933. № 9. С. 191—194; впоследствии вошла в книгу «Мерлог»), подписанной псевдонимом Василий Куковников, Ремизов упоминает публикацию своего рисунка в августовской книжке журнала «Das Kunstblatt» за 1925 год, состоявшуюся благодаря посредничеству поклонника и пропагандиста ремизовской графики в Германии художника Ивана Альбертовича Пуни (1892—1956), знакомство с которым произошло в Берлине в начале 20-х годов. См. об этом: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». С. 210, 243, 250; Bowl J. E. Colors and Words: The

\* Начало публикации см.: Русская литература. 1992. № 2. С. 133—169; № 3. С. 158—197; № 4. С. 92—133; 1993. № 1. С. 170—181; № 3. С. 130—140; № 4. С. 147—158; 1994. № 1. С. 159—174.



Visual Art of Alexei Remizov // Russian Literature Triquarterly (Ann Arbor). 1986. № 19. P. 172.

<sup>2</sup> Т. е. Paul Westheim.

<sup>3</sup> 25 января 1926 года М. И. Цветаева писала Шестову: «Почему не были 23-го (в субботу) у Ремизова? Мы все Вас ждали и до половины 12-го часа берегла для Вас бутылку шампанского» (9 писем М. Цветаевой к Льву Шестову // Вестник РХД (Париж—Нью-Йорк—Москва). 1979. № 129. С. 124).

<sup>4</sup> П. П. Сувчинский. См. прим. 21 к п. 106.

<sup>5</sup> Речь идет о будущем журнале «Версты», который издавался в Париже с 1926-го по 1928 год «под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова» и фактически являлся ежегодником, так как вышло всего три номера. Подробнее об этом издании см.: *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 73—77; *Кудрова И.* Версты, дали... Марина Цветаева: 1922—1939. М., 1991. С. 121—151.

<sup>6</sup> Сорт шампанского. Далее текст, ограниченный нами чертой с двух сторон, «обрамлен» Ремизовым волнистой линией сверху и снизу, а также подобием фигурной скобки и припиской — справа. Слева помещен рисунок: раскрытая ладонью левая рука, в которую «вписан» глаз («глазатая рука» — излюбленный мотив в ремизовском творчестве, восходящий к сакральной символике), и фантастическое двуглавое существо (одна голова «оборачивается» к «глазатой руке», в то время как другая, с открытым ртом, произносит слово «АУ», о чем свидетельствует стрелка, направленная к этому слову в основном тексте); кроме того, здесь же два раза воспроизведено разным шрифтом слово «АУ».

<sup>7</sup> Предполагаемое название будущего журнала «Версты». Ремизов принял деятельное участие в выборе названия для журнала и продолжал обсуждать эту тему в других письмах к Шестову (см. п. 142—146 в наст. публикации).

<sup>8</sup> Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — поэт, прозаик, мемуарист. Ее сближение с Ремизовыми произошло в Берлине в начале 20-х годов. Отношения носили дружеский характер, о чем свидетельствует тот факт, что Ремизов был зачным крестным отцом сына Цветаевой Мура (см. об этом: *Кудрова И.* Версты, дали... С. 108). После переезда в Париж в ноябре 1925 года и в период издания «Верст» контакты Цветаевой с Ремизовым были особенно частыми, однако постепенно наступило охлаждение во взаимоотношениях, одной из причин которого было несходство темпераментов, и прежде всего склонность Ремизова к мистифицированию, чуждая Цветаевой. Ср., например, следующий эпизод, упоминаемый в мемуарах З. А. Шаховской: «Я несколько раз посещала еще Ремизовых в этот 1925 год. Иногда, несмотря на заранее уговоренное свидание, дверь мне не открывали, хотя я явственно слышала, как кто-то за нею стоит и дышит, вероятно, лукаво улыбаясь моему напрасному ожиданию. Марина Цветаева говорила мне, что и ходить к Ремизову из-за этого перестала. „Пригласит, я никуда не хожу, а тут выйду. Еду из Ванв. Прихожу, звоню и слышу Ремизова и говорю ему: перестаньте, Алексей Михайлович, притворяться, я все равно слышу. А он двери не открывает...“» (*Шаховская З.* В поисках Набокова. Отражения. С. 123). Несмотря на осложнение в личных отношениях, Цветаева неизменно высоко оценивала ремизовское творчество. Иначе складывались ее взаимоотношения с Шестовым, знакомство с которым состоялось вскоре после переезда в Париж. «Судя по письмам, в этот период Цветаева благоговела перед Шестовым, и они довольно часто встречались (...). Встречались ли они после 1928 г., определить не удалось» (*Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 338).

<sup>9</sup> См. прим. 4 к п. 129.

<sup>10</sup> Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941) — муж М. И. Цветаевой. В годы гражданской войны сражался в рядах Добровольческой армии, участвовал в так называемом «Ледяном походе» 1918 года. В ноябре 1920 года эвакуировался из Крыма в Турцию. Осенью 1921 года приехал в Чехословакию, где стал студентом философского факультета Карлова университета, который закончил в 1925 году. Редактировал выходивший в Праге в 1924—1926-м годах русский журнал «Своими путями». С 1926-го по 1937 год жил во Франции. Как и два других редактора «Верст» был евразийцем (см. прим. 20 к п. 106). Пережив расцвет в 1926—1929-м годах, евразийское движение раскололось затем на «правое» и «левое» крыло. Примкнув к последнему, Эфрон занял сочувственную позицию по отношению к Советской власти, принял активное участие в «Союзе возвращения на родину» и даже стал сотрудником Иностранного отдела НКВД СССР, по заданию которого организовал убийство в Швейцарии 4 сентября 1937 года советского разведчика «невозвращенца» Игнатия Рейсса (настоящее имя — Ян Порейский). После вызова в этой связи на допрос во французскую полицию тайно уехал в СССР. По возвращении числился на службе в НКВД. 10 октября 1939 года был арестован и осенью 1941 года расстрелян в г. Орле.

<sup>11</sup> Слово, выделенное нами курсивом, подчеркнуто Ремизовым.

<sup>12</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым два раза.

<sup>13</sup> Ср. следующие замечания Ремизова о Сувчинском: «С первого глаза в Берлине мне понравился П.П., с ним хорошо разговаривать о знаменном распе. Он весь в пении. Он

был душою *Верст* и меня никогда не гнал» (цит. по: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 83); «Меня всегда радует П. П. Сувчинский: с ним в кукушкину входит музыка» (цит. по: *Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. С. 43).

<sup>14</sup> Фраза приписана справа (см. прим. 6 к наст. п.).

<sup>15</sup> А. Е. Березовская-Шестова. См. прим. 2 к п. 33.

<sup>16</sup> С. П. Ремизова-Довгелло. См. прим. 3 к п. 2.

<sup>17</sup> В первые дни января 1926 года, оставшись без жилья, Шестовы приняли предложение Балаховских (см. прим. 2 к п. 12) поселиться в трех комнатах их просторной восьмикомнатной квартиры (1 Rue de l'Alboni, Paris 16). Здесь они прожили до весны 1929 года. По свидетельству дочери философа, «эти три года можно считать самым интересным периодом жизни Шестова в эмиграции, хотя и тогда, как и в предыдущие и последующие годы, его очень тяготили хлопоты, связанные с изданием книг, и другие житейские заботы» (*Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 330).

## 142

26.1.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Вчера опять пришли, ч(то)б(ы) о журнале (говорить (?))<sup>1</sup>  
только вместо Gaillac — Moët<sup>2</sup>

Журнал будет называть(ся)

## ОРДА

под редакцией П. П. Сувчинского  
при ближайшем участии

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ ЛЬВА ШЕСТОВА

АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА КН. Д. П. СВЯТОПОЛК(-)МИРСКОГО

Кланяюсь Анне Елеазаровне

и 3 всему дому.<sup>4</sup>

от обоих нас

[Монограмма-рисунок]<sup>5</sup>

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur L. Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>.

<sup>1</sup> Имеется в виду будущий журнал «Версты» (см. прим. 5 к п. 141).

<sup>2</sup> Сорта вина.

<sup>3</sup> У Ремизова описка: «в» вместо «и».

<sup>4</sup> См. прим. 17 к п. 141.

<sup>5</sup> См. прим. 22 к п. 97.

## 143

9.2.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

В понедельник на конспиративном заседании  
окончательно решено

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> денег достали<sup>1</sup>

идут и дальнейшие действия  
к добыче

Готовь рукопись<sup>2</sup>

Алексей Ремизов

## ОРДА

под ред(акцией) ПЕТРА сувчинского

ближайшее участие: МАРИНА цветаева — кн. ДМИТРИЙ святополк мирски(й)

ЛЕВ ШЕСТОВ

АЛЕКСЕЙ ремизов

завед(ующий) редакц(ией) СЕРГЕЙ ефрон

PARIS

Скоро жди посла, к(отор)ый с тобой будет разговаривать

С ВОЛЧЬИМ ОСКАЛОМ

НО К ТЕБЕ ВСЕЙ ДУШОЙ РАСПОЛОЖЕННЫЙ<sup>3</sup>П. П. Сувч(инский) оказывается именованник не на Петра и Павла,<sup>4</sup> а (на)Петра, царевича Ордынского,<sup>5</sup>в честь которого и Петровский<sup>6</sup>

монастырь в Москве

Кланяюсь Анне Елезаров(не) и ВСЕМУ ДОМУ<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Вероятно, эти деньги на издание дал П. П. Сувчинский, человек довольно состоятельный (см. об этом: *Шаховская З. В.* поисках Набокова. Отражения. С. 123—124, 130). После выхода в свет первого номера «Верст» в эмигрантской прессе разразилась бурная полемика, некоторые из оппонентов журнала прямо утверждали (И. А. Бунин) или намекали (З. Н. Гиппиус) на то, что он финансируется Москвой (см. об этом: *Кудрова И.* Версты, дали... С. 146). Впоследствии Гиппиус, продолжая настаивать на «большевизантстве» «Верст», все же отказалась от этой части своих обвинений в письме к С. П. Ремизовой-Довгелло от 29 сентября 1930 года: «Мне совершенно все равно, откуда получал деньги Святополк, эта воистину „дефективная личность“: такого рода сыском я не занимаюсь» (цит. по: *Lamp! N. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach.* 1978. Bd. 1. S. 177).

<sup>2</sup> Сотрудничество Шестова в журнале ограничилось публикацией в первом номере написанной в мае 1924 года статьи «Неистовые речи (по поводу экстазов Плотина)» (см.: *Версты (Париж).* 1926. № 1. С. 87—118), которая затем вошла в его книгу «На весах Иова (Странствования по душам)» (Париж, 1929).

<sup>3</sup> Имеется в виду Д. П. Святополк-Мирский. Ср.: «В тетради, где А. М. (Ремизов. — И. Д., А. Д.) записывал оценки С. П. (Ремизовой-Довгелло. — И. Д., А. Д.), сказано о Д. П. Святополк-Мирском: „Он очень странный, на волка похож лицом (...)» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 83).

<sup>4</sup> Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла (так называемый Петров день) отмечается 29 июня ст. ст.

<sup>5</sup> Преп. Петр, царевич Ордынский — ростовский чудотворец; основатель Петровского монастыря в Ростове, где в храме свв. апостолов хранятся «под спудом» его мощи. По свидетельству ряда древних памятников, скончался в глубокой старости 29 июня 1290 года, и поэтому день его памяти отмечается одновременно с праздником свв. апостолов Петра и Павла (см. прим. 4 к наст. п.). В некоторых других источниках, например, у Димитрия Ростовского, указывается не 29, а 30 июня ст. ст. Подробнее см.: *Архимандрит Сергей.* Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. II. С. 171, 179.

<sup>6</sup> Ремизов ошибается: Высокопетровский мужской монастырь был основан в XIV веке при жизни московского святителя митрополита Петра в селе Высоком (ныне — район улицы Петровка, название которой произошло от имени этой обители) во имя апостолов Петра и Павла и потому первоначально назывался Петропавловским. Вплоть до XVII века оба названия имели хождение. В 1680—1690-е годы монастырь был отстроен заново на средства бояр Нарышкиных, так как в нем были похоронены братья матери Петра I — Натальи Кирилловны — Иван и Афанасий. Закрыт после революции. См.: *Звонарев С.* Сорок Сороков: Альбом-указатель всех московских церквей: В 4 т. Paris, 1988. Т. 1. С. 177—186.

<sup>7</sup> См. прим. 17 к п. 141.

12.2.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Был Петруша,<sup>1</sup> ждали тебяBouvet-ladubag<sup>2</sup> — это по твоейчасти,<sup>3</sup> жаль, что не пришел

Весь разговор между ЯСАКОМ

и ОРДОЙ<sup>4</sup>Конечно, «Ясак»<sup>5</sup> хорошо: серебряный Ясак на Успенском  
соборе,<sup>6</sup> в который звонят,подавая весть красному звону<sup>7</sup>

Но «Орда» — звучнее

и крепче! Будут тебя спрашивать,  
поддержи «орду»<sup>8</sup>

Кланяюсь

Анне Елеазаров(не)

и всем твоим

[Монограмма-рисунок]<sup>9</sup>от Серафимы Павловны  
поклон

Вчера опять было

плохо: сердце.

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>. Дата на штемпеле: 13.II.1926. Между строк в двух местах рисунки, на одном из которых изображен «диалог» двух фантастических зооморфных существ, а другой более абстрактный.

<sup>1</sup> П. П. Сувчинский.<sup>2</sup> Сорт вина.<sup>3</sup> Намек на известную мистификацию Ремизова, который в 1905 году убедил В. В. Розанова, тогда еще лично не знакомого с Шестовым, в том, что тот пьет и что «без вина Шестов не может» (см.: *Ремизова А. Кукха. Розановы письма. С. 26—27*). По свидетельству дочери философа, Шестов «много смеялся» над этой ремизовской выдумкой (*Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 89*).<sup>4</sup> Предполагаемые названия будущего журнала «Версты».<sup>5</sup> Ясак — здесь: «особый колоколец при церкви, коим дают знак звонарю, когда благовестить и звонить, когда перестать» (*Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 680*).<sup>6</sup> Ремизов подразумевает здесь последний колокол Ивановской колокольни в московском Кремле, именуемой также Иван Великий (построена в 1600 году), звон которой имел особую мелодию и назывался «красным звоном». В церковном уставе этот колокол имеет название «кандея» и представляет из себя «маленький звонец, которым дается знать звонарю на колокольне о времени благовеста или звона. Он повешен не на колокольне, а на восточной стене Успенского собора» (*Рычин Ф. И. Путеводитель по московской святине. М., 1890. С. 144*). Кремлевский серебряный ясак упоминается Ремизовым в рассказе «Семь бесов» (*Ремизов А. Укрепя. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пгр., 1916. С. 118*) и в заключительной главе книги «Взвихренная Русь» (С. 521).<sup>7</sup> Часть предложения после двоеточия отчеркнута Ремизовым и тем самым отделена от следующей фразы.<sup>8</sup> Остальной текст приписан справа под датой.<sup>9</sup> См. прим. 22 к п. 97.

145

18.2.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

сейчас получил из Бельгии: надо ехать —  
вечер, но теперь (от страха, кабы чего  
опять) я буду читать с Тэффи.<sup>1</sup>

Мне — про божест(в)енное, Тэффи —  
«дю-дю». И дают пополам — по 100 frs.

И все-таки ехать надо. На дорогу  
деньги получены еще тогда в декабре  
и за визу.

(Виза теперь дорогая — 57 frs)

и вот опять придется в префектуру за «продолжением»  
и в бел(ь)г(ийское) консульство.

И в это же время — (на неделе)

ОРДА

или, как захотят ордынцы, какое имя принять  
(я на все согласен, только бы не объясняться

с редакторами: что вычернуть  
и что заменить)<sup>2</sup>

и в то же время  
надо писать тебе грамоту<sup>3</sup>  
для подношения в 60<sup>и</sup>-летие<sup>4</sup>

серебром  
золотом  
и красною краскою

Кланяюсь Анне Елеазаровне

и всему дому<sup>5</sup>

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> См. прим. 6 к п. 121.

<sup>2</sup> О редакторах «Верст», в частности о Д. П. Святополк-Мирском, Ремизов писал в своей тетради для записей личного характера: «(...) как и П. П. Сувчинский, меня никогда не гнал (меня, как пишущего), напротив, сделал для меня много доброго (...)» (цит. по: Резникова Н. В. Огненная память. С. 83). Н. В. Резникова справедливо отмечает, что в этом журнале «творчеству Ремизова отведено большое место («В *Верстах* меня не гнали»)» (Там же). Действительно, его произведения помещены во всех трех номерах: в № 1 (1926) — «Из книги „Николай-чудотворец“» (С. 37—51), «Россия» (Там; С. 52—57), «„Воистину“». Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения» (С. 82—86), а также сделанный Ремизовым «парижский» список «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного» (разд. «Материалы»; С. 1—73); в № 2 (1927) — «Россия» (С. 114—121), «„Заветы“». Памяти Леонида Михайловича Добронравова» (С. 122—128); в № 3 (1928) — «Бику» (С. 26—34), «Расея. (Письмо). 1916 г.» (С. 35—39).

<sup>3</sup> Имеется в виду Обезьянья грамота Шестову (см. п. 152 в наст. публикации).

<sup>4</sup> 13 февраля 1926 года (н. ст.) Шестову исполнилось шестьдесят лет. Вскоре на это событие откликнулась эмигрантская пресса, и в частности, «Последние новости» (см. прим. 3 к п. 102), опубликовавшие 25 февраля «Биографию Л. Шестова», написанную С. В. Познером, и большую юбилейную статью С. В. Лурье «Лев Шестов. (К шестидесятилетию его рождения)»; последнему принадлежит также статья «Истина Библии и истина философии. К шестидесятилетию рождения Льва Шестова» (Рассвет (Париж). 1926. 18 апр. № 16). Кроме того, появились юбилейные статьи Г. Ловцкого в берлинском «Руле» и П. Я. Рысса в рижской газете «Сегодня вечером», а также заметка Ремизова «Лев Шестов» (Своими путями (Прага). 1926. № 12/13).

<sup>5</sup> См. прим. 17 к п. 141.

22.2.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Прилагаю из Дней <sup>1</sup> о твоём 60-ти летию. <sup>2</sup>Твою юбилейную открытку <sup>3</sup> подали сегодня утром  
(верно, у соседа ночевала) (а сосед наш не торопится)КЛАНЯЮСЬ ТЕБЕ  
ПОЗДРАВЛЯЮ!Поздно вечером нагрязнула Орда: <sup>4</sup> Я предложил по случаю твоего  
юбилея назвать журнал:

ШЕСТОВ

Нет, народ еще робок, ни орды, ни шестова не допускают.  
называй, говорятВЁРСТЫ  
ПОЛОСАТЫЕ ВЕРСТЫ  
НА БЕРДЯЕВСКОМ ПУТИ <sup>5</sup>  
Versti (Kilometre)Так как ко мне доверия нет,  
хочу тебя попросить: о Вячеславе <sup>6</sup> —  
Сидит он в Риме, ну что бы  
ему СТИХ прислать, ч(то-)н(и)б(удь)  
о «ВОЛЖБЕ». <sup>7</sup>Кланяюсь Анне Елеазаровне  
и всему дому <sup>8</sup>Был у нас П. Я. Рысс <sup>9</sup>  
пишет статью о тебе: <sup>10</sup>  
я его информировалБудет напечатано у Харитона <sup>11</sup> в Понедельник(е) <sup>12</sup> (?) (Рига)Очень прошу тебя на краткий срок Гершензона о Тургеневе. <sup>13</sup><sup>1</sup> См. прим. 1 к п. 115.<sup>2</sup> Имеется в виду анонимная заметка «Юбилей Л. И. Шестова» (Дни (Париж). 1926. 21 февр. № 936. С. 3; разд. «Литература и искусство»), в которой кратко излагается биография философа и перечисляются его заслуги перед русской культурой, а также сообщается, что солидные эмигрантские издания намереваются посвятить этому событию более обстоятельные статьи. Вероятно, здесь подразумеваются готовящиеся публикации в газете «Последние новости» (см. прим. 4 к п. 145).<sup>3</sup> Очевидно, речь идет о письменном приглашении на домашнее празднование шестовского юбилея. Ср.: «Юбилей Л. Шестова справляли по-русски — три вечера: на дому — литературное сборище, у С. В. Лурье — семейное, и третий вечер — философское (...)» (Ремизов А. «Воистину». Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения // Версты. 1926. № 1. С. 83).<sup>4</sup> Т. е. организаторы будущего журнала «Версты».<sup>5</sup> Несмотря на то, что источником окончательно принятого названия «Версты» послужил одноименный поэтический сборник М. Цветаевой 1921 года (см. об этом: Кудрова И. Версты, дали... С. 124), Ремизов, котсрый ранее с увлечением обсуждал именно название журнала, возводит его к пушкинским «Бесам», и, используя образность этого стихотворения, намекает здесь на критическое выступление Н. А. Бердяева против евразийства в редактируемом им журнале «Путь» (Бердяев Н. Евразийцы. («Евразийский Временник». Книга Четвертая. Берлин 1925 г.) // Путь (Париж). 1925. № 1. С. 107—111), а также на полемику вокруг этой статьи (см.: Карсавин Л. П. Ответ на статью Н. А. Бердяева об «евразийцах» // Путь. 1925. № 2. С. 239—241; Флоровский Г. В. «Окаменелое безчувствие». (По поводу полемики против евразийства.) // Там же. С. 242—246).

<sup>6</sup> В. И. Иванов (см. прим. 11 к п. 23). В 1924 году Иванову удалось покинуть Советскую Россию, и он поселился с семьей в Риме. С 1926-го по 1934 год преподавал в павийском колледже «Карло Борромео», а затем в ватиканских учебных заведениях. В феврале 1926 года Иванову, как и Шестову, исполнилось шестьдесят лет. Ремизов посвятил этому событию небольшую статью «Три юбиляра (1866—1926)» (третьим был Д. С. Мережковский), опубликованную без подписи в марте 1926 года в первом номере парижского сатирического журнала «Ухват».

<sup>7</sup> Ремизов подразумевает здесь один из мотивов в поэзии Вяч. Иванова, который использует в своей статье (см. прим. 6 к наст. п.), называя юбиляров «тремя волхвами». Ср.: «Три жала зыблет в устах змеиных / Моя волшба» (Иванов В. Эрос. СПб., 1907. С. 27; стих. «Три жала»); «Чаровал я, волхвовал я, / Бога-Вакха зывал я» (Там же. С. 29; стих. «Вызывание вакха»). В журнале «Версты» произведения Иванова не публиковались.

<sup>8</sup> Ниже помещен рисунок: кот в скюртуке и манишке, открывающий объятия идущему навстречу с поднятой в знак приветствия рукой существу, в котором угадываются черты портретного сходства с Ремизовым.

<sup>9</sup> См. прим. 4 к п. 102.

<sup>10</sup> Статья П. Я. Рысса «Лев Шестов. К шестидесятилетию со дня его рождения» была опубликована в рижской ежедневной газете «Сегодня вечером» в марте 1926 года (см.: *Bibliographie des études sur Léon Chestov*. P. 44).

<sup>11</sup> Харитон Борис Осипович (Иосифович; 1876 или 1877 — после 1941) — литератор, журналист. В 1918—1921-м годах вместе с Н. М. Волковысским руководил Домом литераторов в Петрограде. В 1922 году был выслан из Советской России и поселился в Берлине, где редактировал журнал «Сполохи». С 1924 года жил в Риге и редактировал (до 1940 года) газету «Сегодня вечером» (вечерний выпуск крупнейшей русской газеты в Прибалтике «Сегодня»), а также сотрудничал в издательстве «Жизнь и культура». В 1940 году, после вступления советских войск в Латвию, был депортирован в Сибирь. Его дальнейшая судьба не известна. Упоминается в книге Ремизова «Взвихренная Русь» как персонаж одного из снов.

<sup>12</sup> «Понедельник» — еженедельная газета, издавалась в Риге с 1925 года.

<sup>13</sup> Вероятно, речь идет о книге М. О. Гершензона «Мечта и мысль И. С. Тургенева» (М., 1919), которая, скорее всего, понадобилась Ремизову в связи с началом работы над темой «Тургенев-сновидец». К началу 30-х годов он опубликовал эссе «Тридцать снов Тургенева» (Воля России (Прага). 1930. № 7/8) и «Пятидесятилетие со смерти Тургенева. Тургенев-сновидец» (Числа (Париж). 1933. № 9), включенные затем в книгу «Огонь вещей» (Париж, 1954).

## 147

5.3.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Не сердись, что до сих пор не ответил:  
начало месяца для меня всегда мука мученская  
Кроме того, опять с зубом: по 3 часа пропадаю  
у Доктора. Сегодня, д(олжно) б(ыть), кончатся мои  
мытарства.

Второе: переписываю Житие Аввакума  
для Версты <sup>1</sup> 1/2 переписал в 20 часов

Да и свое понемногу делаю: продолжаю о нашей  
жизни

«шурун-бурун» <sup>2</sup>вспоминаю — памяти Э. Т. А. Гофмана <sup>3</sup>

(150 лет)

Читаю по-франц(узски) о St. Nicolas. <sup>4</sup>

Я до сих пор не могу решит(ь)ся подписать контракт  
с Вышеславцевым <sup>5</sup> и попросить денег: боюсь, что

житие такое выйдет —  
НЕ ПРИМУТ.

Т(ак) к(ак) ничего не известно о жизни,  
я думаю перевести все на  
современность — в Париж.<sup>6</sup>

А это не больно-то!  
Вот этим всем я занят  
с утра до поздней ночи.

Все делается, ничего  
не готово.

Да еще эта Бельгия  
вечер назначен на 28.3.<sup>7</sup>

Увижу тебя у Семена Владимировича<sup>8</sup>  
д(олжно) б(ыть) в субботу

и все тебе расскажу

Кланяюсь Анне Елеазаровне и всему дому d(e l')Alboni<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Ремизовское переложение «Жития протопopa Аввакума, им самим написанного» опубликовано в разделе «Материалы» первого номера журнала «Версты» в 1926 году (С. 1—64). Текст Жития снабжен хронологической канвой жизни и творчества Аввакума (С. 66—70). В специальном примечании Ремизов сообщает, что основывается на издании, выпущенном Императорской Археологической Комиссией в 1916 году в Петрограде и включающем в себя три редакции Жития, а также указывает другие издания, в том числе и перевод на английский язык, в котором сам принимал участие (см. об этом прим. 3 к п. 123). О своей работе он пишет: «Списки „Жития“ делались еще при жизни Аввакума и после издания „Жития“ (1861 г.) московские доброписцы не раз трудились, списывая „добрым письмом“. „Парижский“ список сделан в 1926 г. по замыслу П. П. Сувчинского: 33 часа переписывал я „Житие“, не только глазом следя, а и голосом выговаривая слово за словом и храня каждую букву протопopa „всая России“» (С. 73).

<sup>2</sup> Значение слова «шурум-бурум» (впоследствии он писал его именно так) Ремизов объясняет в книге «Петербургский буерак»: «Слово „Шурум-бурум“ ничего не означает, это татарская выкличка. Когда-то на Москве „князь“-татарин, скупщик старья, идет по улице, выбормачивая „шурум-бурум“. „Шурум-бурум“ звалось, что заведется в хозяйстве „на выброс“, всякая заваль, ветошь, лом. Татарину все сбыть можно, не стесняясь, и не стеснишь: мешок его бездонный. Вот и я собираю из своего скарба, не осталось ли чего — бедновато, ну, татарин все возьмет» (Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С. 9). Вероятно, речь идет о работе над автобиографическими зарисовками под общим названием «Без хвоста», которые были опубликованы 2 мая 1926 года в газете «Дни» (№ 995. С. 3), а затем включены в раздел «Наша судьба» книги Ремизова «По карнизам» (Белград, 1929. С. 79—118). Не исключено, однако, что здесь подразумевается другое ремизовское произведение мемуарного характера — «Северные Афины. История с географией. (Предбанная память)» (первые: Современные записки (Париж). 1927. № 30. С. 233—277; впоследствии вошло в книгу «Иверень»).

<sup>3</sup> Имеется в виду статья Ремизова «Карнизы. Памяти Э. Т. А. Гоффмана. (К 150-ой годовщине со дня рождения)», опубликованная 30 мая 1926 года в парижском еженедельнике «Звено» (№ 174). Немецкий писатель-романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман (Е. Т. А. Hoffmann; 24 января 1776—25 июня 1822) принадлежал к числу наиболее близких Ремизову литературных авторитетов, о чем он неоднократно писал. См., например: «⟨...⟩ самым близким я чувствую Э. Т. А. Гоффмана (...) Э. Т. А. Гоффман едва ли не самый первый по влиянию на русскую литературу: на Пушкина, Гоголя и Марлинского, а через них на Толстого и Достоевского, или, что то же, на всю русскую библию, через которую неминуемо проходит всякий русский писатель» (Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С. 212—213); «Я и Гоффмана принял, как свое, потому что наши глаза одного света, а свет этот резкого трепета, режущего огня и лунного блеска... Ближе Гоффмана, я не знаю, кого назвать мне из писателей» (Ремизов А. Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж, 1951. С. 256).

<sup>4</sup> Св. Николай (фр.). Образ св. Николая Мирликийского привлек внимание Ремизова-писателя еще в конце 1900-х годов, и к 1926 году он опубликовал три книги о Николе: «Николины притчи» (1917), «Никола Милостивый» (1918), «Звенигород Окликанный» (1924), однако продолжал работать над этой темой, так как считал, что в особом культе Николая Чудотворца проявились фундаментальные черты русского национального характера. Вскоре издательство «ТАИР» выпустило двухтомник ремизовских «легенд о Николе» «Три серпа» (Париж, 1929), а в 1931 году в другом парижском издательстве «УМСА-Press» вышло в свет его исследование «Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры».



<sup>5</sup> Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — юрист, философ, ученик известного философа права П. И. Новгородцева; приват-доцент, а затем профессор Московского университета. В 1922 году был выслан из России и поселился в Париже. Преподавал в Сорбонне, читал лекции в Богословском институте, был членом парижской Религиозно-философской академии и соредактором Н. А. Бердяева и Г. Г. Кульмана в журнале «Путь» (см. прим. 10 к п. 139). Вместе с Бердяевым и П. Ф. Андерсоном руководил издательством «YMCA-Press», опубликовавшим в 1928 году книгу Ремизова «Звезда надзвездная. Stella Maria Maris». Ремизов намеревался заключить с Вышеславцевым контракт на издание книги «Николай Чудотворец». Об этом проекте свидетельствует публикация в первом номере журнала «Версты» четырех легенд о Николе Мирликийском под общим заглавием «Из книги „Николай-чудотворец“», к которому сделано следующее редакционное примечание: «В изд. YMCA PRESS появится книга Алексея Ремизова „Николай-чудотворец“. С любезного согласия издательства печатаются некоторые главы из этой книги» (Версты. 1926. № 1. С. 37); см. также письмо Ремизова к В. В. Перемилловскому от 27 февраля 1929 года, содержащее указание на то, что и к этому времени контракт все еще оставался в силе (Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемилловскому / Подг. текста Т. С. Царьковой, вступ. ст. и прим. А. М. Грачевой // Русская литература. 1990. № 2. С. 211). Однако замысел так и не осуществился в его первоначальном виде: сами легенды были выпущены другим издательством — «ТАИР» (см. прим. 4 к наст. п.), а «ИМКА» опубликовала отдельной книгой собственно предисловие к ним («Образ Николая Чудотворца», 1931), которое бесспорно представляло и самостоятельный интерес, но задумывалось как пояснение к текстам и одновременно выражение авторского кредо.

<sup>6</sup> Действительно, вскоре Ремизов закончил небольшой цикл о св. Николае (Bankers Trust Company; К стенке; Беспорядочные; Вне закона; дата под текстом: 11.4.26 Париж), в котором широко использовал современные, и не только парижские, реалии. Так, например, здесь упоминаются Notre Dame, Oregá, церковь St. Sulpice, чек от «Bankers Trust Company», «океан с московскую Язу», несколько раз цитируется «Интернационал», зам-заведующий «Охраны памятников старины и искусства» произносит фразу «Ваша религия — опиум для народа», и наконец, допускается ряд намеренных анахронизмов на уровне стиля: храм Артемиды в Мирах реквизируется под церковь Параскевы Пятницы, а по указанию Николы производится конфискация мвра (см.: Ремизов А. Из книги «Николай-чудотворец» // Версты. 1926. № 1. С. 37—51). Эти стилистические сигнатуры пореволюционной эпохи являются элементом речи рассказчика и характеризуют его как современника автора, что не мешает ему, однако, принимать непосредственное участие в событиях, относящихся к глубокой древности — времени земной жизни св. Николая.

<sup>7</sup> См. п. 145.

<sup>8</sup> С. В. Лурье. Возможно, речь идет о «семейном сборище» у С. В. Лурье по случаю юбилея Шестова (см. прим. 3 к п. 146).

<sup>9</sup> См. прим. 17 к п. 141.

Дорогой Лев Исаакович

вчера видел Н. А. Бердяева  
и ему удобнее в Четверг 18-го<sup>1</sup>

Чтение трудное.<sup>2</sup> Пиши «не опаздывайте!»

Фордыбаев не надо.\* Позови Петрушу.<sup>3</sup> Ему интересно.

Читать буду не все и все-таки часа на 2.<sup>4</sup>

\*И надо чтобы никто друг на друга не сердился, а то ничего не выйдет.

Кланяюсь Анне Елеазаровне и всему дому de l'Alboni<sup>5</sup>

Алексей Ремиз(ов).

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>.

<sup>1</sup> Речь идет о так называемом «философском чествовании» Шестова в связи с шестидесятилетием, которое состоялось в его доме 22 апреля 1926 года (см. п. 153 и 154).

<sup>2</sup> Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>3</sup> П. П. Сувчинский.

<sup>4</sup> Через несколько дней после этого чтения Ремизов писал: «Юбилей Л. Шестова справляли по-русски — три вечера (...) третий вечер — философское: только философы. Бердяев, Вышеславцев, Эфрон, Ильин, Познер, Лазарев, Лурье, Сувчинский, кн. Д. С(вятополк-) Мирский, Федотов, Мочульский (Степун не приехал!) и только я не философ, я за музыканта: читал весь вечер — три часа без перерыва — „Житие протопопа Аввакума им самим написанное“, самую жизнерадостную книгу, а на тему: путь к вольной смерти!» (Ремизов А. «Воишину». Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения // Версты. 1926. № 1. С. 83; дата под текстом: 3.5.26).

<sup>5</sup> См. прим. 17 к п. 141.

## 149

10.3.26

Дорогой Лев Исаакович

Ладно: 25-го Четверг.<sup>1</sup>

27-го уезжаем в Брюссель<sup>2</sup>

и очень боюсь: надо непременно

Кланяюсь Анне Елеазаровне

Алексей Ремизов

В левом верхнем углу над обращением дата рукой неустановленного лица: «10.3.26». Справа и слева от подписи «двойной» автопортрет Ремизова в профиль (соответственно «левый» и «правый») с воздетой вверх рукой.

<sup>1</sup> См. прим. 1 к п. 148.

<sup>2</sup> Так как 28 марта должно было состояться совместное выступление Ремизова и Тэффи на литературном вечере в Брюсселе (см. п. 145 и 147).

## 150

Дорогой Лев Исаакович

13.3.26

Paris

26-го перед отъездом боюсь<sup>1</sup>

30-го во вторник,<sup>2</sup> но про это число напишу тебе,

если не будет лекции 31-го<sup>3</sup>

(31-го — еврейская пасха, в этот день (вечером) мы всегда у Познеров)<sup>4</sup>

1-го апр(еля): (католический вел(икий) четверг)<sup>5</sup> и обманный день

но люди соберутся все такие,

к(отор)ых обманом не возьмешь<sup>6</sup>

Подожди немного, еще напишу

Кланяюсь Анне Елеазаровне

[Монограмма-рисунок]<sup>7</sup>

Приехал Слонимский<sup>8</sup> из Америки<sup>9</sup>

Степун<sup>10</sup> приехал<sup>11</sup>

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Leon Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup> (см. прим. 17 к п. 141). В правом верхнем углу дата рукой неустановленного лица: «13.3.26».

<sup>1</sup> Здесь обсуждается очередной перенос на другой день чтения «Жития протопopa Аввакума» на вечере в доме Шестова (см. прим. 1 и 4 к п. 148) в связи с отъездом Ремизова в Брюссель (см. прим. 2 к п. 149).

<sup>2</sup> Ремизовы вернулись из Брюсселя 29 марта (см. п. 151).

<sup>3</sup> Имеется в виду очередная лекция С. П. Ремизовой-Довгелло в рамках курса «Русская палеография», который она читала на протяжении пятнадцати лет в Школе восточных языков (см. также п. 117, п. 118 и прим. 4 к п. 122). В 1925—1926 учебном году лекции С. П. проходили по средам в 10 часов утра в Сорбонне.

<sup>4</sup> Речь идет о семье С. В. Познера (см. прим. 6 к п. 102).

<sup>5</sup> Т. е. последний четверг перед Пасхой на Страстной седмице.

<sup>6</sup> Подразумеваются приглашенные на «философское чествование» Шестова. О присутствовавших на этом вечере см. прим. 4 к п. 148.

<sup>7</sup> См. прим. 22 к п. 97. Помещена справа под датой.

<sup>8</sup> Н. Л. Слонимский (см. прим. 1 к п. 132).

<sup>9</sup> Фраза приписана справа в нижней части письма под монограммой Ремизова перпендикулярно основному тексту.

<sup>10</sup> Ф. А. Степун (см. прим. 10 к п. 39). В отличие от других философов, высланных в 1922 году из России, продолжал жить в Германии. С 1926-го по 1937 год Степун занимал кафедру социологии в Высшей Технической Школе в Дрездене.

<sup>11</sup> Фраза помещена сверху над обращением к Шестову и является частью рисунка, на котором изображен произносящий ее Ремизов.

## 151

Дорогой Лев Исаакович

17.3.26  
Paris

сегодня Серафима Павловна узнала: в Среду 31-го  
ее лекция будет,<sup>1</sup> стало быть, в Среду надо рано  
вставать

Давай так: в понедельник 29-го мы вернемся  
из Брюсселя<sup>2</sup> и тогда решим о чтении  
у тебя<sup>3</sup>

Алексей Ремизов

Анне Елеазаровне поклоны

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Leon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup> (см. прим. 17 к п. 141).

<sup>1</sup> См. прим. 3 к п. 150.

<sup>2</sup> См. прим. 2 к п. 149.

<sup>3</sup> См. прим. 1 и 4 к п. 148.

## 152

[Обезьянья грамота Л. И. Шестова]

1866 КИЕВ [Рисунок]<sup>1</sup> 1926 ПАРИЖ<sup>2</sup> [Обезьянья марка]<sup>3</sup>

Дана сия обезьянья грамота — юбилейный ярлык

старейшему кавалеру обезьяньего знака  
маркизу обезвельопала

Льву Исааковичу Шестову  
в знак возведения Его в

главные кладовщики обезьянней  
великой и вольной палаты

[Надпись глаголицей]<sup>4</sup>

МСМХХVI

19 III

[Монограмма-рисунок]<sup>5</sup>

[Рисунок]<sup>6</sup>

по случаю шестидесятилетия со дня  
Его рожденья

Царь обезьяний собственнорочно<sup>7</sup>

[Печать]<sup>8</sup> Paris  
19.3.26

красная  
вежа

обезвелвол

пала

Князь обез(ьяний) ключарь<sup>9</sup>

за Полпред Евразии кав(алер) Петра Сувчинского<sup>10</sup> Федор Откасов<sup>11</sup>  
за Полпред Англии кав(алер) кн. Д. С. Святополк-Мирского<sup>12</sup> Ф. Грешицев<sup>13</sup>  
за Полпред Германии маркграф Ф. Степуна<sup>14</sup> М. Хрущов<sup>15</sup>  
за Полпред Бельгии кав(алер) кн. Д. Шаховского<sup>16</sup> Кирилл Скрыплицын<sup>17</sup>  
за Полпред Испании кав(алер) Юрия Цебрикова<sup>18</sup> П. Кикин<sup>19</sup>

Стрекоза обез.велволпал(а) Нина Львова<sup>20</sup>

Ос обез.велволпала С. Шаршун<sup>21</sup>

Кавал(ер) обез(ьяньего) зн(ака) С. Эфрон<sup>22</sup>

Кавал(ер) обез(ьяньего) зн(ака) кн. Андрей Оболенский<sup>23</sup>

Кавал(ер) обез(ьяньего знака) О. Е. Чернова<sup>24</sup>

Кавал(ер) обез(ьяньего знака) Бр. Сосинский<sup>25</sup>

Скрепил и деньги King's) Port oporto especial rouge бутылку получил б(ывший)  
канцелярист обезвелволпала

cansellarius Алексей Ремизов

Грамоту получил

Porto послал красного

King's Port oporto

especial rouge

Старей(ший) кав(алер) маркиз

и кладовщик обезвелволпала

Л. Шестов<sup>26</sup>

<sup>1</sup> На рисунке изображен лев, стилизованный под антропоморфное существо, с бутылкой в руках — так называемым хабаром (или хабарой) Шестова Обезьяньей Великой и Вольной Палате. В «Статуте Обезвелволпала» о принятой здесь «налоговой системе» сообщается следующее: «(...) все обложены податью особой, — хабарой. Всяк должен принести что-нибудь в дар Палате: кто бумаги чистой листов двадцать, кто пряников, кто стакан, полученный по 17 купону детской карточки, чтобы было из чего чай пить (...)» (Ремизов А. М. «Обезьянья Великая и Вольная Палата». Материалы фантастического общества. [1921—1950] // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 38). Шестов не случайно платит хабар именно вином. В Обезвелволпале он имел еще один, не указанный в настоящей грамоте, титул — «винодар» (см.: Там же. Л. 47) — в память об известной мистификации Ремизова (см. прим. 3 к п. 144). Дата и место рождения Шестова (слева), а также год юбилея и место, где застало его это событие (справа), являются частью рисунка.

<sup>2</sup> Слова «Киев» и «Париж» написаны в оригинале не кириллицей, а глаголицей. Подробнее о функции глаголического письма в Обезвелволпале см. прим. 4 к п. 98.

<sup>3</sup> В центре марки — абстрактный рисунок, окруженный с трех сторон глаголической надписью: «обз. мар I обзли» (букв.). Здесь же глаголический значок (буква «ч»), употребляемый Ремизовым в качестве подписи на рисунках (воспроизведен в наст. публикации в п. 98). Внизу под рисунком надпись кириллицей: «обезьянья марка I обез лион». О происхождении лионов, денежных знаков Обезьяньей Палаты, в «Материалах...» говорится: «По примеру того времени, когда каждый уважающий себя город РСФСР печатал и выпускал в обращение свои собственные деньги, Обезьянья Великая и Вольная Палата также выпустила свои денежные знаки „лионы“. По слухам, одно время Нью-Йоркская биржа очень интересовалась этой новой валютой, на нее был бешеный спрос, и несколько новых америк(анских) миллиардеров положили тогда основание своим состояниям, играя на повышение „лионов“. Однако, все сделки происходили чисто по-биржевому, на записях, без наличности самой

валюты. Да и трудно было сделать иначе, т(ак) к(ак) единственный „лион“, выпущенный в обращение, крепко был запрятан великой (собираательницей) коллекционершей денег, Се-рафимой Павловной» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 38). Сам лев воспроизводится на обороте л. 37. Надпись на нем гласит: «Löwen — 1 квадрил-лион». Таким образом, этимология названия обезьяньих денег восходит к французскому слову «lion», т. е. «лев», и потому упоминание леонов в грамоте Льва Шестова получает дополнительный смысл, так как подключается к прослеживаемой в этом тексте «игре» с именем юбиляра.

<sup>4</sup> Букв.: ЛЬВУ ИСААКОВИЧУ

ШЕСТОВУ  
ОБЕЗ. ВЕЛ  
ВОЛ. ПАЛ  
А. Р.

<sup>5</sup> См. прим. 22 к п. 97.

<sup>6</sup> Абстрактный рисунок с глаголическим «л» в центре. Слева подпись Ремизова — глаголическое «ч» (см. о ней в прим. 3 к наст. п.).

<sup>7</sup> «Собственнохвостной» подписью патрона Обезвелволпала является графический символ божества гностиков Абракса (подробнее о нем как источнике образа обезьяньего царя Асыки см.: Доценко С. Н. Почему обезьяна кричит пегухом (Об одном мотиве у А. Ремизова) // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постмодернизм». 22—24 марта 1991 г. Тарту, 1991. С. 76—78). Она занимает значительное пространство грамоты вниз от марки и отделяет «сакральную» часть текста (глаголические значки и надписи, абстрактный рисунок с орнаментальным основным мотивом, монограмму Ремизова) от «профанной», смысл которой доступен не только «посвященным».

<sup>8</sup> В центре печати рисунок: две змеи (о функции змеи в иконографии царя Асыки см.: Доценко С. Н. Указ. соч. С. 77), человек и читающий книгу монах; здесь же глаголическое «ч» — подпись Ремизова под рисунками. С внутренней стороны по кругу надпись глаголицей: «обезьянья печать»; а также год и месяц римскими цифрами.

<sup>9</sup> Звание «ключарь обезьяний» имел Сергей Яковлевич Осипов — сотрудник петербургского издательства «Сири», приятель Ремизова и персонаж одного из снов в книге «Взвихренная Русь». Упоминается в этом звании в грамоте В. В. Перемилковского (см.: Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемилковскому. С. 207).

<sup>10</sup> См. прим. 21 к п. 106.

<sup>11</sup> Лученин Федор Очкасов упоминается в отказных книгах XVII века. Вероятно, именно весной 1926 года Ремизов изучал грамоту царя Алексея Михайловича о даровании земель Макарию Григорьевичу Чирикову (1669) из архива Николая Сергеевича Чирикова, в которой фигурирует Очкасов. З. А. Шаховская вспоминала об этом: «Раз Ремизов попросил меня достать у капитана 2-го ранга, бывшего командира „Алмаза“ и моего свойственника, грамоту, выданную предку его царем Алексеем Михайловичем, которую Чириков смог сохранить. Я ему достала, и А. М. долго с ней возился, рассматривал не так даже содержание, как слова и выражения 17-го века и начертание букв» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. С. 130). Вскоре он опубликовал эту грамоту в журнале «Версты» (см.: Ремизов А. Россия. I. Царская жаловальная грамота. 1669 г. // Версты. 1926. № 1. С. 52—56).

<sup>12</sup> См. прим. 4 к п. 129.

<sup>13</sup> Московский подьячий Федор Грешищев упоминается в книге Ремизова «Встречи. Петербургский буерак» (С. 225). Как и фамилия Очкасов (см. прим. 11 к наст. п.), его имя используется также в книге «Учитель музыки», в сцене чествования африканского доктора, которая является пародийным переосмыслением многочисленных подобных мероприятий в жизни литературного Парижа этого периода, в том числе, возможно, и юбилейного вечера в доме Шестова. Ср.: «На чествование должны были приехать известные садоводы, а, главное, искусные тещы Псалтыря старинным московским распевом — Федор Грешищев из Риги и Алексей Очкасов из Дубровника (...)» (Ремизов А. Учитель музыки. Париж, 1983. С. 105).

<sup>14</sup> См. прим. 10 к п. 39 и прим. 10 к п. 150.

<sup>15</sup> Михайла Хрущов — справщик указа Петра I о мерах по усмирению морового поветрия в селе Б. Чамбар, дабы оно не распространилось до Москвы и Петербурга (1710). Ремизов опубликовал этот указ во втором номере «Верст» (см.: Ремизов А. Россия. I. Указ 1710 г. // Версты. 1927. № 2. С. 114—118).

<sup>16</sup> кн. Шаховской Дмитрий Алексеевич (1902—1989) — в этот период молодой поэт, автор стихотворного сборника «Песни без слов» (Брюссель, 1924), и студент Лувэнского университета. В 1926 году издавал в Брюсселе журнал «Благонамеренный» (вышло всего два номера), в котором были опубликованы произведения Ремизова «Россия в письменах. Купчая. 1742—1746» (№ 1. С. 135—139) и «Страды Богородицы. Из книги „Страды мира“» (№ 2. С. 47—57). Подробнее об их взаимоотношениях см.: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. С. 121—124. Шестов тоже получил приглашение сотрудничать в журнале, однако отказался из-за загруженности разнообразными делами (см. об этом: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 327—328). В июле 1926 года Шаховской принял

монашеский постриг (был наречен именем Иоанн) на Афоне. Впоследствии он стал епископом Сан-Францисским.

<sup>17</sup> Лучин Кирилл Скрыплицын упоминается в грамоте царя Алексея Михайловича вместе с Федором Очкасовым. Об этой грамоте см. прим. 11 к наст. п.

<sup>18</sup> Цебриков Георгий Владимирович — литератор, автор сборника рассказов «Образы царства» (Брюссель, 1928); член брюссельского клуба русских литераторов «Единорог», одним из организаторов которого был Д. А. Шаховской (см. об этом: *Шаховская З. В* поисках Набокова. Отражения. С. 117—118); публиковался в журнале Шаховского (см.: *Цебриков Г.* Три рассказа: Случай с Хухриковым. Вода. Баллада о Щетке // *Благонамеренный* (Брюссель). 1926. № 1. С. 38—61).

<sup>19</sup> Ландрихтер Петр Кикин, как и Михайла Хрущов, упоминается в указе Петра I 1710 года (см. прим. 15 к наст. п.). Именно он в письме от 8 сентября 1710 года сообщает Петру о моровом поветрии в Б. Чамбаре.

<sup>20</sup> Львова Нина Григорьевна — жена поэта и критика Лоллия Львова; как и многие другие представители бытового окружения Ремизовых этого времени, упоминается в книге «Мышкина дудочка» (Париж, 1953. С. 174—178). Позже она именовалась в Обезвельволпале «Нонн (бывшая Стрекоза обезьянья)» (см.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 100, 132). Здесь и далее кавалеры обезьяньего знака расписываются сами.

<sup>21</sup> Шаршун Сергей Иванович (1888—1975) — художник и писатель, с 1925 года жил в Париже и пользовался широкой известностью на русском Монпарнасе. Познакомился с Ремизовыми в Берлине в начале 20-х годов, в Париже был всегда гостем в их доме. Упоминается в книге «Мерлог» как участник «авангардной» ячейки при Цвофирзоне (см.: *Ремизов А. М.* Неизданный «Мерлог». С. 216).

<sup>22</sup> С. Я. Эфрон. См. прим. 10 к п. 141.

<sup>23</sup> кн. Оболенский Андрей Владимирович — входил в ближайшее окружение Ремизовых в Париже (см.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 85, 95, 101). Две следующие подписи кавалеров обезьяньего знака помещены в оригинале справа под фразой «Царь обезьяний собственностью».

<sup>24</sup> О. Е. Чернова-Колбасина. См. прим. 7 к п. 123.

<sup>25</sup> Сосинский Бронислав (Владимир) Брониславович (1903—1987) — писатель, критик, постоянный сотрудник журналов «Воля России», «Своими путями», «Благонамеренный», «Числа»; друг М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона; зять О. Е. Черновой-Колбасиной (муж ее младшей дочери Ариадны); входил в ближайшее окружение Ремизовых в Париже. Во время гражданской войны был офицером белой армии, а в годы второй мировой войны — участником французского Сопротивления, кавалер Ордена Почетного Легиона. В 1960 году вместе со своей семьей вернулся в СССР и жил в Москве.

<sup>26</sup> Расписка Шестова в получении грамоты помещается в верхней части листа слева от «обезьяньей марки».

## 153

8.4.26

Дорогой Лев Исаакович

Вернулись из Брюсселя <sup>1</sup> бодро, сел писать — «Версты» <sup>2</sup> непременно требуют, чтобы теперешнее — пишу из книги «Николай Чудотворец» <sup>3</sup>

(Все лето придется заниматься, а это из того, что успел за месяц)

А тут горе: опять невралгия. <sup>4</sup> И грелка. И от всякого шороха вздрагиваю. Сейчас переписываю. Не на той неделе, а на следующей (от 18 до 25.4)

в четверг (22-го) или в пятницу (23) —

как тебе удобно

и философам

Вышеславцеву <sup>5</sup>  
 Бердяеву <sup>6</sup>  
 Сувчинскому <sup>7</sup>

Это и будет ФИЛОСОФСКОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ. <sup>8</sup>

Кланяюсь Анне Елеазаровне

и всему d'Alboni — дому <sup>9</sup>

От Серафимы Павловны поклоны.

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> Речь идет о поездке в Брюссель для выступления на литературном вечере совместно с Тэффи, который должен был состояться 28 марта 1926 года, очевидно, в «Club de la Fondation Universitaire», о чем свидетельствуют фирменные бланки, на которых написаны это и следующее письмо. Ранее Ремизов намеревался покинуть Париж 27 марта и вернуться 29 марта. См. об этом п. 145, 147, 149 и 151.

<sup>2</sup> Название журнала (см. прим. 5 к п. 141) вставлено сверху.

<sup>3</sup> См. прим. 5 и 6 к п. 147.

<sup>4</sup> У Ремизова: «невральгия».

<sup>5</sup> Б. П. Вышеславцев. См. прим. 5 к п. 147.

<sup>6</sup> Н. А. Бердяев. См. прим. 7 к п. 1, прим. 21 к п. 97 и прим. 9 к п. 136.

<sup>7</sup> П. П. Сувчинский. См. прим. 21 к п. 106.

<sup>8</sup> См. прим. 1 и 4 к п. 148.

<sup>9</sup> См. прим. 17 к п. 141.

## 154

17.4.26

Дорогой Лев Исаакович

Был у нас Ефрон:<sup>1</sup> говорит, хорошо бы  
Федотову<sup>2</sup> послушать Аввакума<sup>3</sup>  
и как это сделать.

Если ты ничего не имеешь против, напиши Ефрону,  
пусть приведет к тебе в четверг<sup>4</sup>

(Я Федотова не знаю, только хорошее слышал о нем  
и от Ефрона и от Петруши<sup>5</sup>)

Мне хочется этот Четверг сделать  
философским Чествованием  
твоего юбилея

Федотов занимается Розановым<sup>6</sup>

Кланяюсь Анне Елеазаровне  
и всему дому de l'Alboni № 1.<sup>7</sup>

Алексей Ремизов

Ты хотел Зайцева<sup>8</sup>—  
м(ожет) б(ыть) это было бы полезно:  
показать что есть русское  
в *складе речи*<sup>9</sup>

Серафима Павловна кланяется } Это на твою волю!

Письмо на бланке «Club de la Fondation Universitaire» (см. прим. 1 к п. 153).

<sup>1</sup> С. Я. Эфрон. См. прим. 10 к п. 141.

<sup>2</sup> Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — историк, культуролог, философ. Изучал историю в Йене, а затем на историко-филологическом факультете в Петербургском университете под руководством И. М. Гревса. С осени 1917 года был членом религиозно-философского кружка А. А. Мейера. В 20-х годах преподавал историю в Саратове, сотрудничал в частных издательствах Петербурга. В 1925 году эмигрировал из России и поселился в Париже. Преподавал здесь в Богословском институте, участвовал в Русском студенческом христианском движении, основал и редактировал журнал «Новый град» (1931—1940). Во время второй мировой войны переехал в Америку. Появление Федотова в поле зрения Ремизова не случайно. Оказавшись в эмиграции, он сблизился с будущими участниками «Верст» и вскоре дебютировал в этом журнале двумя статьями, подписанными псевдонимом Е. Богданов, «Три столицы» (№ 1. С. 147—163) и «Трагедия интеллигенции» (№ 2. С. 145—184), которые, по словам Г. П. Струве, «немедленно привлекли к себе внимание как своим содержанием, так и блестящим публицистическим стилем» (Струве Г. П. Русская литература в изгнании. С. 74—75). Личное знакомство с Шестовым усилило интерес

Федотова к его творчеству. В 1930 году он опубликовал рецензию на книгу «На весах Иова» в журнале «Числа» (№ 2/3. С. 259—263).

<sup>3</sup> Имеется в виду чтение Ремизовым «Жития протопопы Аввакума» на юбилейном вечере в доме Шестова 22 апреля 1926 года (см. прим. 4 к п. 148, а также прим. 1 к п. 147). Для Федотова тема была особенно близкой и важной, так как в этот период он серьезно изучал памятники древнерусской духовной литературы. Результатом его исследований стали книги «Святой Филипп Митрополит Московский» (Париж, 1928), «Святые Древней Руси» (Париж, 1931), «Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам)» (Париж, 1935). Подробнее об этих и других работах Федотова см. библиографию в кн.: *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 338—348.

<sup>4</sup> По свидетельству Ремизова, Федотов присутствовал на «философском чествовании» Шестова (см. прим. 4 к п. 148).

<sup>5</sup> П. П. Сувчинский. См. прим. 21 к п. 106.

<sup>6</sup> Ср.: «Сидит тут, в Париже, Федотов, ученый человек, Вашими книгами занимается, опять же Сувчинский, глава евразийцев, Петр Петрович, а в этой самой Англии кн. Д. Святополк-Мирский (...) А книг Ваших, Василий Васильевич, не видно (...)» (*Ремизов А.* «Воистину». Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения // Версты. 1926. № 1. С. 84). Интерес к творческому наследию В. В. Розанова характерен для круга сотрудников и ближайших участников «Верст». Недаром во втором номере журнала в разделе «Материалы» был опубликован его «Апокалипсис нашего времени» (С. 294—351) с предисловием П. П. Сувчинского «По поводу Апокалипсиса нашего времени» (С. 145—184). Г. П. Федотову принадлежит рецензия на берлинское переиздание книги Розанова «Опавшие листья» (см.: *Федотов Г. В.* Розанов. Опавшие листья // Числа (Париж). 1930. № 1. С. 222—225).

<sup>7</sup> См. прим. 17 к п. 141.

<sup>8</sup> Б. К. Зайцев (см. прим. 2 к п. 97). К этому времени Зайцев уже переселился из Берлина в Париж.

<sup>9</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

## 155

Дорогой Лев Исаакович

13.5.26  
Paris

получил от Познера:<sup>1</sup> вечер «для богатых» *не может состояться*,<sup>2</sup>

п(отому) ч(то) нет «музыкальных» сил, к(отор)ыми привлечь можно публику. И много будет всяких вечеров эти недели.

Предлагает устроить — по 5 frs. — 3 frs. для публики.

(А наверно, ничего не выйдет).<sup>3</sup> Серафиме Павловне легче. Потихоньку встает.

А я совсем как-то вдруг упал

Кланяюсь Анне Елеазаровне и всем

A. Remizof

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>.

<sup>1</sup> С. В. Познер. См. прим. 6 к п. 102.

<sup>2</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>3</sup> Вечер не состоялся (см. п. 158).



## 156

Дорогой Лев Исаакович

14.5.26  
Paris  
ночь

Сегодня были все Mann'ы<sup>1</sup> — die neue Generation<sup>2</sup> — Klaus<sup>3</sup> мне сказал, что в die neue Rundschau<sup>4</sup> der Vater<sup>5</sup> написал о тебе статью.<sup>6</sup> Читал ли? Я прошу, когда он вернется, прислать мне оттиск. Сказал, чтобы, не боясь, все пошли к тебе, что ты гораздо лучше меня владеешь Muttersprache<sup>7</sup> и им нечего stögen.<sup>8</sup> Кланяюсь Анне Елеазаровне и всему дому

A. Remisov

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>.

<sup>1</sup> Имеются в виду дети Томаса Манна: Клаус (см. прим. 3 к наст. п.), а также, возможно, Эрика (1905—1969; актриса, журналистка, детская писательница и издательница, много путешествовавшая вместе со своим братом Клаусом и в 20—30-х годах часто выступавшая совместно с ним в печати) и Моника (1910—1940; писательница и журналистка, жила и училась в Париже). Не исключено, что к их числу Ремизов относит и племянницу Томаса Манна Кэте Розенберг (см. прим. 3 к п. 115).

<sup>2</sup> новое поколение! (нем.).

<sup>3</sup> Манн Клаус (1906—1949) — писатель и журналист; в 1929 году вместе со старшей сестрой Эрикой совершил кругосветное путешествие; в 1933 году эмигрировал в Амстердам, а в 1936 — в США; в 1938 году был в качестве корреспондента в Испании; во время войны работал в одной из газет американской армии; писал новеллы, романы, путевые очерки, военные репортажи; покончил жизнь самоубийством.

<sup>4</sup> См. прим. 12 к п. 106.

<sup>5</sup> отец (нем.). Т. е. Томас Манн (см. прим. 4 к п. 115).

<sup>6</sup> Подразумеваются заметки Томаса Манна о пребывании в Париже в январе 1926 года по приглашению французской секции Фонда Карнеги. 20 января он прочел в Институте Карнеги доклад о сближении народов, а в последующие дни встречался с деятелями культуры, в том числе и с русскими писателями-эмигрантами, живущими в Париже. Тогда же Шестов устроил в честь Манна прием у себя дома (подробнее об этом см.: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 330). В майской и июньской книжках «Die neue Rundschau» были опубликованы отрывки из подробного отчета Манна об этой поездке (см.: Mann T. Pariser Rechenschaft // Die neue Rundschau. 1926. № 5. S. 449—463; № 6. S. 66—79). Во второй из публикаций фигурировали Шмелев и Мережковский. Имя Шестова здесь не упоминалось. Однако вскоре вышел в свет полный вариант «Pariser Rechenschaft», в котором подробно описывалась парижская встреча с философом (см.: Mann T. Pariser Rechenschaft. Berlin, 1926. S. 73—76, 95).

<sup>7</sup> Букв.: родным языком (нем.), т. е. немецким языком.

<sup>8</sup> беспокоиться (нем.).

## 157

Дорогой Лев Исаакович

20.5.26  
Paris

К тебе придет Efraim Frisch,<sup>1</sup> редактор «Der Neue Merkur»<sup>2</sup> Он говорит только по-немецки. Прими его.

Кланяюсь Анне Елеазаровне  
и всему дому<sup>3</sup>

Алексей Ремизов

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>. В правом верхнем углу помета рукой неустановленного лица: «25.6.26». Дата на штампе нечетливая.



Кланяюсь Анне Елеазаровне  
и всему дому<sup>5</sup>

Мне стало полегче  
думаю выйти на прогулку  
а то иззяб, сидя  
А. Ремизов.

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Leon Chéstov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>. Дата на штемпеле: 5.6.26.

<sup>1</sup> Речь идет об оплате лекционного курса С. П. Ремизовой-Довгелло «Русская палеография» в Школе восточных языков (см. прим. 3 к п. 150).

<sup>2</sup> Еще в феврале газета «Дни» предупреждала своих читателей о том, что необходимо уплатить налоги до 1 марта, иначе впоследствии могут возникнуть затруднения с продлением вида на жительство (см.: Дни (Париж). 1926. 11 февр. № 927. С. 3). В 1920—1930-е годы Ремизов создает ряд эпических произведений, сюжетную основу которых составляют мелкие бытовые происшествия. Проблему уплаты налогов он тоже вводит как тему в свои произведения. См., например: *Ремизов А. По карнизам*. Белград, 1929. С. 101—102 (глава «Финотдел»).

<sup>3</sup> Кого подразумевает здесь Ремизов, установить не удалось.

<sup>4</sup> Имеется в виду Союз русских писателей и журналистов в Париже. В функции этой организации входило, среди прочего, устройство благотворительных мероприятий для сбора средств, которые затем распределялись между нуждающимися писателями.

<sup>5</sup> См. прим. 17 к п. 141.

## 160

Дорогой Лев Исаакович

12.6.26

Сегодня первый день чувствую себя лучше. Пошел утром к подат(ному) инспект(ору).<sup>1</sup> Нет, «вспомоществование» не<sup>2</sup> не считается, а рассматривается как доход. Мои заработк(ые) получения — 5 679 и 500 frs, получен(ные) в 1925 г(оду) Серафимой Павловной не вызывают сомнения, но раз мы достаем денег «существовать», стало быть должны найти денег и платить налог. Он высчитывает за 1925 г(од) — 16.000 frs. (дохода). И, боюсь,<sup>3</sup> за 1924 г(од) тоже. Об этом я не спрашивал.<sup>4</sup> Извещение мне пришлют.

Сначала мне очень трудно было объясняться:<sup>5</sup> у меня по-франц(узски) нет книг.<sup>6</sup> Выручила статья Шлезера<sup>7</sup> в «L(es) N(ouvelles) L(ittéraires)».<sup>8</sup>

Собираемся к тебе завтра с Сувчинскими.<sup>9</sup>

По-моему, «Версты» сейчас не следует выпускать, а отложить до осени.<sup>10</sup>

Кланяюсь Анне Елеазаровне  
и всему дому<sup>11</sup>

Алексей Ремизов.

От Серафимы Павловны поклоны.

<sup>1</sup> См. п. 159.

<sup>2</sup> Слово, выделенное нами курсивом, подчеркнуто Ремизовым.

<sup>3</sup> Слово вставлено сверху.

<sup>4</sup> Предложение приписано под предыдущим и вместе с ним обведено в оригинале.

<sup>5</sup> Н. В. Резникова вспоминала о подобных ситуациях: «А. М. (Ремизов) боялся всего и его надо было сопровождать, когда ему предстояло куда-нибудь идти и объясняться, например в префектуру полиции для возобновления бумаг — вида на жительство для иностранцев. (...) Он говорил по-французски, но при разговоре в каком-нибудь учреждении терялся, искал слова и говорил не то, что хотел сказать» (*Резникова Н. В. Огненная память*. С. 76—77). Она же свидетельствовала о том, что «литературные гонорары были очень низки и никак не могли обеспечить Ремизовых материально» (Там же. С. 82).

<sup>6</sup> Первая книга Ремизова на французском языке — перевод его книги «В поле блакитном», выполненный Jean Fontenoy, — вышла в свет в 1927 году в парижском издательстве «Plon». См.: *Remizov A. Sur Champ d'Azur*. Paris: Librairie Plon-Nourit, 1927 (Collection «Feux croisés»).

<sup>7</sup> Б. Ф. Шлёцер (см. прим. 7 к п. 114). О какой статье идет речь, установить не удалось.

<sup>8</sup> См. прим. 10 к п. 135.

<sup>9</sup> Имеются в виду П. П. Сувчинский (см. прим. 21 к п. 106) и его первая жена Вера Александровна Гучкова (впоследствии: Трайл; ок. 1905—1986), дочь лидера «Союза 17 октября», председателя III Государственной думы, а затем видной политической фигуры в эмиграции Александра Ивановича Гучкова (1862—1936). В 1930-е годы она примкнула к «левому» крылу евразийского движения (см. прим. 20 к п. 106) и исповедовала «просоветские» взгляды. Как и С. Я. Эфрон (см. прим. 10 к п. 141), была причастна к убийству Игнатия Рейсса. Позже отказалась от своих коммунистических убеждений. Умерла в Кембридже. Подробнее об этом см.: Бросса А. Групповой портрет с дамой: Глава из книги «Агенты Москвы» // Иностранная литература. 1989. № 12. С. 242—247.

<sup>10</sup> Первый номер журнала «Версты» вышел из печати в начале июля 1926 года (см. п. 164).

<sup>11</sup> См. прим. 17 к п. 141.

## 161

Дорогой Лев Исаакович

Посылаю рпеч,<sup>1</sup> боюсь, не дойдет еще. ( У меня опять пропало письмо  
а другое через 2 недели подали )

Адрес Серафимы Павловны:

M-me Remisoff  
Hôtel de Lisbonne  
7 Bd. de Russie  
Vichy (Allier)

( так в récépissé<sup>2</sup>  
Remisoff )

\* это я потому, что тут  
и с Z и с V деньги выдадут,  
а там нужна точность

Сейчас пишу для благонамерен(ного) (если он будет № 3)<sup>3</sup>  
некролог Добронравову.<sup>4</sup>

Там употребляю философскую  
терминологию Льва Шестова

«Дурак перв(ого) сорта и Д(урак) второго».<sup>5</sup>

Это не некролог, а итог с 1905—1914<sup>6</sup> о русской прозе.

Алексей Ремизов

Поклоны

По содержанию письмо может быть датировано концом июня 1926 года.

<sup>1</sup> Т. е. по внутригородской пневматической почте в Париже.

<sup>2</sup> квитанция, расписка (фр.).

<sup>3</sup> Вышло только два номера журнала «Благонамеренный». Подробнее об этом издании см. прим. 16 к п. 152.

<sup>4</sup> Добронравов Леонид Михайлович (псевд. Л. Фониц; 1887—1926) — прозаик, драматург, публицист (см. о нем статью К. М. Поливанова и А. В. Чанцева в биографическом словаре «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1992. Т. 2. С. 142—143)). Познакомился с Ремизовым в 1914 году в редакции петербургского журнала «Заветы», считал себя его учеником в литературе. В 1920 году эмигрировал в Бессарабию, жил в Кишиневе. В 1924 году поселился в Париже и был частым гостем в доме Ремизовых (см. об этом: Резникова Н. В. Огненная память. С. 87). Умер 25 мая 1926 года от туберкулеза в глубокой нищете, был похоронен на деньги румынского правительства. Часто упоминается в опубликованной вскоре книге Ремизова «Взвихренная Русь» (1927). Ремизовский «некролог» появился в журнале «Версты» (см.: Ремизов А. «Заветы». Памяти Леонида Михайловича Добронравова // Версты. 1927. № 2. С. 122—128; впоследствии под тем же названием включен в кн.: Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С. 256—264). В этой публикации под текстом стоит дата «7. 6. 26», противоречащая содержанию настоящего письма. Для истории личных контактов двух писателей в Париже представляет интерес и следующее воспоминание З. А. Шаховской, в целом скептически настроенной в отношении Ремизова: «Встречала я

у Ремизова (...) иногда и несчастного, задыхающегося от туберкулеза Леонида Добронравова. Добронравов наконец попал в больницу, и сразу же Алексей Михайлович, скорбно сообщив мне об этом, послал меня навесить человека, которого я совсем не знала и которого как будто он сам не так уж ценил, так как всегда над ним подтрунивал. Добронравов умирал в общей палате. Он не узнал меня, конечно, мои тощие цветы выскользнули из его рук. Он так и не понял, кто я такая, а до приветов Ремизова ему уже не было дела» (*Шаховская* 3. В поисках Набокова. Отражения. С. 123).

<sup>5</sup> Ср.: «Один „дурак второго сорта“ — (употребляю и совсем не в обиду философскую терминологию Льва Шестова, по-шестовски: дураки бывают двух сортов, первого сорта — это «Дурак», а второго сорта — это «дурак под Дурака!») — так вот этот „дурак под Дурака“ потом уже в самый разгар революции, (урвать поесть), признался мне, что уважать (признавать) начал Замятина, когда в войну, живя в Англии, Замятин написал повесть из английской жизни „Островитяне“, а что до тех пор, состоя редактором „передового“ (левого) журнала, он, „дурак второго сорта“, в течение нескольких лет, все, что было близко к „Уездному“ или другим подобным образцам, безжалостно „бросал в корзинку“, а присылался такой материал из самых отдаленных медвежих (неожиданных!) углов России и, к великому огорчению, „по многу“. „Второго сорта!“ не понял (да так по-шестовски ему и полагается, а то как же?), не почуял («редактор!») — в самом деле, не из ж... же вышла вся современная русская (глубоко национальная) проза (...)» (*Ремизов А. «Заветы». Памяти Леонида Михайловича Добронравова // Версты. 1927. № 2. С. 123—124; вероятно, в этом пассаже речь идет о друге и помощнике М. Горького Александре Николаевиче Тихонове (Сереброве, 1880—1956)*).

<sup>6</sup> Годы подчеркнуты Ремизовым два раза.

## 162

Дорогой Лев Исаакович

2.7.26

Paris

1 июля <sup>1</sup> С(ерафима) П(авловна) получила 500 frs. Посланы 29. 6. Отправитель С: Dobrynine <sup>2</sup> D. té A<sup>me</sup> Galatée 7 Rue du Parc Boul(ogne) s(ur)/Seine Он пишет «по поручению Мирры Яковлевны» <sup>3</sup> «Вторую посылку в разм(ере) 500 f(rs) вышлю между 10—15 июля». <sup>4</sup>

Лев Исаакович, у нее кончается  
лечение — 13.—14.!

Надо расплатиться (зная, что есть чем)

надо, ч(то)б(ы) выслали 10-го. Тогда придут 12.

Прости, что тебя торможу. Я очень беспокоюсь. И еще скажу тебе (об этом *не пишу С(ерафиме) П(авловне)*). Сегодня иду к Алексинскому <sup>5</sup> (доктору): вчера я попал под автомобиль и очень крепко ударился: весь в ссадинах и в кресце больно (не в хвосте, выше <sup>6</sup>). Надо меня освидетельствовать. Ударился правой стороной. И правая рука. Но это пустяки. С рукой. После я для испытания ходил 3 часа по улицам.

AP.

Алексей Ремизов

если могу  
подписывать, <sup>7</sup> значит,  
рука ничего.

<sup>1</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>2</sup> О ком идет речь, установить не удалось.

<sup>3</sup> М. Я. Эйтингон. См. прим. 13 к п. 120.

<sup>4</sup> Следующий абзац отчеркнут в оригинале слева двумя вертикальными чертами.

<sup>5</sup> Алексинский Иван Павлович (? — 1955) — выдающийся русский хирург. Вместе с гр. Е. В. Шуваловой и доктором Ф. Крессоном основал франко-русский хирургический

госпиталь на 30 мест в юго-восточном предместье Парижа Вильжюиф (Villejuif). Умер в Марокко.

<sup>6</sup> Слово приписано снизу.

<sup>7</sup> Имеется в виду подпись Ремизова с особым графическим росчерком, воспроизведенная им и в этом письме.

## 163

4.7.26

Paris

Дорогой Лев Исаакович

№ 12—13 «Своими Путиями» <sup>1</sup> давно вышел. <sup>2</sup> Ефрон <sup>3</sup> обещал мне 10 эк(земпляров). И я хотел тебе послать: там, как я говорил тебе, есть к 60<sup>и</sup>летию то мое «об апофеозе». <sup>4</sup> Хотел этот № послать Руoff'у, <sup>5</sup> чтобы его еще подтолкнуть. И до сих пор я не получил. (Это вроде «Верст»). <sup>6</sup> Как получу, сейчас же пошлю.

А насчет денег для С(ерафимы) П(авловны), <sup>7</sup> как же мне не беспокоиться. Сам посуди, Леон(ид) Ник(олаевич) (?) <sup>8</sup> пишет мне, что *деньги он послал 26-го*, <sup>9</sup> а в действительности (что имеется на отрезном купоне) деньги посланы 29-го, да С. Добрынин <sup>10</sup> и сам ставит это число. И если Л. Н. говорит, что пошлет 9-го, то это еще ничего не значит, п(отому) ч(то) Добрынин может послать, когда *ему* вздумается. И выйдет так, что С(ерафиме) П(авловне) уезжать — а платить нечем.

Господи! Даже таких пустяков —  
действительно помочь человеку,  
к(отор)ый лечится, и, стало быть,  
волноваться не должен...

Ну, что говорить. Только бы все окончилось благополучно.

Со мной — я по крайней мере на месяц выбит (или прибит). <sup>11</sup> Только вчера пошел к Маршаку. <sup>12</sup> (Этот дурак Лоллий Львов <sup>13</sup> хотел меня провести к Алексинскому <sup>14</sup> и забыл). Маршак очень был удивлен, что третий день хожу «без помощи». Я ему говорю: что же поделать, когда дурак на дураке.

Все у меня отбито и контужена правая <sup>15</sup> нога и пишу я не бойко (правая рука не твердая). Но это пустяки, очень отбит крестец. Я выхожу, но мне трудно подниматься. А еще труднее сидеть: или уж <sup>16</sup> лежать или бродить.

К возвращению С(ерафимы) П(авловны) я оправлюсь  
и нервно и ПОСАДКОЙ  
и ей ничего *не пишу*, чтобы  
не взволновать (издали все  
страшнее).

Только это все совершилось без моей вины, я очень осторожен, автомобиль шел (без гудка) по неуказанному направлению: ведь это днем в 3 ч(аса).

[Рисунок] <sup>17</sup> трамвай № 25  
на остановке у нас.

Ну, вот  
А. Рем(изов)

остановились  
автомобил(и)  
когда я подходил  
на меня налетел  
справа (автомобиль)  
и я очутился под автомобилем  
только голова на воле

[Рисунок] <sup>18</sup>

<sup>1</sup> «Своими путями» — литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал, выходил в 1924—1926-м годах (№ 1—12/13) в Праге под эгидой Демократического Студенческого Союза в Чехословацкой республике. Редакторы — Н. Антипов, А. Воеводин, С. Я. Эфрон. Подробнее об этом журнале см.: *Кудрова И. Версты*, дали... С. 142—143.

<sup>2</sup> О выходе № 12—13 журнала «Своими путями» газета «Дни» сообщила 9 июня (см.: Дни (Париж). 1926. 9 июня. № 1023. С. 4).

<sup>3</sup> С. Я. Эфрон. См. прим. 10 к п. 141.

<sup>4</sup> Имеется в виду юбилейная заметка Ремизова «Лев Шестов» (см. прим. 4 к п. 145), которая, по существу, была републикацией его давней рецензии на книгу Шестова «Алофеоз беспочвенности» (см. прим. 5 к п. 2). Ремизов неоднократно воспроизводил ее под разными названиями как отдельно, так и в составе своих книг.

<sup>5</sup> См. прим. 2 к п. 140.

<sup>6</sup> См. прим. 5 к п. 141.

<sup>7</sup> Речь идет о деньгах, отправляемых по поручению М. Я. Эйтингон в Виши — французский курорт, где отдыхала и лечилась в это время С. П. Ремизова-Довгелло (см. п. 161 и 162).

<sup>8</sup> Кого подразумевает здесь Ремизов, установить не удалось.

<sup>9</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>10</sup> Неустановленное лицо. Упоминается в п. 162.

<sup>11</sup> 1 июля 1926 года Ремизов попал под автомобиль (см. об этом п. 162).

<sup>12</sup> Маршак Аким Осипович (1895—1938) — врач. Родился в Киеве. Окончив медицинский факультет Парижского университета еще до революции, остался работать во Франции. Был одним из руководителей франко-русского госпиталя в Вильжюиф (см. прим. 5 к п. 162). Пользовался большой популярностью в эмигрантской среде как первоклассный специалист.

<sup>13</sup> Львов Лоллий Иванович (1888—1968) — поэт, журналист, критик. Сотрудник парижской газеты «Возрождение» (см. прим. 5 к п. 139). Автор статьи о творчестве Ремизова (см.: *Львов Л. Das Russenthum // Руль* (Берлин). 1923. 1 июля. № 785) и рецензии на его книгу «Die goldene Kette» (см.: *Львов Л. Страды мира // Руль* (Берлин). 1923. 9 сент. № 845). Упоминается Ремизовым в ироническом контексте в книгах «Взвихренная Русь» (С. 28) и «Мышкина дудочка» (С. 74).

<sup>14</sup> И. П. Алексинский. См. прим. 5 к п. 162.

<sup>15</sup> Слово вписано сверху.

<sup>16</sup> Слово вставлено сверху.

<sup>17</sup> На рисунке изображен трамвай (от него стрелки к соответствующей надписи), идущий к нему Ремизов, остановившиеся автомобили слева (две стрелки от них указывают на подпись «остановились автомобили») и едущий на Ремизова автомобиль справа (к нему ведет стрелка от слов «когда я подходил»).

<sup>18</sup> На рисунке изображен Ремизов, лежащий под автомобилем.

## 164

Дорогой Лев Исаакович

В пятницу у меня сделался сердечный припадок: прямо говорю, дополз до Вишняков <sup>2</sup> (Rue Rabet), а они шли из лавочки.

Дора Лазаревна <sup>3</sup> позвонила к Маршаку. <sup>4</sup> (Это в 10 ч(асов) вечера). Лежал у них.

И за лекарством бегали. А потом проводили домой. Вчера весь день ходил (в первый раз *один без провожатых* <sup>5</sup> — все разъезжают).

Надо исследование. И с сердцем. И с переломленным (?) хвостом.

Завтра жду результат(аты) исслед(ования).

В понед(ельник) — к Аитову. <sup>6</sup>

Но больше всего меня удручает мое сердце, к(отор)ое ЧУВСТВУЮ.

10.7.26

Paris

Alexei Remisof

120 bis Av. Mozart

5 Villa Flore

Paris XVI<sup>e</sup> <sup>1</sup>

С(ерафима) П(авловна) пишет, что 15-го она к доктору пойдет. (Я уж писал, кажется, с ней там беда случилась: заставили сидеть 30' в ванне). Какой-то счет даст? Когда вернется, потихонечку ей расскажу. А так ничего не пишу. Боюсь, напугать.

В среду назначено к подат(ному) инспект(ору)

за 1924 — с 20.000  
за 1925 — с 17.000.

и дали листок за 1926.

выписать.

Получил Версты.<sup>7</sup> Очень у меня ошибок много, откуда — не поним(аю).

На 1 стр(анице) (37 стр(аница))

V

«рядовой жизни — сколько на земле народа! сколько живет жизни! и у всякого свое! и разве можно все заметить?»

— но такой так не пройдет — —<sup>8</sup>

Линоклес=Никоклес<sup>9</sup>

и т(ак) д(алее) и т(ому) п(одобное).

Но что мне понравилось: это Степун<sup>10</sup> —

Знаешь, это следует закрепить

Степуна о двух «п» писать!<sup>11</sup>

Что-то в этом есть величественное

Кланяюсь Анне Елеазаровне.

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> См. прим. 1 к п. 116.

<sup>2</sup> Имеется в виду семейство М. В. Вишняка (см. прим. 9 к п. 97).

<sup>3</sup> Жена М. В. Вишняка.

<sup>4</sup> А. О. Маршак. См. прим. 12 к п. 163.

<sup>5</sup> Здесь и далее слова и отдельные буквы, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>6</sup> Аитов Владимир Давидович — врач; член «Объединения русских врачей за границей»; один из организаторов «Русского госпиталя», в котором работали выдающиеся медики во главе с профессором В. Н. Сиротининым. Сын русского царского консула в Париже, председателя выборного правления Тургеневской библиотеки Д. А. Аитова. В годы войны находился в немецком лагере. Приятель Ремизова. Часто посещал его в послевоенное время (подробнее об этом см.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 100).

<sup>7</sup> См. прим. 10 к п. 160 и прим. 5 к п. 141.

<sup>8</sup> Ремизов дает здесь правильный вариант этого места в тексте первой легенды о Николе «Bankers Trust Company», воспроизведенного в «Верстах» с пропуском и грубым браком набора (см.: *Ремизов А.* Из книги «Николай-чудотворец» // Версты. 1926. № 1. С. 37).

<sup>9</sup> В журнальной публикации второй легенды цикла «Из книги „Николай-чудотворец“» «К стенке» — «Ликоклес» (Так!) вместо «Никоклес» (см.: Версты. 1926. № 1. С. 42).

<sup>10</sup> Ф. А. Степун. См. прим. 10 к п. 39 и прим. 10 к п. 150. Подразумеваются упоминания его имени в «Верстах».

<sup>11</sup> Фамилия «Степун» и раньше писалась двояко: как с одним, так и с двумя «п». Вероятно, Ремизов просто не обращал на это внимания.



29.7.26  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Сегодня был Семен Владимирович<sup>1</sup> и Познеры<sup>2</sup> — уезжают. Все они тебе кланяются. Я сказал, что после них буду писать.

Сегодня был у Аитова<sup>3</sup>  $\left( \begin{array}{l} \text{к Маршаку}^4 \text{ — по хирургии} \\ \text{к Аитову — по сердцу} \end{array} \right)$

Да, и Аитов говорит, что надо куда-то проехать. Я пичкаюсь всякими лекарствами, но самые пустяшные волнения

Ну, вот сейчас читал вслух Стихи из Верст<sup>5</sup>  
особым распевом (я тебе когда-нибудь прочитаю)

и пришлось лекарство пить: упало сердце.

А сию я с грелкой: нервные<sup>6</sup> боли — весь живот.

Я Сувчинскому<sup>7</sup> объяснял мою болезнь

### ИЗУМЛЕНИЕ УМА<sup>8</sup>

Живу в окончательном затворе, т(о) е(сть) САМОСТОЯТЕЛЬНО выхожу  
только за pin fendu,<sup>9</sup> да папирос(ами)

и никуда

(мне все кажется, что вот что-то произойдет)

Написал третью главу и, таким образом,<sup>10</sup> закончил всю повесть.<sup>11</sup>

La	$\left\{ \begin{array}{l} 1) \text{ Esprit} \\ 2) \text{ La mati\`ere} \\ 3) \text{ L'ame (Лам)} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Появится она в Revue belge}^{12} \\ \text{переводит Robert Vivier.}^{13} \end{array} \right\}$
Vie		
(Лави)		

Теперь надо отделать «Северные Афины»<sup>14</sup> (Вологда 1901—1903)

Получил 2 м(есяца) назад 800 frs. от Вишняка<sup>15</sup> и дан срок 1 мес(яц)

И сесть продолжать Николая Чудотворца,<sup>16</sup> ч(то)б(ы) заниматься Татарскими легендами<sup>17</sup> (1.500 получил год назад от Сувчинск(ого))

### Надо СОВЛАДАТЬ

И без отдыха д(олжно) б(ыть) невозможно.

Мои рассказы о моих приключениях  
очень взволновали С(ерафиму) П(авловну).<sup>18</sup>

Но надо было все сказать, п(отому) ч(то)  
спрашивают ее и лучше я это сделаю, чем  
другие.<sup>19</sup>

Меня точно колотили, били, трясли,  
царапали, ну что хочешь,  
что бывает в драке.

Осоргин<sup>20</sup> спрашивает: «цел ли автомобиль?»

На «версты» нападают.<sup>21</sup> «Дни» взъерошились.<sup>22</sup>

Но «Воля России» за.<sup>23</sup> (В(оля) Р(оссии) печатается  
теперь в Париже)<sup>24</sup>

Дал Семену Владимировичу.

Серафима Павловна тебе кланяется  
от обоих нас Anne Eleazarovne  
[Монограмма-рисунок]<sup>25</sup>

<sup>1</sup> С. В. Лурье. См. прим. 1 к п. 28 и прим. 9 к п. 96.

<sup>2</sup> Имеются в виду С. В. Познер (см. прим. 6 к п. 102) и, вероятно, его жена.

<sup>3</sup> В. Д. Аитов. См. прим. 6 к п. 164.

<sup>4</sup> А. О. Маршак. См. прим. 12 к п. 163.

<sup>5</sup> В первом номере журнала «Версты» были опубликованы четыре стихотворения С. Есенина — «Какая ночь! Я не могу...», «Не гляди на меня с упреком...», «Ты меня не любишь, не жалешь...», «Может поздно, может слишком рано...» (С. 7—11); «Поэма горы» М. Цветаевой (С. 12—19); «„Потемкин“». Из книги „1905 год“» Б. Пастернака (С. 20—22); стихотворения И. Сельвинского «Казнь Стецюры», «Казачья походная», «Цыганская», «Цыганский вальс на гитаре», а также его записки частушек, сделанные в Рязанской губернии в 1923 году (С. 23—36). Какое из этих произведений подразумевает здесь Ремизов, нам не известно. С меньшей долей уверенности можно предположить, что речь идет о стихах из сборника М. Цветаевой «Версты» (М., 1921).

<sup>6</sup> Слово подчеркнуто Ремизовым три раза.

<sup>7</sup> П. П. Сувчинский. См. прим. 21 к п. 106.

<sup>8</sup> В оригинале от этого «самоопределения» вниз, к поясняющей его фразе («мне все кажется, что вот что-то произойдет»), направлены две стрелки.

<sup>9</sup> за дровами (фр.). Здесь, по-видимому, в переносном смысле.

<sup>10</sup> Оборот вставлен сверху.

<sup>11</sup> Впоследствии эта повесть была значительно расширена и вышла отдельной книгой под новым названием «По карнизам» в белградском издательстве «Русская библиотека» в 1929 году. Первые две главы были ранее опубликованы в журнале «Современные записки». См.: Ремизов А. *Esprit. Histoire-salade. Сказ-вяканье // Современные записки (Париж). 1925. № 23. С. 87—112; Ремизов А. La Matière // Современные записки (Париж). 1926. № 27. С. 101—157.* В начале второй публикации помещено следующее подстрочное примечание: «„La Matière“ — вторая часть повести „La Vie“ (Лави), первая часть которой — „Esprit“ была напечатана в 23 кн. „Современных Записок“» (С. 101). Очевидно, под третьей главой («L'ame» в наст. п.) Ремизов подразумевает один из двух будущих разделов книги «По карнизам» — «С дыркой» или «Алжирские шипки», так как прочие были либо уже завершены и опубликованы, либо еще не написаны. Этому предположению отчасти противоречит утверждение Хорста Лампла о том, что Роберт Вивье перевел под названием «La Vie» другую главу — «Щипцы» (см.: *Lampl H. Bemerkungen und Ergänzungen zur Bibliographie A. M. Remizovs // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 2. S. 324.*) Однако эта глава была опубликована как самостоятельный текст еще в январе 1926 года (см.: *Ремизов А. Щипцы // Дни (Париж). 1926. 1 янв. № 893. С. 3.*) и Ремизов вряд ли мог «написать» ее шесть месяцев спустя. Между тем, ввиду недоступности издания, в котором помещен перевод Р. Вивье, проверить правильность этой информации не представляется возможным.

<sup>12</sup> Перевод повести, выполненный Робертом Вивье (см. прим. 13 к наст. п.), был опубликован в другом издании. См.: *Remizov A. La vie. Histoire-salade // Europe. 1928. № 70. S. 217—224 (Lampl H. Op. cit.).*

<sup>13</sup> Вивье Роберт — поэт и переводчик. Был женат на русской татарке Зените Вивье (в первом браке — Тазиевой). Находился в приятельских отношениях с Ремизовыми. По свидетельству З. А. Шаховской, в 1931 году они гостили у Вивье в Бельгии (см.: *Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. С. 132.*) В 1929-м и 1946 году в парижских издательствах были опубликованы два перевода «Крестовых сестер» Ремизова на французский язык, выполненных Р. Вивье (второй совместно с Зенитой Вивье); тексту были предпосланы его предисловия (см.: *Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 93, 94.*)

<sup>14</sup> Мемуарный очерк «Северные Афины. История с географией. (Предбанная память)» был вскоре опубликован в журнале «Современные записки» (1927. № 30. С. 233—277). Впоследствии лег в основу одноименной главы книги Ремизова «Иверень. Загогулины моей памяти» (Berkeley, 1986. С. 237—272).

<sup>15</sup> М. В. Вишняк. См. прим. 9 к п. 97.

<sup>16</sup> См. прим. 5 к п. 147.

<sup>17</sup> Возможно, имеются в виду легенды «Абул Абба», «Эстурган», «Хордабде» и «Айдар», включенные Ремизовым во второй том книги «Три серпа» (см. прим. 4 и 5 к п. 147). Первые три из них были опубликованы в газете «Дни» под общим заглавием «Сарацинские легенды» (1928. 15 апр. № 1390), а четвертая имела в первой публикации заглавие «Половецкая легенда. Айдар» (Дни (Париж). 1928. 20 мая. № 1424).

<sup>18</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>19</sup> Н. В. Резникова описывает это объяснение с Серафимой Павловной так: «Отношения между А. М. и С. П. поражают церемонной вежливостью, внимательностью, бережной заботой и постоянным беспokoйством друг о друге. Летом 1926 г. А. М. на улице попал под автомобиль. Его ушибло, а главное, он испугался. С. П. была в Виши, у нее была болезнь печени. В день ее возвращения А. М. просил меня купить на базаре ярких цветов, абрикосы, салатник с пегухом — такое, что сразу бы привлекло внимание С. П., чтобы она, войдя в квартиру, не почувствовала сразу, что с А. М. что-то случилось» (*Резникова Н. В. Огненная память. С. 29—30.*)

<sup>20</sup> См. прим. 11 к п. 121.

<sup>21</sup> Полемика вокруг журнала «Версты» в эмигрантской печати началась лишь в августе 1926 года (подробнее о ней см.: *Кудрова И. Версты, дали... С. 143—149.*) Дата, поставленная

Ремизовым в настоящем письме, не вызывает сомнения, и потому остается предположить, что далее он имеет в виду не столько конкретные статьи, сколько позиции, которые заняли упоминаемые здесь издания в еще не выплеснувшейся на их страницы полемике.

<sup>22</sup> 5 августа в газете «Дни» появилась статья Н. Макеева «Эмигрантский снобизм» (Дни (Париж). 1926. 5 авг. № 1072. С. 2—3). «Версты» рассматривались в ней как «определенная попытка обосновать новое общественно-политическое и литературное направление в эмиграции» (С. 2), однако общее резюме было малоутешительным: «Пока же, то новое, что мы перед собой имеем — это подлинно эмигрантский политико-литературный снобизм» (С. 3). Вскоре была опубликована и статья Мих. Цетлина «Версты» (Дни (Париж). 1926. 22 авг. № 1087. С. 3), лейтмотив которой — общее для полемики в целом недоумение по поводу состава участников нового журнала.

<sup>23</sup> На страницах «Воли России» в защиту «Верст» от резких полемических нападок И. А. Бунина и З. Н. Гиппиус выступил Марк Слоним (см.: *Слоним М.* Литературные отклики. (Бунин-критик. Антон Крайний и Зинаида Гиппиус. О «Верстах») // Воля России (Прага). 1926. № 8/9. С. 87—103).

<sup>24</sup> С 1926 года журнал «Воля России» (см. прим. 7 к п. 109) готовился и набирался в Париже, хотя на обложке по-прежнему значилось «Прага».

<sup>25</sup> См. прим. 22 к п. 97.

## 166

Дорогой Лев Исаакович.

27.8.26

Villa Kerbellec

Неделю живем здесь на винограднике между La Verepie и Le Clion.  
Неделю всю занимался. И завтра отсылаю в «Современные Записки»<sup>1</sup>  
(перед отъездом получил от Вишняка<sup>2</sup> 800 frs)

### СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ<sup>3</sup>

Мою предбанную память о Вологде и некрологи, к(ак)ие писал тогда.<sup>4</sup> Вышло листа 2 — долг покрыл. Сяду за франц(узские) легенды о Ник(олае) Чудот(ворце)<sup>5</sup> и за любопытную историю Бретани. В Нанте издается журнал, как наши Извест(ия) 2 (отделения) Акад(емии) Наук, специал(ьно) о Бретани. Сотрудники аббаты. Напиши хоть два слова. Боюсь, адрес твой забыл, дойдет ли письмо.

Серафима Павловна кланяется

от обоих нас Анне Елеазаровне поклоны.

Прихожу в себя, хотя есть еще от прежнего:  
не могу ходить по скалам над обрывами  
голова кружится. А. Ремизов

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chéstov, Pension Fleurence, Châtelguyon (Puy-de-Dôme). Подробнее об этом месте отдыха Шестова см. текстологическое прим. к п. 135. На обороте вид Pornic (департамент Loire Inférieure); здесь же рукой Ремизова его бретонский адрес: Alexei Remisof chez Madame Fleury, Villa Kerbellec, Le Clion (Loire Inférieure). Ремизовы отдыхали в Бретани с 1924-го по 1939 год. Эти поездки запечатлены в главе «На воздушном океане» книги «Учитель музыки» (см.: *Ремизов А.* Учитель музыки. С. 305—314). Природа Бретани вызывала у писателя ассоциации с русским севером (Там же. С. 281). Действие его рассказов «Куаффер» и «Бикю» происходит в маленьком бретонском городке Кербелек (Kerbellec). Дата на штемпеле: 28.8.26.

<sup>1</sup> «Современные записки» — крупнейший «толстый» культурно-политический и литературный журнал русского зарубежья; выходил в Париже с 1920-го по 1940 год под редакцией М. В. Вишняка, А. И. Гуковского, В. В. Руднева, Н. Д. Авксентьева и И. И. Фондаминского-Бунакова. Подробнее об этом издании см.: *Вишняк М. В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. Нью-Йорк, 1957 (книга републикована в России (СПб.; Дюссельдорф) в 1993 году).

<sup>2</sup> М. В. Вишняк. См. прим. 9 к п. 97.

<sup>3</sup> См. прим. 14 к п. 165.

<sup>4</sup> Ср.: «В молодости я все некрологи писал — Ну, а как же! живым, известно: Бердяев, Щеголев, Савинков — — Никогда! Я же не от худого сердца» (*Ремизов А.* «Воистину». Памяти В. В. Розанова к 70-й годовщине со дня рождения // Версты. 1926. № 1. С. 82).

<sup>5</sup> См. п. 165, а также прим. 4 и 5 к п. 147.

167

Дорогой Лев Исаакович

12.4.27

Посылаю заблаговременно билеты на вечер: <sup>1</sup> тебе КАНТОНСКИЙ, <sup>2</sup> доктору <sup>3</sup> КИТАЙСКИЙ (Кантонских всего два: тебе и князю Святополк-) Мирскому<sup>4</sup>). Все разъезжаются и с билетами (настоящими печатными) дело идет медленно. А надо 180 мест распродать. Сегодня вечер Цветаевой <sup>5</sup> — у нее 160 мест. Жалко, что тебя не будет: буду читать Лескова из Полунощников.<sup>6</sup>

Получил письмо от Маритэна: <sup>7</sup> он предлагает сделать опыт перевода нескольких легенд. Из них он может напечатать в Chroniques

(Le Roseau d'Or)<sup>8</sup>

Для меня вся трудность — переводчик.<sup>9</sup>

К 25 апр(еля) посылаю на выставку Sturm свои «безобразные» рисунки.<sup>10</sup>

На вернисаж попрошу послать тебе семейный билет.

От Серафимы Павловны Кланяюсь Мирре Яковлевне <sup>11</sup> и Максу Ефимовичу  
поклоны Алексей Ремизов

<sup>1</sup> «Вечер чтения А. М. Ремизова» состоялся 29 апреля 1927 года в зале Русского клуба (Grand Cercle Russe) на Rue de l'Assomption, 70. Анонимные заметки-объявления о предстоящем вечере неоднократно появлялись в течение марта и апреля в парижской газете «Последние новости» (17 марта. № 2185. С. 2; 7 апр. № 2206. С. 3; 23 апр. № 2222. С. 3; 28 апр. № 2227. С. 4; 29 апр. № 2228. С. 3). Афишу своего вечера Ремизов приложил к письму от 1 мая 1927 года (п. 169). В первом отделении он прочел собственные произведения «Верба» (Литовская легенда), «Весна» (Из книги «Оля») и «Сережа» (Из книги «Взвихренная Русь»), а во втором — сцены из «Полунощников» Н. С. Лескова. В конце первого отделения выступила также А. М. Ян-Рубан, которая исполнила романсы В. А. Поля.

<sup>2</sup> Имеется в виду пригласительный билет, изготовленный самим Ремизовым, для которого подобные мелочи были не только аксессуарами «игры», но и данью признательности друзьям и доброжелателям. Ср. ремизовскую реакцию на пренебрежительное отношение к одному из таких билетов, запечатленную В. С. Яновским: «Раз я не явился на его очередной весенний вечер — с какой яростью он меня потом ругал: — А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! — со жгучей обидой повторял он, точно речь шла Бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишурой всю зиму.)» (цит. по: Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти. СПб., 1993. С. 191). В отличие от Яновского, Шестов с пониманием относился к этой стороне личности писателя. Поэтому среди писем Ремизова к нему сохранился и «кантонский» пригласительный билет:

К

А

серебряный почетный семейный Н билет

ТОН

invitation \*

СКИЙ

А. М. РЕМИЗОВ

просит вас пожаловать на чтение, имеющее быть в пятницу

29 апреля в 9 ч(асов ) вечера

29.4.27

Grand Cercle Russe

70 Rue de l'Assomption

Métro Ranelagh

Алексей Ремизов

[Абстрактный рисунок  
с глаголической

подписью (см. прим. 3  
кп. 152)]

Лев Исаакович Шестов

Leo Schestow

[\* приглашение (фр.).]

<sup>3</sup> М. Е. Эйтингон (см. прим. 6 к п. 104). Ремизов посылает билет через Шестова, так как тот гостит в это время (с 8 апреля) у Эйтингона в Берлине (см. об этом: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 266).

<sup>4</sup> кн. Д. П. Святополк-Мирский. См. прим. 4 к п. 129.

<sup>5</sup> Какими-либо сведениями об этом вечере мы не располагаем. Сообщения о нем отсутствуют как в парижской периодике, так и в биографической литературе о Цветаевой.

<sup>6</sup> Подразумевается повесть Н. С. Лескова «Полунощники» (1890).

<sup>7</sup> Маритен Жак (Maritain Jacques; 1882—1973) — французский религиозный философ-неотомист, ученик Бергсона, в 1906 году принял католичество. По свидетельству Н. А. Бердяева, который познакомился с ним в 1925 году и на протяжении многих лет поддерживал близкие дружеские отношения, распространявшиеся и на область профессиональных интересов двух мыслителей, «сам Маритен был в прошлом анархистом и материалистом. Став католиком, он начал защищать очень ортодоксальное католичество, приобрел известность как враг и свирепый критик модернизма. (...) Маритен — редкий француз, в котором я не замечал никаких признаков национализма. Он сделал большие усилия выйти за пределы замкнутой латинской культуры, раскрыться для других миров. Он очень любил русских, предпочитал их французам. В самом Маритене были черты сходства с русским интеллигентом. И дом Маритена не походил на обычный французский дом. У них бывало много народа, часто происходили доклады с прениями» (цит. по: *Бердяев Н. А. Самопознание*. Л., 1991. С. 256—257). Вероятно, именно Бердяев познакомил с Маритеном Шестова (подробнее об их контактах в середине 30-х годов см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 166—167, 170, 230), а тот представил ему Ремизова. Как вспоминает Н. В. Резникова, «в двадцатых годах Лев Шестов познакомил А. М. с французскими писателями. И католики (Жак Маритэн) и сюрреалисты (Андрэ Бретон) оценили глубокую оригинальность Ремизова, и его вещи стали появляться в передовых французских изданиях. Имя Ремизова тогда же стало известно французской элите, главным образом как автора легенд, написанных очень своеобразным стилем» (*Резникова Н. В. Огненная память*. С. 118).

<sup>8</sup> Журнал «Le Roseau d'Or» имел подзаголовок «oeuvres et chroniques»; выходил в парижском издательстве «Plon» в 1925—1932-м годах. Вскоре в нем был опубликован французский перевод легенды Ремизова «Страсти Пресвятыя Богородицы» («La passion de la Vierge») из второй редакции книги «Лимонарь» (см.: *Le Roseau d'Or*. 1927. № 20); впоследствии эта легенда была также включена в книгу «Звезда надзвездная» (Париж, 1928) под названием «Страды Богородицы».

<sup>9</sup> Перевод легенды, опубликованный вскоре в «Le Roseau d'Or» (см. прим. 8 к наст. п.), выполнил Б. Ф. Шлёцер (см. прим. 7 к п. 114).

<sup>10</sup> Ремизов послал в Берлин Герварду Вальдену, издателю газеты «Der Sturm» и директору одноименной картинной галереи, которая по праву считалась оплотом европейского и русского авангарда (здесь выставляли свои работы братья Бурлюки, Кандинский, Ларионов, Кульбин и др.), около ста рисунков (см. об этом: *Slobin G. The Writer as Artist // Images of Aleksei Remizov*. Amherst, 1985. P. 16; *Bowl J. E. Op. cit.* P. 172). Выставка в «Штурме» открылась 19 мая 1927 года (см. п. 171). Кроме Ремизова, в ней принимал участие Макс Мальприхт (Max Malpricht) со своими «Klebebilder» (букв.: наклеенные картины (нем.), т. е. коллажи). В произведении мемуарного характера Ремизов неоднократно упоминает о выставке «в Берлине, где мои начертательные рисунки приютил Вальден, собиратель живописных и графических курьезов, в своем „Штурме“» (*Ремизов А. Встречи*. Петербургский буерак. С. 225; см. также: *Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог»*. С. 210).

<sup>11</sup> М. Я. Эйтингон. См. прим. 13 к п. 120.

Дорогой Лев Исаакович

Опять незадача: давно стоворился с Бердяевым<sup>1</sup> о свидании с Maritain'ом.<sup>2</sup> Если вернусь к 9<sup>н</sup> домой, приду непременно. Не знаю точно, в котором часу будет у Бердяева Maritain: в 5<sup>б</sup> или в 8<sup>б</sup>.

Оставляю тебе книгу «Оля»,<sup>3</sup> изд(анную) «самоотверженным издателем» без гонорара. 1000 экз(емпляров). И за это благодарен: в книге соединены 3 части повести.

Подговариваю Слонима<sup>4</sup>

в их типографии

(Воля России)

издать к Рождеству

[Рисунок]<sup>6</sup>

без гонорара

Ров львиный.<sup>5</sup>

Лежит с

1918 года.

Серафима Павловна кланяется тебе.

Очень досадно, если не попадем:

второй раз уж так выходит.

Все утро ждал от Бердяева  
[Рисунок]<sup>7</sup> рпеи<sup>8</sup> с отменой. Нет,  
стало быть, Maritain придет

Алексей Ремизов

Текст письма расположен на листе с оттиском ремизовского рисунка (см. прим. 6 к наст. п.). В первой строке, а также в подписи Ремизова, употреблены буквы церковнославянского и греческого алфавита: «юс малый», «земля», «червь», «кси», «ять», «омега». В правом верхнем углу помета рукой неустановленного лица: «[29.4.27]» — вероятно, дата получения письма.

<sup>1</sup> Н. А. Бердяев. См. прим. 7 к п. 1, прим. 21 к п. 97 и прим. 9 к п. 136.

<sup>2</sup> Ж. Маритен. См. прим. 7 к п. 167.

<sup>3</sup> Повесть «Оля», выпущенная парижским издательством «Вол» в 1927 году, написана на материале биографии С. П. Ремизовой-Довгелло, которая выполнила иллюстрации к этому изданию, выступив под псевдонимом В. Н. Скоропадский. Книга состоит из двух (а не трех, как пишет далее Ремизов) частей: «В поле блакитном» и «С огненной пастью». Тексты первой части (за исключением рассказа «Доля») были ранее опубликованы отдельным изданием (см.: Ремизов А. В поле блакитном. Берлин, 1922). Цикл «С огненной пастью» публиковался прежде в пражском журнале «Воля России» (1924. № 14/15, 16/17, 18/19; 1925. № 2, 3). Вторая часть «Оли» впоследствии была целиком включена в книгу «В розовом блеске» (Нью-Йорк, 1952).

<sup>4</sup> Слоним Марк Львович (1894—1976) — литературный критик, переводчик, журналист. Находился в эмиграции с 1919 года. Был одним из редакторов и фактическим лидером журнала «Воля России» (см. прим. 7 к п. 109). Сочувственно относился к творчеству Ремизова.

<sup>5</sup> «Ров львиный» (другие названия: «Канава», «Плачущая канава») — повесть Ремизова, написанная в 1914—1918-м годах. Первые три части были опубликованы в журнале «Русская мысль» (Прага—Берлин) в 1923—1924-м годах (№ 1—12). Два года спустя в журнале «Воля России» (1926. № 5) появилась четвертая (заключительная) часть. Однако все попытки выпустить повесть отдельным изданием при жизни Ремизова остались безуспешными. Впервые она была опубликована целиком только в 1991 году (см.: Ремизов А. М. Избранное. Л., 1991. С. 389—546).

<sup>6</sup> На ремизовском рисунке изображены «рогатые, крылатые, хвостатые чудища». Сам автор именно так поясняет его «сюжет» сотруднику Пушкинского Дома П. М. Устимовичу в письме от 15 октября 1926 года, в которое тоже вклеен оттиск этого рисунка (см.: Ремизов А. М. Письма (6) Устимовичу Петру Митрофановичу. [1926—1927] // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 2). Справа на рисунке — монограмма Ремизова (см. прим. 22 к п. 97), а под ней, в правом нижнем углу, надпись: «Portrait de l'auteur Alexéi Rémisov mein Selbstbildnis» (Портрет автора Алексей Ремизов (фр.), мое собственное изображение (нем.)).

Этот же оттиск, помеченный «1924 Paris» и значительно «отредактированный» Ремизовым в изобразительной части (кроме того, здесь затушевана надпись и снизу сделана другая: «Залезник А. Ремизов Волк-самоглот Посолонь»), опубликован в каталоге выставки произведений писателя из коллекции Т. Уитни (см.: Images of Aleksei Remizov. P. 80).

<sup>7</sup> На рисунке изображена птица, очевидно, олицетворяющая «рпеи».

<sup>8</sup> Т. е. послание по парижской внутригородской пневматической почте. Слово подчеркнуто Ремизовым.

## 169

1.V.27<sup>1</sup>

Paris

Дорогой Лев Исаакович.

Только сегодня могу написать: вчера после вечера<sup>2</sup> очень голова болела — это, д(олжно) б(ыть), от чтения (звук в голову). Маленький зал был полный (?) и никакой толкучки<sup>3</sup> и, кажется, все остались довольны. Распорядители имели в петлице обезьяньи значки. Обер — кн(язь Святополк-)Мирский<sup>4</sup> — единственный представлял литературу. Остальные (не считая Осоргина,<sup>5</sup> которому море по колену), кому послал билеты на эстраду (серебряные<sup>6</sup> запретили посылать и я их потом раздавал), побоялись прийти.

Была жена сына Лескова (Андрея Николаевича),<sup>7</sup> которая рассказывала мне, как читал Н. С. Лесков «Полунощников» — очень похоже на мой склад. Она сидела до самого конца. А кончилось в  $1/4$  1-го. На эстраде со мной сидел Семен Владимирович.<sup>8</sup>

Жалко, что тебя не было

Если можно, позвони от доктора:<sup>9</sup> Lützow 44—43

Herwarth Walden

«Der Sturm»

спроси, когда откроется выставка  
моих рисунков.<sup>10</sup>

(там твой портрет в двух видах)

Афишу \* передай доктору<sup>11</sup>

Кланяюс(ь) ему и Мирре Яковлевне<sup>12</sup>

\* работа племянника Вишняка<sup>13</sup> А. Ремизов

от Серафимы Павловны

поклоны всем

Письмо помещено на обороте листа с оттиском ремизовского рисунка (см. прим. 6 к п. 168).

<sup>1</sup> Вероятно, в дате допущена ошибка, так как она не согласуется с текстом письма, в частности, с датой проведения вечера Ремизова (29 апреля).

<sup>2</sup> См. прим. 1 к п. 167.

<sup>3</sup> У Ремизова: «толлучки».

<sup>4</sup> кн. Д. П. Святополк-Мирский. См. прим. 4 к п. 129.

<sup>5</sup> См. прим. 11 к п. 121.

<sup>6</sup> Слово, выделенное нами курсивом, подчеркнуто Ремизовым. Речь идет об особых билетах его собственной «ручной» работы (см. прим. 2 к п. 167).

<sup>7</sup> Имя и отчество в скобках приписаны сверху. Андрей Николаевич Лесков (1866—1953), сын и биограф писателя, автор книги «Жизнь Николая Лескова» (М., 1954). Присутствие его жены, Анны Ивановны Лесковой, на этом вечере объясняется прежде всего желанием послушать в исполнении Ремизова сцены из «Полунощников» Н. С. Лескова.

<sup>8</sup> С. В. Лурье. См. прим. 1 к п. 28 и прим. 9 к п. 96.

<sup>9</sup> М. Е. Эйтингон. См. прим. 6 к п. 104.

<sup>10</sup> См. прим. 10 к п. 167.

<sup>11</sup> Эта афиша сохранилась среди писем Ремизова к Шестову. Просьба передать ее Эйтингону обращена к Шестову потому, что он находится в это время в гостях у Доктора в Берлине (см. прим. 3 к п. 167).

<sup>12</sup> М. Я. Эйтингон. См. прим. 13 к п. 120.

<sup>13</sup> А. Г. Вишняк. См. прим. 9 к п. 97.

## 170

12.5.27

Paris

Дорогой Лев Исаакович

о судьбе М. Н. Каламкаровой <sup>1</sup>  
расскажу М. М. Тер-Погосяну, <sup>2</sup>

( ходит в звании турецкого  
посла в обезвеволпале <sup>3</sup> )

как только он появится

у нас.

Он добрейший  
человек и что  
от его слова за-  
висит, все сде-  
лает.

[Рисунок] <sup>4</sup>

Только бы его-то  
послушали

Путерману <sup>5</sup> написал  
свои сомнения о  
действительной  
возможности перевода  
Б. Ф. <sup>6</sup>  
Maritain <sup>7</sup> ведь  
срочно ждет, а  
не через столетия  
Жду его, ч(то)б(ы) оконча-  
тельно переговорить

Вчера я тебя ждал: думал, зайдешь  
по случаю получения золотой  
медали. Чай, читал П(оследние) Н(овости)  
И откуда они узнали о моем  
кулинарном мастерстве и  
присудили меня медалью наг-  
раждать? (Бумаги я еще не получал,  
жду, а самому идти получать, не  
знаю к кому обращаться)

№ 2239 10 мая  
«Закрытие гастрономичес-  
кой выставки» <sup>8</sup>

[Монограмма-рисунок] <sup>9</sup>

<sup>1</sup> Кого имеет в виду Ремизов, установить не удалось.

<sup>2</sup> Тер-Погосян Михаил Матвеевич (1890—1967) — эсер, депутат Учредительного собрания, близкий друг А. Ф. Керенского, после Октября эмигрировал из России. Упоминается во многих автобиографических произведениях Ремизова («Кукха», «Взвихренная Русь» и др.).

<sup>3</sup> В «обезьяньей свадебной грамоте» З. А. Шаховской и С. С. Малевского-Малевича, выданной 21 ноября 1926 года, М. М. Тер-Погосян упоминается как «полпред Турции» (см.: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. С. 302). Прежде он имел звание «посол обезьяний армянский», а «Турецким послом при Обезвеволпале» был Тотеш (см.: Ремизов А. М. «Обезьянья Великая и Вольная Палата». Материалы фантастического общества. [1921—1950] // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 8, 47).

<sup>4</sup> См. прим. 6 к п. 168.

<sup>5</sup> Путерман Иосиф Ефимович — французский литератор; выходец из России, служащий советского торгпредства в Париже; пайщик издательства «Шлеяда», выпустившего в 1926 году французский перевод книги Шестова «Достоевский и Нитше», выполненный



Б. Ф. Шлёцером, и намеревавшегося издать полное собрание сочинений философа на французском языке (подробнее об этом см. прим. 10 к п. 120). Знакомый и почитатель М. И. Цветаевой (см.: *Цветаева М.* Письма к Анне Тесковой. СПб., 1991. С. 42, 168; 9 писем М. Цветаевой к Льву Шестову. С. 127), в 1927 году осуществил издание ее последнего прижизненного поэтического сборника «После России» (см. об этом: *Кудрова И.* Версты, дали... С. 191, 193—194). Корреспондент Шестова и друг Б. Ф. Шлёцера (см.: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т. II. С. 89).

<sup>6</sup> Б. Ф. Шлёцер (см. прим. 7 к п. 114). Речь идет о переводе легенды Ремизова «Страсти Пресвятыя Богородицы» (см. прим. 8 и 9 к п. 167).

<sup>7</sup> Ж. Маритен. См. прим. 7 к п. 167.

<sup>8</sup> В заметке «Заккрытие гастрономической выставки» сообщалось: «Закрылась гастрономическая выставка в Мажик-Сити. Последний день был посвящен присуждению наград. На долю русского отдела пришлось значительная доля первых призов. Высшая награда Hors-Compours с поздравлениями жюри, а также медали газеты „Журналь“ и газеты „Энтрансижан“, присуждена фирме „Ага“. „Гран-При“ фирме „Caviar Russe“. Золотые медали — фирмам: „Polcé“, „Boulangerie Moscowite“, „Newa“, „Kusmi-Thé“, „Jalik“, „Adda“. Медали присуждены также поварам и кондитерам Кортиеву, Ремизову, Дзантиеву, Кучерову, Кайлих и Нутову» (Последние новости (Париж). 1927. 10 мая. № 2239. С. 3). По свидетельству Н. В. Резниковой, Ремизов действительно обладал кулинарными талантами и дома готовил сам (см.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 76). Однако, скорее всего, в этой заметке все же подразумевается его однофамилец. Не исключено также, что это мистификация.

<sup>9</sup> См. прим. 22 к п. 97.

171

19.5.27  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

См(отри) на об(ороте).<sup>1</sup>

Сегодня вырезал из Возрождения<sup>2</sup>

Вот твоя книга,<sup>3</sup> наконец, и здесь  
появилась. (А до сегодняшн(не)го дня  
не было в магазинах)

Нет ли у тебя Л. Н. Толстого

(по старому: 12 тома — где «Три старца»<sup>4</sup>)

Дал я обещание Т(атьяне) Л(ьвовне)<sup>5</sup> прочитать

сказку на ее лекции 4-го июня,<sup>6</sup> а  
книгу (ч(то)б(ы) заранее разучить) нигде  
не могу достать.

Поклон от Серафимы Павловны.

Вчера меня в Париже за поварство

зол(отой) медалью наградили,<sup>7</sup> а сегодня (смотри)  
в Берлине выставили.<sup>8</sup> Судьба.

Открытое письмо (Postkarte). Отправлено в конверте, так как штемпели отсутствуют. Лицевая сторона разделена на две части: слева помещается отпечатанное типографским способом объявление о майской выставке в галерее «Der Sturm» с участием Ремизова (см. прим. 10 к п. 167); справа свободное пространство, на котором собственно и располагается ремизовское письмо. На обороте реклама майских вечеров в помещении «Штурма» типографской печати.

<sup>1</sup> На оборотной стороне поверх рекламы вечеров в «Штурме» наклеена газетная вырезка с перечнем книг религиозно-нравственного содержания, распространяемых книжным складом «Возрождение». Фамилия Шестова подчеркнута Ремизовым.

<sup>2</sup> См. прим. 5 к п. 139.

<sup>3</sup> В рекламном перечне указана книга Шестова «Достоевский и Нитше». Вероятно, подразумевается ее третье издание на русском языке, выпущенное в Берлине издательством «Скифы» еще в 1922 году.

<sup>4</sup> Имеется в виду рассказ Л. Н. Толстого «Три старца» (1885).

<sup>5</sup> Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864—1950) — дочь Л. Н. Толстого. С 1925 года активно пропагандировала его литературное наследие в эмиграции. Опубликовала том писем, антологию малоизвестных публицистических выступлений и ряд сборников художественных произведений отца. Автор биографии молодого Толстого и книги «Воспоминания» (М., 1980). В 1928 году возглавила празднование столетия со дня рождения Толстого за рубежом.

<sup>6</sup> 22 мая в газете «Последние новости» появилась заметка, в которой сообщалось, что вечер, посвященный Л. Н. Толстому, состоится 4 июня в большой аудитории главного здания Сорбонны. Далее в ней говорилось: «На вечере выступит дочь великого писателя Т. Л. Сухотина-Толстая, которая прочтет лекцию на тему: „Правда и неправда о Льве Толстом“. За лекцией последует литературно-музыкальная программа. А. М. Ремизов прочтет рассказ Л. Н. Толстого „Три старца“. Известная пианистка Е. Лампель и скрипачка Ж. Готье исполнят „Крейцерову Сонату“ Бетховена. Весь чистый сбор с этого вечера поступит на благотворительные цели, указанные Т. Л. Сухотиной-Толстой» ([Б. л.]. Толстовский вечер в Сорбонне // Последние новости (Париж). 1927. 22 мая. № 2251. С. 3).

<sup>7</sup> См. прим. 8 к п. 170.

<sup>8</sup> См. прим. 10 к п. 167.

172

23.5.27  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

С(ерафима) П(авловна) кланяется

Очень тебе благодарны. Только во вторник никак невозможно: вторник — страда — С(ерафима) П(авловна) готовится к лекции<sup>1</sup> и надо вовремя лечь: в среду спозаранку идти.

До 1 июля, ког(д)а пройдут экзамены, тогда вторники уравниются.

Будь милостив, увидишь G. Marcel'я,<sup>2</sup> спроси: когда же Plon выпустит мою книгу «Sur le champ d'Azur».<sup>3</sup>

( с ИЮЛЯ 1924 г(ода)  
лежит рукопись )

Объясни: пока НЕ выйдет книга, НЕ сдвинушь  
и франц(узские) дела мои будут в том пропаде,  
в каком вот уже 3 года.

А мне (ввиду моих русских ПРОПАЩИХ ДЕЛ) надо какую-то ЗАВЯЗКУ  
с иностранцами.

Приходи в пятницу 27-го вечером<sup>4</sup> часов в 9<sup>б</sup>  
придет Ольга Дмитриевна.<sup>5</sup>

Алексей Ремизов

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur L. Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup> (см. прим. 17 к п. 141). В верхней части письма помета рукой другого лица «23.5.27», совпадающая и с датой на парижском штемпеле.

<sup>1</sup> См. прим. 3 к п. 150.

<sup>2</sup> Марсель Габриэль (Marcel Gabriel; 1889—1973) — французский философ-экзистенциалист, драматург, литературный критик. Испытал влияние идей Шестова (см. об этом: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. II. С. 137—138).

<sup>3</sup> Вскоре эта книга вышла в свет (см. прим. 6 к п. 160).

<sup>4</sup> Текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>5</sup> О. Д. Форш (см. прим. 9 к п. 43). Приехала в Париж к своей дочери (см. прим. 24 к п. 106), а затем отправилась на Капри к Горькому. А. З. Штейнберг оставил свидетельство о ее пребывании в Европе и умонастроениях этого периода (см.: Штейнберг А. Друзья моих ранних лет. (1911—1928). Париж, 1991. С. 185—192). В частности, он пишет: «Ольга Дмитриевна, как это можно и должно было предвидеть, разочаровалась в русских эмигрантах и русской эмиграции. Конечно, Мережковских она никогда не любила, никогда не была

очарована. Многое ее раздражало, возмущало бессердечие эмигрантов, даже таких, как Ремизов и его жена» (С. 191).

173

11.7.27

Paris

Дорогой Лев Исаакович

В Individualität<sup>1</sup> написал, ч(то)б(ы) FrI. Dr. Anny Politzer<sup>2</sup> тебе написала, она скажет, какой возможен размер. (30 стр(аниц) — таких там статей нет!) Этот журнал философы не будут читать. Сколько я видел статей, никаких латинских цитат: все по-немецки, а греческих — шрифта не держат. (должно быть) Это для большой\* публики. Вот если это иметь в виду, то из 30 стр(аниц) можно сделать 15<sup>b</sup>

\* которая, конечно, выше Вишняка<sup>3</sup>

Лев Исаакович, послушай меня.

и твои статьи все прочитают

Maritain,<sup>4</sup> имея это в виду, в Art et scolastique, все латинское — в примечание, а текст чистый, и это в книге. Один № «Die Drei»<sup>5</sup> посвящен Фоме<sup>6</sup> (для большой публики) и ничего по латыни. У них есть специальные философские журналы.<sup>7</sup>

Про тебя я им написал: Leo Magnus<sup>8</sup>От доктора<sup>9</sup> ответа нет.

Боюсь, не перехватил ли? Я никаких тысяч<sup>10</sup> не указывал, говорил только о «помощи» — но, м(ожет) б(ыть), не следовало и так говорить. Всякой дате есть срок.

Сижу, как Лундберг,<sup>11</sup> ожидая,  
только на почту не бегаю.

Оба кланяемся Анне Елеазаровне и тебе

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> «Individualität» — двухмесячник философии и искусства (Цюрих, Вена, Лейпциг). В 1926—1927-м годах в этом журнале публиковались переводы произведений Ремизова, в том числе и его юбилейной статьи к шестидесятилетию Шестова (см.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 38, 44, 63, 154; *LampI* H. Bemerkungen und Ergänzungen zur Bibliographie A. M. Remizovs. S. 324). Вскоре здесь были опубликованы три афоризма из книги Шестова «Апофеоз беспочвенности» в немецком переводе, выполненном R. von Walter'ом (см.: Individualität. 1927. № 5/6. S. 97—100).

<sup>2</sup> Вероятно, редактор журнала «Individualität».

<sup>3</sup> Намек на прошлогодний конфликт Шестова с редакцией журнала «Современные записки», и прежде всего с М. В. Вишняком (см. прим. 9 к п. 97), возникший из-за того, что шестовская статья пролежала в редакции без движения около полутора лет. Подробнее об этом инциденте см.: *Вишняк М. В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 92—93.

<sup>4</sup> Ж. Маритен. См. прим. 7 к п. 167.

<sup>5</sup> «Die Drei» — ежемесячник антропософии, имел подзаголовок «Dreigliederung und Goetheanismus» (Трехчленность и гетеанство). Выходил в Штуттгарте с февраля 1921-го по март 1931 года. В нем публиковались переводы произведений Ремизова (см.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 27, 37, 49, 61, 70).

<sup>6</sup> По-видимому, специальный номер журнала был посвящен великому теологу, систематизатору ортодоксальной схоластики и основателю томизма Фоме Аквинскому (1225 или 1226—1274).

<sup>7</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>8</sup> Лев Великий! (лат.)

<sup>9</sup> М. Е. Эйтингон. См. прим. 6 к п. 104.

<sup>10</sup> Перед словом «тысяч» ранее было «циф(р)», вычеркнутое Ремизовым.

<sup>11</sup> Е. Г. Лундберг (см. прим. 13 к п. 2). Ремизов подразумевает тяжелое материальное положение Лундберга в конце 1900-х—начале 1910-х годов, когда он был вынужден жить в Швейцарии и получал помощь от Шестова (см. письма Шестова к Ремизову этого периода в наст. публикации).

3.9.27  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Давно тебе не писал. Много было всякого: и беды и хвори. Сегодня С(ерафиму) П(авловну) проводил в Vichy.<sup>1</sup> Я ей напишу твой адрес. Может, и ты переедешь на сентябрь в Vichy.

В Individualität'e<sup>2</sup> ждут твою статью. Попросят прислать, чтобы попало в № «Еуроре», последний срок *К СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ*.<sup>3</sup> Выбери что-нибудь из Апофеоза или что знаешь. Я показывал о тебе рецензию в «Eur(орäische) Revue»,<sup>4</sup> твою франц(узскую) книжку,<sup>5</sup> а доконал я тем, что показал сочинения Достоевского (у меня в «переплете») «Все, говорю, ему принадлежит» По русски-то не понимают! Удивлялись.

«Herrn Schestow hat aber bisher weder an ihm noch an mich geschrieben»<sup>6</sup>

Herrn Willy Storrer или FrI. Dr. Anny Politzer

Individualität

Dornach bei Basel<sup>7</sup>Алексей Ремизов<sup>8</sup>

Haus Friedwart

Кланяюсь Анне Елеазаровне.

Получил вчера об уплате налога за 1926.<sup>9</sup>

Я показывал свой доход в 17.000 fr.

и с меня назначено 630.29 (?)

а в прошлом году взяли по квартире

с 28.000.

911.45

( до сих пор еще всего )  
( не заплатил )

а квартирн(ый) налог за 1926 поставили 789

<sup>1</sup> Vichy (Виши) — курортный городок в 350-ти километрах к югу от Парижа. С. П. Ремизова-Довгелло часто лечилась там в летние месяцы от болезни печени (см., например, п. 161—165 в наст. публикации).

<sup>2</sup> См. прим. 1 к п. 173.

<sup>3</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>4</sup> «Eur(орäische) Revue» — журнал, выходивший в Лейпциге, а затем в Берлине с 1925 года. В 1920-е годы здесь часто публиковались переводы работ Шестова. О какой рецензии идет речь, установить не удалось.

<sup>5</sup> Вероятно, Ремизов имеет в виду книгу «Sur les Confins de la vie. L'Apothéose du dégâcinement» — французский перевод «Апофеоза беспочвенности», выполненный Б. Ф. Шлэдером. Она вышла в издательстве «Плеяда» в конце мая 1927 года (см. об этом: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. II. С. 266).

<sup>6</sup> «Господин Шестов до сегодняшнего дня не написал ни ему, ни мне» (нем.).

<sup>7</sup> По некоторым данным журнал «Individualität» издавался не в Цюрихе, Вене и Лейпциге, а в Дорнахе. Однако уточнить эти сведения не представляется возможным, так как это издание отсутствует в доступных нам книгохранилищах России.

<sup>8</sup> Под подписью Ремизова в правой нижней части письма помещена вырезка из печатного издания с соответствующей надписью — портрет Льва Шестова работы художника Савелия Абрамовича Сорина (1878—1953), созданный осенью 1922 года (ныне хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке).

<sup>9</sup> Эта тема подробно обсуждалась ранее в п. 159, 160 и 164.

175

29.9.27

Paris

Дорогой Лев Исаакович!

Приходи в субботу вечером. Напою тебя чаем с сухарями. И книги покажу. Читать тебе нельзя, так в тепле посидишь. Меня совсем загоняли: все с книгой,<sup>1</sup> которая в 1/2 октября выходит: надо было всякие анкеты заполнять био-библиографические и «краткие содержания». А я ничего этого не умею. Но такое правило у Plon. Кроме «Individualität»<sup>2</sup> есть еще два хороших журнала в Цюрихе,<sup>3</sup> куда я могу поместить: из одного (Die Appalen)<sup>4</sup> вернули — за качества перевода. (Немецкая чешка переводила)

Писал я Ruoff'у,<sup>5</sup> он мне с чего-то не отвечает. Отчасти я знаю причину, но<sup>6</sup> в этом я невиновен, (потому) ч(то) не справочник: и откуда мне знать адреса всех приезжающих писателей из России.

Но как только я попаду в эти журналы, потяну тебя — эти журналы совсем никакого отношения к антропософии,<sup>7</sup> а гонорар везде платят и на хорошей бумаге. Мне надо иметь всегда под рукой французс(кие) или немец(кие) (все равно, напечатанные) био-библиографии.

Кланяется Серафима Павловна.

Ждем — с сухарями и тепло.

А. Ремизов.

<sup>1</sup> См. прим. 6 к п. 160, а также п. 172.

<sup>2</sup> См. прим. 1 к п. 173.

<sup>3</sup> В 1928 году два перевода произведений Ремизова были опубликованы в цюрихском журнала «Neue Schweizer Rundschau» (см.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 60, 71).

<sup>4</sup> Сведениями о публикациях произведений Ремизова в каком-либо издании с подобным названием мы не располагаем.

<sup>5</sup> Н. Ruoff. См. прим. 2 к п. 140.

<sup>6</sup> У Ремизова ошибочно «он» вместо «но».

<sup>7</sup> Здесь подразумевается, что Швейцария, прежде всего Дорнах и Цюрих, была средоточием антропософского движения в Европе. Сам Ремизов охотно принимал участие в антропософской периодике, публикуя переводы своих произведений (см., например, прим. 5 к п. 173).

176

10.6.28

Paris

Дорогой Лев Исаакович

Адрес Ив(анова)-Раз(умника)<sup>1</sup>

Детское село, Колпинская, д(ом) б(ывший) Кучумова

(тел(ефон) 4—57) URSS

Телефон в памяти, а № дома никогда не знал: уж очень Кучумов громок. Я спрашивал О(льгу) Д(митриевну):<sup>2</sup> где? И она ответила: Там же, д(ом) Кучумова. (Конечно, к(а)к это теперь полагается, ко всему надо приставку: «б»)

Вспомнил, но это к делу не относится: Чернышов пер(еулоч) 20 кв. 50.

там его отец жил<sup>3</sup>

и еще Ст(анция) Сольцы Мос(ковско-)Винд(авско-)Рыб(инской) ж(елезной) д(ороги) деревня Песочки<sup>4</sup>

Frl. Gertrud Hahn<sup>5</sup> (переводчице) я написал, чтобы она сама справилась о своей рукописи, подписанной

*Wind*<sup>6</sup>

Надо же придумать такое и меня не предупредить!

У меня есть небольшой рассказ, пер(еведенный) Käthe Rosenberg.<sup>7</sup>  
Я послал бы его Herrigel'ю.<sup>8</sup>

Если ты находишь, что это стоит сделать, пришли *его адрес*, и как его величать  
Profes(sor) D(okto)r?

Перевод хороший

Поклон всему твоему дому.

А. Ремизов.

<sup>1</sup> Р. В. Иванов-Разумник. См. прим. 4 к п. 32.

<sup>2</sup> О. Д. Форш. См. прим. 9 к п. 43 и прим. 5 к п. 172.

<sup>3</sup> Эта квартира отца Иванова-Разумника, Василия Ивановича Иванова (был железнодорожным служащим), описана в мемуарах А. З. Штейнберга (см.: *Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911—1928)*. С. 176). Там же сообщается, что отец Иванова-Разумника умер в годы гражданской войны от последствий несчастного случая (он упал с платформы вагона во время поездки за город за дровами).

<sup>4</sup> В деревне Песочки Иванов-Разумник отдыхал летом 1915 года. См., например, отправленное им оттуда письмо Ремизову от 9 июня 1915 года (ИРПИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. кр. 84).

<sup>5</sup> Hahn Gertrud — переводчица произведений Ремизова на немецкий язык (см.: *Lampf H. Bemerkungen und Ergänzungen zur Bibliographie A. M. Remizova*. S. 324).

<sup>6</sup> Ветер (нем.). Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>7</sup> См. прим. 3 к п. 115.

<sup>8</sup> Herrigel Hermann — знакомый Шестова, автор рецензии на его книгу «На весах Иова» (см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 32). Писал о Шестове в своей книге «*Zwischen Frage und Antwort. Gedanken zur Kulturkrise*» (Berlin, 1930. S. 168—186). Вероятно, редактор «*Frankfurter Zeitung*» (см. п. 177).

## 177

Дорогой Лев Исаакович

14.6.28  
Paris

Сегодня послал Herrn Dr. Herrigel<sup>1</sup>

«Frankfurter Zeitung»

Frankfurt

заказ(ной) бандер(олью) manuscrit pour l'impression<sup>2</sup>

рассказ «Visou»<sup>3</sup> пер(евод) Käthe Rosenberg<sup>4</sup>

и приписал и свой и ее адрес.

Будешь писать, напиши: если удастся поместить, то чтобы мне 2 экз(емпляра) газеты № с Visou прислали, а гонорар пополам.

Буду очень тебе благодарен

[Монограмма-рисунок]<sup>5</sup>

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup> (см. прим. 17 к п. 141). Справа, под датой Ремизова, рукой неустановленного лица, вероятно, дата получения письма: «16.6.28».

<sup>1</sup> См. прим. 8 к п. 176.

<sup>2</sup> рукопись для печати (фр.).

<sup>3</sup> Название рассказа подчеркнуто Ремизовым.

<sup>4</sup> См. прим. 3 к п. 115. В 1928 году переводы произведений Ремизова в «*Frankfurter Zeitung*» не публиковались (ср. также п. 179).

<sup>5</sup> См. прим. 22 к п. 97.

178

14.6.28  
Paris

Дорогой Лев Исаакович

Прости, что к тебе все пристаю с вопросами.<sup>1</sup> Адрес С. А. Коновалова.<sup>2</sup> Сейчас получил письмо от англичанина Brown'a,<sup>3</sup> он чего-то перевел и хочет с ним снестись.

[Монограмма-рисунок]<sup>4</sup>

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>. Под датой Ремизова помета рукой неустановленного лица: «14.6.28».

<sup>1</sup> Письмо отправлено в тот же день, что и п. 177, вероятно, следом за ним.

<sup>2</sup> Коновалов Сергей Александрович (1899—1982) — историк и славист, профессор Оксфордского университета. Принадлежал к известной московской купеческой семье (см.: Бурыйшкин П. А. Москва купеческая. М., 1990. С. 185—186). После революции эмигрировал во Францию, затем переехал в Англию, где преподавал сначала в Бирмингеме, а потом в Оксфорде. С 1950-го по 1967 год редактировал журнал «Oxford Slavonic Papers». Подробнее о нем см.: Кандыба-Фокс Крофт Е. Профессор С. А. Коновалов (1899—1982). [Некролог] // Новый журнал. 1982. № 149. С. 276—279. Коновалов, в область научных интересов которого входили исторические и культурные взаимосвязи России и Англии, перевел на английский язык раннюю работу Шестова о «Юлии Цезаре» Шекспира. Этот перевод был опубликован в 1928 году в июньском номере журнала «The New Adelphie» (№ 4. P. 348—356). Фраза, выделенная нами курсивом, подчеркнута Ремизовым.

<sup>3</sup> Brown Alec — переводчик. Ему принадлежит перевод на английский язык повестей Ремизова «Пятая язва» и «Неуемный бубен», выпущенный отдельным изданием в 1927 году в Лондоне с предисловием самого Брауна (см.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 92). Какие-либо другие его переводы нам не известны.

<sup>4</sup> См. прим. 22 к п. 97.

179

4.7.28

Дорогой Лев Исаакович

тут я заснул и продолжаю поутру 5-го.<sup>1</sup>

Пишет мне салтан турецкий,<sup>2</sup> что не попадет в Париж до сентября, а потому посылает тебе книжки по почте.

(Тут какое-то недоразумение с С. А. Коноваловым.<sup>3</sup> Говоря с ним, я думал, да так и ты говорил, что он<sup>4</sup> может где-то устроить переводы. Но оказалось, что что-то: либо не сказано, либо пересказано. Я получил от него<sup>5</sup> два письма, в которых он мне советует обратиться к С(вятополк-)Мирскому,<sup>6</sup> Miss Harrison,<sup>7</sup> Соловейчику<sup>8</sup> (три года тому назад обещавший устроить, но без результата) и Лаврину<sup>9</sup> (не от «лавра» происходит, а от другого, два года разговариваем без толку)

Я думаю, что мое английское дело — дело пропащее.

С немецким тоже чего-то не ладится.

Из N(eue) Sch(weizer) Runds(chau) Richner вернул рукопись.<sup>10</sup>

Вернул и Herrigel.<sup>11</sup> Он написал мне, что Frank(furter) Zeit(ung) все забраковало: и перевод(енное) Rosenberg<sup>12</sup> и переводы Бродской<sup>13</sup> (она из Взвих(рени) Руси)

Ты понимаешь, почему схватись и за микроскопический Individualität<sup>14</sup>

Нет ли какого телодвижения от доктора? <sup>15</sup> Подходит пора подумать о лечении для Серафимы Павловны. Или в нынешнем году ничего не выйдет?

Поклон от Серафимы Павловны

[Монограмма-рисунок] <sup>16</sup> (моя летняя подпись)

<sup>1</sup> Так в оригинале. Вероятно, Ремизов заснул, успев написать только дату и обращение.

<sup>2</sup> Кого подразумевает Ремизов, установить не удалось. Турецким послом в Обезвельволпале был М. М. Тер-Погосян (см. прим. 2 и 3 к п. 170). Возможно, здесь именно он «повышен в звании».

<sup>3</sup> См. прим. 2 к п. 178.

<sup>4</sup> Местоимение приписано сверху.

<sup>5</sup> Местоимение приписано сверху.

<sup>6</sup> кн. Д. П. Святополк-Мирский. См. прим. 4 к п. 129.

<sup>7</sup> J. E. Harrison. См. прим. 3 к п. 123.

<sup>8</sup> С. М. Соловейчик — эсер, друг А. Ф. Керенского и его секретарь. В 1920-е годы часто печатал публицистические статьи в редактируемой Керенским газете «Дни». Входил в правление «Союза русских писателей и журналистов в Париже». В начале второй мировой войны покинул Париж. Впоследствии преподавал географию в одном из американских колледжей (см. об этом: Яновский В. С. Поля Елисейские. С. 216).

<sup>9</sup> О ком идет речь, установить не удалось.

<sup>10</sup> Ремизов не совсем точен в оценке состояния своего «немецкого дела». К тому времени в майской книжке этого журнала (1928. № 5) уже был помещен его рассказ «Das Gespenst», а вскоре появилась еще одна публикация (см. прим. 3 к п. 175).

<sup>11</sup> См. прим. 8 к п. 176.

<sup>12</sup> См. прим. 3 к п. 115. Ср. также п. 177.

<sup>13</sup> Кого имеет в виду Ремизов, установить не удалось. Ее переводы из «Взвихренной Руси» нам также не известны.

<sup>14</sup> См. прим. 1 к п. 173.

<sup>15</sup> М. Е. Эйтингон (см. прим. 6 к п. 104). На следующий день, 6 июля 1928 года, Ремизов написал Эйтингону в Берлин. В его послании (оно сохранилось среди писем к Шестову) говорилось: «Дорогой Макс Ефимович. Простите за мое письмо. Может, оно не ко времени. Оба мы благодарны Вам и Мирре Яковлевне (Жена М. Е. Эйтингона. — И. Д., А. Д.) за ваше участие. Только благодаря вам Серафима Павловна могла и в прошлом и в позапрошлом году ехать лечиться. И опять наступает пора и нужно ей проехать в Виши, чтобы укрепиться на зиму — и одна у меня надежда на Вас, на Вашу помощь. Иначе невозможно осуществить никакой поездки. Посылаю вам Gespenst'a — мою берлинскую память, появившуюся по-немецки в N(eue) Schw(eizer) Rundschau. Оба кланяемся Вам и Мирре Яковлевне. [Монограмма-рисунок]. A. Remisof 120 bis Av. Mozart 5 Villa Flore Paris XVI<sup>e</sup>».

<sup>16</sup> См. прим. 22 к п. 97. Говоря далее о «летней подписи», Ремизов подразумевает графическую тенденцию к более выраженной абстрактности рисунка.

## 180

Дорогой Лев Исаакович

Заметь наш новый адрес:

11 Boulevard Port-Royal  
Paris V<sup>1</sup>

Это в зоне Путермана <sup>2</sup> —  
ближайший сосед

кланяемся оба Анне Елеазаровне  
и всему твоему дому <sup>3</sup>

Алексей Ремизов

12 XI 28

PARIS

5 étage à droite <sup>4</sup>

Открытое письмо. Отправлено по адресу: Monsieur Léon Chestov, 1 Rue de l'Alboni, Paris XVI<sup>e</sup>.



<sup>1</sup> Ремизовы переехали на эту квартиру 1 ноября 1928 года (см.: Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому. С. 209 (письмо от 10 ноября 1928 года)) и прожили здесь около двух лет. Об обстоятельствах, побудивших их переменить квартиру, подробно пишет Н. В. Резникова: «В конце 20-х годов Ремизовы стали думать о перемене квартиры: квартира на авеню Мозар стоила слишком дорого. Было очень жалко расставаться с прежней обстановкой и сложившимся бытом. Ремизовы сняли немеблированную квартиру в Латинском квартале, на бульваре Пор-Руаяль, на пятом этаже, купив на выплату немного мебели. Внизу дома был расположен кинематограф. А. М. считал это опасным в смысле пожара, он об этом подробно пишет в главе „Узлы и закруты“ в *Подстриженными глазами*. (...) Квартира на бульваре Пор-Руаяль была новая и не такая уютная, как на авеню Мозар, и жизнь долго не входила в свое русло» (*Резникова Н. В. Огненная память*. С. 91). Ремизов неправильно указывает здесь номер парижского округа: нужно XIII вместо V.

<sup>2</sup> И. Е. Путерман. См. прим. 5 к п. 170.

<sup>3</sup> См. прим. 17 к п. 141.

<sup>4</sup> 5 этаж направо (фр.).

## 181

23 XII 28

Дорогой Лев Исаакович

С(ерафима) П(авловна) условилась: <sup>1</sup> вторник вечером. Но этот вторник — 25 — Рождество — и давно обещано к Буайе. <sup>2</sup> Если можно, просим в пятницу — 28-го вечером.

Оба кланяемся тебе и Анне Елеазаровне  
А. Ремизов

Открытое письмо. На обороте указан адрес Шестова (Monsieur L. Chéstov, 1 Rue de l'Albani, Paris XVI). Здесь же указан новый адрес Ремизова: 11 Bd. Port-Royal Paris XIII (см. прим. 1 к п. 180). Дата на парижском штемпеле соответствует ремизовской. В нижней части письма рисунок Ремизова — типичный Рождественский сюжет в его стиле: елки, месяц, чудища, одно из них запряжено и взнуздано антропоморфным существом, которое, как это часто бывает в ремизовских рисунках, наделено портретным сходством с самим автором.

<sup>1</sup> Перед двоеточием на месте вымаранного слова рисунок: «идущее» зооморфное существо.

<sup>2</sup> П. Буайе. См. прим. 1 к п. 117.

## 182

4.3.29

Paris

(Грачи прилетели)

Дорогой Лев Исаакович

Спасибо тебе за память. И опять я не мог «посмотреть людей». <sup>1</sup> В этот день и у Милюкова <sup>2</sup> были смотрины. И ни к тебе, ни к Милюкову не решился выйти. А хотел с тобой поговорить. Ты знаешь затею Цитрона. <sup>3</sup> Надó как-то уговорить Мережковского: <sup>4</sup> нельзя же не пригласить Бердяева, <sup>5</sup> а Мережковский уперся. Какой же это будет Розанов <sup>6</sup> с предисловием Оцуца, <sup>7</sup> Адамовича <sup>8</sup> и др(угих) здешних критиков

Оба кланяемся Анне Елеазаровне и тебе  
А. Ремизов.

11. Bd. Port Royal  
Paris XIII

<sup>1</sup> 3 марта 1929 года Шестов устроил у себя прием в честь известного немецкого философа, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859—1938), который был его постоянным оппонентом. Подробнее об их взаимоотношениях см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 9—12, 26—29.

<sup>2</sup> Миллюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, политический деятель, один из организаторов партии кадетов и лидер ее левого крыла. В 1917 году был министром иностранных дел Временного правительства. Находился в эмиграции с 1920 года, жил в Париже. Был главным редактором одной из самых крупных и авторитетных эмигрантских газет довоенного времени «Последние новости» (см. прим. 3 к п. 102). Возможно, Ремизов подразумевает под «смотрящими» какой-либо вечер, устроенный Миллюковым в связи с очередной годовщиной «Последних новостей», которые выходили с 1 марта 1920 года. Впоследствии Ремизов посвятил Миллюкову очерк «Встреча (Миллюков)» в книге «Встречи. Петербургский буерак» (С. 279—285).

<sup>3</sup> Цитрон Марк Львович — знакомый и почитатель Шестова. После смерти философа входил в «Комитет по изданию книг Льва Шестова». Подробнее об этом см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 209—210, 213.

<sup>4</sup> Д. С. Мережковский. См. прим. 11 к п. 2.

<sup>5</sup> Н. А. Бердяев (см. прим. 7 к п. 1, прим. 21 к п. 97 и прим. 9 к п. 136). Об отношениях с Мережковским в период эмиграции Бердяев писал: «Я живу в Париже более 20 лет. (...) И тут жили в это же время люди, с которыми я был связан в прошлом, с которыми был даже близок. Но у меня не было общения и почти не было даже встреч с этими людьми моего прошлого. (...) С Мережковским я не встречаюсь долгие годы. Мережковский писал против меня грубые статьи» (*Бердяев Н. А. Самопознание*. С. 267).

<sup>6</sup> О каком издательском проекте идет речь, установить не удалось. В начале 30-х годов «розановская тема», заявленная на страницах журнала «Версты» (см. прим. 6 к п. 154), была подхвачена «Числами». 29 января 1930 года состоялся открытый вечер «Чисел», посвященный Розанову. С докладами выступили Б. Ф. Шлёцер (он прочел также отрывки из своих переводов «Уединенного» и «Апокалипсиса нашего времени», выполненных совместно с В. Познером) и Лев Шестов, а в прениях принимали участие Н. А. Бердяев и Г. В. Адамович (см. об этом: [Б. л.] Вечера «Чисел» // *Числа (Париж)*. 1930. № 1. С. 252—253). В первом номере «Чисел» была помещена анонимная заметка «Rozanoviana», в которой сообщалось: «В. В. Розанову посвящены: В 1922-м году глава в книге Д. С. Мережковского „Sur le chemin d'Emmaüs“, édition Bossard. В том же году — статья Берифельда в „Grande Revue“. В 1929-м году, в ноябре, статья Бориса Шлецера в „Nouvelle Revue Française“. В том же году напечатаны отрывки из „Апокалипсиса наших дней“ в переводе Б. Шлецера и В. Познера в осенней книжке „Сопmerge“. Готовятся „Уединенное“ и „Апокалипсис наших дней“ в переводе тех же авторов отдельной книгой у „Ploп“ (Числа (Париж)). 1930. № 1. С. 254). Последнее из указанных изданий вышло в 1930 году с предисловием Б. Ф. Шлёцера. Кроме того, в 1929 году в берлинском издательстве «Rossica», были републикованы «Опавшие листья» Розанова.

<sup>7</sup> Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, литературный критик. Эмигрировал из России в 1922 году. В 1930—1934-м годах издавал и редактировал (первые четыре номера совместно с И. В. Манциарли) периодические сборники «Числа» (вышло всего десять номеров), идейно связанные с кружком Мережковских «Зеленая лампа» (см. об этом: *Струве Г. П. Русская литература в изгнании*. С. 214; *Толстой И. Курсив эпохи: Литературные заметки*. СПб., 1993. С. 143). И Ремизов, и Шестов публиковали свои произведения в «Числах».

<sup>8</sup> Адамович Георгий Викторович (1894—1972) — поэт, самый авторитетный критик русского зарубежья, законодатель литературного вкуса. Эмигрировал в 1923 году. Публиковал в сборниках «Числа» (см. прим. 7 к наст. п.) свои стихи и критические статьи. Сочувственно относился к творчеству Ремизова и Шестова. Посвятил им главы в книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955).

183

7.7.29  
(24. 6) <sup>1</sup>  
PARIS

Дорогой Лев Исаакович

Зеелера <sup>2</sup> зовут Владимир ФеофиловичW. Zeeler  
11 Rue Claude Lorrain  
PARIS XVIживет в одном доме  
с Зайцевым <sup>3</sup>  
Вишняком <sup>4</sup>  
и Мокеевым <sup>5</sup>  
а в соседях с Алдановым <sup>6</sup>Человек он почтенный, а ростом  
выше тебя, секретарь Союза Журналистов <sup>7</sup>  
и Земгора <sup>8</sup>организатор «голодной пятницы» <sup>9</sup>

Ты ему вот про пятницу что-нибудь и надпиши

Мол не та Пятница из Робинзона,

а Учреждение для покинутых детей

Если увидишь Ръзини <sup>10</sup> (должно быть, ъ пишется)  
скажи ему: есть у меня небольшая завитушка в 8000 букв. (200 газетных строчек)Называется: «тайна Гоголя». <sup>11</sup>Если они собирают матерьял для русского  
журнала, это им подойдет, и пускай  
бы брали, пока есть, а то отдам  
куда, лишь бы не лежала. А еще и  
то, что хоть сколько-нибудь получу —  
гонорар.

Алексей Ремизов

Оба кланяемся тебе

<sup>1</sup> Ремизов намекает на свой день рождения.<sup>2</sup> Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954) — журналист, секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже, среди прочего ведал сбором благотворительных средств на нужды бедствующих в эмиграции писателей.<sup>3</sup> Б. К. Зайцев. См. прим. 2 к п. 97.<sup>4</sup> М. В. Вишняк. См. прим. 9 к п. 97.<sup>5</sup> Вероятно, имеется в виду Николай Васильевич Макеев (1889—?), литератор, критик, автор статьи против «Верст» в газете «Дни» (см. прим. 22 к п. 165). «Критик Мокеев» упоминается в ремизовском ответе на анкету «Для кого писать» (Числа (Париж). 1931. № 5. С. 283—285).<sup>6</sup> Алданов Марк (наст. имя Ландау Марк Александрович; 1886—1957) — прозаик, чрезвычайно плодовитый и популярный романист. Находился в эмиграции с 1919 года.<sup>7</sup> Подразумевается Союз русских писателей и журналистов в Париже.<sup>8</sup> Так сокращенно называлось Объединение городских и земских деятелей за границей.<sup>9</sup> Речь идет о благотворительной акции, организованной газетой «Последние новости» совместно с Земгором. 13 апреля 1927 года в редакционной заметке «Голодная пятница» сообщалось: «В пятницу 15 апреля все русские — работающие отдадут свой обед русским — безработным. К добровольной голодовке уже начали готовиться. В редакцию „Последних Новостей“ уже поступила стоимость „обеда в пятницу“ от следующих лиц (...)» (Последние новости (Париж). 1927. 13 апр. № 2212. С. 3). Идея «голодной пятницы» принадлежала читателю «Последних новостей» Сергею Идину, который предложил ее в письме к П. Н. Милюкову (см. об этом: Идин С. Открытое письмо П. Н. Милюкову (Ответ на «Спасибо») // Последние новости (Париж). 1927. 21 апр. № 2220. С. 2). Акция продолжалась в течение месяца (до 15 мая). Благотворительный сбор составил 71.953 франка. Кроме того, по призыву «Последних новостей» к ней присоединились русские рестораны, организовавшие ежеднев-

ную раздачу бесплатных обедов безработным. Одновременно проходил предпасхальный сбор пожертвований «На красное яичко» в пользу русских детей-сирот из обители «Нечаянная Радость». Среди принимавших участие в этой акции было много детей состоятельных эмигрантов.

<sup>10</sup> По-видимому, журналист, переводчик и предприниматель Николай Рейзини (наст. имя Наум Георгиевич Рейзин; 1902—1979?), который, по свидетельству В. С. Яновского, способствовал возникновению «Чисел» и одно время значился в рекламных объявлениях как редактор философского отдела (см.: *Яновский В. С. Поля Елисейские*. С. 235, 236).

<sup>11</sup> Вскоре это эссе Ремизова было опубликовано в журнале «Воля России» (1929. № 8/9), а затем под другим названием («Природа Гоголя») включено в его книгу «Огонь вещей» (Париж, 1954. С. 115—119).

## 184

10.7.29

PARIS

Дорогой Лев Исаакович

Спасибо. Получил твое письмо вовремя, но никак не могли: в этот вечер ждали Цветаеву <sup>1</sup> и Ефрона <sup>2</sup>

Узнал точно, что Рѣзников <sup>3</sup> и Рѣзини <sup>4</sup> с ъ и что Рѣзини едва ли самостоятельно может что-нибудь принять для русского журнала

Оба кланяемся тебе

Алексей Ремизов

Между прочим, появился новый писатель:

Ремезенко, <sup>5</sup> пишет у Струве: <sup>6</sup> большой политик и с задором.

Людей неопытных уверяю, что это я пишу — мои публицистические опыты.

<sup>1</sup> М. И. Цветаева. См. прим. 8 к п. 141.

<sup>2</sup> С. Я. Эфрон. См. прим. 10 к п. 141.

<sup>3</sup> Резников Даниил Георгиевич — муж Наталии Викторовны Резниковой (в девичестве Черновой).

<sup>4</sup> См. прим. 10 к п. 183.

<sup>5</sup> Кого подразумевает здесь Ремизов, установить не удалось.

<sup>6</sup> П. Б. Струве. См. прим. 13 к п. 17 и прим. 4 к п. 136.

## 185

31.7.29

PARIS

Дорогой Лев Исаакович

Пишу тебе о делах скучных: благотворительного веяния  
воздухов

НЕ ощущается

7-го июля написала Серафима Павловна

письмо Мирре Яковлевне, <sup>1</sup> а ответа нет

как это все понять?

не слыхал ли чего?

Я уверен, что письмо переслали (адресовано в Германию на  
адрес, который ты дал)

ПОТОМУ Я ТАК СЕЙЧАС

ЗАДУМАЛСЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НАДО ЕХАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ

Оба кланяемся тебе. Напиши, что узнаешь

А Рѣзини <sup>2</sup> не приходил.

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> М. Я. Эйтингон. См. прим. 13 к п. 120.

<sup>2</sup> См. прим. 10 к п. 183.

186

10.8.29  
PARIS

Дорогой Лев Исаакович

оба поздравляем тебя <sup>1</sup>

Что в среду 14-го удобно тебе вечером?

Боюсь, что мое дело не выйdet в журнале: <sup>2</sup> Оцуп, ведь, при Мережковских, <sup>3</sup> стало быть, я буду, под знаком. <sup>4</sup> Тебя-то побоятся, а со мной чего ж стесняться. А какая твоя книга богатая <sup>5</sup>

Может быть, мне лучше подождать и не соваться пока что.

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> По-видимому, Ремизов поздравляет Шестова с событием в его семье — 3 августа 1929 года старшая дочь Шестова Татьяна вышла замуж за инженера-оптика Валентина Григорьевича Дудкина (1900—1965).

<sup>2</sup> Подразумеваются периодические сборники «Числа».

<sup>3</sup> См. прим. 7 к п. 182.

<sup>4</sup> Ремизов намекает на фактический разрыв с Мережковскими во второй половине 20-х годов, причиной которого стало его «ближайшее участие» в журнале «Версты». См. об этом в письмах З. Н. Гиппиус к С. П. Ремизовой-Довгелло от 16 и 29 сентября 1930 года (*Lampl H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello. S. 176—178*). Осенью 1930 года отношения с Мережковскими были восстановлены. Однако опасения Ремизова отчасти подтвердились, так как мелкие конфликты с редакторами этого издания все же возникали, правда уже без участия Мережковских. Так, например, 14 октября 1930 года разочаровавшаяся в «Числах» Гиппиус писала С. П. Ремизовой-Довгелло: «Прелесть нашей „прессы“ и ее руководителей я испытала на себе. Но все же меня удивляет то, что вы пишете насчет А. М. Особенно же изумительны Оцуп и Числа. Потеря небольшая, конечно, платят там буквально гроши; и такую мерзость печатают (от 2-го № я чуть в обморок не упала) что они должны бы на коленях выпрашивать что ниб[удь] у А. М., а не так глупо вести себя. „Зловредного“ в Числах ничего нет, и не предвидится; но в смысле литературы... я от них такой книги, как этот №, даже не ожидала» (*Ibid. S. 179*). Между тем Ремизов опубликовал здесь свои произведения в 1931-м и 1933 году (см.: *Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. P. 160*).

<sup>5</sup> В конце мая 1929 года парижское издательство журнала «Современные записки» выпустило книгу Шестова «На весах Иова». Несколько днями ранее немецкий перевод этой книги («Auf Hiob's Waage»), выполненный Н. Ruoff'ом и R. von Walter'ом, вышел в берлинском издательстве «Lambert—Schneider». Трудно определить, какую из этих книг имеет в виду Ремизов.

187

19.VIII.29  
PARIS

Дорогой Лев Исаакович

Я написал доктору, <sup>1</sup>(а раньше послал книги) что временно <sup>2</sup>(самое больше(е) до 26-го августа) едем в Росков <sup>3</sup>

<p>A. Remisof Hôtel Angleterre Roscoff (Finistere)</p>
--

А оттуда С(ерафима) П(авловна) лечиться. И прошу его, ссылаясь на наше свидание, [нрзб. 1 сл.]

С отелями в Rougue списываемся. Одно горе, к какому там доктору обратиться. И не знаю, как это узнать. Если узнаешь, напиши ОТКРЫТКУ в Росков. Очень буду тебе благодарен.

Оба кланяемся тебе

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> М. Е. Эйтингон. См. прим. 6 к п. 104.

<sup>2</sup> Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>3</sup> Росков (Roscoff) — один из городков Бретани, где Ремизовы отдыхали с конца 20-х годов. Об этих поездках на Атлантический океан см.: Ремизов А. Учитель музыки. С. 267—287 (глава «На крайний камень»).

## 188

27.8.29

Hôtel Angletterre  
Roscoff<sup>1</sup> (Finistère)

Дорогой Лев Исаакович

В Роскове<sup>2</sup> чудесно, но время подходит: надо С(ерафиме) П(авловне) ехать лечиться. Не знаю, как быть: от доктора<sup>3</sup> нет вестей. Я просил его, как я тебе писал, прислать в Росков, писал ему также, что в Роскове буду ждать и, получив деньги, ехать на лечение. Сегодня 27-ое. Не получив денег, невозможно тронуться в путь.

Если тебя запросят, подтверди адрес: Hôtel Angletterre и скажи:  
Roscoff (Finistère) что жду —  
и тогда только  
уедем.

Поклон от Серафимы Павловны.

Алексей Ремизов

<sup>1</sup> Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>2</sup> См. прим. 3 к п. 187.

<sup>3</sup> М. Е. Эйтингон. См. прим. 6 к п. 104.

## 189

6.IX.29

Roscoff  
(Hôtel Angletterre)  
Finistère

Дорогой Лев Исаакович

Вчера получил от доктора<sup>1</sup> 10L (фунтов — 1.200 frs). Сегодня и ему пишу. Не мог вчера, совсем сбился с ног. Захворал и стал выкаживать(ся), заболела С(ерафима) П(авловна). Если бы дома, все знаю, как делать, а тут в отеле. Сегодня ей легче и заснула.<sup>2</sup> Но все-таки лежать придется. И не могу сообразить, как дальше: сегодня уже 6<sup>00</sup>. Время идет. Третья неделя, как в Роскове,<sup>3</sup> а ведь думал, что на неделю.

Кланяюсь Анне Елеазаровне

А. Ремизов.

<sup>1</sup> М. Е. Эйтингон. См. прим. 6 к п. 104.

<sup>2</sup> Два слова вставлены сверху.

<sup>3</sup> См. прим. 3 к п. 187.

190

## ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОЧЕТНЫЙ БИЛЕТ

billet de faveur<sup>1</sup>[Монограмма-рисунок]<sup>2</sup>

Льву Исааковичу ШЕСТОВУ

на пятницу 4-го апреля<sup>3</sup>

43 Hôtel Lutétia

9 ч(асов) в(ечера)

Прошу Анну Елеазаровну, Таню, Наташу<sup>4</sup>

Между первой и третьей строкой перед фразой по-французски пометка рукой неустановленного лица: «[4.4.1930]».

<sup>1</sup> бесплатный (льготный) билет (фр.). Ср. прим. 2 к п. 167.

<sup>2</sup> См. прим. 22 к п. 97.

<sup>3</sup> Речь идет о шестом по счету литературном вечере Ремизова в Париже. В хронике культурной жизни русской эмиграции во Франции, составленной Мишелем Бейсаком (см.: *La vie culturelle de l'émigration russe en France. Chronique (1920—1930)* Michèle Beussac. Paris: Presses universitaires de France, 1971), сообщается следующее: «Вечер А. Ремизова с участием автора. Писатель читает из книги „Взвихренная Русь“, рассказы, выдержки из романа „1200“ и из книги „Звезда Надзвездная“. Вечер проводится в гостинице „Лютеция“» (цит. по: *Костиков В.* Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. С. 439; в этом издании опубликован перевод отрывка из книги Бейсака, а именно хроника 1930 года). Однако этот вечер датируется здесь не 4 апреля, а 2 мая. Лакуны в отечественном собрании эмигрантской периодики не позволили нам уточнить эту информацию.

<sup>4</sup> А. Е. Березовская-Шестова, Т. Л. Ражо, Н. Л. Баранова-Шестова (см. прим. 2 к п. 33). Обращенная к ним просьба посетить литературный вечер является частью рисунка (автопортрет Ремизова, произносящего эту фразу, выдержанный в технике комикса). В оригинале он помещается в левом верхнем углу.

191

6.5.30

Paris

A. Remisof

11 Bd. Port-Royal

Paris XIII

Дорогой Лев Исаакович

Хотел написать тебе веселое письмо на византийские темы — события последней недели. А вот приходится о печальном. С квартирой у нас большие неприятности и надо думать, куда переезжать. Но тут судьба уж, другого объяснения не придумаю. Лютует консьержка,<sup>1</sup> и не ворчком, как это принято, а с таким визгом налетает и так неожиданно, что не только французские, а будь<sup>2</sup> и русские слова — понять трудно. Вот создалось какое положение. Конечно, в самой основе причины посторонние: есть какой-нибудь выгодный, посуливший большие деньги, стало быть, и надо кого-то согнать, вот и начинается осада. Теперь и новая еще забота: квартира. А надо непременно куда-нибудь уехать. Я дурею от головной боли, и бунтует печень. Это я про себя. И Серафиме Павловне само-собой нужно. И ехать уж вместе.

Между прочим, нашел у Тургенева напоминающее тот хороший слог, которому тебя учили: это из Клары Милич<sup>3</sup> (1882. X)

«Первым на эстраде явился флейтист и престарательно проплевал... то-бишь! просвистал пьеску»

Стало быть, в те времена так было принято!

Какая мне неудача: написал Б. Ф. Шлецеру<sup>4</sup> — написал на случай о книге: у меня есть неизданные хорошие переводы, отвергнутые по причине «попугаевой болезни».

А на другой день читаю, как попал он под автомобиль, и делит горькую участь Шюзвиля<sup>5</sup> и<sup>6</sup> Андре Левинсона<sup>7</sup>

При первом просвете напишу. Очень сейчас смутился

Кланяется Серафима Павловна

От обоих нас поклон Мирре Яковлевне и Максу Ефимовичу.<sup>8</sup>

А. Ремизов

<sup>1</sup> Об этом конфликте с консьержкой подробно рассказывает в своих воспоминаниях Н. В. Резникова: «Кто-то из знакомых принес поздно вечером книгу для Ремизовых и передал консьержке. Она поднялась к ним утром раздраженная и, выйдя из себя, стала грубо кричать. А. М. попытался объясниться с нею. „И тут вот она на меня набросилась. Я видел только: сжатые кулаки и глаза, готовые оловом выплюнуться — такое было у нее иступление. Она кричит, будто когда она подала мне книгу, я сказал ей «зют» — и уже не кричит, а взвизгивает и таким взвизгом, что будь у нее под руками ключ или совок или еще что, долбанула бы» (...) А. М. даже не знал значения слова „зют“ («идите к чорту!»). Несколько дней Ремизовы жили как в осадном положении. Через некоторое время два почтенных, хорошо говоривших по-французски друга Ремизовых вступили в переговоры с потерявшей голову разъяренной женщиной. Она высказала причину своего недовольства: Ремизовы часто принимали гостей, иногда поздно вечером, а главное, мадам Ремизов, здороваясь с нею, никогда не улыбалась. (...) Инцидент был кое-как улажен, но Ремизовым было тяжело жить в постоянном напряжении и они стали искать другую квартиру» (*Резникова Н. В. Огненная память*. С. 91—92). Вскоре они переехали в Булонь. Уже 13 июля 1930 года Ремизов сообщил свой новый адрес Г. Д. Реву (см.: ПИБ. Ф. 634. Ед. хр. 30. Л. 4). Это происшествие описано им в рассказе «Индустриальная подкова» (впервые: Числа (Париж). 1931. № 5. С. 108—143; впоследствии под названием «Zut» был включен в книгу Ремизова «Учитель музыки» (С. 123—160)).

<sup>2</sup> Слово вставлено сверху.

<sup>3</sup> Имеется в виду повесть И. С. Тургенева «Клара Милич» (1882; другое название «После смерти»). По свидетельству Н. В. Резниковой, Ремизов «изучал литературу XIX-го века. Делал выписки того, что его поражало и, хотя бы в кратком изложении, вводил в свои произведения — часто в виде литературных анекдотов» (*Резникова Н. В. Огненная память*. С. 115). В начале 30-х годов он много работал над творческим наследием Тургенева. О результатах его художественных изысканий см. прим. 13 к п. 146.

<sup>4</sup> См. прим. 7 к п. 114.

<sup>5</sup> Шюзевиль Жан — поэт, критик, переводчик. Упоминается Ремизовым в ироническом контексте в книге «Мышкина дудочка» (С. 41).

<sup>6</sup> Союз вставлен сверху.

<sup>7</sup> Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — искусствовед, литературный и театральный критик, публицист, философ.

<sup>8</sup> М. Я. и М. Е. Эйтингоны (см. прим. 13 к п. 120 и прим. 6 к п. 104). 22 мая Шестов отправился в Германию, чтобы прочесть доклад «Скованный Парменид» на немецком языке во Франкфуртском университете. После краткого лекционного турне он приехал в Берлин, где поселился у Эйтингонов. См. об этом: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова*. Т. II. С. 270.

192

12—13 II 1936

Дорогой Лев Исаакович

Поздравляю тебя со днем твоего рожденья — с СЕМИДЕСЯТОЙ ВЕСНОЙ<sup>1</sup>

Приду в 4-е

Если тебя не будет дома, выставь записку на двери,  
чтобы зря не ломиться

Кланяюсь Анне Елеазаровне и поздравляю

А. Ремизов.<sup>2</sup>



Дорогой Лев Исаакович, поздравляю Вас, дай Вам Бог здоровья. Я читаю сегодня лекцию<sup>3</sup> от 6—7, поэтому не могу прийти.

Привет и поздравление Анне Елеазаровне

С. Ремизова-Довгелло.

<sup>1</sup> 13 февраля 1936 года Шестову исполнилось семьдесят лет. Это событие, в отличие от шестидесятилетнего юбилея, действительно отмечалось не камерно, а публично. 14 марта 1936 года Русский Академический союз во Франции устроил торжественное чествование Шестова (см.: Последние новости (Париж). 1936. 14 марта. № 5469). В печати появились юбилейные публикации, в том числе и статья Ремизова «Лев Шестов» на французском языке в парижском журнале «Niprocate» (1936. № 2).

<sup>2</sup> Далее следует приписка рукой С. П. Ремизовой-Довгелло.

<sup>3</sup> См. прим. 3 к п. 150.

А. И. Михайлов

**«...НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ПИСАТЕЛЯ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ  
„ЛИТЕРАТУРНОГО СМЕРТНИКА“...»**

(ДВЕ ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ СЕРГЕЯ КЛЫЧКОВА)

Едва ли найдется в истории русской литературы пример, когда поэт не обращался бы к публицистике. И причины для этого бывали самые разные. Однако случай обращения к ней С. А. Клычкова (1889—1937), одного из крупнейших новокрестьянских поэтов, представленный двумя его публикуемыми ниже статьями, настолько своеобразный, что его вполне можно отнести на счет особых условий как в истории творчества писателя, так и в истории самой страны.

Прежде всего необходимо отметить явную нехарактерность самого публицистического жанра для этого лирика. Ни о какой публицистике не помышлял он на протяжении всего первого десятилетия своего творческого пути (1910—1921), ознаменованного выходом в свет пяти книг его стихотворений: «Песни» (1911, фактически — 1910), «Потаенный сад» (1913, 1919), «Дубравна» (1918), «Кольцо Лады» (1919). И только с начала 1920-х годов в жанровом репертуаре поэта, лирика по преимуществу, намечается насущная потребность в его расширении. Главным образом это активная и плодотворная реализация назревших прозаических замыслов. Один за другим выходят в свет его романы «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1927). Переход от лирики к ним мотивировался ростом творческого и исторического сознания писателя.

В первых поэтических книгах Клычкова предстает некое гармоническое царство земледельческой Руси, скорее в своей языческой, нежели христианской ипостаси. Не случайно их образная система и вся музыкальная организация так глубоко пронизаны символикой и магией календарной обрядовой поэзии. И этим клычковский мир органически вписывается в русскую поэзию начала XX века, в которой предчувствием приближающихся глобальных катаклизмов порождалось стремление к утверждению некоего незыблемого (разумеется, внеисторического) мира гармонии и красоты. Таково было лазурное царство блоковской «Прекрасной Дамы», мифически-языческий мир «Вилы и лешего» у В. Хлебникова, «избяной космос» Н. Клюева, деревенская («голубая») Русь Есенина, «Деревня» П. Радимова. Включается в круг этих гармонически-цельных миров русской поэзии «серебряного века» и земледельчески-календарный мир Клычкова, с наибольшей полнотой и

ясностью запечатленный им в цикле стихотворений «Кольцо Лады» (1913, издан отдельной книгой — 1919).

Человек и природа предстают здесь в неразъединимом контакте. Не случайно для воплощения их созидательного единства поэту вполне хватило всего лишь двух основных образов, на которых держится этот мир, — Деда и Лады. Но зато образы эти далеко не простые. Дед — это и умудренный «производственным», земледельческим опытом старик крестьянин, и вещей старец, проникший в тайны природы, и носитель этих тайн — некое мифическое существо (в первом варианте цикла). Лада — это крестьянская девушка, оправдывающая свое имя «великая богиня весенне-летнего плодородия и покровительница свадеб, брачной жизни».<sup>1</sup> Такими же полулюдьми-полуоборотнями предстают и немногие другие окружающие их образы — Купава, масленичный дед, масленичный парень.

Клычковский мир периода «Кольца Лады» вообще малолюден. Поэту, всецело отдавшемуся грезе о гармоническом бытии, которое он как романтик склонен был все-таки более соотносить с прошлым, чем с будущим,<sup>2</sup> вполне хватает общения с природой, мелькающими в ней мифическими существами, да иногда встречающимися ему в его бродяжничестве по «призрачной Руси» «странниками» и «странницами». В целом же основным героем этого мира выступает сам поэт — его «очарованный странник». Не случайно другой ипостасью этого гармонического мира, уже без всякого его земледельчески-мифологического эпоса, является в поэзии Клычкова 1910-х годов уже чисто лирический мир «потаенного сада» (название второй книги стихов поэта — 1913) как осуществленной актом поэтического творчества идеальной модели не достигнутого пока еще на земле бытия. Это райский сад, существующий пока еще только в творческом сознании поэта.

Однако как личный жизненный опыт поэта, так и тем более опыт самой текущей истории далеко не предрасполагали к тому, чтобы безмятежному царству «Кольца Лады» и «Потаенного сада» можно было продолжаться и дальше. С первых же дней начавшейся летом 1914 года войны Клычков попадает под общую мобилизацию (18 июля по ст. ст.) и направляется в 727-й Zubовский полк в Гельсингфорс (Хельсинки). Уже в октябре он присылает оттуда в редакцию миролюбивского «Ежемесячного журнала» (Петроград) два стихотворения, свидетельствующие о первом, «вынужденном» обращении музы поэта к противоположенной ей доселе злободневности. Это «Походная песня» и «Песня про Вильгельма» (кайзера), записанные как бы с голоса самих русских солдат, преимущественно крестьян.<sup>3</sup> Самого же поэта, недавнего «очарованного странника», уводят дороги войны, дороги труднейших для России испытаний все дальше и дальше от его безмятежного царства «Кольца Лады» и «Потаенного сада». Во второй половине 1916 года его переводят на западный фронт, в батарею 4-го осадного артиллерийского полка, где ему открывается сущий ад окопной жизни. Этого было уже достаточно, чтобы задуматься над трагедией современной России, а главное, лицом к лицу увидеть

<sup>1</sup> Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 407.

<sup>2</sup> Об удивительной способности Клычкова воссоздавать в своей лирике мироощущение забытой старины высказывались современники поэта. По словам П. А. Журова, он в силу этого является поэтом, «богатым давними отложениями памяти в крови» (*Журов П. А. Лесная тропа, 1920-е гг. // ИРЛИ. Р. 1. Оп. 8. № 32*), а А. К. Воронский советовал К. Л. Зелинскому послушать в стихах Клычкова, «как говорит Русь шестнадцатого века» (*Зелинский К. На рубеже двух эпох. М., 1962. С. 182*).

<sup>3</sup> В «Ежемесячном журнале» «песни» опубликованы не были. «Походная песня» в несколько измененном виде позже была включена Клычковым в роман «Сахарный немец» (1925). В настоящее время обе «песни» с прилагаемым к ним письмом автора к В. С. Миролюбову опубликованы в книге «Из творческого наследия советских писателей» (Л., 1991).

крестьян отнюдь не в зыбкой дымке полумифических существ, а в многообразии лиц реальных, одетых в солдатские шинели мужиков, тоскующих об оставленных семьях, горюющих об остающемся неубранном урожае. Однако свои стихи поэт не спешит наполнять раздумьями об открывшейся ему суровой правде жизни, мучительными образами страждущей России. Свой военный опыт он откладывает для воплощения в прозе на неопределенное будущее, а лирику оставляет для более важного и существенного, что открылось ему в эти же годы, а именно для выражения своего глубокого предчувствия обреченности крестьянской, патриархальной России. Этому всецело посвящает он сборник стихов «Дубравина» с его характерно озаглавленными разделами: «Облак светлолицый», «Прощальное сияние», «Предчувствие», многие стихотворения которого публиковались в дореволюционной еще периодике («Заветы», «Ежемесячный журнал» и др.). Здесь уже по своей «лесной сторонке» поэт-странник проходит, любуясь ее светлым ликом как бы в последний раз...

И думаю: кончится сказка,  
Погаснет пастуший гудок, —  
Замолкнет волынка подпаска,  
Зальется фабричный гудок!..

(«Подпасок»)

Опережая на несколько лет Есенина, заявившего о себе в 1920 году как о «последнем поэте деревни», Клычков первым включает национально-русский образ березы в трагическую цепь ассоциаций, связанных с темой прощания, ухода, гибели, отпевания:

Слушай, сердце, по-вечеру слушай  
Похоронную песню берез!..

Этот мотив пройдет в дальнейшем через все последующие книги клычковской лирики, конкретизируясь и раскрываясь в темах душевного оскудения человека и природного оскудения мира, страдающего под нашествием технического прогресса, урбанизации.

По возвращении в первой половине 1917 года с фронта поэт активно участвует в общественно-литературной деятельности. Осенью 1918 года начинается его служба в канцелярии Московского пролеткульта. Одновременно он (совместно с С. Есениным, П. Орешниковым, А. Белым и Л. Повицким) создает издательство «Московская Трудовая Артель Художников Слова» (МТАХС), выпустившее все его книги стихов 1918, 1919 годов. В его творчество проникает революционная тематика. В 1918 году совместно с Есениным и поэтом-пролеткультовцем М. Герасимовым он пишет текст известной «Кантаты», исполнявшейся 7 ноября 1918 года при открытии на Красной площади мемориальной доски, посвященной жертвам революции. В этом же году в соавторстве с Герасимовым, Есениным и Н. Павловым им создается явно носящий печать социального заказа киносценарий «Зовущие зори» (о ведущей роли рабочего класса в революции). В 1922 году он становится литературным секретарем отдела прозы в журнале «Красная новь», каковым и пребывает до середины 1927 года. Он активный участник вечеров и собраний литературных объединений Москвы. Его стихи и проза обильно печатаются в периодических изданиях, выходят отдельными книгами. И все-таки он по-прежнему остается художником ярко выраженной и последовательно разрабатываемой во всех жанрах своего творчества крестьянской направленности. И это накладывает отпечаток и на его общественную деятельность. Еще в 1918 году, в бытность своей службы в Пролеткульте, он вместе с Есениным, Орешниковым и С. Коненковым безуспешно пытается образовать при нем «крестьянскую секцию». В

октябре 1925 года он ставит свою подпись под заявлением группы крестьянских поэтов и писателей «об уделении со стороны рабоче-крестьянской власти внимания» к их «творческим достижениям» и организационной самостоятельности, прежде всего в издании своих книг.<sup>4</sup>

Подобная общественная активность предполагала, казалось бы, и к не менее активному развитию в литературной деятельности писателя публицистического журнала. Но этого, однако, до самого конца 1920-х годов не происходит. Публицистика Клычкова вплоть до публикуемого ниже материала исчерпывается лишь небольшой статьей «К скульптурам Коненкова» (1918), рецензией на сборник пролетарских поэтов «Завод огнекрылый» (1918), да статьей «Утверждение истины» (1922), перепечатанной в 1923 году с некоторыми изменениями и дополнением под названием «Лысая гора». В ней давалась с точки зрения исповедуемого поэтом «пушкинской ясности» оценка современному поэтическому парнасу, без надобности мудрствующему над усложнением мира и средствами его выражения.

Вся насущная творческая потребность всецело поглощалась его лирикой и прозой. В лирике, в трех последних книгах стихов Клычкова «Домашние песни» (1923), «Талисман» (1927), «В гостях у журавлей» (1930), находило глубокое и искреннее выражение трагическое мироощущение русского человека, находящегося на исторической распутице, при прощании с «Русью уходящей», с обрекаемой на слом, существовавшей веками и кормившей хлебом не только свою страну, но и Европу русской деревней.

В романах же (пора сказать теперь несколько слов и о них) к крестьянскому миру и духовным основам национального бытия писатель подходил уже с масштабами художника-мыслителя, задавшегося целью, во-первых, создать некий памятник завершившей свое существование самой земледельческой страны, а во-вторых, разгадывая дальнейшую судьбу России, заглянуть в духовные тайники ее народной жизни (проблема славянофилов и только что недавно выдворенных из России, за их ненужностью и «вредностью», русских религиозных философов XX века). Таких «крестьянофильских» романов из целой задуманной им серии Клычкову удается написать и опубликовать только три: «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира». И хотя писатель был полон замыслов, дальше «Князя мира» задуманная им «трилогия трилогий» не пошла и не могла пойти. Успевшие же выйти романы были подвергнуты в конечном итоге разгрому, и путь писателя к осуществлению главной цели своей жизни был закрыт. Тогда-то и пришло время высказаться клычковской публицистике во всей ее трагической подлинности и силе.

Наметившаяся уже с начала 1920-х годов тенденция со стороны генеральной идеологической линии, т. е. линии ВКП(б) к остракизму творчества новокрестьянских писателей развертывается теперь в неистовую кампанию борьбы против них. Впрочем, правильнее сказать, не борьбы, а травли, о чем и свидетельствует публикуемый ниже материал. Из поэтов «крестьянской купницы» после смерти в 1924 году А. Ширяева и гибели в следующем 1925 году А. Ганина и С. Есенина остаются в живых еще Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин и близкий им по своим первым книгам стихов П. Радимов. По ним вкупе с покойным Есениным (тем более, что это был также еще и период ожесточенной кампании против «есенинщины») и сосредоточивается огонь критики, бдительно ставшей на стражу идеологической чистоты советской литературы, на которую возлагалась почетная обязанность всемерно содействовать построению нового общества. Предсудитель-

<sup>4</sup> См.: Базанов В. В. Эпизод из истории создания литературных объединений крестьянских писателей // Русская литература. 1972. № 3. С. 167.

ными объявляются поэтизация исконной русской деревни (вместо ее осуждения), проникнутость образной системы религиозным мирозерцанием (вместо осуждения религии, как пособствующей эксплуатации трудящихся), любовь к национальным истокам искусства (как проявление великодержавного шовинизма), ненависть к городу (как оплоту революционного преобразования страны), а также исполненное коварной хитрости маскирующегося «классового врага» устранение от показа «успехов» в строительстве новой, социалистической («колхозной») деревни и осуждения кулака.

На Клычкова при этом обрушиваются несомненно самые сосредоточенные и обдуманые удары. Если едва ли не с первых лет революции для стоящей «на страже» критики давно уже стало привычным безнадежно «долбать» окончательно закосневшего в своей реакционности Клюева, от которого не приходится ничего уже больше ожидать, то неожиданное и столь стремительное обращение Клычкова к прозе, принесшее к тому же блестящие литературные плоды, заставило ее поначалу озадачиться (не смена ли это идейных позиций?) и только затем разглядеть ее «враждебность» строительству новой жизни и взять соответствующий курс на ее оценку. В самом деле, первый этап критического осмысления всех трех романов Клычкова определялся вполне положительными отзывами и исследованиями А. В. Луначарского, А. К. Воронского, В. П. Полонского или двойственными со стороны А. М. Горького, Д. А. Горбова, А. З. Лежнева, Г. Е. Горбачева, В. П. Правдухина, Г. Лелевича и др. И только затем право сказать о них самое последнее и решительное слово переходит к О. М. Бескину, Б. С. Ольховому, Г. А. Медынскому, М. И. Беккеру, Е. Ф. Усиевич и др. И слово это оказалось для писателя зловецим и роковым.<sup>5</sup>

Несколько странным, парадоксальным кажется на первый взгляд тот факт, что после этих, выносящих по сути дела Клычкову смертельный приговор, «прокурорских» суждений о его творчестве ему еще дважды была предоставлена возможность выступить с ответным «защитительным» словом. Как расценивать это «великодушие» к «врагу» со стороны могущественной репрессивной идеологии, прокурорами которой и выступали подобные Бескину и Ольховому критики? Меньше всего ответное слово Клычкова и следующие за ним якобы «резюме» от редакции следует рассматривать как выступления спорного, полемического характера, как долгое время было принято считать. Время-де было такое — время горячих литературных схваток, неистовых сшибок разных точек зрения и пр. и пр. И поди разбери, кто был прав, кто виноват. Но над всеми-де возвышалась мудрая политика партии, консолидирующая внутрилитературные противоречия и направляющая весь процесс по правильному пути (пресловутая «роль партии в развитии литературы», которую упорно требовали не забывать и всемерно подчеркивать приставленные к литературоведению стражи от идеологии). Ведь «спор» Клычкова со своими «оппонентами» происходил далеко не на равных. Из тех, кто вместе с ним начинал свой спор в защиту исконных основ русского искусства от его хулителей и ниспровергателей, в защиту духовных основ национального бытия, уже поплатился головой А. Ганин и, кто знает, может быть, Есенин. Впереди предстояло еще сложить за это же головы Клюеву, П. Орешину, П. Васильеву и самому Клычкову. За спиной критиков от РАППа, от Коммунистической академии, от ИКП (Института красной профессуры) стояла уже набиравшая чудовищную

<sup>5</sup> Подробно о всех оценках романов Клычкова в критике конца 1920-х годов см.: Михайлов А. И. Творческий путь Сергея Клычкова и революция // Русская литература. 1988. № 4. С. 32—40.

скорость репрессивная машина «специального» назначения, а именно выявления «врагов» по линии той «диктатуры мировоззрения», при которой все (собственно, вся духовная деятельность творческой интеллигенции) сводилось, по верному определению Н. Бердяева, к ставшему «священным символом» «ортодоксальному диалектическому материализму, декретированному центральным комитетом коммунистической партии», а «лишенному всякой философской культуры» Сталину предоставлялось право произносить «верховный суд над тем, какая философия истинная».<sup>6</sup>

При этой «диктатуре мировоззрения» крайняя нетерпимость В. И. Ленина к идеалистической философии и религии (к «боженьке» и к «черносотенному духовенству») утвердилась в качестве жесткой нормы и также становилась мерилом в определении «вражеской» или «правильной» ориентации творчески мыслящего субъекта. Возобладала и тоже в качестве некоего пробного камня «влюбленная ненависть к прошлому»<sup>7</sup> — опасно было высказываться о нем без присовокупления «спасительного» эпитета «проклятое» или самого, вероятно, тогда распространенного афоризма об «идиотизме деревенской жизни» (если дело касалось дореволюционной деревни). Об этом, кстати, рискованно забывал как в своей лирике, так и в своей прозе Клычков. В такой духовно-общественной атмосфере навешенные на писателя ярлыки «религиозного мракобеса», «барда кулацкой деревни», шовиниста, «реакционного защитника природы» должны были проявляться особенно заметно и вполне приобретать видимость родимых пятен или во всяком случае несмыслаемых клейм.

Полнее всего, однако, их можно было бы обнаружить в прямых, публицистических высказываниях писателя, нежели в его художественном творчестве, где они могли быть скрыты контекстом или вторым и третьим планом. Так что дважды предоставленная Клычкову для «защитительного» слова «Литературной газетой» в 1929 и 1930 годах «трибуна писателя» была не чем иным, как прочным крестиком, поставленным на его двери накануне варфоломеевской ночи. О том, что Клычков своими «защитительными» статьями в «Литературной газете» лишь «улавливался» на предмет саморазоблачения, свидетельствует тот факт, что каждое его выступление тут же, в этой же газете неизменно сопровождалось пристрастным его разбором (от редакции) с целью дополнительного выявления компрометирующих писателя фактов, подчеркивания новых пунктов его неприятия революционной действительности. Получалось, что, пытаясь в своих статьях оправдаться от обвинений критики, Клычков еще больше запутывался в них и усиливал свою виновность. Это отчетливо проступает в обвинительном тоне сопроводительных статей, в постоянно подчеркиваемом в них утверждении, что писатель позволяет себе отрицать утверждения «марксистской критики», истинность которой не может, разумеется, ни в малейшей мере подвергаться сомнению. Эти обвинительные резюме от редакции «Литературной газеты» составляют вместе с собственными статьями Клыčkова единое целое и поэтому перепечатываются нами вместе с ними как окончательный «приговор» «марксистской критики».

В перепечатывании статей Клыčkова, публиковавшихся лишь единожды в малодоступных, да и вообще малосохранившихся газетах («Литературной газеты» с первой статьей нет даже в Библиотеке Академии наук), назрела сегодня необходимость. Во-первых, это единственный жанр в творчестве писателя, который при переиздании в последнее время его стихов (1985) и прозы (1988) остается

<sup>6</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 122—123.

<sup>7</sup> Там же. С. 150.

пока еще неизвестным современному читателю. Во-вторых, эти статьи несут в себе значительную информацию и о мировоззрении писателя, и его отношении к исторической обстановке эпохи, и в какой-то степени о его творческом методе. В-третьих, они — значительный документ трагической эпохи раскрестьянивания и разгрома интеллигенции.

Статья «О зайце, зажигающем спички» печатается по тексту «Литературной газеты» 30 сентября 1929 года, статья «Свирепый недуг» по тексту той же газеты 21 апреля 1930 года. Имеющиеся в них опечатки и несоответствия современным нормам написания исправлены.

### О ЗАЙЦЕ, ЗАЖИГАЮЩЕМ СПИЧКИ

Защищаться от нападений критики для писателя занятие малопродуктивное, дело мутное, спорить же с ней, что препираться со сварливой тещей, ибо, по мудрому изречению Пушкина, критика современников — слепая и близорукая старуха.<sup>1</sup>

У очень многих из нас пока что мало данных для утешительной, радостной мысли, что за столетие, отделяющее нас от Пушкина, у этой старушки глаза прочистились настолько, чтобы мы позабыли и не вспоминали больше его горького афоризма, рожденного, очевидно, в те нередкие минуты, когда и ему приходилось стоять перед тупым недомыслием и перед открытой, не прикрашенной ничем клеветой.

Из свидетельств друзей Пушкина мы знаем, с какой жадностью он следил за каждой строчкой о себе, и нетрудно догадаться, что перед тем, как пустить золотую стрелу смертоносно отточенной эпитагмы, и Пушкин немало в испуге побегал по своей комнате.

Я умышленно привожу пример Пушкина с его афоризмом о критике вовсе не из желания вскочить в алфавит русского искусства; у меня только скромный расчет найти успокоительное оправдание тому мучительному чувству, с каким приходится нередко, вернее почти всегда, читать о себе критические очерки, в последнее время принявшие очевидный характер травли...

По меткому слову Фадеева,<sup>2</sup> наша критика «кишит молодыми развязными людьми», составляющими при своей неисчислимости и безответственности немалое бедствие для молодой советской литературы, но пишущий эти строки к тому же не может похвастать удачей не только у этих молодцов, но и у... академиков, и у столпов и корифеев современной критической мысли, в очень редких случаях изменяющих своему единодушию в политической оценке моего творчества, своеобразной круговой поруке, которую я никак не могу отнести на счет общей прозорливости.

Будучи человеком терпеливым и выносливым, я до сей поры еще ни одним словом не заикнулся, что нехорошо приписывать мне стихи, которых я никогда не писал, выкладывая их на судейский стол нашей критики как «вещественное доказательство», что не совсем благовидно перевирать и переименовывать хотя бы незаметно, под маркой опечатки, цитаты для подтверждения навязчивой идеи о моем неприятии революции, что малоразумно любовную лирику расценивать на граммы политической символики, за немудреным плетнем неудавшейся домашности разыскивая злостного политического пессимиста, что нельзя, дико в одной и той же газете защищать от предвзятости критики автора, написавшего «на глаз читателя замечательный роман», а спустя время в той же газете за той же подписью обвинять автора того же романа в том, что он... шуан, притаивший у

сердца белые королевские лилии,<sup>3</sup> что... что... а впрочем, всего этого достаточно, чтобы гужи у телеги лопнули.

Искусство есть мера и вес, критика, когда она не игра в подкидные дурачки, тоже искусство, нуждающееся как раз именно в мере и весе. Но вот в последней статье обо мне в седьмом номере руководящего критического органа «Печать и революция» всякие меры, всякие веса отброшены, хотя сказано все с большим апломбом и весом.

Автор: Осип Бескин.<sup>4</sup>

Заглавие статьи: «Бард кулацкой деревни».

Критик, правда, достаточно молодой, так сказать, еще «начинающий», «подающий надежды», но я уже упоминал о единодушии в отношении меня очень значительной части критиков, и потому во мне сильна безотрадная уверенность, что Бескин не в одиночестве.

Тон этой статьи настолько далеко уходит за пределы литературного исследования, что она скорее похожа на «дело» о «темной личности», скрывающейся под выгодной маской писателя.

Спорить сколько-нибудь с Бескиным в литературной плоскости для меня положительно не представляется возможным, ибо и сам автор статьи был далеко от мысли хоть сколько-нибудь «по чести» разобраться в моем творчестве, ибо нельзя же отнести на счет серьезного исследования глубокомысленные рассуждения о том, сколько у Петра Еремеича было лошадей, строгие указания на то, что у Спиридона Емельяныча<sup>5</sup> была, видите ли... мельница, хотя мельницу эту по ходу романа он сменял у барина на медведицу с медвежатами, случай близкий к тому, когда текстильщик в нашу пору выигрывает по займу счастливую «тыщу», увы, — это вне «доминанты творчества» автора, как и вне литературы.

Я обойду также грустным молчанием те места статьи, где автор просто издевается над читателем, принимая его, должно быть, бог знает за какого, попросту говоря, дурака, уверяя, что черти «Чертухинского балакиря» не черти, а... коммунисты (не хватало только стаж привести, чтобы окончательно сразить на месте!),<sup>6</sup> что автор-де прямо об этом не говорит только по своей природной кулацкой хитрости. Не буду смущать критика (трудно надеяться на смущение) достоверными доказательствами, что книг, перечисленных им, мною написанных, он, как бы следовало, не прочел, спутавши время их выхода в свет, действующих лиц переселяя из одного романа в другой, однако, не забывая все же указать на важность обстоятельства, что два года тому назад я бы так писать не посмел, хотя именно два последних года мною ничего нового как раз именно и не издавалось, — все это мимо, потому что обычно, но по двум наиболее криминальным пунктам мне необходимо сейчас вступить.

1) Пункт первый, субъективно важный: Бескин пишет:

«Отнюдь не может быть случайностью, что в своих четырех больших книгах прозы „Сахарный немец“, „Чертухинский балакирь“, „Князь мира“, „Последний Лель“ (Бескин, три только, посчитайте на пальцах — «Последний Лель» — часть «Сахарного немца») Клычков никак, ни одним звуком не коснулся новой деревни. Ее нет совершенно в его творчестве. Только два объяснения этого обстоятельства могут иметь место: или для работы на современном материале у Клычкова такие выводы, такие слова, что он не рискует их произносить в эпоху диктатуры пролетариата, или он, не желая пачкать себя прикосновением „к погани“, предпочитает углубляться в „голубо-зеленые омуты“.<sup>7</sup> Таким омутом для него является „истинно русский“, сказовой стиль».

Сильно сказано. Каждое слово — тавро, метка.



Критику Бескину хорошо известно третье и единственное объяснение «этого обстоятельства»: в бытность Бескина заведующим лит. художественным отделом Гиза, когда Бескин еще не был критиком, наиболее инкриминируемая им книга «Чертухинский Балакирь» проходила через его руки и едва ли мимо него проскользнуло предисловие Лелевича,<sup>8</sup> в котором при всей беспощадности к автору в первых же строках критик счел важным и нужным предупредить читателя со слов автора, что названная книга — не законченное, отдельное произведение, а стоит в ряду задуманных им романов, отображающих, сукобно говоря, жизнь русской деревни, начиная с крепостного права и кончая последними годами революции включительно.

Последовавшая за «Чертухинским Балакирем» следующая часть первой трилогии — роман «Князь мира» был с таким же предварением напечатан в журнале «Молодая гвардия».<sup>9</sup>

Что касается до «Сахарного немца», находящегося в задуманном мною плане на шестом месте (трилогия трилогий — книга в девяти частях), то этот роман целиком посвящен деревне, близкой к той, с которой так торопит Бескин.<sup>10</sup>

Здесь мне необходимо, чтобы раз навсегда покончить с такими придирками и неумными подвохами, маленькое отступление, и сказать о своих писательских предположениях, планах более подробно, хотя нет ничего мучительнее размазывать о том, что еще не сделано, а только настойчиво грезиться. Да простят мне вынужденную нескромность закидистых слов о корабле, который стоит еще с непокрытыми ребрами в верфи.

На долю современного писателя, а я твердо себя к ним причисляю, выпала столь же прекрасная, сколь и тяжелая участь. Мы живем в сказочно-богатое время, открывающее перед писателем огромное многообразие человеческой души и жизни, и тем не менее еще очень большой вопрос, даст ли наше большое время большого писателя. Даст ли большого писателя, — именно в силу того, что грандиозна, неисчерпаема эпоха, на отображение которой, вернее говоря, на преобразование в образах искусства которой, может, одной человеческой жизни даже недостаточно...

Именно в силу того, что даже и очень большой талант, даже и очень яркое дарование, что называется, ступается на фоне потрясающих событий последнего пятнадцатилетия.

Легко ли не испепелиться в огне противоречий и сомнений, от которых ни одна эпоха не бывает свободна, а тем более наша, поставившая перед собой цели коренного перерождения человеческого общества.

Когда в человеческую душу небывалым грузом свалилась целая лавина событий, не знающих в истории мира примера, когда до исподней пробил ее поток чувств и переживаний, окрашенных в живой цвет человеческой крови, — и очень сильная, и очень зрячая творческая воля легко и не раз дрогнет и не устоит на ногах в извечной жажде художника найти синтез и завершение этому чудовищному многообразию действительно «быстротекущей» жизни.

... И как же не соблазниться при этом порыться мыслью, всерьез и сокровенной памятью крови своей и рожденья поблуждать в прошлом, отыскивая и угадывая в нем исходы и истоки буйно бушующей у тебя под ногами реки.

Нет: «отобразить» современность — это не в гости сходить и едва ли можно оправдать суетливую притязательную торопливость, с которой очень многие наши критики хватают современного писателя за рукава; как зазывалы из одежного ряда бывшей Сухаревки.<sup>11</sup>

Говоря все это, страстно ждешь, чтобы поверили раз навсегда, воистину братски поверили, что в таком положении человека, в котором все его существо за эти

великие годы перетряслось и сдвинулось с места, находишься и ты, а поверивши, освободили от оскорбительного подозрения, что ты... средневековый чурбан, через который совсем неощутимо для него перекаатилось громоздкое колесо истории.

Должен со всей искренностью и прямоотой заявить, что, несмотря на свою глубокую диверсию в прошлое, право на которую буду отстаивать до последнего издыхания, я, как писатель, целиком обязан всем революции, перекоившей тихого лирика в романиста с планами, еще раз повторяю, может, увь, неосушествимыми, осушествленными пока что наполовину, а за такое рождение даже и неудачный художник редко когда не любит своей матери, даже и в тех случаях, когда она становится для него мачехой.

Если бы критик Бескин, да и очень многие вместе с ним, дали себе более сложный, более внимательный труд без штампованного предубеждения прочитать мои книги, учитывая особенности их чисто стилистических задач, которые вовсе не так просты, как это кажется хулителям «истинно русской» сказовости,<sup>12</sup> то и без авторских деклараций, очень надоедливых, очень ненужных в наше время, они легко смогли бы разглядеть, без подзорной трубы, смею думать, теперь уже обозначившуюся линию моей книги «Живота и смерти»,<sup>13</sup> в особенности после романа «Князь мира», о котором ни одного путного слова никто не сказал, если не считать в общем правильной «обмолвки на ходу» Луначарского, вскользь только угадавшего задачи автора в словах о смежности классовых процессов в прошлом нашей страны.<sup>14</sup>

Я спрашиваю сейчас прокуроров, зычно обвиняющих меня в проповеди кулачества, спрашиваю: кто так писал о крепостном праве, можно ли, честно ли образ жирнобрюхого чудища сопрячь с образом села Скудилища, центрального образа книги,<sup>15</sup> неужели корни революции всего-навсего начинаются с забастовок пятого года (печка наших беллетристических танцоров!), с бездарных журналистиков шебевского толка?...<sup>16</sup> Почему критик Бескин, раскатывая по страницам своей статьи кулацкого идеолога на лхой тройке «триединой формулы»,<sup>17</sup> лихо пролетел мимо рысачихиных мужичков, мимо картин крепостничества, данных, еще раз повторяю, вовсе не в плане простого бытописания, а как раз именно, если честно разобраться, в плане социально-философском общего авторского замысла; куда он спрятал от читателя «мокрые окопы» «Сахарного немца», смертный перевоз Двины,<sup>18</sup> едва ли могущие послужить для упрочения «триединой формулы» (неважная сбруйка для вороных коней); зачем, в каких расчетах прикрыл ладошкой многочисленные страницы, где автор совершенно явно восстает против угнетения и рабства, против бессмысленного уничтожения тысяч и тысяч человеческих жизней, даже тенденциозно с точки зрения его стиля, его изобразительных приемов, вскрывая ту трещину, которая начинается у самых ног Ильи-пророка, на чей праздник мужики в четырнадцатом году собирались на позицию, трещину того старого быта, в страсти к которому, в пропаганде которого автор единогласно обвинен, ту страшную трещину, из которой и выхлынул огонь народного возмущения!

Все это прошло мимо «критического ока» многих Бескиных, а где как не на этих страницах искать нитей истинного, совершенно правильного, пока что неполно выраженного отношения автора к современности и ее задачам, но... не торопите, дайте спапашиться с силами, которых очень много надо, если не ставить перед собой задачей простое описательство, если не сводить искусство литературы к голому очеркизму, к безотрадной регистратуре фактов и фактиков<sup>19</sup> величайшего катаклизма страны с величайшей историей и культурой!.. если из «очередных вопросов» и «актуальных тем» не делать давки у писательской чернильницы!.. не толкайте в спину, литература — не хлебная очередь, а тем более не делайте из писателя прежде времени «литературного смертника», на которых у нас в

последнее время создается что-то вроде нездоровой моды, целой системы в критике, бог весть откуда на двенадцатый год революции обрешившей склонность не к строительству в литературе, а к дикой в ее области антропофагии.

2) Пункт второй, объективно важный:

Бескин пишет:

«Ведь не надо забывать того, что послеоктябрьское сегодня утвердилось не на голой земле (именно, именно! — С. К.), что „русский стиль“, „богатырский эпос“, „чарующая и увлекательная фантастика“, „богатства народной поэзии“ это не просто „сокровищница“ народного духа, что к нам они просочились через российское самодержавие, что они были в свое время, так сказать, канонизированы на предмет поддержания триединой формулы — самодержавие, православие, народность! Одними разговорами о мастерстве здесь отделываться нельзя, как бы оно значительно не было. Русский стиль в своем стопроцентном применении не только прием, но и лозунг».

Какой ужас, чтобы не сказать больше!

Как может критик-марксист, поучающий еще других критиков-марксистов марксизму, не указывая точно материала, который он имеет в виду в определении понятия русского стиля, совсем не являющегося приемом, а прежде всего первоначально огромной культурой огромной страны, как может столь размахисто, так таровато скидывать эту культуру с приходного листа революции?!

Даже не для специалиста ясно, что тот цикл явлений, которые Бескин сваливает в одну кучу-малу на макушке с роскошной лилией триединой формулы, на самом деле распадается на этапы и периоды, из которых только последний, а именно стиль Александра III, действительно послужил позолоченной подпоркой подгнившего трона российского самодержавия.

Если бы в своем ожесточении против русского стиля Бескин имел в виду явления порядка ропетовской, петушковой архитектуры<sup>20</sup> или построек академика Парланда с его храмом, выгроханным по сну самодержца<sup>21</sup> и т. п., то его ожесточение было бы вполне законно, но ведь из существа всей его статьи (прочтите еще раз выдержки) этого не видно, для него не существует никаких разграничений в этом вопросе, на стенах, слава богу, навсегда отмеченного самодержавия он развешивает рязанские полотенца, свод его убирает архангельской костью!<sup>22</sup>

А село Палех,<sup>23</sup> Бескин, неужели вы вычеркнули с советской территории?

Зря! Удивительные кудесники из этого селишка с кисточками в руках из самых тонких волосков беличьего хвостика, утончившие и изузоровившие свой глаз за многие столетия иконописного ремесла, пользуются всяческой поддержкой нашего правительства. Как это вы терпите, хотя бы в другой области, чем литература, наличие столь увлекательной, чарующей фантастики?

Шибко, видно, сданул в голову молодого, «подающего надежды» критика не столь злой, сколь неумный квас из дешки «Злых заметок»!<sup>24</sup>

Советской критике раз навсегда необходимо установить точные разграничения в этом вопросе, в противном случае русская революция с легкой руки Бескиных останется... без русского искусства.

В заключение мне хочется указать на трогательное единодушие в оценке моего творчества критика-марксиста Бескина и, увы, очень многих с ним — с зарубежным, белогвардейским злопыхателем Ходасевичем, у которого обвинения идут еще дальше, еще толще, тот уж прямо указывает перстом, что если бы я не появился в свое время в литературе, то уж непременно бы выскочил в... охранке!

Читатель, я думаю, не примет за позу, за простую фразу, что пишущему эти строки к нему становится от всего этого муторно, что он вправе не спешить с кораблем, стоящим в верфи, которому, помимо строителя, нужен еще и благодетель.

тельный ветер, попутный ветер человеческого внимания и доверия, часто и неожиданно делающий с человеческой душой чудеса.

Читатель, надеюсь, поверит, что... страшно...

Мне все же хочется кончить тем не менее шуткой: известно, что, если зайца долго бить по ушам, то его можно научить зажигать спички. Охотникам до такой дрессировки я мог бы посоветовать во время прохождения зайцем трудной науки не бить по ушам этого зверя поленом, внеарок попадешь ему в темя, и заяц вместо того, чтобы зажигать бурачок, то ли просто вытянет ноги, то ли совсем уж как в сказке возьмет да обернется в птицу кукушку!

А это известная птица.

Ее никто не перекукует!

<sup>1</sup> Такого суждения о критике у Пушкина нет. Имеется лишь отдаленно его напоминающее высказывание о цензуре как о «старушке», которая «очень глупа» (*Пушкин. Полн. собр. соч. [Л.] 1937. Т. 13. С. 39.*)

<sup>2</sup> *По меткому слову Фадеева...* — Это выражение некоторой «солидарности» по частному случаю с «рапповцем» — как назвал его в своем стихотворении «Моя библиотека» (1928) П. Орешин — А. А. Фадеевым (1901—1956) уступит вскоре место резкому идейному антагонизму между этими двумя писателями. Стоявший во главе РАППа Фадеев в период усилившихся с конца 1920-х годов преследований новокрестьянских поэтов занял самую жесткую по отношению к ним позицию, в частности к самому Клычкову. Особенно показательен в этом отношении следующий эпизод. 26 апреля 1932 года в Москве состоялась заседание правления и актива Всероссийского союза писателей (ВСП) по поводу обсуждения постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», объявившего о роспуске РАППа. На этом заседании Клычков выступил с приветствием и одобрением «постановления» как человек, который «слишком долго продыхал спертым воздухом пустыни», как художник, надеющийся, что с освобождением «ласточки» искусства от рапповской «дрессировки» она сможет теперь лететь, «куда ей хочется! Иначе она петь, щебетать не будет!» (Стенограмма выступления // РОИМЛИ. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 2). Эти слова были расценены Фадеевым как выражение «реакционных элементов в литературе», и он, обращаясь по этому поводу к литературной общественности, заявлял: «Возьмите высказывания Клычкова. Он о себе открыто заявил как о классовом враге. Но он забывает, что Союз советских писателей будет стоять на платформе Советской власти. Если Клычков состоял в старом союзе (имеется в виду Союз писателей. — А. М.), то в новом союзе он не будет состоять» (Цит. по: *Шешуков С. Неистовые ревнители: Из литературной борьбы 20-х годов. М., 1984. С. 321.*) Свое следующее выступление на заседании того же правления и актива ВСП, состоявшемся уже 14 мая 1932 года, Клычков вынужден был начать с таких горьких слов в адрес присутствующего здесь Фадеева: «Фадеев большой мастер употреблять страшные слова. Одно из таких страшных слов, очень любимых, но и очень затасканных — реакция. Мне очень скучно сейчас оправдываться, что я не реакционер, ибо я это делал уже несколько раз и, к сожалению, всегда безрезультатно. На первом заседании, например, я только что позволил себе раскрыть рот и сразу же попал в отчет „Литературной газеты“ в реакционеры, хотя я, вопреки смыслу всего первого заседания, едва ли не в единственном числе, по-настоящему приветствовал постановление ЦК. Поэтому сейчас, когда мы снова говорили об этом постановлении, я еще раз говорю, что радуюсь ему именно в силу того обстоятельства, что верю, что в будущем такие страшные слова, которые у нас очень любят и которые сейчас с легким сердцем произносятся людьми, не знающими всей тягости, всего ужаса этих „легких“ слов, произноситься не будут». Далее стенограммой зафиксировано следующее продолжение этого выступления, сопровождающегося пикировкой с Фадеевым. «Я глубоко убежден, что теперь такое словотворчество будет гораздо обдуманнее, в частности в отношении меня. Дорогие товарищи, да будет вам это известно, что я считал себя революционным писателем, но так как писателя характеризует не манифестация, а его произведения, то если сейчас это кому-нибудь непонятно, возможно, то наступит время, когда это будет понятно всем. Конечно, я не такой поэт, как Бернард Шоу, и не такой беллетрист, как тов. Фадеев, но далеко неизвестно, что останется в будущем как документ эпохи — мой ли „Чертухинский балакирь“ или еще больше того „Сахарный немец“ или ваш, товарищ Фадеев, „Последний из Удэге“. (Фадеев: «Я об этом не думаю»). Я об этом тоже не думаю, за нас об этом подумает будущее. Я только сомневаюсь, что это уже решенный вопрос» (РОИМЛИ. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 4).

<sup>3</sup> *...шуйан, притаивший у сердца белые королевские лилии...* — Имеется в виду участник контрреволюционных восстаний в защиту королевской власти в Бретани и Нормандии во время Великой французской революции и вплоть до 1803 года. Лилия — эмблема французских королей.

<sup>4</sup> Бескин Осип Мартынович (1892—1969) — сотрудник Коммунистической академии и Института красной профессуры (ИКП), ответственный секретарь первой многотомной советской «Литературной энциклопедии» (вульгарно-социологической), критик, с наибольшим рвением и последовательностью выполнявший в период кампании раскрестьянивания (конец 1920-х—начало 1930-х годов) «социальный» заказ времени по выявлению «реакционной», «кулацкой» сущности новокрестьянских поэтов. В его установочно-проработочных статьях «Россияне» (1928), «Певцы кулацкой деревни» (1930) и в книге «Кулацкая художественная литература» (1930) Клычков, разоблачаемый им наряду с Клюевым, Есениным, Орешиним и Радимовым, подвергается особо вездливой проработке. Специально ему одному посвящает он статью «Бард кулацкой деревни» (1929). Эту цепкую специализированность Бескина на своем творчестве Клычков отметил в «Неспешных записках» (1930) следующим горьким юмором: «На Пушкина был Фадюха Булгарин... Я не Пушкин, но и на меня есть Бескин. Бескин. Балзак где-то говорит, что фамилия у людей не со-зря: она определяет или физическое уродство, или особенное духовное качество... По этой формуле Бескин — бес... черт... дьявол... Бес — моя основная философская тема: все имеет, выходит, предначертанную связь и зависимость» (Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии // Новый мир. 1989. № 9. С. 202).

<sup>5</sup> Петр Еремеич и Спиридон Емельяныч — герои романа Клычкова «Чертухинский балакирь» (упоминаются эпизодически также и в других романах), первый — ямщик, второй — мельник, о них, обличая Клычкова как «кулацкого» идеолога, Бескин писал: «В качестве характерного штриха небезынтересно будет отметить „имущественное положение“ этих спасителей мира (у Клычкова они — правдоискатели, праведники. — А. М.): у Петра Еремеича, как указывалось выше, — конюшня лошадей; старообрядец Спиридон (прямой собрат легшего Антюттика, философ-пантеист, приверженный *старой вере*) — владелец мельницы» (цит. по: Бескин О. Бард кулацкой деревни // Буржуазные тенденции в современной литературе. М., 1930. С. 91. Далее указываются только страницы).

<sup>6</sup> Имеется в виду тот факт, что длительный партийный стаж является одним из важнейших показателей престижности для членов Коммунистической партии.

<sup>7</sup> ... *предпочитает улулбаться в «голубо-зеленые омуты»*. — Имеется в виду высказывание Клюева в предисловии («От автора») к своей последней книге стихов «Изба и поле» (1928), в котором закодирована мысль об ориентации истинной поэзии на непреходящие человеческие ценности, а не на политическую злободневность, связанную с интересами временно господствующей идеологии: «Старые или новые эти песни — что до того! Знающий не изумляется новому. Знак же истинной поэзии — бирюза. Чем старше она, тем глубже ее голубо-зеленые омуты». Именно это и разгадал бдительный Бескин, поднявший по поводу клюевского предисловия в своей статье о Клычкове «партийную» тревогу: «Сквозь свойственную истоиво-религиозному, по-византийски лукавому Клюеву мистическую таинственность „речений“ мы все же без труда открываем политическую сущность этого короткого, но выразительного предисловия. Назад к патриархальной, с прогнившей соломой на крышах „Избяной Индии“, ибо в ней все от бога, от вековой русской мудрости, от души. „Знающий“ правильно оценит настоящее, кое, конечно, от лукавого, и даже изумляться не будет. Просто так, — претерпит, готовясь к *новому старому* (авось), погружаясь в голубо-зеленые омуты бирюзы. Да здравствует старая Русь! — вот прямая расшифровка этих туманных строк» (86—87).

<sup>8</sup> Лелевич (псевд.; наст. имя — Лабори Гилелевич Калмонсон; 1901—1945) — начинавший как поэт критик и редактор рапповского журнала «На посту». Один из руководителей РАППа. С позиций ведущей пролетарской партийности Лелевич писал о современной литературе (об Ахматовой, Есенине, Клюеве, Фурманове, Фадееве и др.). Им было написано предисловие к первому изданию романа Клычкова «Чертухинский балакирь» (1926). Был репрессирован.

<sup>9</sup> Роман С. Клычкова «Князь мира» впервые был напечатан с купюрами в журнале «Молодая гвардия» за 1927 год (№ 9—12) под названием «Темный корень». Отрывками печатался в том же году в журнале «Красная новь».

<sup>10</sup> ... *этот роман посвящен деревне, близкой к той, с которой так торопит Бескин*. — Если в романе «Чертухинский балакирь» русская деревня предстает во временах как бы внеисторически-патриархальных, если в «Князе мира» она погружена в эпоху крепостничества, то в «Сахарном немце» изображается уже деревня начала XX века, периода первой мировой войны.

<sup>11</sup> Сухаревка — место торговли подержанными вещами в Москве, напротив Сухаревой башни.

<sup>12</sup> ... *как это кажется хулителям «истинно русской» сказовости...* — Имеются в виду следующие исполненные негодования слова Бескина в адрес критика Г. Горбачева, положительно отметившего «чарующую и увлекательную причудливую фантастику „Чертухинского балакиря“; великолепный крестьянский сказ, сочный и ядреный деревенский язык, чрезвычайно тонкое использование богатств народной поэзии» (Горбачев Г. Сове-

менная русская литература. Л., 1928. С. 125): «Ведь не надо забывать того, что наше послеоктябрьское сегодня утвердилось не на голой земле...» и т. д.

<sup>13</sup> Всей совокупности своих романов о бытии русской деревни, из которых, помимо трех написанных («Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира»), писателем были названы еще четыре: «Сорочье царство», «Житежский павлин», «Призрачная Русь», «Спас на крови», Клычков планировал дать единое название «Живот и смерть».

<sup>14</sup> В данном случае имеется в виду оценка Луначарским романа «Князь мира» вкупе с романом К. Федина «Братья»: «Приходится признать большое художественное достоинство за такими произведениями, как „Братья“ Федина и „Неразменный рубль“ («Князь мира») Клычкова... Я называю их потому, что и в художественном отношении, и по глубине анализа некоторых явлений нынешнего времени у Федина и прошлого — у Клычкова эти романы мне кажутся самыми замечательными и такими, которые, несомненно, войдут в нашу литературу» (*Луначарский А. Литературный год//Красная панорама. 1929. № 1. С. 5*).

<sup>15</sup> Действие романа «Князь мира» своей значительной частью происходит в до предела обнищавшем селе помещицы Рысаковой (Рысачихи) Скудилище. Его образ и само название вполне символичны и нарицательны в отношении картины жестокого угнетения и разорения помещиками крестьян, что не могло, по мысли Клычкова, не импонировать фанатически требовавшим от писателей всемерного учета социально-классовых противоречий при изображении русской жизни партийным критикам типа Бескина.

<sup>16</sup> ... *бездарных журналистиков шебуевского толка...* — Имеется в виду литератор и журналист Н. Г. Шебуев (1874—1937), издававший «Газету Шебуева» (1906—1907) и журнал «Весна» (1908—1914).

<sup>17</sup> «Триединая формула» — самодержавие, православие и народность.

<sup>18</sup> ... *«мокрые окопы» «Сахарного немца», смертный перевоз Двины...* — Имеются в виду эпизоды фронтовой жизни русских солдат, изображенные в романе «Сахарный немец» с тяжелыми натуралистическими подробностями, непосредственным очевидцем которых был сам писатель, воевавший в первой мировой войне на западном фронте.

<sup>19</sup> ... *если не сводить искусство литературы к голому очеркизму, к безотрадной регистратуре фактов и фактиков...* — Имеется в виду так называемая «литература факта», пропагандировавшаяся и разрабатывавшаяся в 1920-е годы Лефом и конструктивистами, с их установкой на актуальность, злободневную тематику и принципиальное игнорирование проблем духовной жизни страны в ее историческом целом и в итоге на полную ликвидацию искусства как такового.

<sup>20</sup> ...*явления порядка ропетовской и петушковой архитектуры...* — Так называемый «псевдорусский» стиль архитектора И. П. Ропета (1845—1908), основанный на разработке элементов русского деревянного зодчества.

<sup>21</sup> ...*построек академика Парланда с его храмом, выгроханным по сну самодержца...* — Имеется в виду архитектор А. А. Парланд (1842—1920) — автор (совместно с И. В. Малышевым) проекта храма Воскресения Христова «на крови» (на месте смертельного ранения террористами императора Александра II). При советской власти, партийной диктатуре «Храм на крови» разделял судьбу многих опальных, отверженных ценностей русской культуры не только за свое «монархическое» происхождение, но также и за свой ярко выраженный «национальный» стиль, осужденный в годы особенного гонения на него даже, как видим, и С. Клычковым (искренне или с целью не самой болезненной уступки рапповской «проклатуре от литераторы» — остается только гадать).

<sup>22</sup> ... *свод его убирает архангельской костью...* — Имеется в виду народное косторезное искусство.

<sup>23</sup> Село Палех — крупнейший до революции 1917 года центр иконописания в традициях русской живописи XV—XVII веков.

<sup>24</sup> ... *не столь злой, сколь неужный квас из дешки «Злых заметок».* — Имеется в виду статья Н. И. Бухарина «Злые заметки» (1927), в которой автор, задавшись целью снизить романтику «есенинщины», допускает бестактные выпады против самого Есенина и некоторую, впрочем узаконенную духом времени, глумливость по отношению к русскому национальному складу характера.

## ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С. КЛЫЧКОВА

В седьмой книге журнала «Печать и революция» была напечатана статья О. Бескина «Бард кулацкой деревни», посвященная социальному анализу творчества Сергея Клычкова. Откровенно реакционная для нашего времени сущность произведений С. Клычкова неоднократно констатировалась марксистской критикой. Плюсом же этой статьи являлся довольно подробный синтетический анализ всех

прозаических произведений С. Клычкова, из которого автор сделал определенный вывод о стопроцентной кулацкой сущности критикуемого автора.

Документируя ссылками на все прозаические произведения С. Клычкова, т. Бескин устанавливает следующий спецификум его классового лица: 1) всепроникающая дуалистическая философия с утверждением от бога положенных общественных порядков на земле; 2) темная ненависть к науке, угрожающей подорвать основу кулацкого строительства; 3) столь же звериная ненависть к городу, как к врагу деревни (понимай, конечно, старой деревни); 4) обожествление девственной природы как единственной мудрости, гарантирующей сохранение «извечного» социального порядка; 5) уверенность в том, что никакие силы в мире не в состоянии переделать мужика. Кроме того, в статье сделана попытка социологически объяснить сущность «истинно русского» характера стиля С. Клычкова и импрессионистско-романтической, двуплановой композиции его романов.<sup>1</sup>

Как же отвечает на выступление товарища Бескина С. Клычков. *Он проходит мимо характеристики классового генезиса своего творчества, или не желая понять, что в этом центр вопроса, или, что гораздо вероятнее, не имея достаточно веской аргументации для отвода классово весьма печальных для него выводов. Этим он выдает себя с головой.*

Итак, С. Клычков считает возможным пройти мимо важнейших положений статьи т. Бескина. Считает же нужным он остановиться на двух, по его мнению, «криминальных» пунктах.

Первый пункт: С. Клычков умышленно обходит новую деревню.<sup>2</sup> Вернее, в новой деревне видит только мракобесно-старое. Оказывается, тому есть чрезвычайно простое объяснение: новая деревня, видите ли, созревает в душе С. Клычкова. Трудом его жизни будет трилогия трилогий (9 книг)! Большое начинание, но пока, когда каждая книга о деревне есть орудие в руках той или иной стороны, на подступах к 12-му году революции он дает свои книги для использования в руки классовых врагов революции. Реконструкция сельского хозяйства, переделка крестьянского сознания, борьба не на жизнь, а на смерть, — а С. Клычков, видите ли, еще не поспел, его корабль стоит еще в верфи. Его творческое вдохновение еще не «дошло». Нет! Вдохновляется жизнью, трепетом сегодняшнего дня. И секрет-то в том и заключается, что *писатель берет из сегодняшнего дня то, что близко ему с классовой стороны.* Потому мы верим сегодняшним книгам С. Клычкова и, основываясь на их социальном существе, не доверяем словам о грядущей «трилогии трилогий». Если «живая собака лучше мертвого льва», то тем паче она же собака достовернее льва нерожденного. Желание С. Клычкова, чтобы его *не судили по вышедшим книгам,* не имеет под собой никакой почвы, во-первых, потому, что *каждая из них в отдельности является законченным произведением,* а в особенности потому, что всякая трилогия, тетралогия, а в данном случае «трилогия трилогий», объединены всегда единым миросозерцанием автора, отраженным в каждой части. Кроме того, С. Клычков насквозь пронизывает свои книги авторскими лирико-публицистическими высказываниями, являющимися незаменимым ключом для раскрытия его образов авторского *credo.*

Конкретные указания С. Клычкова на некоторые эпизоды «Сахарного немца» и на фигуру Рысачихи в «Князе мира» — сугубо необедительны. Ссылаться для установления своей революционности на «немца», на книгу *о войне,* поданную через преломление действительности в психике выбитого из колеи блаженного, нищего духом, а потому и возлюбленного Клычковым сына деревенского лавочника Зайчика,<sup>3</sup> книгу сумбурно-мистическую, настроенную на лживой философии «братства» в елейном духе православного народничества — дико, несуразно. Это значит лишний раз продемонстрировать свою абсолютную оторванность от современности.

Что касается Рысачихи, то ненависть к крупной крепостнице-помещице в данном случае совершенно не противоречит кулацкой сущности творений Клычкова, ибо кулак, зажатый хищническим крепостным хозяйством, — его враг. Образ Рысачихи заслуживает особого анализа. Укажем только на то, что приемы Клычкова в том же «Князе мира» для живописания мелкого помещика — совсем другие, и последний иногда уже товарищески похлопывает его по плечу.

Второй «криминальный» пункт — поход т. Бескина против «русского стиля». Но в статье этого нет. В статье поход против *канонизированного, пронизывающего ткань произведения на все 100%, сусально-народнического, мистическо-мракобесного, иконописного, квасного стиля*. Клычков еще раз выдает себя, аргументируя творчеством палехских кустарей. Тем самым он отождествляет русский стиль с традиционно-живописным. Палехские кустари, естественно, и сейчас (посмотрите их ларцы и коробочки) рисуют блестяще Георгиев-победоносцев, с той разницей против прошлого, что Георгии одеты в красноармейскую форму, а дракон должен символизировать гидру контрреволюции. Пока у палехских кустарей под ногами почва кустарного старозаветного мастерства, пока для них не найдена новая социальная форма производственного объединения — они обречены писать модернизированные иконы. Их стиль социально детерминирован прошлым. А что касается поддержки правительства, то в основе здесь — вопросы экспорта: любят «истинно русский» стиль во Франции и Америке. А разве С. Клычков хочет работать на экспорт?

Рассвирепевши в спорах о «русском стиле», Клычков проговаривается: «Советской критике раз навсегда необходимо установить точные разграничения в этом вопросе, в противном случае *русская революция* с легкой руки Бескиных останется... *без русского искусства*». Вот тут собака и зарыта Октябрьская революция не первый акт международной социальной революции, а *русская революция*, и порождать она должна не пролетарское, не крестьянское, не социалистическое искусство, не советское, а *национальное, русское*. Вот до чего можно дойти в полезном рассуждении о стиле: уши националиста-великодержавника выглянули полностью! А мы, глупые люди, говорили о советском искусстве! Конечно, Клычкову невдомек, что национальные формы искусства нами рассматриваются в плане их интернационального значения.

<sup>1</sup> ... *сделана попытка социологически объяснить сущность... импрессионистско-романтической, дуплановой композиции его романов*. — Эта «попытка» сводится у Бескина к разоблачению «хитрости» Клычкова, старающегося замаскировать свои откровенно «реакционные» убеждения отвлеченной («романтической») образностью, а современность упрятать в прошлое: «Архитектоника, композиция клычковской прозы безусловно заслуживает особого внимания. Она едина для всех его вещей. Так как ему необходимо преподнести читателю глубоко реакционный (как мы в этом убедимся из последующего), он вынужден строить свои произведения по-особому. Сон и явь, сказка и быль, реалистическое описание и фантастическая греза — все переплетается так, что отделить одно от другого стоит большого труда. Бред проникает в реальность, реальное становится бредом, а на стыке между реальностью и фантастикой Клычков обычно и преподносит свои политические сентенции. Ужом вьется общественное, классовое *credo* Клычкова меж роскошных зарослей его «ядренного» языка. Скороговорка очень часто призвана затемнить слишком явственную суть дела. Клычков хитрит. Такая *дуплановость* построения произведения, используемая писателем как *прием* для протаскивания реакционной идеологии, в основе своей обусловлена органическими психо-идеологическими причинами. Такая *раздвоенность* свойственна творчеству представителей класса или классовой группы, утерявшей или теряющей свои экономические позиции, вытесняемой новым классом, новыми хозяйственными отношениями. Безысходность положения загоняет писателей этой классовой группы в прошлое, в фантастику, в бред. Это своеобразный способ оттолкнуться от ненавистной действительности» (Бескин О. Бард кулацкой деревни//Буржуазные тенденции в современной литературе. М., 1930. С. 89—90).

<sup>2</sup> В дальнейшем, пытаясь все-таки ступить на колею «генеральной», ведомой по указанию свыше линии советской литературы, Клычков в соавторстве с приставленным к нему от



партии коммунистом В. Поповым напишет «политотдельский» очерк «Зажиток» (1934), наполненный всеми полагающимися штампами расхожей литературы, повествующей о процветании колхозной жизни (был издан отдельной книжкой: М., 1934).

<sup>3</sup> Зайчик — зауряд-прапорщик Зайцев, главный герой романа Клычкова «Сахарный немец», выразитель основной философской мысли романа, в образе которого много биографических черт самого писателя.

### СВИРЕПЫЙ НЕДУГ

Еще лесковский конэсэр советовал «не латошить», приводя в поучение мудрое правило: «С первого взгляда глядеть умно на голову»...<sup>1</sup> И можно теперь уже от себя добавить — не запрягать с хвоста!

Правда, это мудрое изречение имело отношение к лошадям, но в наше время оно вполне применимо в известном смысле и к писателям.

На лошадином базаре современной критики этого «хорошего расположения в осмотре» в большей и наиболее действенной части нашей критики, к прискорбию большинства пишущих, почти не существует, и удалые ремонтеры<sup>2</sup> нашей словесной армии с превеликой торопливостью и малоосторожностью в заключениях своих хватают, по словам того же лесковского героя, «за зашеину, за чолку, за храпок, за обрез (не спутайте, пожалуйста, с кулацким!) и за грудной сокол!»

Доморощенный руссийский конь всех мастей и разных статей при таком осмотре пляшет на все четыре ноги, словно рвется с храбрым всадником на спине в жестокую атаку, храпит, как над бомбой, вскидывая при этом угодливо и ласково далеко не пышным хвостом: не беда, что потом конь идет в строю по снежному полю бумаги, еле-еле перебирая подставными ногами, воистину напоминающими подчас протезы идеологии!

Все эти фантастические уподобления пришли мне в голову по внимательном и неоднократном (глазам не веришь!) прочтении ответа на мою статью в «Литературной газете», в № 24.<sup>3</sup>

Автор этой статьи с завидной ученостью живописует мои различные статьи по пунктам, согласно ротного устава, под специальным поименованием: «Спецификум классового лица С. Клычкова в результате синтетического анализа критика Бескина!»

«Спецификум» имеет неприкрытое намерение призвать к оргвыводам, послужить документом к бракованию брыкастого стригунка, пробующего при подходе к нему с хвоста даже вроде как бы вскинуть пятами... Разберемся по пунктам.

Пункт первый «спецификума»:

«Всепроникающая дуалистическая философия, с утверждением от бога положенных общественных порядков на земле».

Знарок конского дела в первой половине этого пункта явно путает гиппологию с гносеологией, что совершенно зря, ибо еще критик, и по-настоящему критик, Воронский в свое время отметил полное у автора философических романов равнодушие к этой науке,<sup>4</sup> что же касательно второй половины, то мне придется обратиться хотя бы к тем лирико-публицистическим отступлениям в моих романах, которым автор ответа и критик Бескин одинаково отводят роль «незаменимого ключа для раскрытия авторского кредо».

К отображению в образах искусства прошлого нашей страны, поскольку дело касается ее религиозной жизни, едва ли можно подходить с методами и мерками современного атеизма, являющего собой не столько философскую систему, сколько в гораздо большей мере практику антицерковности, сводящейся по большей части к попойдству, — у меня совершенно иная задача в той же плоскости: во всех мною

изданных книгах, кто не слеп, разглядит отчетливо в них проведенную тему, составляющую одну из главных магистралей, тему богоборчества, чрезвычайно родственную складу и природе русского народа, в области духа очень одаренного и в особенности беспокойного, как бы на землю пришедшего с одной извечной мыслью, с неотступным сокрушением о том, что «и впрямь не перепутаны ль вечные, прекрасные строки о правде, добре и о человеческой справедливости здесь, у нас, на земле, не перепутаны ль строки в этой книге, которая, как верили деды, лежит на высоком облаке в небе, как на подставке, раскрытая перед очами создателя в часы восхода и заката на самой середке», ибо и в самом-то деле «мир заделывал бог, хорошо не подумав, почему его и пришлось доделывать... чорту!» («Князь мира»).

Где же тут «утверждение от бога положенных общественных порядков на земле»?

Не надо прибегать к отмычкам, когда есть Ключи!

Пункт второй:

«Темная ненависть к науке, угрожающей подорвать основу кулацкого строительства».

В прошлом нашего народа, составляющем тему первых частей моей книги, у нас грызли не гранит науки, а кусали локотки, да жевали лапти, и если бы автор вздумал (задним числом, в чем очень мало толку) поучить чертухинских мужиков в духе ликбеза, то это было бы по меньшей мере не рассудительно, то есть попросту сказать: глупо!

Однако, что касается вопроса об отношении писателя к науке, то едва ли отрицательность, если она есть, этого отношения можно отнести к бессмысленному подозрению его в пагубной страсти к... кулацкому строительству?.. Здесь очень длинный путь от Фамусова, сжигающего книги, к... Толстому, отрицающему цивилизацию!.. Здесь очень сложный путь, к противодействию колхозному строительству даже чутельки касательства не имеющий!.. Не заподозрит же специалист по конскому делу Толстого с его неприветными мыслями о науке в том, что великий мыслитель, не признававший собственности, при этих мыслях горел все же тайным пламенем сохранить за собой конский завод, которым он одно время сильно увлекался?..

Надо полагать, что здесь не сребролюбивый расчет и не голый потолок беспочвенного философствования, а как раз именно та упругая струя в самой толще народного сознания, которая по своей природе близка религиозному протестантизму, имевшему у нас выражение в бесчисленных сектах и «так называемом правдоискательстве», к каковому теперь установилось очень странное и очень ложное пренебрежение, ибо совершенно несомненна огромная роль этого явления в деле развития и формирования в прошлом идей революции...

При чем тут кулацкое строительство?

Да еще «строительство»? Да еще кулацкое?

Увы, иначе как литературным бешенством это наименовать невозможно, это не служение революции в искусстве, а свирепый (и, должно быть, для многих и многих неизлечимый) недуг социалбесия!

Пункт третий:

«Столь же звериная ненависть к городу, как к врагу деревни (понимай, конечно, старой деревни)».

Скобки крайне необходимые, потому что автор как раз именно пока изображает старую деревню, притом еще в форме русского сказа, ведомого человеком и мыслей, и лет, должно быть, преклонных, а поскольку такой факт не отрицается, то приходится воскрешать в памяти вещи настолько всем известные, что в буквальном смысле становится неловко.

Вопрос об отношении города и деревни не есть специфически русский вопрос.

Это пока что и не изобретение революции, поскольку смычка города и деревни до сих пор на большую половину еще продолжает оставаться политическим лозунгом, а не экономическим фактом!

То есть, поскольку ратоборство деревни и города происходит не только между зажиточными слоями деревни и городским пролетариатом, но и в других классовых отсложениях, вплоть до колхозов, утаивающих свои хлебные излишки (корреспонденции в «Правде»), еще не зародилась та новая психология единения и смычки, которая вовсе не может быть достигнута путем простого администрирования в политике и заранее выработанной идеологии в литературе.

Больше того, у нас еще имеются некоторые виды дореволюционной «смычки», поскольку приходится верить «Комсомольской правде», проведеншей в прошлом году довольно внушительную дискуссию по вопросу о «процентности зажиточных мужичков», связанных с деревенской и подчас немалозначительной собственностью и работающих в то же время на фабрике... Словом, вопрос, что называется, еще в полном ходу, ибо бытовые и культурные условия города и деревни пока что находятся еще в явном несоответствии, — можно только сказать, что с опозданием в литературе у нас он более полно разрешен, а в области политики раньше, чем у других, более остро поставлен, из чего вовсе не следует, что таковую установку следует отнести ко всему нашему прошлому, что было бы, прежде всего, художественно неправдоподобно.

Если мы обратимся к образчикам западной поэзии, то мы, например, у того же Верхарна, поэта, революционный пафос которого не отрицается даже знатоками конского дела, найдем такие стихи, из которых видно, что названная тема глубоко интернациональна, общечеловечна и даже обще, так сказать, чувственна и несмотря на очень своеобразные особенности и русской души, и русской природы, получила у нас в литературе художественное отображение, очень родственное лучшим образцам запада... Я не могу не утерпеть не привести несколько строф, в которых до удивительности каждое слово звучит «по-русски», «мистически-мракобесно» и даже «иконописно»:

Поля кончают жизнь под страшной колесницей,  
Которую на них дух века ополчил,  
И тянут щупальцы столица за столицей,  
Чтоб высосать из них остаток прежних сил.

Фабричные гудки запели над простором,  
Церковные кресты марает черный дым,  
Диск солнца золотой, садясь за косогором,  
Уже не кажется причастием святым!

Воскреснут ли, поля, живые дали ваши,  
Закрытые от всех безумств и лживых слов,  
Сады, открытые для радостных трудов,  
Сияньем девственным наполненные чаши?

Вас обречем ли вновь и с вами луч рассветный,  
И ветер, и дожди, и кроткие стада,  
Весь этот старый мир, знакомый и заветный,  
Который взяли в плен и скрыли города?

Иль вы останетесь земли последним раем,  
Уже покинутым навеки божеством,  
Где будет сладостно, лучом зари ласкаем,  
Мечтать в вечерний час мудрец пред тихим сном?

(«К будущему». Верхарн довоенного периода).

Спрашивается после всего этого, как пишущему большой роман о русском народе обойти при отображении его прошлого столь важную полосу в его жизни, вдобавок ко всему носящей печать столь яркой всенародности?!

Недаром в указанном рапорте имеется развязная ирония: любят истинно-русский стиль во Франции и Америке!

Остается только добавить, что совершенно непонятным все же кажется помощь палехским мастерам нашего правительства, по поводу которой родилась на свет эта ирония. Мы не думаем все же, что в основе такой помощи — расчеты выгодного экспорта, мы склонны здесь найти скорее желание поддержать и усилить развитие очень интересной области русского народного творчества, с которым, прошу, наконец, понять меня, я вовсе ничего не «отождествляю», а только привожу как наглядный пример!

Товарищи конэсэры, вы не углубляете революцию в искусстве, а дискредитируете ее!

Пункт четвертый и пятый:

«Обожествление девственной природы, как единственной мудрости, гарантирующей сохранение извечного социального „порядка“ и уверенность в том, что никакие силы в мире не в состоянии переделать мужика».

Я не хочу затягивать «последнего слова подсудимого», тем более что по существу все эти пункты сводятся к одному и тому же. Мне только всем, видящим в нашем социалистическом будущем одни фабричные трубы да страстное соитие железа и бетона, хочется сказать: когда в лесу вместо деревьев будут петь различных сортов паровозы, испуская из топок нежнейший аромат первосортного кокса, когда русский мужик будет отдыхать в обнимку вместо бабы с трактором, когда, одним словом, вместо травы по произволению экс-индустриализаторов с библиографической страницы будут расти трех- и большедюймовые гвозди и шурупы, тогда это... не будет глупо, пока же увы: не умно!

Самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник Любви и Труда! Любовь к зверю, птице и... человеку!

Если мы разучились, так природа сама научит нас и беречь ее, и любить. ибо лгать в ней трудно, а разбойничать преступно так же, как и в искусстве!

Мне остается закончить мой последний ответ на ответ по двум параграфам, в которых сосредоточен едва ли не самый сильный огонь:

1. «Реконструкция сельского хозяйства, переделка крестьянского сознания, борьба не на жизнь, а на смерть, а С. Клычков, видите ли, не поспел, его корабль стоит еще в верфи. Нет, вдохновляются жизнью, трепетом сегодняшнего дня!»

Разными путями идет творчество художника, и подчас воистину пути эти неисповедимы (не смейтесь: это так!). Один бегаёт с записной книжкой за жизнью, во сне даже не выпуская из дрожащих рук заграничной ручки, молниеносно отзываясь на любой вопрос и любое событие текущего дня, являя собою, истинно сказать, «жертву вечернюю»<sup>5</sup> того социального заказа, против которого ничего, пожалуй, не скажешь, когда о нем ведутся теоретические споры, но против которого можно сказать все, что угодно, когда в практике он обращается из «социального заказа» в «социальный нахрап», другой... А впрочем, тут лучше сделать ссылку на более авторитетный голос, вот как Пушкин мыслил о «роли расстояния» в творчестве:

«Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко — надо отодвинуться на два века. Не надо торопиться!»<sup>6</sup>

Если Пушкину с его огромнейшим даром творческого провидения не надо было торопиться с эпохой Петра, которого он имеет в виду в вышеприведенных словах, «надо было отодвинуться на два века», то сколько же в еще живом трепете и потоке современности, более великой, чем Петровская эпоха, нам не подобает излишне махать, подчас пустыми рукавами, ведь по сравнению с Пушкиным мы все же не больше, как... огородные чучела!

Недаром же он все же написал-таки «Полтаву», а что вот мы оставим о современности?..

Поэтому не столько «торопиться на надо» (темп времени), сколько не надо торопиться!

Не следует хватать «за зашеину, за чолку, за холку и т. д.»

2. «Рассвирепевши в спорах о русском стиле, Клычков проговаривается: „Советской критике раз навсегда необходимо установить точные разграничения в этом вопросе, в противном случае русская революция останется с легкой руки Бескиных (много — бескиных)... без русского искусства!“ Вот тут собака и зарыта».

Тут, тут, совершенно верно, чтобы не получилось действительно впечатления, что я *только проговорился*, я еще раз по складам повторяю. «Октябрьская революция» есть «первый этап международной социальной революции» и тем не менее Октябрьская революция все же русская, а не французская и не английская, которых мы только ждем и которые чем скорее произойдут, тем будет лучше, потому что тогда не будет необходимости ни палехов экспортировать, ни таким писателям, как я, писать защитительные письма, ибо с мировой революцией, мы в это твердо верим, исчезнет та порода критиков, которая сидит в прихожей литературы с вытаращенными глазами, психиатрически упертыми в одну точку, именуемую «точкой зрения»... Словом, скажем так: завтра произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут, но... русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем мы по справедливости пред миром гордились и будем, любя революцию, страстно верить, что еще... будем, будем гордиться!

<sup>1</sup> Речь идет о главном герое повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 4. С. 391, 396).

<sup>2</sup> Ремонтер — офицер, командированный для отбора и закупки коней в целях комплектования кавалерийского полка.

<sup>3</sup> Имеется в виду публикуемый выше, не имеющий авторского указания «ответ» на статью С. Клычкова «О зайце, зажигающем спички», напечатанный вместе с нею.

<sup>4</sup> А. К. Воронским (1884—1943), одним из немногих в 1920—1930-е годы критиков, не подпавших под влияние господствовавшего тогда вульгарного социологизма и методов партийной проработки литературы, была написана обстоятельная и вполне объективная статья о Клычкове «Сергей Клычков (Лунные туманы)» (1926 — частично, 1928 — полностью), посвященная разбору романов писателя, преимущественно «Чертухинского балакиря», о котором говорилось, что это «произведение большой общественной значимости». В противоположность проработочной критике РАИШа и Коммунистической академии, он в своем исследовании не пошел по пути ведущего к роковым «оргвыводам» отторжения писателя от революции: «Клычков необычайно талантлив. С точки зрения фольклора роман имеет первоклассную ценность. Писатель сумел показать спиритическую, дику, дремучую Русь в ее плоти. Она встает, как заповедный, нетронутый, свежий и пахучий сосновый бор. Ни у Мельникова-Печерского, ни даже у Лескова нет такого телесного ощущения этой Руси. Революция, как это ни странно с первого взгляда, помогла нашей литературе заглянуть в такую канонную Русь, так ее почувствовать, как этого не было никогда» (Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 1982. С. 225, 227). Что же касается отмеченного будто бы Воронским «равнодушия» Клычкова к «гносеологии», то здесь имеется в виду следующее высказывание критика по поводу главной философской проблемы клычковских романов, а именно дуализма — понимания человека как «двуипостасной твари»: «У Клычкова плоть и дух противопоставляются друг другу не познавательно, а как бы чувственно и этически. К гносеологии он, по-видимому, равнодушен, его занимает „непомерность“ плоти и ее непреоборимость, но она непомерна потому, что человек забывает о духовном, забывает о главной тайне: все — живое в мире, предал себя в руки железному черту, который заместо души

привинтил ему гайку. Спорить с писателем по поводу его воззрения на плоть и на дух здесь едва ли уместно, но одно следует отметить. Роман Клычкова вновь и вновь подтверждает истину, что расщепление мира на две ипостаси, принципиально враждебные друг другу, есть миропонимание по сути своей пессимистическое и мизантропическое. Эту истину „Чертухинский балакирь“ подтверждает не теоретически и отвлеченно, а наглядно, в художественной форме, путем эмоционального опыта художника. Дуализм — пессимистичен, безнадежен. Только материалистический монизм, рассматривающий „дуж“, „душу“, психическое как функцию „непомерной плоти“, материи, примиряет диалектически противоречие, которое мучает Клычкова, и только он, этот монизм, жизнерадостен, не требует подспорья в виде заплотинного царства. Мы знаем стихийных материалистов в художественном слове. Таким был Л. Н. Толстой. Он, как художник, по-иному разрешал вопрос о материи и духе. Как художник он был жизнерадостным язычником. Сетования Сергея Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои основания; его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже своевременны и от них нельзя легко отмахнуться» (Там же. С. 224).

<sup>5</sup> «Жертва вечерняя» — слова одной из молитв вечерней службы «Да исправится молитва моя...», ставшие образным иносказанием по отношению к проститутке (см. роман П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», 1868).

<sup>6</sup> Такого высказывания у Пушкина не обнаруживается, имеется лишь отдаленно напоминающее его следующее суждение: «Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения» (Пушкин. Полн. собр. соч. [Л.] 1949. Т. 1. С. 14).

#### ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ ОТВЕТ г. С. КЛЫЧКОВУ

С. Клычков кипит негодованием против нашей критики. Она, видите ли, проявляет в своих суждениях о писателях «превеликую торопливость» и «малоосторожность», напоминая ему «удалых ремонтеров», хватаящих, к прискорбию большинства пишущих, «за зашеину», за «челку» и другие места. Упорно и вопреки всяким правилам проявляет намерение запрягать с хвоста «доморощенного коня» литературы. Правда, для некоторых критиков С. Клычков милостиво соглашается сделать исключение. Они «запрягают коня» по всем правилам искусства. Но это — очень небольшая часть критики. Это — Воронский и его школа, т. е. та ее часть, которая в вопросах искусства отошла от марксистских позиций.<sup>1</sup> Марксистская же критика вызывает со стороны С. Клычкова самые бешеные нападки. Нападает он не на отдельные перегибы, имеющиеся у отдельных критиков, а на самое существо, на вскрытие социальной природы творчества того или другого писателя. Не скупясь по ее адресу на самые крепкие эпитеты, С. Клычков пытается выступить с этими нападками от имени «большинства» пишущих. Он возмущается. Он язвит. Он ставит диагноз «свирепого недуга» во всей нашей марксистской критике. Он пророчит самые мрачные перспективы для советской литературы. Он на своем собственном примере пытается доказать, сколь тороптивы и малоосторожны суждения критики о писателях.

Не думаем, что «большинство пишущих» в советской стране уполномочивало С. Клычкова говорить от его имени. Не думаем, чтобы он выражал в своем выступлении мнение этого большинства. Он выступает от имени тех писателей, которые в своем творчестве ярко и отчетливо выражают буржуазные тенденции. Таких писателей у нас никак не большинство. Если же Клычков говорит о большинстве, то потому, что в его представлении лишь писатель, выражающий буржуазные тенденции, является настоящим доподлинным писателем. Все прочие впали в подкалмиаж и являются приспособленцами или вообще писателями считаться не могут.

А что С. Клычков выражает доподлинно кулацкие тенденции в своем творчестве, что он в полной мере может считаться кулацким писателем, это он еще раз

доказывает своей статьей «Свирепый недуг», доказывает совершенно неопровержимо.

Марксистская критика утверждает, что творчество С. Клычкова проникнуто «дуалистической философией с утверждением от бога положенных общественных порядков на земле». Проповедь в художественных образах той идеи, что все происходящее на земле является лишь отображением предначертаний, идущих из сверхчувственного мира, является выражением определенных философских взглядов и в то же время составляет одну из неотъемлемых основных частей кулацкой идеологии.

С. Клычков решительно оспаривает, будто в его творчестве имеется такая тенденция. Как же он оспаривает это? Во-первых, он утверждает, что гносеология к этим вопросам припутывается зря, так как он, Клычков, совершенно равнодушен к гносеологическим проблемам. Во-вторых, он заявляет, что его позиция в отношении «божественного» происхождения общественного порядка на земле еще более радикальна, еще более «революционна», чем позиция современного атеизма. Современный атеизм, по его мнению, представляет просто-напросто «практику антицерковности, сводящейся большей частью к попойке», он же, Клычков, во всех изданных им книгах проводит тему богоборчества, которое будто бы «чрезвычайно родственно складу и природе русского народа» и которое находит свое выражение в таком, с позволения сказать, «тезисе»: «мир заделывал бог, хорошо не подумав, почему его и пришлось переделывать... черту». Видите, как страшно революционен С. Клычков! И как скоропалительны «ремонтёры» марксистской критики, необоснованно зачислив его в разряд реакционных писателей.

Существует ли материальный мир вечно, или он появился в результате творческого акта нематериальной силы — это коренной вопрос философии. В зависимости от того или иного ответа на этот вопрос философия делится на школы, на направления. Как называть это материальное творческое начало — идеей, разумом, богом или чертом (а особенно какова доля участия тут между богом и чертом) это уже третьестепенный вопрос.

С. Клычков решает вопрос определенным образом. Мир не существует от века, а его «заделывал бог, хорошо не подумав, а доделывать приходилось черту». Значит? Значит С. Клычков вовсе не равнодушен к проблемам гносеологии. Напротив, он решает их в совершенно определенном направлении. Так же в основном, в решающем ставят этот вопрос все и всяческие мракобесы, утверждающие, что общественные порядки на земле — небесного происхождения. Именно это и констатирует марксистская критика. Чего же так возмущается Клычков? Чего же негодует? Мы кошку называем кошкой, а взгляд, что, скажем, пролетарская революция произошла по божьему попущению в наказание за грехи, что она является делом черта и т. п., такой взгляд мы называем мракобесием.

Человеку, который не умывался много дней, нечего обижаться, когда люди говорят ему, что он не приятен. Если он равнодушен к грязи, то он должен быть равнодушен и к тому, что кто-либо его в этом упрекнет. Если же он не хочет ходить неумытым, то он должен быть признателен людям, которые на это обращают внимание. Ему нужно поскорее сходить в баню.

Второй упрек в адрес Клычкова был сделан марксистской критикой в том, что в его творчестве сказывается «темная ненависть к науке, угрожающей подорвать основу кулацкого строительства».

С. Клычков косвенно признает в своей статье, что отношение к науке у него отрицательное. Но, по его словам, отсюда нельзя делать вывода, будто это дает основание бессмысленно подозревать писателя в «пагубной страсти к кулацкому

строительству». Критик говорит, что темная ненависть к науке выражает кулацкую тенденцию, так как наша наука угрожает кулацкому строительству. С. Клычков с крайней поспешностью это положение стремится принять на свой личный счет, изображает дело так, будто его, Клычкова, лично кто-то где-то пытается упрекать в том, что он кулак. Не дело критики копаться в личной биографии писателя. Не нужно быть лавочником, чтобы выражать взгляды лавочника, и не обязательно самому писателю быть кулаком, чтоб выражать в своем творчестве кулацкие тенденции. Но тот писатель, который проникнут темной ненавистью к науке, который поэтизирует темноту, патриархальщину, идиотизм деревенской жизни, тот в наше время — прямой выразитель кулацких тенденций, хотя он может и не помышлять о том, чтобы лично заняться устройством кулацкого хозяйства.

А что С. Клычков проникнут «темной ненавистью к науке», это он доказал своей статьей «Свирепый недуг». Ненависть его — темная потому, что он ни малейшего понятия о том, что ненавидит, не имеет и иметь не желает. Он с ненавистью третирует современный атеизм. Но никакого понятия о нем, о его основах не имеет. О философии марксизма он имеет такое же представление, как и его чертухинские герои. Откуда же эта ненависть? Как можно ненавидеть то, о чем не имеешь представления? Одно только объяснение возможно. Марксизм, его философию ненавидит, не зная его, тот, кто ненавидит те результаты, к каким ведет марксизм в практической жизни. В практической жизни марксизм ведет, среди всего прочего, к ликвидации кулачества как класса. Как же не сказать, что тот, кто пылает «темной ненавистью» к современной науке, а о современной науке нельзя говорить, если под ней не подразумевать марксизм, что такой человек выражает кулацкие тенденции.

И что это так, видно еще из того, что в связи с этим вопросом С. Клычков берет под свою защиту сектантство, «к каковому теперь установилось очень странное и очень ложное пренебрежение, ибо совершенно несомненна огромная роль этого явления в деле развития и формирования в прошлом идей революции» (С. Клычков).

Ну конечно же, по Клычкову, значение сектантства в деле формирования идей революции в прошлом огромно, видимо, куда больше, чем такого «поверхностного» явления, как марксизм!

Но вот что нужно бы иметь в виду С. Клычкову. Если в прошлом, во времена борьбы с царизмом сектантство играло, хотя и не большую роль в революционной борьбе, то тогда марксисты не оценивали его так, как оценивают это в настоящее время. Одно дело то, что было в прошлом, другое дело то, что есть сейчас. Лозунг Учредительного собрания при царе был революционным лозунгом, при Советах он стал контрреволюционным лозунгом. Найдется ли чудака, который скажет, что у нас к этому лозунгу «установилось очень странное и очень ложное пренебрежение»!?

Переходим к третьему пункту. Дело идет от ненависти к городу как врагу деревни.

Тут С. Клычков не находит ничего лучшего, как спрятаться за Верхарна. Но как прекрасно пример с Верхарном бьет по самому Клычкову.

Поля кончают жизнь под страшной колесницей,  
Которую на них дух века ополчил,  
И тянут щупальцы столица за столицей,  
Чтоб высосать остаток прежних сил.

Трудно придумать лучшую поэтическую характеристику отношений между городом и деревней при капитализме. Да, города-спруты при капитализме высасывают сок нервов, мозг костей, кровь сердца из деревни. Деревню капитализм



обрекает на поток и разграбление. Своим стихотворением Верхарн вскрыл это отношение, показал его в художественных образах.

Ну, а вообразите себе, что эти строки написаны для характеристики отношений между городом и деревней при советской власти? Это будет уже кулацкий пасквиль, потому что при советской власти отношения между городом и деревней в корне меняются. Капитализм вырывал все большую пропасть между городом и деревней. Социализм уничтожает противоречия между городом и деревней.

Верхарн был революционным поэтом. Он отношения между городом и деревней при капитализме рассматривал не как извечный конфликт двух начал, а как проявление «духа времени», т. е. капитализма. По Верхарну, эта тема вырастает из капиталистических отношений. По Клычкову же, она — «общечеловечна». Он, правда, старательно подчеркивает, что в его произведениях дело идет о старой деревне, но заблочно обходит в то же время вопрос о том, что при советской власти дело радикальным образом меняется. Он, напротив, подчеркивает, что тема эта — общечеловечна, что «у нас еще имеются некоторые виды дореволюционной смычки» (?). Тем самым он дает понять, что отношения между городом и деревней при советской власти принципиально не изменились сравнительно с отношениями между ними при капитализме.\*

Пункта об обожествлении девственной природы, как единственной мудрости, гарантирующей сохранение известного социального порядка, С. Клычков и не собирается отрицать. Он прямо с зоологической ненавистью издевается над мечтателями о тех временах, когда «в лесу вместо деревьев будут петь различных сортов паровозы, когда русский мужик будет отдыхать в обнимку вместо бабы с трактором» и т. п. Не считает нужным он опровергать также пункта о том, что его творчество отражает «уверенность в том, что никакие силы в мире не в состоянии переделать русского мужика».

Ясно, что этим самым он еще раз подтвердил, что не скоропалительно и малоосторожно, а с полным основанием советская критика квалифицировала его как барда кулацкой деревни.

С. Клычкову критикой делается упрек в том, что он в своем творчестве совершенно чужд актуальных проблем современности, что он уходит от сегодняшнего дня в прошлое, поэтизируя его, Клычков не находит ничего лучшего, как отделаться от злого упрека по своему адресу ссылкой на Пушкина, спрятавшись под сень пресловутой теории «пафоса дистанции». Пушкин, видите ли, писал:

«Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина, он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко — надо отодвинуться на два века. Не надо торопиться».

Отсюда С. Клычков делает для себя вывод, что и ему «не надо торопиться». Но сам-то Пушкин «Полтаву» написал, а не отложил ее описание на два века, оставив тему в наследстве писателям будущего. И за тему «Полтава» он взялся потому, что считал ее актуальной. Создавая свою «Полтаву», он служил своему классу, работал над произведением, бывшим в своей идее актуальным для его класса. Поэтизация С. Клычкова старой, ушедшей Руси тоже есть работа над актуальной темой, но в том освещении, какое дает ей Клычков, актуальна она

\* Кстати, С. Клычков утверждает, что у Верхарна (в приводимом им стихотворении) каждое слово звучит «по-русски». Это не верно. У Верхарна, например, есть строки:

Диск золотой, садясь за косогором,  
Уже не кажется причастием святым.

Ясно, что ассоциация «солнца» и «причастия» может иметь место лишь там, где попы причащают облатками, т. е. в католической Бельгии, по-русски пришлось бы сказать иначе.

для того класса, чьи идеи в своем творчестве Клычков выражает. Она выражает чаяния кулачества. Это доказывала советская критика. Мы понимаем, что С. Клычков считает для себя обидным слыть кулацким писателем, и готовы это всячески приветствовать. Но С. Клычков должен без раздражения понять ту точку зрения в литературе, исходя из которой каждый писатель рассматривается со стороны выражаемых им классовых тенденций. С. Клычков понятия не имеет об этой точке зрения, он не проявляет никакого желания в ней разобраться, понять, правильна она или не правильна. Он просто-напросто ее «отрицает». Но с таким успехом он может отрицать любую точку зрения в науке, любую научную теорию. Такое отрицание никак не убедительно. С. Клычков пытается доказать не то, что его нельзя считать кулацким писателем, а то, что вообще неправильно рассматривать творчество писателя с точки зрения классовых тенденций, в нем выражающихся. Но доказать это можно, лишь опровергнув марксизм. Но о марксизме Клычков понятия не имеет. Поэтому его опровержения строятся по принципу: «аминь, аминь, рассыпья». Такое «отрицание» указанной нами точки зрения на явления литературы крайне характерно для общественной позиции С. Клыčkова.

Отметим в заключение, что С. Клычков вполне убежден, что наша революция должна именоваться «русской». Он возмущен, когда эти его слова оспариваются. Он наивно вопрошает: «Что и она по-вашему французская, что ли?» Нет, С. Клычков, она не французская. Но и не русская. Ведь живут-то в советской стране не только русские, но и украинцы, татары и т. д. Не ясно ли, какой длины уши великорусского шовинизма выпирают из рассуждений С. Клыčkова по этому вопросу. А шовинизм — одна из черточек, характерных для кулачества. Это еще один штришок в доказательство той мысли, что статья С. Клыčkова лишь подтверждает положения его критиков.

Б. Ольховый

<sup>1</sup> Как пронизательный критик и подлинный теоретик искусства А. К. Воронский (см. прим. 4 к статье Клыčkова «Свирепый недуг»), сам поначалу стоявший на позициях вульгарного социологизма, к концу 1920-х годов отходит от них, поняв всю нелепость сведения искусства, отображающего бескрайний и бездонный мир человеческого бытия, к теории «классовой борьбы», основанной на тотализации наиболее мифической части марксистской философии. Так, в своей программной статье этого периода «Искусство видеть мир» (1927), отказываясь от теории жесткой социально-классовой детерминированности художника (у Маркса, по определению Н. Бердяева, «в человеке мыслит и творит не он сам, а социальный класс, к которому он принадлежит, он мыслит и творит, как дворянин, крупный буржуа, мелкий буржуа или пролетарий»). — *Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма*. М., 1990. С. 80), он выдвигает теорию «перевоплощения», согласно которой художник подчиняется прежде всего в своей природе еще не познанной, таинственной и могучей интуиции творчества, управляемой подсознательной областью духовной деятельности человека и позволяющей ему постигать и отображать всю многоликость мира. Это «откровение» было, естественно, встречено бдительно следящей за умонастроениями деятелей искусства партийной критикой в штыки. В вышедшем одновременно с первой статьей Клыčkова втором томе «Литературной энциклопедии» о Воронском по этому поводу писалось: «Классовую точку зрения на красоту, развитую еще Чернышевским, классовый смысл красоты и вытекающую отсюда истину, что красота явление общественное, Воронский заменил утверждением, что существует объективная красота. (...) По существу, Воронский произвел замену понимания искусства как результата практики классового человека, как результата его активного отношения к миру — пониманием искусства как предмета созерцания, да притом во многом освобожденного от общественной оболочки. Выводы, к которым идет логически Воронский, отбрасывают его от марксизма, совершенно сводя на нет правильные методологические построения первого периода его деятельности» (Литературная энциклопедия. М., 1929. Т. 2. Стлб. 316, 317). Такой отход от «марксистской методологии» в пользу общечеловеческих, лично-творческих критериев в оценке искусства не мог, разумеется, не повлечь за собой тяжелых последствий для «отщепенца». Расплатой явилось снятие Воронского в 1927 году с поста редактора журнала «Красная новь», появление поносящего имя критика «термина» «воронщина», а затем и физическое уничтожение в репрессиях 1930—1940-х годов.

Н. А. Слимова, Т. Б. Семенова, Г. И. Чипига

## ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ К. А. ФЕДИНА

Государственный музей К. А. Федина создан в 1979 году в Саратове, на родине писателя. Основу музейной коллекции составили архивы самого Федина и его близкого родственника — Г. В. Рассохина. Дочь писателя, Нина Константиновна Федина, ответственный секретарь Комиссии по литературному наследию К. А. Федина, постоянно передает в музей ценные реликвии, связанные с творческой судьбой самого писателя и его современников, оставивших значительный след в русской культуре. За 14 лет существования музея в нем собрано около 40 тысяч предметов основного и 7 тысяч — научно-вспомогательного фондов. Это материалы, связанные с жизнью и творчеством Константина Федина, с историей русской культуры XX века, с литературной и культурной жизнью Саратова.

Незаурядная личность Федина, выдающегося писателя, человека оригинальной судьбы, обусловила широту и многогранность сформированных в музее коллекций.

Среди наиболее ценных раритетов музея — коллекция автографов русских писателей, в которую входят их рукописи и переписка: стихотворения Н. Некрасова «Забывтая деревня» и А. Блока «Мы шли заветною тропкою...», поэмы В. Хлебникова «Ладомир» (фрагмент) и Н. Тихонова «Шахматы», сказки И. Соколова-Микитова «Небо пало», «Козел и баран», рассказ К. Паустовского «Молитва мадам Бове», очерк Б. Пастернака «Освобожденный город», черновик докладной записки М. Салтыкова-Щедрина на имя тульского губернатора, а также письмо Н. Гоголя к матери (1848), письма Ф. Достоевского С. Лободу (1874) и М. Александрову (1877), письмо А. Чехова Н. Лейкину (1888) и многие другие материалы.

Музей хранит также большое собрание книг с дарственными надписями, переписку и другие документы современников Федина. Это А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Е. Замятин, А. Ремизов, Ф. Сологуб, К. Чуковский, М. Зощенко, Н. Тихонов, В. Каверин, Вс. Иванов, М. Пришвин, Б. Лавренев, Вяч. Шишков, Ф. Gladков, А. Толстой, А. Фадеев, А. Твардовский, К. Симонов, И. Эренбург, Н. Кузьмин, Т. Маврина, В. Милашевский, Г. Филипповский, Е. Вучетич, А. Воронский, В. Полонский, В. Мейерхольд, А. Таиров, М. Шагинян, В. Шукшин, Д. Лихачев, Л. Лунц, Р. Гуль, М. Слонимский и многие другие.

Материалы музея широко и многогранно представляют время, в которое жил и творил писатель. Они несомненно являются ценнейшими литературно-общественными документами. В историю литературы, мучительно восстанавливающуюся сегодня, могут быть вписаны, например, и многие события, запечатленные на страницах уникальных архивных документов, — о деятельности Союза писателей, главой которого Федин являлся на протяжении 18 лет: официальная корреспонденция, протоколы съездов, заседания многочисленных комиссий и т. д. Но, разумеется, особую ценность представляют рукописи и переписка самого Федина. Среди них — его дневниковые записи, хранящие многочисленные свидетельства эпохи и факты мучительных творческих исканий художника.<sup>1</sup>

Так, например, в записи от 12 января 1930 года имеются до сих пор не опубликованные строки о книге, которой не суждено было увидеть свет, — «Христофор с собачьей головой»:

«Человек с глубоко вкорененными общественными навыками, я не могу без боли смотреть на окружающее, которое проникнуто нетерпимостью. Натурам эта-

<sup>1</sup> Неизвестные дневники К. А. Федина за 1920—1930-е годы частично опубликованы в журнале «Русская литература» (1992. № 4. С. 139—163).

кого склада сейчас тяжелее, чем когда-нибудь. Сейчас пора людей, умеющих командовать и слушаться команды. Я не гоюсь ни для того, ни для другого.

Губить сознательно что-нибудь небольшое легче, чем большое. А жизнь требует, чтобы я губил, губил все! И даже самое большое — мое понимание, мое чувство искусства — все должно быть отдано на растопку нелепой и прожорливой печке, сложенной наспех людьми, не знающими разницы между Чумандриным и Бальзаком. Я пишу повесть, отчетливо зная, что часть ее нарощена не мною, а каким-то подсознанием, образовавшимся во мне в результате того, что я поселен в казарму нынешней литературы. Боль почти физическая и не прекращающаяся ни на час».<sup>2</sup>

В фондах музея имеется и рукописный вариант предисловия к «Христофору с собачьей головой». Начинается оно с фразы: «В истории, которую я собираюсь расказывать, участвует правда», — а завершается следующими немалозначащими размышлениями: «...научная мысль последнее время попрекает писателя тем, чего в его произведениях нет, в то время как в старину автор отвечал, в сущности, за самую малость: за то, что в его произведениях есть...»<sup>3</sup>

Эпистолярный отдел на сегодняшний день содержит обширную, в основном не опубликованную переписку Федина с его родными и близкими, с писателями и литературоведами, а также письма зарубежных деятелей литературы: Р. Роллана и его жены М. Кудашевой, С. Цвейга, Ж. Веркора, Б. Брехта, М. Андерсена-Несе, А. Зегерс, Д. Габе и др.

В коллекции писем К. Федина есть корреспонденты, с которыми его связывала долгая личная и творческая дружба. Среди его постоянных корреспондентов И. С. Соколов-Микитов, М. Слонимский, С. Алянский, В. Шишков. Самой продолжительной (полвека) была переписка Федина с И. С. Соколовым-Микитовым. Музей хранит сотни писем Соколова-Микитова Федину (первое из них датировано 1922 годом, последнее 1974 годом, за несколько дней до кончины Соколова-Микитова).<sup>4</sup> Полувековой диалог Федина и Соколова-Микитова содержит интересные размышления о России, о судьбе русского писателя, о русской деревне — обо всех тех вечных вопросах, которые всегда занимали нашу интеллигенцию. Это переплетение судеб (личных и творческих) в письмах двух больших писателей, свидетельство почти выродившегося на Руси умения дружить долго и верно. Переписка Федина и Соколова-Микитова, дополняющая живыми свидетельствами времени наши представления о литературном процессе XX века, несомненно заслуживает опубликования в полном объеме.

В числе переданных музею документов — более 500 писем Федина жене Доре Сергеевне с 20-х по 50-е годы, из которых опубликована лишь незначительная часть. Это настоящий роман в письмах: путевые заметки, связанные с многочисленными поездками в служебные командировки; философские эссе о писательском труде, углубленные размышления о личных отношениях.

Музей собрал уникальные документы о литературном обществе «Серапионовы братья», куда Федин вошел по рекомендации Горького в феврале 1921 года. «Мы были разные, — писал впоследствии Федин об этом времени. — Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы...»<sup>5</sup> В фондах музея хранятся протокол заседания группы «Серапионовы братья» от 6 января 1922 года, а также анкеты Петербургского Дома Литераторов за 1919—1921 годы на имя Е. Замятина,

<sup>2</sup> Дневник К. А. Федина. 12 января 1930 г. // ГМФ 5610/2. Тетрадь ibis. С. 69.

<sup>3</sup> ГМФ. 33982.

<sup>4</sup> Частично эти письма опубликованы в кн.: Только одна человеческая жизнь: Фединские чтения. Вып. 3. Саратов, 1993.

<sup>5</sup> Федин К. Горький среди нас. М., 1968. С. 779.

К. Федина, М. Слонимского, П. Щеголева, О. Форш, М. Шагинян, Н. Тихонова и др.; протокол заседания жюри конкурса на лучший рассказ 1921 года,<sup>6</sup> письма разных лиц, среди которых выделяются 40 писем К. И. Чуковского К. Федину, во многом проливающие свет на этот период творческой биографии писателя.

Громадную ценность представляют 8 писем и открыток знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга.<sup>7</sup> В неопубликованной части фединского дневника имеются также два неизвестных ответа Федина Цвейгу, написанные им на немецком языке.

В 20-х и начале 30-х годов С. Цвейг с большим вниманием наблюдал за развитием творчества молодых русских писателей, Россией он был просто заморожен. Широко известны слова С. Цвейга о Федине, которые он послал автору романа «Города и годы» в своем первом письме: «...у Вас есть то, что у русских художников так непонятно большинству (и чего, к моему огорчению, я совершенно лишен) — великолепная способность, с одной стороны, изображать народное, совсем первозданное человеческое, и одновременно создавать тончайшие артистические фигуры, показывать духовные конфликты во всех их сверхчувственных проявлениях».<sup>8</sup> Без сомнения, слова эти можно считать эпиграфом ко всему творчеству К. Федина.

Письма Цвейга увлекали Федина «множеством мыслей и чувств» и особым отношением к литературе: «Я перебираю письма ко мне и открыточки Цвейга, вспоминаю каждую новую его книгу, присланную сразу после выхода, с милой и быстрой надписью. Какая страсть призвания, сколько темперамента, интереса, любви к литературе!»<sup>9</sup>

С. Цвейг приглашал Федина на Большой Конгресс международного ПЕН-клуба в Вену. Очень лестное приглашение поступило Федину и лично от президента австрийского ПЕН-клуба Феликса Зальтена. На этот Конгресс должны были поехать многие писатели. Однако власти не разрешили участие советских писателей в венском конгрессе. Встреча С. Цвейга и К. Федина не состоялась.

В начале 30-х годов письма Цвейга приобретают трагический оттенок. Все мысли его обращены к зловещим событиям в Европе. Мир трепетал, предчувствуя новые катастрофы.

В 1931—1932 годах Цвейг шлет заболевшему туберкулезом Федину сначала в санаторий в Давосе, а затем и в Шварцвальд (Германия) ободряющие письма, открыточки и книги с теплыми дружественными надписями; в каждом письме к Федину — надежда на скорую встречу, которой не удалось сбыться.

Самоубийство Цвейга в 1942 году вдали от родины и Европы потрясло Федина. Вместе со всеми он потерял истинного друга и брата по духу. Письма Цвейга были очень дороги Федину. Дороги они и для России. В них все посвящено ее судьбе, русскому человеку, судьбам мира и человечества.

Непосредственно связанная с творческой судьбой Федина коллекция саратовского музея открывает немало новых возможностей для изучения истории русской литературы XX века в целом. И музей стремится как можно шире знакомить научную читательскую общественность с материалами архивного фонда. Этому

<sup>6</sup> Жюри конкурса в мае 1921 года подвело итоги и присудило премии: первую — К. Федину за рассказ «Сад», вторую — Н. Никитину за рассказ «Подвал», третью — В. Зильберу (В. Каверину) за рассказ «Одиннадцатая аксиома», четвертую — Л. Лунцу за рассказ «Врата райские», пятую — Н. Тихонову за рассказ «Сила». Документ опубликован Л. Ю. Коноваловой в сб.: Найти свой лад: Фединские чтения. Вып. 2. Саратов, 1992.

<sup>7</sup> Часть писем С. Цвейга К. Федину опубликована в журнале «Иностранная литература» (1977. № 12).

<sup>8</sup> Иностранная литература. 1977. № 12. С. 250.

<sup>9</sup> Федин К. Писатель. Искусство. Время. М., 1973. С. 314—315.

служат прежде всего научные конференции, организуемые музеем ежегодные фединские чтения, в которых принимают участие историки литературы из разных городов страны. Постоянно обновляются тематические выставки уникальными архивными документами. Многие из этих материалов опубликованы в трех научных сборниках, изданных музеем.<sup>10</sup>

Большой интерес саратовцев вызвали выставки из музейных коллекций «„В прекрасном и яростном мире“. Литература 20-х годов»; «Анна Ахматова», «„Трудно быть в Союзе писателем...“ Литературный процесс 50—70-х годов», «„Непознанный свет“. Серебряный век русской поэзии».

Музей постоянно ищет новые, нетрадиционные формы работы: литературные гостиные, литературное кафе «Собеседник», объединившие творческих людей города; разнообразная работа с детьми, включающая в себя детские утренники, программы с актерами и т. д.

У музея К. А. Федина серьезные творческие перспективы — введение в научный оборот редчайших документов эпохи; многогранная издательская деятельность; широкая научно-исследовательская работа по изучению и хранению архивных материалов; расширение музейной экспозиции, в частности, создание новой экспозиции — «Города и годы К. Федина».

Ниже публикуются некоторые материалы из фонда музея К. А. Федина в Саратове.

## ИЗ ПИСЕМ К. А. ФЕДИНА Д. С. ФЕДИНОЙ

### 1

Петербург, 18 июля 1920 г.

(...) Сегодня — праздник, и я не знал, как провести его без тебя, моя детка. Странно, но с того момента, как я проснулся, и до сих пор, когда все стихло и потеряло формы в темноте глубокой ночи, я чувствую, что этот день — предтеча многих долгих, однообразных дней будущего: такой он грустный и «одинокий»...

Наверно, я мог провести его лучше. Но этого не случилось. Я перелистывал разные книжки, читал Диккенса, потом пошел в Летний. Там добрый дух завел меня во дворец Петра Великого, и там отдохнул я, пройдя по пугающим своей простотою комнатам человека, который был таким же гением-безумцем, как наши революционеры. Когда я увидел каморку, в которой Петр собирал и устраивал ассамблеи — эти революционные клубы в московской длиннородой Руси, — я почувствовал всю беспредельность его гения так, как это можно чувствовать, отстоя на 200 лет от времени, когда ассамблея казалась кощунством. Ты можешь себе представить, какие мысли вызвал у меня дух этого человека-зверя. Как он был страшен и отвратителен тогда, 200 лет назад, и как прекрасен и притягателен теперь!

Я бродил по набережной Невы, покрытой веселыми тряпочками напиханных вымпелов, и думал о том, что было на этом месте 200, потом 100 лет назад, и что переживем здесь завтра.

Тогда — похищение Европы, водворение ее в долгополой, полутатарской Руси. Через 100 лет — попытка водворить все еще полутатарскую Русь во всей Европе.

<sup>10</sup> См.: Фединские чтения. Вып. 1. Саратов, 1988; Найти свой лад: Фединские чтения. Вып. 2. Саратов, 1992; Только одна человеческая жизнь: Фединские чтения. Вып. 3. Саратов, 1993.

Помнишь, каким страшилищем для европейской цивилизации был правнук великого Петра — Николай I? И вот теперь, завтра, я иду на конгресс Интернационала.<sup>1</sup> Европа, по крайней мере, Европа близкого будущего, тянется к Руси, от которой еще так недавно открепивалась и отрекалась.

Как хорошо, как лестно жить в такое время!

Нужно быть таким непоследовательным в настроениях и нужно, сидя в Летнем, прочитать «Красную газету», чтобы после осмотра обиталища гениального Петра и прогулки по божественной Неве, попасть... в цирк. Смотреть потешного Мильтона, вертящихся в воздухе людей и нюхать пот чемпионов мускулов, костей и глупости...

Если бы ты была здесь, я пошел бы к тебе, чтобы рассказать о Петре и его гении, своих мыслях и своих планах. Но тебя нет, а путь мой лежал мимо Чинизелли.<sup>2</sup>

Теперь я дома. И меня ждет мой идол, мое божество, мой тиран — Бакунин.<sup>3</sup> Помолись за меня простору, природе, свету и ветру, чтобы я скорее нашел в себе новые силы для своей работы...

В остальном все по-старому. Газета осточертела. Но... Но и но! Пишу, пишу и пишу. Дописался до того, что, после великих колебаний и страхов, Василевский не решился отказать поместить в «ППИ»<sup>4</sup> мой ругательный отзыв на книгу пресловутого поэта пролетариев — В. Князева.<sup>5</sup>

Напечатают — пришло тебе, надеюсь, что ты не раз улыбнешься, читая мои «гневные строки».

А как ты, моя детка? Дышишь, поправляешься, гуляешь? Смотри, чтобы как следует «одеревениться»!

Дай поцеловать тебя крепко. Чувствуешь?

Прощай

Константин.

Публикуется по автографу (ГМФ. 33383).

<sup>1</sup> Имеется в виду Коммунистический Интернационал (Коминтерн, III Интернационал); II Конгресс Коминтерна проходил 19 июля—17 августа 1920 г. в Москве, открылся конгресс в Петрограде.

<sup>2</sup> Чинизелли Г. (1815—1881) — представитель семьи цирковых артистов и предпринимателей, в 1877 году построил в Петербурге здание цирка.

<sup>3</sup> В марте—декабре Федин работает над драмой «Бакунин в Дрездене».

<sup>4</sup> Вероятно, газета «Петроградская правда».

<sup>5</sup> Князев Василий Васильевич (1887—1937) — поэт; Федин подготовил рецензию, видимо, на один из следующих сборников стихов В. Князева: «Красное Евангелие» (1918), «Красные звоны и песни» (1918), «Песни Красного звонаря» (1919), «О чем пел колокол» (1920).

## 2

25 июля 1922 г.

Славная моя девочка, из чувства гордости я отдал какому-то нищему последние советские сорок тысяч рублей, чтобы ехать без единой копейки. Так я еще никогда не уезжал. При покупке билета Миша обнаружил, что у нас недостает одного миллиона. Я перебежал через дорогу и в панике бросился в редакцию «Мухомора»,<sup>1</sup> денежные отношения с которым тебе хорошо известны. Тем не менее мне дали миллион, — вероятно, такой у меня был вид. С книгой у Гессена сорвалось. Он просит меня переговорить с Моск(овским) Гос(ударственным) Изд(ательством) — не возьмет ли оно хотя 500 экз. книги. В этом случае берется выпустить книгу быстро и хорошо. Песня старая — «беллетристика». Не идет, боится сесть. Я забрал с собой книгу и все рукописи, какие нашлись в столе. Буду торговать оптом и в

розницу. Надеюсь, вернусь я домой не по шпалам. Папа прислал открытку — целует тебя, благодарит за посылку — получил.

Целую тебя, милая.

Твой Костя.

Р. С.: Толстой прислал мне письмо. Второго альманаха, который мы прислали через Чуковского, он не получил, ждет его, не получил также и письма Б. П. Просит меня прислать статью о Блоке. Свинство с рукописями.

Публикуется по автографу (ГМФ. 33383).

<sup>1</sup> «Мухомор» — иллюстрированное сатирическое издание (Пг., 1922—1923).

## К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ «СЕРАПИОНОВЫ БРАТЯ» ИЗ ПИСЕМ Л. Н. ЛУНЦА<sup>1</sup> К. А. ФЕДИНУ

### 1

Гамбург. 23/I-24 г.<sup>2</sup>

Милый Костя!

Поздравляю тебя и прочих Серапионов с третьей годовщиной Братства. По-сылаю при сем «Хождение по мукам»<sup>3</sup> для прочтения на празднестве. В последнее время я невероятно разленился и никак не мог написать эту глупость. Наконец, собрался в последнюю минуту — скомкал и испортил. Ну, какова ни есть — простите.

У меня все по-старому. Надеюсь все же к XXV-летнему юбилею Серапионов выздороветь.

Да! Дошли до меня слухи, что вы, несчастные, собираетесь праздновать годовщину на холостую ногу, без жен. Считаю долгом выразить негодование. Надеюсь, что это так. Наши годовщины тем и хороши, что по-семейному праздновались без всякой шушеры. Нет вам в противном случае моего благословенья.

Вспомните меня 1-го. А я-то уж, наверное... Увы! Увы! А ты, старый грешник, пиши. И другим передай, чтоб не забыли. Жена, дочь, теща — всем поклоны.

Целую.

Лунц.

Публикуется по автографу (ГМФ. 35944).

<sup>1</sup> Лунц Лев Натанович (1901—1924) — активный организатор и автор декларации группы «Серапионовы братья».

<sup>2</sup> Л. Лунц лечился в Германии, куда эмигрировали его родители; умер от эмболии головного мозга.

<sup>3</sup> Упоминаемое в письмах Л. Лунца «Хождение по мукам» было опубликовано Г. Керном в «Новом журнале» № 83 в июле 1966 г. под названием «Хождения» на основе черновика в тетради, которую Лунц сохранил в санатории. У Федина хранился беловой вариант под названием «Хождения по мукам», отправленный Лунцем к трехлетнему юбилею группы «Серапионовы братья» (1 февраля 1924 г.). Впоследствии Федин, вспоминая о пятой годовщине группы, писал: «Играл баян(...) танцевал фокстрот(...) перечитывая старые лунцевские сатиры на серапионов, приходя в показной ужас от его страшных и смешных пророчеств» (Горький среди нас. Ч. 2. 1944).



## 2

Гамбург. 19/II-1924 г.

Милый, старый Костя!

Твое письмо, по обыкновению, растрогало меня и умилило. Ты не сердись, дорогой. Ты единственный из Серапионов, к которому я чувствую не только братские чувства, но и сыновьи. Единственный, к которому я отношусь с полным уважением, так что ты можешь даже при случае прикрикнуть на меня — испугаюсь и послушаюсь. Ты, повторяю, не обижайся, я это любя, я о тебе всегда вспоминаю с благодарностью и нежностью. Видно, мои «Хождения», действительно, попали в точку — я получил кучу писем, датированных 2-м февраля (...)

Публикуется по автографу (ГМФ. 35945).

**ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ФЕДИНА С М. Л. СЛОНИМСКИМ  
ПИСЬМО К. А. ФЕДИНА М. Л. СЛОНИМСКОМУ<sup>1</sup>**

20/I-1932

Милый Миша, скажи, существуют ли Серапионы? Судя по некоторым газетам, эта литературная группа «сыграла известную роль в развитии попутнической литературы». Это я прочел недавно...<sup>2</sup>

О боже! А как же «Вечера на Васильевском Острове»? Как вообще вечера, некогда любимые Серапионами?

Поздравлять или нет? И если поздравлять, то кого?

Я все-таки пишу тебе. Если ты захочешь (всерьез или в шутку) принять поздравление — значит Серапионы существуют (всерьез или в шутку), если же ты почувствуешь потребность объяснить мне разительное несоответствие серапионовской традиции духу времени... я буду знать, что Серапионов нет даже в шутку. Не правда ли, это — в конце концов — неплохо: «Серапионы в шутку»?..

Смешным не хотелось бы быть. А я чувствую, что такая опасность существует. Во всяком случае. Теперь уже невероятна формула, которой мы ласково улыбались лет шесть-семь назад: «Сегодня всей душой Вами».

Публикуется по автографу (ГМФ. 30926).

<sup>1</sup> Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — писатель, литературовед.

<sup>2</sup> С сентября 1931 г. по июль 1932 г. Федин лечился от туберкулеза в санатории в Давосе и оказался оторванным от ленинградской жизни. Он получает письма из Ленинграда от друзей писателей с сообщениями о литературной полемике 30-х гг., о гонениях на «попутчиков».

**ИЗ ПИСЕМ М. Л. СЛОНИМСКОГО К. А. ФЕДИНУ**

## 1

30/I—32 г.

(...) «Очередная лицейская годовщина», конечно, произойдет. Сойдутся старые, бывшие серапионы, бывшие Гофманы,<sup>1</sup> выпьют, закусят и, может быть, очередным образом поругаются. Романтика есть романтика. И я произнесу от твоего имени безукоризненный тост, от которого, авось, не отмежуешься — впрочем, просто поздравляю. (...)

Публикуется по автографу (ГМФ. 34511).

<sup>1</sup> Литературная группа «Серапионовы братья» заимствовала свое название от одноименных новеллистических сборников немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана (1776—1822): Сб. «Серапионовы братья», кн. 1-4, 1819—1821. Петроградские писатели испытывали особый интерес к творчеству Гофмана, некоторые из них старались следовать традициям этого художника.

## 2

1/П-69 г.

⟨...⟩ Лева Лунц — наша молодость, наши надежды, наша романтика. Подольский пишет мне, что нашел мою статью 1929 г. в «Жизни искусства» о Серапионах, там много о Лунце и в том же тоне, что и в 24 г. и в 43 г. (в связи с твоей книгой), и в последнем очерке. Не могу подавить эмоцию интеллектуальным анализом. Анализ у меня в данном случае строится на эмоции. Поэтому я еще годен на воспоминания, но не годен к литературоведческому анализу. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГМФ. 34533).

## 3

5/І-71 г.

⟨...⟩ Серапионовская история и взаимные отношения — это целый роман. И в этот роман входит моя с тобой переписка. Я разбирал архив (несколько лет тому назад) и недавно читал твои давние письма. Зощенки, Тихонова, Всеволода Иванова ⟨...⟩ у меня возникает приятное чувство, что в жизни было хорошее ⟨...⟩.

Публикуется по автографу (ГМФ. 34560).

## ПИСЬМО К. И. ЧУКОВСКОГО К. А. ФЕДИНУ

14/ХІІ-1967

Дорогой Константин Александрович! Получив Вашу книгу,<sup>1</sup> я раньше всего поглядел, восстановлен ли в новом издании драгоценный, словно на магнитофоне записанный диалог Вольнского<sup>2</sup> и Сологуба.<sup>3</sup> Оказалось: восстановлен. Я стал читать его вслух. Словно восхищаясь его непревзойденной художественностью, правдиво живописующей обоих безумцев, которых я знал — одного с 1902, другого с 1905 года. И голос Горького, его разговорная манера, его мимика, его жесты, его щегольство чеканной, наглядной и глубокомысленной речью — все это передано с мастерством чудотворным. И портреты — словно бронзовые медали — Блока, Ремизова, Замятина, Лунца, Каверина, Шкловского, и самый большой портрет эпохи. Словом, как ни смотри, с какой стороны ни подойди, это вершинная книга из всех современных мемуаров. Книга классическая...

И прелестные фото. И как знаменательно, что на овальном портрете самые важные и даже надменные лица у Никитина<sup>4</sup> и Груздева,<sup>5</sup> а самое грустное и скромное у Зощенко...

Спасибо за книгу, которая радует меня как событие...

Ваш Корней Чуковский.

Публикуется по автографу (ГМФ. 35578).

<sup>1</sup> Имеется в виду книга «Горький среди нас», над которой Федин работал с конца 30-х гг. В ней назван ряд имен деятелей культуры, находившихся под запретом: А. Волынский, Ф. Сологуб, Л. Лунц, А. Ремизов и др. У книги была трудная судьба. Дневнико-

вые записи зафиксировали моменты полного отчаяния писателя от невозможности сказать правду о литературной жизни тех лет. Конечно же, переработка, дополнения и изменения, которые вынужден был сделать Федин, обеднили ее, но и тот вариант, который увидел свет, был откровением, воскресением событий, имен, фактов литературной жизни.

<sup>2</sup> Волинский Аким Львович (Флексер Х. Л.; 1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства; в 1920—1926 гг. заведующий итальянским отделом издательства «Всемирная литература».

<sup>3</sup> Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — писатель, переводчик Вольтера, Мопассана, Бодлера, Рембо и др.

<sup>4</sup> Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — писатель, член литературной группы «Серапионовы братья».

<sup>5</sup> Груздев Илья Александрович (1892—1960) — критик, литературовед; биограф М. Горького, член литературной группы «Серапионовы братья».

## ПЕРЕПИСКА К. ФЕДИНА С С. ЦВЕЙГОМ ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ СТРАНИЦ К. ФЕДИНА

(Перевод с немецкого О. Бобровой)

### 1

25.I.29.

Уважаемый и дорогой Стефан Цвейг!

Позвольте от всего сердца поблагодарить Вас за письмо.<sup>1</sup> Оно глубоко взволновало меня не только потому, что содержит похвалу моим книгам, но и — прежде всего — потому, что для меня было неожиданной радостью получить послание от Стефана Цвейга — писателя, которого высоко почитаю уже с давних пор. Не хотелось бы, чтобы мои слова были восприняты лишь как обычная формула благодарности. Должен признаться, что Ваши книги, с тех пор как я прочел первую из них, стали в моей жизни настоящим событием. Они несут в себе то удивительное, что делает литературу своеобразной заменой реальной жизни. Великолепны глаза художника, открыто смотрящего на обнаженные ужасы жизни, и его сохраняющее при этом спокойствие лицо, поэтому я, прочитав, откладываю книгу с добрым и безмятежным чувством, какое возникает только при соприкосновении с прекрасным. Это — Вы. Ведь Вы раскрываете гармонию там, где другой писатель показал бы один хаос. Наивысшей вершины Вы достигаете, на мой взгляд, в «Звездных часах человечества»<sup>2</sup> (Гете, Наполеон) и в «Трех певцах своей жизни»<sup>3</sup> (особенно Казанова и Стендаль) — в книгах, которые доставили мне истинное наслаждение.

Вы можете себе представить, как дорого для меня Ваше письмо, какие надежды я возлагаю на нашу встречу в будущем. Очень жаль, что мы не встретились с Вами в России. Но, может быть, все же не исключено, что Вы приедете к нам еще раз, тогда бы я постарался быть Вам полезен при знакомстве с нашей страной.

Если Вас не затруднит, пришлите мне, пожалуйста, немецкое издание Вашей новой книги. У нас не всегда легко достать книги иностранных авторов на языке оригинала, и многие Ваши сочинения мне пришлось читать на русском. На наше счастье, переводы Ваших произведений (в издательстве «Время»)<sup>4</sup> очень хороши.

Шлю Вам свой сердечный привет и желаю всего наилучшего  
Преданный Вам  
К. Ф.

Извините мой немыслимый немецкий язык.

Публикуется по автографу (ГМФ. 5610/2. Тетр. 1—6. С. 21—23).

<sup>1</sup> Данное письмо является ответом на письмо С. Цвейга от 10 декабря 1928 г. (см.: Иностранная литература. 1977. № 12. С. 256).

<sup>2</sup> «Звездные часы человечества» — исторические миниатюры С. Цвейга (1927, расширенное издание — 1943).

<sup>3</sup> Федин имеет в виду книгу С. Цвейга «Три поэта своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой» (1928).

<sup>4</sup> Речь идет, по-видимому, о Собрании сочинений С. Цвейга в 12-ти томах, изданном в Ленинграде в 1928—1932 гг. с предисловием М. Горького.

## 2

25.7.29

Уважаемый и дорогой Стефан Цвейг,

Ваше дружеское письмо настигло меня в Железноводске (Сев. Кавказ) и поэтому с большим опозданием.<sup>1</sup> Какое-то время я колебался, сразу ли отказаться от поездки в Вену или все же сделать сначала попытку получить заграничный паспорт. Желание попасть в Вену, познакомиться с Вами и, может быть, даже побывать в Зальцбурге было очень велико. Я телеграфировал и послал письма некоторым своим коллегам в Ленинград, и они предприняли шаги, чтобы в мое отсутствие исходатайствовать для меня паспорт. Но если бы даже это оказалось возможным, то потребовало бы довольно много времени, а 24 июня уже приближалось. Кроме того, — и это главное — я проходил тогда курс лечения (у меня большой желудок: *ulcus duodeni*<sup>2</sup> — понимаете? Я давно перенес операцию, скучная история) и не мог прервать его, не причинив себе вреда. Конечно, я мог бы провести такое лечение в Австрии... Но для этого нужно было ведь сперва попасть в Австрию. Словом, мне пришлось отказаться от своего намерения присутствовать на Венском Конгрессе.<sup>3</sup> Я телеграфировал Вам об этом — получили ли Вы мою телеграмму?

Не знаю, поехали ли в Вену другие писатели, так же, как и я, получившие личное приглашение (в т. ч. Борис Пильняк). Из нашей прессы мне, однако, известно, что Московская федерация (Объединение всех писательских Союзов) приняла решение не посылать в Вену своих представителей под тем предлогом, что большинство известных писателей занято в настоящее время по призыву Профсоюзов изучением различных индустриальных районов Советского Союза.

Очень, очень жаль, что радость столь долгожданного для меня знакомства с Вами снова откладывается на неопределенное время. Мало вероятно, что я попаду вскоре за границу.

Поразительно! Как раз когда пришло Ваше письмо, я читал «Трех мастеров»<sup>4</sup> (это Ваша седьмая книга, которую я знаю) и много думал о Вашем Бальзаке — образе художника, который был мне всегда очень близок. Я размышлял о праве писателя объединять в одно целое свои сочинения, задуманные и созданные в разное время и без видимой связи, но все же родственные по тематике и по духу. Я имею в виду третий, уже начатый мной роман.<sup>5</sup> Чем больше над ним работаю, чем отчетливее вырисовывается его композиция, тем сильнее ощущаю его органическую связь с двумя моими прежними романами, которые представляют для меня нечто целостное. Если удастся закончить этот третий роман, все три вещи будут отображать судьбу современного русского интеллигента. И это наводит на мысль объединить романы в трилогию.

Разумеется, я далек от того, чтобы ставить перед собой задачу, хотя бы в малейшей степени сопоставимую с гигантским трудом Бальзака. Однако человеку всегда надо брать с кого-то пример, если он хочет чего-либо добиться. Я осознаю, что мне недостает подобающей скромности — не так ли?

С большим нетерпением жду обещанную Вами статью о моих книгах. Только, ради бога, не судите по переводу «Городов» (также по достойным сожаления моим

немецким письмам) о моем стиле! Этот перевод плачевен. Напротив, выполненные Эрвином Хонигом переводы «Братьев» и «Трансваля» я нахожу удачными.

Остаюсь на Кавказе и на берегу Черного моря до середины августа, потом возвращаюсь в Ленинград. Мой адрес сохраняется прежним...

Дружески жму руку и шлю Вам свой сердечный привет.

Публикуется по автографу (ГМФ. 5610/02. Тетр. 1—6. С. 47—49).

<sup>1</sup> Данное письмо является ответом на письмо С. Цвейга от 24 мая 1929 г. См.: Иностранная литература. 1977. № 12. С. 256.

<sup>2</sup> Язва двенадцатиперстной кишки (лат.).

<sup>3</sup> Речь идет о международном конгрессе ПЕН-клуба в Вене.

<sup>4</sup> Имеется в виду книга литературно-критических очерков С. Цвейга «Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский» (1920).

<sup>5</sup> В конце 1920-х гг. Федин начал работу над романом «Похищение Европы» (1933—1935).

### ПИСЬМА С. ЦВЕЙГА К. ФЕДИНУ

(Перевод с немецкого Г. И. Чипиги)

#### 1

10.12.29

Зальцбург

Дорогой Константин Федин,

я с большой радостью получил Ваше письмо из Кисловодска и сразу же ответил Вам. Надеюсь, мы скоро увидимся, — я буду Вам необыкновенно рад! Искренне Ваш Стефан Цвейг.

Публикуется по автографу (ГМФ. 33677).

#### 2

Зальцбург

Капуцинерберг 5

24 декабря 1930

Дорогой мой Федин!

Если я не написал Вам, то это не значит, что я о Вас не думал; я не мог, естественно, предположить, что мое последнее письмо к Вам могло затеряться, ведь для меня очень важно поддерживать с Вами связь. В этом году из вашего круга я лично встретился только с Владимиром Лидиным,<sup>1</sup> который приехал в Германию из-за болезни своей слепнувшей жены. Мы очень хорошо и сердечно встретились, и он, естественно, сможет рассказать Вам обо мне больше. Я с огромным нетерпением жду Ваш новый роман,<sup>2</sup> и как только он попадет мне в руки, я хочу сразу же написать о нем. Как ни странно, мне самому внезапно пришла мысль написать роман о русском человеке, о юноше, который еще не видел роскоши и безрассудно пустился в свое первое путешествие по Европе. Поэтому мне необходимо снова поехать в Россию, чтобы на месте сделать некоторые наброски, но для этого у меня нет сейчас времени, поскольку я только что завершил большую психологическую книгу и хочу теперь взяться за маленький роман, тема которого, собственно говоря, подобна замыслу о русском юноше.<sup>3</sup> Я целиком поглощен созерцанием того, как у нас умнейшие люди, самые лучшие

женщины становятся жертвами внешнего блеска хороших отелей и роскошного обслуживания, — это тема, о которой вы в России ничего почти уже не знаете. Это трудно объяснить и вместе с тем примитивно — целый ряд наших лучших писателей считают для себя более важным иметь автомобиль и личного шофера, нежели внутреннюю свободу.

Я еще пока не получил письмо из московской литературной газеты, в любом случае, будьте любезны, пришлите мне два экземпляра — я отвечу немедленно.<sup>4</sup> Откровенно говоря, я совсем не верю в империалистическую войну. Больше ни одна страна в Европе не уверена в своих рабочих настолько, чтобы вести длительную войну, но самое главное, что уберезет Россию, — так это то, что спасло и французскую революцию, а именно: наши народы ненавидят друг друга гораздо больше, чем своего социального противника. Германия и Франция, Италия и Франция, и с другой стороны, Германия и Польша находятся в таком ожесточенном противостоянии, что, по моему мнению, их совместное выступление немислимо; к тому же, все еще надеются на то, что Россия стоит перед неминуемой катастрофой, — это то самое, что судорожно внушалось населению ее газетами в течение целого десятилетия; поэтому военное выступление нельзя было бы никак оправдать в глазах населения. Сами империалистические государства создали себе тяжелую ситуацию непрерывным лганьем о предстоящем падении России. К тому же, хозяйственные отношения ныне настолько отчаянны, что общественность, наконец, снова начинает понимать, какое чудовищное материальное опустошение несет война. И последнее: у всех у нас, интеллигентов, налицо более высокая форма решимости, чем в 1914 г. Мы не дали бы себя захватить врасплох столь жалкими и безоружными.<sup>5</sup> Собственно, как только получу газету, я отвечу открытым письмом. А теперь, дорогой Федин, пусть Вас сегодня поздравят много раз, и примите мои самые сердечные приветы и пожелания!

Сердечно Ващ Стефан Цвейг.

P. S. Если Вы когда-нибудь соберетесь в Германию или Австрию, то сообщите мне об этом немедленно, я попытаюсь организовать для Вас выступления на различных радиостанциях, — так что расходы Вашего пребывания окупятся.

Публикуется по автографу (ГМФ. 33978).

<sup>1</sup> Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894—1979) — писатель; о встречах с литераторами, деятелями культуры см. его книгу «Люди и встречи» (1957, 1961, 1965).

<sup>2</sup> Имеется в виду роман К. Фебина «Похищение Европы».

<sup>3</sup> Речь идет, возможно, о романах «Мария Стюарт» (1931) и «Магеллан» (1937, в русском переводе «Подвиг Магеллана»).

<sup>4</sup> Открытое письмо Цвейга Федину от 12 января 1931 г. опубликовано в «Литературной газете» от 14 февраля 1931 г.

<sup>5</sup> Фрагмент от слов: «Сами империалистические государства...» опубликован в статье К. Фебина «Драма Стефана Цвейга».

### 3

16 мая 1932.

Зальцбург

Капуцинерберг 5

Мой дорогой Константин Федин, мне необходимо сразу же ответить на Ваше письмо; узнав, что Вы больны, я по-настоящему ужаснулся (ничего не подозревая, 10 дней тому назад я самым сердечным образом беседовал о Вас с Григолом Робакидзе).<sup>1</sup> Но я знаю волшебное воздействие Давоса и утешаюсь мыслью о том, что Вы раз и навсегда отбили эту вероломную атаку. Испытайте удивительное

чувство выздоровления со всей благодарностью, которого оно заслуживает: быть слабым в такое время, которое требует всего человека, — это мука.<sup>2</sup>

Физически я был полностью здоров. Но вместе с тем я пережил внутренний процесс мучительного душевного кризиса. Я невыносимо страдал из-за ограниченности нашего политического мира, от бездарности, которая господствует, из-за пресмыкательства масс, которые с радостью погрузились в эти глупости — *guere in servilium* — как сказал Тацит: ввергли себя в кабалу. В течение некоторого времени меня как будто парализовало. Я почти не мог больше размышлять и избегал людей. Внезапно это прорвалось как нарыв, — и пришла большая уверенность — разновидность абсолютного равнодушия. Теперь меня радует каждая очередная глупость мира, так как она ускоряет, — я не знаю что, но ускоряет. И я чувствую, что скоро что-то случится, что старая волшебница — судьба в очередной раз проделает над миром трюк. И я теперь только наблюдаю это со все более необычной жадностью. Я больше ничего не боюсь, и с тех пор как прекратились это напряжение, эти муки внутреннего «я», связанные с вещами, находящимися по ту сторону моей ответственности, я вновь обрел радость труда. После биографии я хочу взяться за уже наполовину готовый роман, прерванный на время депрессивного периода, так как депрессивные книги в наши дни я считаю моральным преступлением. Дорогой Федин, я так рад за Вас: эти дни Вы будете глядеть в самое ясное и одновременно самое доброе око Европы.<sup>3</sup> К сожалению, в последний мой визит я встретил Р(омэна) Роллана не совсем здоровым, ему необходимы весна и солнце. Сам я в настоящее время не смогу туда поехать, — я только что совершил гусарский налет: выступил во Флоренции с речью о европейском духе; на итальянском языке об этом давно не говорили. Однако это свершилось, и я чувствую, что люди были благодарны за то, что — наконец — им удалось помимо своей «Sioranezza»<sup>4</sup> услышать иную мелодию. Возможно, все же я смогу посетить Вас летом в Шварцвальде, — сейчас я должен закончить одну работу, — или как-то иначе договоримся о встрече. О том, что я с большим удовольствием принял бы Вас у себя в качестве гостя и что в любое время все готово в Ваше распоряжение, мне, видимо, даже говорить не нужно, Вы сами об этом знаете, мой дорогой и, надеюсь, совершенно исцелившийся Федин!

Тысяча приветов.

Ваш Стефан Цвейг.

Р. S. Обязательно передайте привет дорогому большому другу Роллану! В эти дни Мадлен Роллан встретится с моей женой в Гренобле!

Публикуется по автографу (ГМФ. 4638/1).

<sup>1</sup> Робакидзе Григол — грузинский философ, литературовед, исследователь философского наследия П. Чаадаева.

<sup>2</sup> Фрагмент от слов «...быть слабым...» опубликован в статье К. Федина «Драма Стефана Цвейга».

<sup>3</sup> Фрагмент от слов: «...эти дни...» опубликован там же.

<sup>4</sup> Имеется в виду один из итальянских фашистских гимнов.

Мой дорогой Константин Федин,

я благодарен Вам и за одну строчку. Какие у меня планы на август и сентябрь? Так далеко я не загадываю. Прежде всего нужно отредактировать до конца мою

книгу, потом есть еще одна небольшая работа, но все это я могу сделать мимоходом, и мы постараемся все же быть вместе. (Неразб.)

Оставайтесь, будьте совсем здоровы! Время слишком важное, чтобы быть больным или усталым!

Стефан Цвейг.

Публикуется по автографу (ГМФ. 33980).

В. Н. Запезалов

### ВОКРУГ ФИНАЛА «ПОДНЯТОЙ ЦЕЛИНЫ» (НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО М. А. ШОЛОХОВА Г. Е. СОЛСБЕРИ)

Эпистолярное наследие М. А. Шолохова, в далеко не полном виде представленное в его собраниях сочинений и сборниках публицистики, занимает довольно скромное место. Однако, как можно судить по публикациям последних лет, оно гораздо объемнее и значительнее.

За прошедшее со времени кончины писателя десятилетие на страницах многих изданий, преимущественно периодических, были обнародованы письма М. А. Шолохова И. В. Сталину,<sup>1</sup> Е. Г. Левицкой,<sup>2</sup> П. К. Луговому,<sup>3</sup> Л. И. Брежневу<sup>4</sup> и другим корреспондентам, ставшие примечательным фактом общественно-литературной жизни.<sup>5</sup> Многие из этих эпистолярных материалов, особенно переписка

<sup>1</sup> См.: По хуторам происходила форменная война: Письмо М. А. Шолохова И. В. Сталину, 20 апреля 1932 г. // *Документы свидетельствуют: Из истории накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг.* М., 1989. С. 471—473; «Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти» / Публ. Юрия Мурина // *Родина*. 1992. № 11—12. С. 51—57; Москва. Кремль. Вождю народов. (М. А. Шолохов И. В. Сталину) / Публ. Юрия Мурина // *Родина*. 1993. № 3. С. 50—51; «Вокруг меня все еще плетут черную паутину...»: Письма М. А. Шолохова И. В. Сталину (1937—1950) / Публ. и прим. Юрия Мурина // *Источник*. 1993. № 4. С. 4—19; № 5—6. С. 4—17; Шолохов и Сталин. Переписка начала 30-х годов / Вступ. статья Ю. Г. Мурина // *Вопросы истории*. 1984. № 3. С. 3—25.

<sup>2</sup> См.: *Колодный Лев*. 1) История одного посвящения: Неизвестная переписка М. Шолохова // *Знамя*. 1987. № 10. С. 170—197; 2) Десять писем Михаила Александровича Шолохова // *Дон*. 1989. № 7. С. 154—161.

<sup>3</sup> *Луговой П.* С кровью и потом // *Дон*. 1988. № 6. С. 109—133; № 8. С. 135—143.

<sup>4</sup> См.: Письмо М. Шолохова Л. Брежневу, Или «разъяснить т. М. А. Шолохову действительное положение дел...» // *Шпион*. 1994. 1/3. С. 11—27.

<sup>5</sup> См., например: *Немиров Юрий, Огурицов Вадим*. Наследие Шолохова: Неизвестные страницы рукописей великого писателя // *Сов. Россия*. 1984. 20 мая; «Сам я только пишу...» / Публ. Т. М. Макогоновой // *Огонек*. 1985. № 24. С. 21; *Шахмагонов Федор*. «Недолго осталось мне гонять героев романа...» // Там же. № 4. С. 20; Письмо из Вешенской / Публ. Л. Разогреевой // *Сов. Россия*. 1985. 24 апр.; *Пашин Вит.* Помог писатель // *Сов. культура*. 1985. 29 июня; «Яростно корплю над четвертой...» // *Сов. Россия*. 1985. 18 авг.; *Стародумов Вас.* «Собирался к вам в Сибирь...» // *Москва*. 1986. № 1. С. 177—178; *Владимиров В.* За строкой автографа // *Лит. газ.* 1986. 22 янв.; *Колодный Лев*. На всю жизнь друг: Неизвестное письмо Михаила Шолохова // *Лит. Россия*. 1986. 23 мая; *Бирюлин И., Пятунин А., Ореханова Г.* Заметки на память // *Сов. Россия*. 1987. 22 мая; *Серебровская Елена*. Шолоховские годы // *Нева*. 1987. № 4. С. 151—165; *Сенин В.* Его напутствовал Шолохов // *Вечерний Ленинград*. 1987. 21 февр.; *Ефимов А.* Дону кланяются ковыли...: Воспоминания о встречах с Михаилом Александровичем Шолоховым // *Молодая гвардия*. 1989. № 5. С. 163—164; *Кудашева М.* Два друга: Воспоминания // *Дон*. 1989. № 11. С. 151; «Больно уж время любопытное»: Письма М. А. Шолохова А. Д. Солдатову / Публ. В. Запезалова и Э. Софроновой // *Лит. Россия*. 1990. 25 мая; «...Кончаю „Тихий Дон“»: В архиве КГБ найдены неизвестные письма Михаила Шолохова / Публ. Владимира Островского // *Рабочая трибуна*. 1990. 26 июня; *Мезенцев М.* Судьба романа // *Вопросы литера-*



М. А. Шолохова с Е. Г. Левицкой и И. В. Сталиным, значительно расширили наше представление о существенных сторонах жизни автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Можно без преувеличения сказать, что эта часть эпистолярного наследия писателя имеет принципиальное значение для понимания особенностей его творческой биографии.

Публикуемое ниже письмо М. А. Шолохова относится к 1970 году. Оно адресовано известному американскому историку и публицисту, лауреату одной из престижнейших литературных премий в США — Пулитцеровской, вручаемой за выдающиеся достижения в области журналистики, Г. Е. Солсбери (1908—1993). Крупный политолог, перу которого принадлежат двадцать пять книг (десять из них посвящены Советскому Союзу),<sup>6</sup> Г. Е. Солсбери вошел в историю мировой журналистики прежде всего как «специалист по России». Именно такой аттестации он чаще всего удостоивался как в зарубежной, так и в отечественной прессе.

В 1944 году Г. Е. Солсбери впервые приехал в Советский Союз и работал военным корреспондентом агентства ЮПИ в Москве, а позднее, в период с 1949 по 1954 год — специальным корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс».<sup>7</sup>

Письмо М. А. Шолохова Г. Е. Солсбери имеет интересную предысторию. Она связана с вопросом о том, как создавался роман «Поднятая целина», вокруг которого до сих пор не утихают споры, в ходе которых выдвигаются всевозможные версии и гипотезы.<sup>8</sup>

Заметим, что М. А. Шолохов никогда не скрывал своих творческих замыслов. Пусть скупно и неохотно, но он рассказывал о них во время встреч с читателями, а также с корреспондентами газет. Так, например, он в разное время и по-разному характеризовал сюжет второй книги романа. В беседе с корреспондентом «Известий» писатель говорил: «Как развернется сюжет во второй книге? — откровенно говоря, для людей в ней разворот небольшой. Их бы перенести в 1932 год! Вот когда можно было дать расцвет характеров! А так, заранее предвижу, что вторая книга будет скучнее первой». Отвечая на вопрос корреспондента о действующих лицах, М. А. Шолохов подчеркнул: «Тройка во главе с Давыдовым останется, дед Щукарь, надеюсь, не утратит веселости, райончики станут умнее и культурнее, Половцев и Тимофей войдут в мелкую бандочку. *Хочется мне и во второй книге не все разжевывать, оставить читателю место для размышлений, для домыслов*» (курсив мой. — В. З.).<sup>9</sup>

В той же беседе М. А. Шолохов обмолвился и о временных рамках второй книги романа: «Она захватит 1931 год — период становления колхозов. Фигура середняка, вступающего в колхоз, по-прежнему будет центральной».<sup>10</sup> Однако этот

туры. 1991. № 2. С. 20; *Васильев Владимир*. Ненависть (Заговор против русского гения) // Молодая гвардия. 1991. № 11. С. 246—247; *Осипов В. 1*) Годы, спрятанные в архивах: Малоизвестные факты политической жизни Михаила Шолохова // Сов. культура. 1991. 18 мая; 2) Открываемый роман... («Поднятая целина» — за сталинщину или против?) // Культура. 1992. 23 мая. С. 5; *Неизвестные письма М. А. Шолохова / Публ. Ю. А. Дворяшина* // Молодая гвардия. 1993. № 2. С. 248—252.

<sup>6</sup> Наибольшую известность Г. Е. Солсбери принесла книга «900 дней: блокада Ленинграда» (1969), недавно впервые переизданная в нашей стране в канун пятидесятилетия снятия вражеской блокады города (*Солсбери Гаррисон*. 900 дней. М., 1994).

<sup>7</sup> См.: «Я был и остался репортером» [Беседа Н. Кайтмазовой с Г. Солсбери] // За рубежом. 1990. № 37. С. 16.

<sup>8</sup> См., например: *Семанов С. Н.* О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона» // Новый мир. 1988. № 9. С. 265—269; *Радзиховский Л.* Шолохов и власть // Неделя. 1990. № 4. С. 12; *Мезенцев М.* Еще жива придуманная правда // За советскую науку. Ростов н/Д. 1990. 19 марта.

<sup>9</sup> *Дир*. Разговор с Шолоховым // Известия. 1935. 10 марта.

<sup>10</sup> Там же.

замысел не получил полного осуществления. Действие второй книги происходит в 1930 году.

Основную творческую задачу в реализации своего замысла М. А. Шолохов видел в следующем: «Во второй книге, как и в первой, мне хочется бытописать. Уж больно ядрен и любопытен колхозный быт...»<sup>11</sup>

Что касается сроков окончания работы над «Поднятой целиной», то писатель еще в первой половине 30-х годов не раз заявлял, что близок к завершению второй книги романа. Так, в июне 1934 года он говорил корреспонденту «Комсомольской правды»: «Последнее время я почти одновременно работал над четвертой книгой „Тихого Дона“ и второй книгой „Поднятой целины“. Работа над ними уже почти закончена. Это, естественно, не означает, что я могу сейчас же сдать их прямо в печать. Отнюдь нет. Отложив на время „Поднятую целину“, в настоящее время я засел за окончательную отшлифовку „Тихого Дона“.

(...) После того, как я „освобожусь“ от „Тихого Дона“, сейчас же займусь отделкой второй, также последней, книги „Поднятой целины“. „Поднятая целина“ пойдет в печать в конце декабря этого года».<sup>12</sup> Однако ни четвертая книга «Тихого Дона», ни вторая книга романа о колхозной жизни не появились в 1934 году, как обещал М. А. Шолохов. Они не появились и в 1937 году, хотя в плане Гослитиздата было заявлено об издании второй книги «Поднятой целины» и завершающей книги «Тихого Дона». Директор издательства Н. Н. Накоряков отмечал, в частности: «М. Шолохов не только сдает 4-ю часть „Тихого Дона“, но обещает и 2-ю часть „Поднятой целины“».<sup>13</sup>

Архивные документы и свидетельства современников подтверждают, что завершение четвертой книги «Тихого Дона» и второй книги «Поднятой целины» задерживалось не только в силу субъективных факторов. Задержка оказалась напрямую связана с драматичной общественно-политической ситуацией в стране тех лет, которая и оказала влияние на обстоятельства личной и творческой жизни писателя. По свидетельству П. К. Лугового, работа над колхозным романом была прервана «вначале из-за перегибов 1932—1933 годов, а затем из-за ежовщины... начались аресты председателей колхозов, руководителей МТС, районных работников. Шолохов бросил писать не только „Поднятую целину“, но и все вообще...».<sup>14</sup> Причину своего подавленного настроения он в письме к И. В. Сталину от 16 февраля 1938 года объяснял так: «За пять лет (т. е. начиная с 1933 года. — В. З.) я с трудом написал полкниги. В такой обстановке, какая была в Вешенской, не только невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги».<sup>15</sup>

К работе над второй книгой «Поднятой целины» М. А. Шолохов вернулся только после войны. Она внесла в его творческие планы серьезные коррективы. Как известно, обширнейший архив писателя оказался почти полностью утраченным. «Рукопись второй книги „Поднятая целина“, — рассказывал М. А. Шолохов К. И. Прийме, — утрачена со всем архивом. Теперь я пишу вторую книгу романа заново и по-новому, так как то, что было написано до войны, мне не нравилось» (курсив мой. — В. З.).<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Пьеса о колхозе: Мих. Шолохов о своих ближайших творческих планах // Комсомольская правда. 1934. 29 июня.

<sup>13</sup> В работе «Тихий Дон» и «Поднятая целина»: Беседа с тов. Шолоховым // Лит. газ. 1934. 6 февр. № 13.

<sup>14</sup> Цит. по Якименко Л. Творчество М. А. Шолохова. М., 1964. С. 137.

<sup>15</sup> «Вокруг меня все еще плетут черную паутину...» Письма М. А. Шолохова И. В. Сталину (1937—1950) // Источник. 1993. № 4. С. 19.

<sup>16</sup> Прийма К. Шолохов в Вешках // Сов. Казахстан. 1955. № 5. С. 82.

Таким образом, вторая книга «Поднятой целины» писалась «заново и по-новому». С 1954 года в «Правде» и других изданиях стали появляться ее первые главы. В начале февраля 1960 года «Правда» опубликовала завершающую главу романа.

Задолго до окончания публикации второй книги «Поднятой целины», осенью 1959 года (как раз накануне визита Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в США), в «Нью-Йорк таймс» появилась статья Г. Е. Солсбери под названием «Хрущев пригласил Шолохова продолжить диспут о романе»,<sup>17</sup> автор которой, ссылаясь на якобы распространившиеся «в московских литературных кругах слухи», писал о том, что Шолохов «давно уже завершил вторую книгу романа „Поднятая целина“ и завершил ее трагическим финалом. Давыдов, злонамеренно обвиненный в ходе партийных чисток 30-х годов, попадает в тюрьму, где кончает жизнь самоубийством». По мнению Г. Е. Солсбери, такой финал романа, «написанный не в канонах соцреализма, не устроил официальные круги, чем и была вызвана столь длительная задержка с публикацией последней части произведения. Предпринятые начиная с лета 1959 года партийными функционерами попытки убедить Шолохова пересмотреть трагический финал, не увенчались успехом». Был даже «такой момент», утверждал Г. Е. Солсбери, когда «Шолохов грозился опубликовать книгу за рубежом, как это сделал Б. Пастернак с „Доктором Живаго“». Однако, как писал Г. Е. Солсбери, «компромисс был найден». «Официальные круги пошли на то, что Шолохову не нужно изменять судьбу главного героя. Пусть Давыдов будет арестован, пусть он убьет себя, но книгу надо закончить на бодрой ноте». М. А. Шолохов якобы согласился с этим и ответил, что «планирует написать третью книгу „Поднятой целины“, в которой будет показана победа колхозного строя». По мысли Г. Е. Солсбери, «это самое большее, что он (Шолохов. — В. З.) мог сказать, но не более».

Как считает Г. Е. Солсбери, полемика вокруг финала «завершилась», когда в Вешенскую приехал Н. С. Хрущев и «пригласил Шолохова сопровождать его в поездке по США», «полным удовлетворением премьера и автора».<sup>18</sup>

Во время визита в Соединенные Штаты в составе советской партийно-правительственной делегации<sup>19</sup> М. А. Шолохов познакомился со статьей Г. Е. Солсбери и во время встречи с представителями американской прессы не без иронии заметил, что в их стране к нему «набивается... в соавторы небезызвестный в журналистских кругах мистер Солсбери» и что ему, М. А. Шолохову, «надо поторапливаться с окончанием работы над романом, так как Солсбери уже придумал конец для романа, причем такой конец, который, очевидно, больше всего устраивает непрошенного соавтора или его хозяев; а именно: уничтожить героев романа, коммунистов, руками представителей советской власти».<sup>20</sup>

В начале февраля 1960 года, когда «Правда» опубликовала завершающую, 29-ю главу, второй книги «Поднятой целины», Г. Е. Солсбери неожиданно выступил с новой статьей на страницах «Нью-Йорк таймс» под названием «Роман Шолохова имеет новое завершение»,<sup>21</sup> в которой отчасти повторил свои прежние догадки. Автор статьи отмечал, что «новый финал романа исковеркан требованиями соцреализма (...) Давыдов умирает на руках белогвардейцев». В первоначальном вариан-

<sup>17</sup> *Salisbury H. E. Khrushchev Bid to Sholokhov Follows a Dispute Over Novel // The New York Times. 1959. 1 Sept. P. 1, 5.*

<sup>18</sup> См.: *Ibid.*

<sup>19</sup> См. об этом: Лицом к лицу с Америкой: Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США. 12—27 сентября 1959 г. М., 1959.

<sup>20</sup> *Шолохов Михаил. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 292—293.*

<sup>21</sup> *Salisbury H. E. Sholokhov novel has a new ending // The New York Times. 1960. 18 Feb. P. 5.*

те, который якобы «был завершен Шолоховым около двух лет назад, Давыдов, согласно слухам в московских литературных кругах, совершал самоубийство в заключении (застрелился), после того как был ложно обвинен и арестован в 30-е годы». «Вместо цельного кульминационного момента, — писал журналист, — даны пять плохо связанных отрывков. Во втором из них о смерти Давыдова сообщается самыми банальными словами». Новую редакцию финала второй книги романа Г. Е. Солсбери рассматривал как «результат вмешательства премьера Хрущева».<sup>22</sup>

1 марта 1960 года М. А. Шолохов выступил в «Правде» с весьма резким памфлетом «О маленьком мальчике Гарри и большом мистере Солсбери», непосредственным поводом для написания которого и послужили статьи американского журналиста.<sup>23</sup>

Следует заметить, что статьи Г. Е. Солсбери и памфлет М. А. Шолохова вроде бы написаны по конкретному поводу и далеки от политики. Но это иллюзия. На них лежит явная печать «холодной войны», в состоянии которой находились в ту пору СССР и США.

«Что мистери Солсбери до того, что сообщаемое им выглядит явной нелепицей? — писал М. А. Шолохов. — Он знай гонит строку! А хотелось бы у него спросить, где он видел такую тюрьму, в которой бы заключенные расхаживали бы с пистолетами и сами чинили над собой суд и расправу?

Все остальное в статье Солсбери на таком же уровне, и не поймешь, где у него кончается подлость и начинается глупость.

Под конец, касаясь заключительной главы, Солсбери пишет: „Вместо цельного финала пять эпизодов, едва связанных между собой. Во втором эпизоде о смерти Давыдова рассказывается как бы мимоходом, случайным языком“.

Это — уже прямое вторжение в область искусства, и тут я должен прямо сказать мистери Солсбери: „Посторонитесь. Здесь, мягко выражаясь, не ваша сфера деятельности. Если, по вашему мнению, язык у меня в последней главе случайный, то в вашей статье и язык и само содержание далеко не случайны“. (...)

У меня возникает законный вопрос: если м-ра Солсбери действительно интересовал конец книги, то почему он не обратился с таким вопросом ко мне, так сказать, к первоисточнику, хотя бы в тридцатых годах, после выхода первой книги? Или почему он не спросил у меня об этом, когда я был в Америке? Ведь у него были все возможности увидеться со мной. Я в нескольких фразах сообщил бы ему о развязке. *А эта развязка как была задумана в ходе работы еще над первой книгой, так и завершена теперь безо всяких изменений и переделок. Секрета из этого я никогда не делал* (курсив мой. — В. З.). Но м-р Солсбери предпочитает ссылаться на разговоры в „московских литературных кругах“.<sup>24</sup>

В самом деле, М. А. Шолохов «секрета... никогда не делал» из развязки романа, давно дав понять читателю, что финал романа будет трагическим.<sup>25</sup> В беседе с К. И. Приймай, состоявшейся в феврале 1955 года, писатель заметил: «Содержание второй книги романа — это ожесточенная борьба двух миров, тьмы

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Полемика вокруг финала «Поднятой целины» нашла отражение как в советском, так и зарубежном литературоведении. См.: Якименко Л. О «Поднятой целине» М. Шолохова. М., 1960. С. 130—131; Stewart D. H. Mikail Sholokhov. A Critical Introduction. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1967. P. 229; Ermolaev Herman. Mikhail Scholokhov and His Art. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1982. P. 52—53, 316.

<sup>24</sup> Шолохов Михаил. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 293—294.

<sup>25</sup> Следует заметить, что финалы многих произведений М. А. Шолохова встречали непонимание и вызывали полемику. Так, ранний рассказ «Звери», присланный в редакцию журнала «Молодая гвардия», был оценен неоднозначно. «Судя по твоим словам, — писал М. А. Шолохов М. Б. Колосову, — в моем рассказе „Звери“, помимо заглавия и конца,

и света. В сущности — это последняя схватка в великой битве: кто — кого? Это будет ответ на вопрос, поставленный еще в „Донских рассказах“. В этой схватке и с нашей стороны не обошлось без жертв. Но побеждает новое, побеждает колхозный строй, социализм. Могу сказать, что появление Половцева в Гремячем Логе вызвало некоторое беспокойство не только у Давыдова, но и у многих читателей. Чем закончится роман? Трудно сказать. Я сейчас размышляю над концовкой. *Могу твердо сказать одно — финал будет драматичен, будут жертвы»* (курсив мой. — В. З.).<sup>26</sup>

Таковы реальные факты, идущие вразрез с положениями сенсационных статей Г. Е. Солсбери.

Десять лет спустя Г. Е. Солсбери обратился к М. А. Шолохову с письмом. Текст его неизвестен. Судя по контексту ответного шолоховского письма (оно представляет собой черновой вариант), американский журналист (кстати, нисколько не обидевшийся на резкость полемических выпадов автора «Тихого Дона»), по всей видимости, обратился к последнему с просьбой написать для «Нью-Йорк таймс» статью об Эрнесте Хемингуэе. Просьба Г. Е. Солсбери не выглядит случайной. Как художник, пишущий о войне, М. А. Шолохов проявлял особый интерес к писателям «потерянного поколения», и в частности к Хемингуэю, в творческой полемике с которым был написан знаменитый рассказ «Судьба человека».

Вот что ответил М. А. Шолохов известному американскому журналисту:  
«Г-н Солсбери!»<sup>27</sup>

Мне было приятно получить от Вас письмо. Приятно по двум причинам: во-первых, потому, что оно дает мне возможность высказаться на страницах Вашей газеты по вопросам, которые — как Вы пишете — могут заинтересовать многих

все хорошо, исправить его я не имел возможности... Озаглавь рассказ хотя бы „Окрпродкомиссар Бодягин“, урежь конец до следующих строк, где описывается место, где лежали Тисленко и Бодягин убитые. Ты не понял сущности рассказа. Я хотел им показать, что человек, во имя революции убивший отца и считавшийся „зверем“ (конечно, в глазах слонтявой интеллигенции), умер через то, что спас ребенка (ребенок-то, мальчишка, ускакал). Вот что я хотел показать, но у меня, может быть, это не вышло. Все же я горячо протестую против выражения „ни нашим ни вашим“. Рассказ определенно стреляет в цель» (*Шолохов Михаил*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. с. 13—14). Теперь общеизвестно, какому давлению подвергался писатель в работе над «Тихим Доном». Вот что он об этом сообщил Е. Г. Левицкой: «Фадеев предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня никак неприемлемы. Он говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан. А вы знаете, как я мыслил конец III книги. Делать Григория окончательно большевиком я не могу. Лавры Кибальчича меня не смущают. Об этом я написал и Фадееву. Что касается других исправлений, (по 6 ч.), я не возражаю, но делать всю вещь — и главное конец — так, как кому-то хочется, я не стану. ...Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания, в ущерб и роману и себе. Вот так я ставлю вопрос. И пусть Фадеев (он же «вождь» теперь) не доказывает мне, что „закон художественного произведения требует такого конца, иначе роман будет объективно реакционен“. А я не хочу, чтобы со мной говорили таким тоном, и ежели все они (актив РАППА) будут в таком духе обсуждать со мной вопросы, связанные с концом книги, то не лучше ли вообще не обсуждать. Я предпочитаю последнее. {...} А я все ж-таки допишу „Тихий Дон“! Я допишу так, как я его задумал» (*Колодный Лев*. История одного посвящения // Знамя. 1987, № 10. с. 187). После публикации второй книги «Поднятой целины» многие читатели предъявили М. А. Шолохову, по его словам; «требования непомерные»: «Один читатель после выхода второй книги всерьез упрекает меня в том, что в „Юрии Милославском“ автор сохранил героев, а Шолохов убил Нагульнова и Давыдова. „Что здесь общего с социалистическим реализмом?“ — спрашивает он. *Но слушаться таких советов нельзя. Я и впредь буду писать, как на душу положено»* (курсив мой. — В. З.) (*Шолохов Михаил*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 299).

<sup>26</sup> Прийма К. Шолохов в Вешках // Сов. Казахстан. 1955. № 5. С. 83.

<sup>27</sup> Письмо М. А. Шолохова Г. Е. Солсбери без даты. Судя по фразе «десять лет назад», оно, видимо, написано в 1970 году.

американцев; во-вторых, потому, что Вы оказались человеком незлопамятным и, несмотря на то что десять лет назад я публично сожалел о том, что Вас нельзя высечь за недобросовестные измышления в мой адрес, Вы все же обращаетесь ко мне с просьбой о статье.

Теперь по существу Вашего письма. Вы спрашиваете, чем объясняется необычайная популярность Хемингуэя в [моей] нашей стране.

Мне думается, что популярность у нас Хемингуэй снискал прежде всего тем, что он был честным писателем и честным человеком. Большой мастер пера, он служил великим идеям гуманизма, ненавидел фашизм, боролся с ним своим искусством, и это в огромной степени роднит его с нами и делает его близким и созвучным нашим идеалам и нашим воззрениям.

[Приведу такой пример: в одном из своих произведений]

Вы говорите о том, что популярность Хемингуэя в США падает. Я хотел бы спросить Вас: в каких читательских кругах она падает? В профашистских читательских кругах она, вероятно, падает, Хемингуэй им не нужен. А подлинно культурный читатель Америки никогда не оторвется от этого замечательного, жизнеутверждающего писателя, чье творчество ознаменовало в истории мировой художественной литературы целую эпоху.

Читатели бывают разные, г. Солобери, и Вы это знаете не хуже меня. Есть у нас хорошая народная поговорка: „Кому нравится поп, кому — попадья, а кому — попова дочка“. Применительно к уровню вашего читателя можно сказать: кому нравится Хемингуэй, кому — детектив, а кому и дешевенький комикс». <sup>28</sup>

Сюжет шолоховского письма, связанный с Э. Хемингуэем, имеет интересную предысторию, о которой читатель до появления воспоминаний Е. П. Серебровской (в 60-е годы заместитель главного редактора журнала «Нева») не знал. Вот что писала Е. П. Серебровская: «...У нас появился замысел (речь идет о весне 1960 года. — В. З.) опубликовать перевод романа Эрнеста Хемингуэя „По ком звонит колокол“. Информацию о такой возможности привез из Москвы А. И. Хватов (в ту пору заведующий отделом критики журнала «Нева». — В. З.). Замысел возник вскоре после посещения А. И. Микояном Кубы и лично Хемингуэя, жившего в Гаване. <sup>29</sup>

Рукопись была привезена, прочитана пятью членами редколлегии. Привлекал пафос борьбы за свободу Испании, уважительное изображение советских людей — добровольцев этой борьбы, дух интернационализма. Возникли и предложения сделать в двух-трех местах купюры. Мы располагали материалами прессы, последними интервью Хемингуэя, оценкой романа Фиделем Кастро и другими. <sup>30</sup>

Имея уже согласие Хемингуэя на купюры, заказав вступительную статью московскому литератору Кашкину, <sup>31</sup> находившемуся в Испании в период описанных в романе событий, мы услышали, что роман этот собирается печатать совсем другой журнал». <sup>32</sup>

Е. П. Серебровская и А. И. Хватов по поручению редколлегии журнала «Нева», в котором только что была напечатана вторая книга «Поднятой целины», решили обратиться за советом и поддержкой к Шолохову. Вот как отнесся к просьбе ленинградских литераторов Михаил Александрович: «Приезжайте, родненькие.

<sup>28</sup> ИРЛИ. Ф. 814. Ед. хр. 46. Л. 1.

<sup>29</sup> Здесь неточность мемуаристики. Хемингуэй жил не в Гаване, а в ее предместье — поселке Сан-Франциско де Паула.

<sup>30</sup> Долорес Ибаррури (Пассионария), заявила, например, что этот «клеветнический роман Хемингуэя не должен быть напечатан на языке Ленина».

<sup>31</sup> Кашкин И. А. (1899—1963) — переводчик, критик, зачинатель изучения творчества Хемингуэя в СССР.

<sup>32</sup> Серебровская Елена. Шолоховские годы // Нева. 1987. № 11. С. 160.

Сразу же». <sup>33</sup> Е. П. Серебровская описывает эту встречу в Вешенской так: «Он (Шолохов. — В. З.) продумал наши проблемы и решил написать на имя Е. А. Фурцевой (в то время Секретарь ЦК КПСС, Министр культуры СССР. — В. З.) письмо со своим мнением на сей счет. А нам, видимо, надо ехать в Москву незамедлительно. Сегодня же. Даже сейчас. Завтра понедельник». <sup>34</sup>

Вот что написал автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» влиятельной московской чиновнице:

«Дорогая Екатерина Алексеевна!

Ленинградский журнал „Нева“, опубликовавший вторую книгу „Поднятой целины“, решил опубликовать, с некоторыми купюрами, роман Э. Хемингуэя „По ком звонит колокол“. С Хемингуэем списались по этому поводу и получили его согласие.

В редакции „Невы“ работают инициативные и любящие литературу люди. Журнал „Нева“ стараниями этих людей давно перерос масштабы областного журнала и по праву приобрел всесоюзную известность. Об этом говорит хотя бы тираж журнала, превысивший тиражи таких журналов, как „Новый мир“, „Москва“, „Знамя“, „Звезда“ и др. Не мне говорить Вам о том, как важно было привлечь на нашу сторону Хемингуэя и думается, что неспроста нанес ему визит А. И. Микоян на Кубе. <sup>35</sup>

А этого можно достигнуть, публикуя у нас Хемингуэя и не ограничиваясь лишь одними хвалебными отзывами о его творчестве.

Сейчас стоит вопрос о передаче романа Хемингуэя журналу „Международная литература“ (Надо: „Иностранная литература“. — В. З.). Это несправедливо, на мой взгляд. Пусть публикует „Нева“...

...Я очень прошу Вас принять зам. редактора „Невы“ т. Серебровскую и члена редколлегии т. Хватова. Они подробно изложат всю историю с романом Хемингуэя, а я, пользуясь случаем, шлю Вам сердечный привет и свои добрые пожелания!

17.4.60.

Ваш М. Шолохов». <sup>36</sup>

Как же завершилась история с публикацией романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»?

Е. П. Серебровская вспоминает, что письмо М. А. Шолохова было отнесено «по назначению», «дождались приглашения, и состоялся разговор... Помощь Шолохова не прошла бесследно. „Нева“ получила ставки и зарплату наравне с другими журналами республиканского значения. Было обещано, что тотчас после приезда Хемингуэя в нашу страну (а такое соглашение было заранее достигнуто. — В. З.) мы вернемся к вопросу о публикации „Колокола“ именно в „Неве“, о чем просил Шолохов.

Надо ли говорить, как восприняли мы известие о неожиданной кончине Хемингуэя...» <sup>37</sup>

Тема «Шолохов и Хемингуэй» (как, впрочем, и тема «Шолохов и Хрущев») — одна из неизученных. Хочется верить, что новые документальные материалы, которые будут введены в научный оборот, прольют новый свет на далеко не простые судьбы этих великих наших современников.

<sup>33</sup> Там же. С. 160.

<sup>34</sup> Там же. С. 160.

<sup>35</sup> Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян посетил Кубу в феврале 1960 года.

<sup>36</sup> Цит. по: Серебровская Елена. Указ. соч. С. 162.

<sup>37</sup> Там же. С. 163.

## К ИСТОРИИ СПОРА О ПОДЛИННОСТИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (ИЗ ПЕРЕПИСКИ АКАДЕМИКА Д. С. ЛИХАЧЕВА)

(ПУБЛИКАЦИЯ Л. В. СОКОЛОВОЙ)

Есть в науке проблемы, неожиданно перерастающие из узкоспециальных в общекультурные. Дискуссии по ним проходят остро, напряженно и вызывают живой интерес у широкого круга специалистов. Вопрос о времени создания «Слова о полку Игореве» — наглядный тому пример.

Еще в XIX веке была впервые высказана «скептическая» точка зрения, согласно которой «Слово» было создано не в XII веке, как считает большинство исследователей этого памятника, а в XVIII веке. Особенно широкий размах дискуссия между защитниками древности «Слова» и скептиками приобретала дважды: после появления серии статей французского слависта Андре Мазона, изданных в 1940 году отдельной книгой, и после доклада известного московского историка Александра Александровича Зимина, прочитанного 27 февраля 1963 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, материалы которого были опубликованы в ряде статей 60-х годов.

Как и А. Мазон, А. А. Зимин полагал, что «Слово» было создано в XVIII веке архимандритом Иоилем Быковским, но, в отличие от Мазона, Зимин считал, что Иоиль создавал «Слово» не как подделку, стилизацию под древний памятник, а как героическую поэму на древний сюжет. За древнерусское же произведение «Слово» выдал, по мнению А. А. Зимина, А. И. Мусин-Пушкин.

О докладе А. А. Зимина и его основном тезисе тотчас стало известно за границей. Полагая, что докладчик располагал какой-то «документацией» и что он «едва ли бы решился посягнуть на такое произведение, как „Слово“, (...) если бы у него (...) не было ничего, кроме остроумной гипотезы и произвольного субъективного домысла» («Русская мысль». 1963. 1 июня), некоторые слависты сочли вопрос о времени создания «Слова» решенным, в связи с чем кое-где предполагалось исключить этот памятник из университетских курсов. Под угрозой срыва оказались в некоторых зарубежных издательствах издания «Слова». Серьезные зарубежные слависты, не склонные верить кому бы то ни было на слово, просили в письмах к Д. С. Лихачеву прислать тезисы или резюме доклада и ратовали за скорейшее издание работы А. А. Зимина, чтобы можно было ознакомиться со всеми его аргументами.

Все понимали, что поднят вопрос «большой научной и общекультурной важности» (Р. О. Якобсон в письме от 24 марта 1963 года), «национального значения» (письмо Д. С. Лихачева от 29 августа), и предполагали, что он так или иначе будет затронут на V съезде славистов, который должен был состояться в сентябре того же года в Софии. В западных научных кругах высказывалось пожелание, чтобы А. А. Зимину была дана возможность обосновать на этом съезде свою теорию.

Все это требовало как можно скорее опубликовать отчет о докладе и дискуссии по нему, а также книгу А. А. Зимина и работы исследователей, полемизирующих с ним. Однако в ЦК КПСС решено было поступить иначе: провести закрытое обсуждение изданной небольшим тиражом (около 100 экземпляров) на ротاپринте книги А. А. Зимина, против чего возражали как сторонники А. А. Зимина (и он сам), так и многие его оппоненты, например Д. С. Лихачев, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий и другие. До этого закрытого обсуждения запрещено было печатать какие-либо материалы по докладу, в том числе отчет о заседании, на котором он был прочитан.



Закрытое обсуждение книги А. А. Зимина, которое вначале предполагалось провести до съезда славистов, по разным причинам откладывалось и состоялось в мае 1964 года в Отделении истории АН СССР.

С тех пор прошло 30 лет. Срок, вполне достаточный для снятия «грифа секретности» с архивных материалов. В мае этого года академик Дмитрий Сергеевич Лихачев передал письма из своего личного архива, раскрывающие историю дискуссии, в рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Их мы и предлагаем вниманию читателей. В основном это письма, адресованные Д. С. Лихачеву. В архиве сохранились также машинописные копии писем Д. С. Лихачева, преимущественно официальным лицам, которые он писал на машинке и на которые ожидал официальной реакции. Копии писем к частным лицам Д. С. Лихачев как правило не оставлял себе. Есть надежда, что эти письма хранятся в личных архивах Р. О. Якобсона, Н. К. Гудзия, А. Н. Робинсона, Н. Е. Андреева, А. В. Соловьева, А. Н. Грабара, Н. М. Дылевского, Б. Н. Двинянинова, А. А. Зимина и др. Надеемся, что публикация писем из архива Д. С. Лихачева поможет понять обстановку, в которой проходила дискуссия 63—64 годов и, возможно, разрушит некоторые мифы, с ней связанные.

В этом номере журнала публикуются в хронологическом порядке письма 1963 года, рассказывающие о реакции на доклад А. А. Зимина отечественных и зарубежных филологов, а также о попытках сектора древнерусской литературы опубликовать в журнале «Русская литература» отчет-хронику о докладе А. А. Зимина и книгу последнего.

В следующем номере будут опубликованы письма 1964 года, рассказывающие о подготовке к закрытому обсуждению книги А. А. Зимина.

## 1

### Письмо А. А. Зимина

15 февраля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

У меня к Вам большая просьба. Не смогли бы Вы поставить на заседании Вашего сектора в ближайшее свободное время мой доклад на тему «К изучению „Слова о полку Игореве“»? В этом докладе мне хотелось бы поделиться своими соображениями по темным и малоизученным вопросам истории текста этого памятника в связи с историей Руси XII в. Мне кажется, что взгляд историка может способствовать прояснению этих вопросов.

Если такая возможность поставить мой доклад представится, — напишите, пожалуйста, на какое число будет намечено заседание, и я приеду.

Желаю Вам всего самого доброго.

Валя<sup>1</sup> передает Вам поклон.

Всегда Ваш А. Зимин

<sup>1</sup> Валентина Григорьевна Зимина, жена А. А. Зимина.

## 2

## Письмо А. А. Зими́на

28 февраля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Страшно был расстроен Вашей тяжелой болезнью.<sup>1</sup> От всей души желаю Вам скорейшего выздоровления, новых радостей и вдохновенного труда. Очень печально, что не смог до доклада поговорить с Вами (я предварительно говорил слевой).<sup>2</sup> Хочется в следующий приезд подробно рассказать Вам о своей работе, посоветоваться о ее перспективах, услышать Ваши замечания, без которых мне нельзя и думать о завершении книги.

Еще раз желаю Вам самого главного — здоровья. Уж кто-кто, а я-то знаю, что такое болезнь желудка.

Всегда Ваш А. Зимин.

<sup>1</sup> Д. С. Лихачев был оперирован и лежал в больнице.

<sup>2</sup> Лев Александрович Дмитриев, сотрудник сектора древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (далее ИРЛИ), в 1963 г. кандидат филологических наук. По воспоминаниям вдовы Л. А. Дмитриева, Руфины Петровны Дмитриевой (тогда сотрудницы сектора древнерусской литературы ИРЛИ, кандидата филологических наук), А. А. Зимин познакомил их со своей концепцией накануне доклада.

## 3

Письмо Р. О. Якобсона<sup>1</sup>

24 марта 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, четвертый том моих сочинений — Slavic Epic Studies — ныне печатается и должен выйти накануне Софийского съезда славистов. Послесловие еще не послано в типографию, и я очень хотел бы откликнуться в нем на недавний доклад историка Зими́на.<sup>2</sup> К сожалению, мне известен только его вывод, а не аргументы докладчика. Буду Вам бесконечно признателен за изложение основных доводов или за присылку краткого резюме, если таковое существует. А ежели обещанная книга или хотя бы статья Зими́на (или о его концепции) появятся в течение ближайших недель или даже двух-трех месяцев, не откажите прислать их мне воздушной почтой. Это научный вопрос настолько большой научной и общекультурной важности, что я чувствую необходимым безотлагательно на него отозваться. Надеюсь, обе книги и оттиски, а также недавнее письмо, все нотки которого остаются в силе, Вами получены.

Жму руку.

Преданный Р. Якобсон.

Мой адрес с апреля до августа: 538, Foothill Road, Stanford, California. Только на вторую половину мая я еду в Европу — с 20-го по 23-е читаю лекции в Оксфорде и Лондоне, а 27—29-го буду на совещании Польской Академии Наук (с/o Prof. Mayerowa).

<sup>1</sup> Роман Осипович Якобсон — филолог, профессор Гарвардского университета, один из основных оппонентов А. Мазона на Западе.

<sup>2</sup> Отклик Р. О. Якобсона на доклад А. А. Зими́на см.: Jakobson Roman. Selected Writings. V. 4. Slavic Epic Studies. The Hague-Paris, 1966. P. 656 и след.

## 4

Письмо О. В. Творогова <sup>1</sup>

После 27 марта 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Очень рад самой возможности написать Вам и еще раз, на этот раз — «индивидуально» пожелать Вам скорейшего окончательного выздоровления.

Посылаю Вам машинопись «стенограммы» М. А. Салминой.<sup>2</sup> Я ее литературно не обрабатывал, и сделал это преднамеренно — чтобы не внести никакого субъективизма в записи.

Но и эти записи не дадут Вам полного представления о всем «зиминском» вопросе, поэтому дополню его еще некоторыми важными деталями.

Об обсуждении Вы, вероятно, уже слышали. Выступали: Л. А. Дмитриев, Д. Н. Альшиц,<sup>3</sup> Г. Н. Моисеева,<sup>4</sup> Л. С. Ковтун,<sup>5</sup> Я. С. Лурье<sup>6</sup> и я. Ну, и кроме нас и И. П. Еремина,<sup>7</sup> выступившего с заключ(ительным) словом, кроме всех защитников «Слова», выступил и С. А.,<sup>8</sup> как и следовало ожидать, горячо подержавший эту гипотезу.

В Ленинграде (за исключением некоторых историков) в большинстве положительно оценивают выступления защитников «Слова». К сожалению, «переживая» грядущее выступление, я не уловил всех деталей аргументации Л. А.,<sup>9</sup> но скажу лишь, что он выступил против интерпретации литературной истории «Задонщины» в докладе.

Я в своем выступлении (поддержанном последующим выступлением Л. С. Ковтуна), сказал примерно следующее:

— Зим(ин) не дает ответ на основной вопрос: *как и на каком языке* было написано «Слово» Иоилем.

— Если допустить факт «творчества честного», а не подделки, то как объяснить обилие темных мест, не понятых издателем. Ведь в их руках, по словам Зим(ина), был же подлинник — рукопись Иоила.

— Неясны мотивы и цели создания памятника. Очень неубедительна гипотеза о «вставках», сделанных Мус(иным) — Пущк(иным): например, он вставляет слова «Тмут(ораканский) болван», для «прославления» своей находки (надписи Глеба), а переводит слово «болв(ан)» как истукан!

— Зимин представляет позицию защитников «Слова» как утверждение, что список XV—XVI вв. был копией списка XII в., игнорируя историю текста, в ходе которой могли быть и были неизбежно поновления, интерполяции и т. д. и т. п. Так что «новые» ориентализмы не доказывают, как утверждает Зимин, позднее происхождение «Слова».

В ответ Зимин бросил: «В „Слове“ 200 слов, которых нет в других памятниках. Объясните это!»

Да, это нужно объяснить.

На другой день я отправился к Б. А. Ларину<sup>10</sup> и там, в присутствии Б. Л. Богородского,<sup>11</sup> подробно рассказав обо всем, предложил: я составляю полный словарь СОПИ и выясняю, какие слова действительно требуют специальных разысканий — могут служить аргументами (тогда Ларин, Богородский), Ковтун и я — проведем специальные разыскания — это предложил Ларин).

И вот неделя тревожных вечеров, пока мы с женой составляли словарь и устанавливали гапаксы и редкие слова. Да, действительно, Зимин «прав»: около 200 слов нет в списках до XV в. включит(ельно), но от этих 200 остается жалкая кучка, если учесть целый ряд чисто лингвистических характеристик, например,

наличие однокоренн(ых) и морфол(огически) близких слов, наличие слов в поздних списках древн(их) памятников и т. д.

Я разговаривал с Н. А. Мещерским<sup>12</sup> и М. К. Каргером.<sup>13</sup> Оба без колебаний упрекают Зимина в большом числе «натяжек» и прямых ошибок.

Очень фантастичен и процесс создания «Слова», по Зимину. Иоиль написал «искреннее, высокохудожеств(енное)» произведение, которое переписал полууставом М(усин)-П(ушкин) и при этом наделал столько ошибок, что «Слово» потемнело от темных мест! Как неправдоподобно. И Ларин, и Мещерский утверждают, что ни один чел(овек) XVIII в. не мог так знать язык XII в., это опять-таки не учитывает Зимин.

Словом, беспокоиться не надо, из этой полемики мы выйдем еще более уверенными победителями.

Все секторяне шлют Вам самый большой привет. Все усердно трудятся. В среду — доклад Демина.<sup>14</sup>

Еще раз желаю скорейшего выздоровления.

Всегда всегда Ваш О. Тв(орогов).

Р. С. Простите за небрежность почерка и стиля — пишу в трамвае!

<sup>1</sup> Олег Викторович Творогов — сотрудник сектора древнерусской литературы ИРЛИ, в 1963 г. кандидат филологических наук.

<sup>2</sup> Марина Алексеевна Салмина — сотрудница сектора древнерусской литературы ИРЛИ, кандидат филологических наук.

<sup>3</sup> Даниил Натанович Альшиц — сотрудник отдела рукописей ГПБ (РНБ), в 1963 г. кандидат исторических наук.

<sup>4</sup> Галина Николаевна Моисеева — сотрудница сектора литературы XVIII в. ИРЛИ, в 1963 г. кандидат филологических наук.

<sup>5</sup> Людмила Степановна Ковтун — лингвист, сотрудница Словарного сектора Института русского языка АН СССР (Ленинград), в 1963 г. кандидат филологических наук.

<sup>6</sup> Яков Соломонович Лурье — сотрудник сектора древнерусской литературы ИРЛИ, доктор филологических наук (с 1962).

<sup>7</sup> Игорь Петрович Еремин — доктор филологических наук (с 1937 г.), заведующий кафедрой истории русской литературы филологического факультета ЛГУ (с 1951 г.), ранее сотрудник сектора древнерусской литературы ИРЛИ.

<sup>8</sup> Сергей Николаевич Азбелев, сотрудник сектора устного народного творчества ИРЛИ, в 1963 г. кандидат исторических наук.

<sup>9</sup> Лев Александрович Дмитриев.

<sup>10</sup> Борис Александрович Ларин — доктор филологических наук (с 1948 г.), профессор, заведующий межкафедральным словарным кабинетом филологического факультета ЛГУ, академик АН Лит. ССР. Совместно с Д. С. Лихачевым и Б. Л. Богородским редактировал Словарь-справочник «Слова о полку Игореве».

<sup>11</sup> Борис Леонидович Богородский — в 1963 г. кандидат филологических наук, доцент ЛГПИ им. А. И. Герцена.

<sup>12</sup> Никита Александрович Мещерский — доктор филологических наук (с 1958 г.), профессор кафедры русского языка филфака ЛГУ, заведующий кафедрой русского языка ЛГУ (с 1963 г.).

<sup>13</sup> Михаил Константинович Каргер — археолог, искусствовед, профессор, заведующий кафедрой искусствоведения исторического факультета ЛГУ.

<sup>14</sup> Доклад Анатолия Сергеевича Демина (тогда аспиранта сектора древнерусской литературы ИРЛИ) был прочитан 3 апреля 1963 г.

## 5

### Письмо А. В. Соловьева<sup>1</sup>

30 марта 1963.

Дорогой Димитрий Сергеевич,

наша переписка давно уже оборвалась, не знаю по чьей вине. Между тем хочется с Вами обменяться мнениями.

Во-первых, посылаю Вам обратно очень давно присланный Вами том XV-й Уч(еных) Зап(исок) ЛГПИ с ценной статьей А. Н. Котляренко,<sup>2</sup> из которой я сделал выписки. Кстати, напечатала ли она всю работу о «Задонщине» как пам(ятнике) русского яз(ыка) конца XIV в.,<sup>3</sup> из которой данная является лишь отрывком? Если да, то не откажите указать, где именно.

Во-вторых, посылаю Вам и книгу С. А. Пештича,<sup>4</sup> так как я получил из Польши второй ее экземпляр. Вам она пригодится, можете ее обменять на другую. Надо сказать, что я не получил XVIII-го тома ТОДРЛ (1962), хотя А. Н. Грабар<sup>5</sup> давно прислал мне оттиск своей статьи из этого тома. Не можете ли Вы мне прислать этот том? Затем хочется Вас спросить, что Вы сделали с моими «Десятью заметками к „Слову о полку Игореве“»?<sup>6</sup> Если Вам не удастся их сдать в печать, то не вернете ли Вы мне рукопись? Я тогда постараюсь перевести ее на французский и постараюсь где-нибудь поместить.

К сожалению, «мазонщина» — заразная болезнь, все распространяющаяся за границей. Кафедры в Оксфорде, в Кембридже и Зап(адном) Берлине заняты мазонистами (не говоря о Франции), и я стараюсь с ними бороться даже частными письмами. Сам Мазон вернулся из Москвы и распространяет слухи, что у него все больше тайных сторонников в Сов(етском) Союзе, начиная с В. В. Виноградова;<sup>7</sup> а Е. Ф. Хилль<sup>8</sup> (в Кембридже) на днях заявила, что в Москве «вышла работа, доказывающая, что „Слово“ — подделка Мусина-Пушкина». Автора она не указала. Известно ли Вам что-нибудь об этом?

Между тем Мазон нашел сейчас третьего «плагиатора»; отвергнув прежние свои гипотезы о Мусине-Пушкине (1938) и Бантыше-Каменском (1944), он теперь окрылился мыслью, что «Слово» подделал архим(андрит) Иоиль Быковский, и уже без «империалистических целей», а просто как упражнение в риторике, как «рацею». Это он уже высказал мимоходом в своей «Ревю дез Этюд Слав», т. 41 (1962), 218—219 и в статье о «Тмутараканском болване», там же, т. 39 (1961), 138—139. Вероятно, он в скором времени опубликует об этом целое исследование.

Мне недавно пришло в голову новое соображение: почему в Кир(илло)-Бел(озерском) списке «Задонщины» Боян воспеваает Рюрика, Игоря Рюриковича и Святослава Ярославича, а не упоминает ни вещего Олега, ни храброго Святослава Игоревича, ни его сына — Владимира Красное Солнышко? Это бессмысленно, и все следующие редакции исправили это место, введя Владимира Св(ятославича) и исключив Святослава Ярославича (ум. 1076 г.). Мне ясно, что Кир(илло)-Б(елозерский) список здесь особенно под влиянием «Слова», где видно (из фразы «Рек Боян и Ходына»), что Боян был песнотворцем именно Святослава Ярославича. А имя Игоря, 35 раз названное в «Слове», так засело в мозгу иерея Софония, что он сделал объектом славы Бояна неудачливого Игоря Рюриковича, вовсе не заслужившего «славы». Состряпал об этом небольшую статью и послал ее Р. О. Якобсону в Харвард: авось напечатает.

Все еще не закончил статью побольше — «Регнум Руссие»; пишу ее одновременно по-немецки и по-французски. Обращаю внимание на то, что русские великие князья с X-го века во всех западных источниках (за немногими исключениями, начиная с XIII-го века) называются «регес», а Руссия — «регнум», так до XV-го века. Это косвенная полемика против зловерного Пашкевича,<sup>9</sup> жонглирующего термином «Рус» и отрицающего наличие имени «Russia» вопреки очевидности.

Поеду в июле на съезд славистов в Зальцбурге; в президиуме там указан Н. К. Гудзий.<sup>10</sup>

Может быть, и Вы приедете в этот прелестный город? Так был бы рад с Вами встретиться. Записался и на Слав. Съезд в Софии, но не знаю, соберусь ли: уж очень далеко.

На здоровье пожаловаться не могу. С большим запозданием начинается весна. Дождливо, но листьев еще нет.

Шлю Вам и всей Вашей семье самый сердечный привет и пожелания всяческих успехов.

Искренне Ваш А. Соловьев.

<sup>1</sup> Александр Васильевич Соловьев — историк и филолог, профессор Женевского университета, занимался исследованием «Слова о полку Игореве».

<sup>2</sup> Анатолий Николаевич Котляренко — доцент Ленинградского государственного педагогического института, кандидат филологических наук (с 1957 г.) Речь идет о его статье «„Задонщина“ как памятник русского языка конца XIV века» (см.: Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Т. 15. Факультет языка и литературы. Вып. 4. 1956. С. 131—160).

<sup>3</sup> Имеется в виду диссертационная работа А. Н. Котляренко (см. автореферат: «„Задонщина“ как памятник русского языка конца XIV века (морфология и синтаксис)». Автореферат диссертации канд. филол. наук. Л., 1957, полностью работа напечатана не была). В 1966 г. статья А. Н. Котляренко «Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя „Задонщины“ и „Слова о полку Игореве“» была опубликована в сб.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовской битвы. М.; Л., 1966. С. 127—196.

<sup>4</sup> Имеется в виду 1-й том трехтомного исследования Сергея Леонидовича (в инициале отчества А. В. Соловьев ошибся) Пештича «Русская историография XVIII века», который вышел в 1961 г.

<sup>5</sup> Андрей Николаевич Грабар — см. прим. 1 к письму № 18.

<sup>6</sup> Статья А. В. Соловьева «Восемь заметок к „Слову о полку Игореве“» была опубликована в XX томе ТОДРЛ (М.; Л., 1964).

<sup>7</sup> Виктор Владимирович Виноградов — академик, академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР (1950—1963), директор Института языкознания и Института русского языка АН СССР (1950—1968), председатель Международного и Советского комитета славистов (с 1957 г.).

<sup>8</sup> Елизавета Федоровна Хилл (далее также Лиза (Hill), miss Hill, проф. Хилл, professor Hill) — профессор Кембриджского университета в Англии.

<sup>9</sup> Генрих Пашкевич — польский славист, автор книги «The Origin of Russia» («Происхождение России»), вышедшей в 1954 г. в Лондоне; автор книги затрагивает вопрос о термине «Русь» в «Слове о полку Игореве».

<sup>10</sup> Николай Калининвич Гудзий — в те годы профессор МГУ, академик АН УССР; автор учебника и хрестоматии по древнерусской литературе для вузов; участник дискуссий с А. Мазоном и А. А. Зиминным.

## 6

### Письмо А. В. Соловьева

5 апреля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, вчера к вечеру получил письмо от Н. Е. Андреева<sup>1</sup> из Англии. Он пишет, что в Оксфорде получено «письмо из Лен(инграда) о скандале в Пушкинском Доме», а именно, что «А. А. Зимин прочел там доклад, доказавший, что „Слово о полку Игореве“ — подделка XVIII в.» Оксфордские мазонисты ликуют и спрашивают, «позволят ли А. Зимину напечатать его доклад». После этого я не мог заснуть всю ночь.

Не откажите ответить поскорее на два вопроса: 1) привел ли он новые доводы, кроме мазоновских, и 2) кого он считает поддельщиком? Нельзя ли получить копию протокола заседания? Каково Ваше мнение по этому поводу?

С нетерпением жду от Вас вестей и шлю сердечный привет.

Искренне Ваш А. Солов(ьев).

<sup>1</sup> Николай Ефремович Андреев — профессор Кембриджского университета (с 1948 г.), автор культурологических и искусствоведческих трудов.

## 7

## Письмо Р. О. Якобсона

Дорогой Дмитрий Сергеевич,

чем больше подробностей у меня будет о содержании доклада Зимина о «Слове о полку Игореве», тем легче мне будет коснуться этого доклада в итогах споров о «Слове», которые составят главную часть моего послесловия к тому Slavic Epic Studies. Я должен сдать в печать это послесловие не позднее двадцатых чисел июня. К сожалению, после доклада Зимина недоброжелатели подняли голову. Напр(имер) Струве,<sup>1</sup> miss Hill, англ(ийский) издатель отказался от предполагавшегося издания англ(ийского) перевода «Слова»; обсуждался вопрос об исключении «Слова» из антологии древнерус(ских) текстов в Оксфорде; каждый оксф(ордский) студент-славист спрашивал меня, что со «Словом», правда ли, что это подлог. Я рад, что встретил Алексева,<sup>2</sup> порассказавшего мне о выступлении Зимина. Мне кажется, что по крайней мере протокол заседания и с прениями следует опубликовать, а то будут безусловно говорить на свете, что замалчивают доказательства подделки. Мне ужасно досадно, что книга о рус(ском) искусстве до Вас не дошла. С горячим пожеланием полного выздоровления

Ваш Р. Якобсон.

Р. С. Выйдет ли моя библиография в т. XX Трудов?<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Глеб Петрович Струве — профессор Калифорнийского университета, специалист по советской литературе, автор заметок о докладе А. А. Зимина в газете «Русская мысль» (см. письмо № 26 и Приложение).

<sup>2</sup> Михаил Павлович Алексеев — сотрудник ИРЛИ, заведующий сектором взаимосвязей русской и зарубежных литератур (с 1956 г.), академик (с 1958 г.).

<sup>3</sup> Библиография работ по «Слову о полку Игореве», составленная Р. О. Якобсоном, опубликована не была.

## 8

Письмо Гаральда Рааба<sup>1</sup>

13 апреля 1963.

Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич!

В моем последнем письме я сообщал Вам, что в настоящее время я готовлю библиофильское издание «Слова о полку Игореве» в немецком переводе. Оно должно появиться в издательстве Aufbau, одном из лучших издательств ГДР. В спецсеминаре в этом семестре я готовлю новый немецкий перевод, причем в основу его будут положены Ваши исследования и выпшедший в прошлом году в академическом издательстве сборник «Слово о полку Игореве — памятник XII века» (кроме того, я привлекаю для сравнения издание «Слова о полку Игореве» Романа Якобсона).

Только сегодня я получил срочное письмо из издательства Aufbau, содержание которого меня совершенно поразило: профессор Штайниц, заместитель президента немецкой Академии наук, вернулся из поездки по Советскому Союзу, там он как будто бы точно узнал, что академик В. Виноградов к Софийскому конгрессу славистов готовит сборник, в котором с научной точностью будет доказано, что «Слово о полку Игореве» — подделка.<sup>2</sup> Это известие вызвало панику в наших научных кругах. Издательство намеревается приостановить подготовку издания «Слово о полку Игореве». О косвенных политических последствиях мне не хотелось бы высказываться.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, я прошу Вас теперь очень настоятельно: срочно напишите мне лично, как в действительности обстоят дела, и пошлите, по возможности, в издательство Aufbau (Berlin, W 8, Französische Str. 32) короткий отзыв по вопросу о подлинности «Слова о полку Игореве». Издательство в подобном отзыве очень заинтересовано.

Искренне, сердечно приветствую Вас

Ваш Гаральд Рааб.

<sup>1</sup> Гаральд Рааб — немецкий славист, переводчик «Слова о полку Игореве» на немецкий язык. Письмо написано по-немецки, перевод Т. Р. Руди.

<sup>2</sup> Слухи о том, что академик В. В. Виноградов готовил к съезду сборник, доказывающий, что «Слово» — подделка, были «лишены всякого основания», как писал Д. С. Лихачев в письме от 24 апреля 1963 г. (см. № 10).

## 9

### Письмо А. В. Соловьева

22 апреля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич,

сегодня утром получил Ваше письмо и немедленно отвечаю. Вы меня успокоили, а то у меня (грешным делом) появлялись сомнения: раз Зимин решил выступить в Пушкинском Доме, то, быть может, у него есть какие-то новые, неопровержимые доводы, например письмо Мусина-Пушкина или Иоила Быковского с признанием в подделке («Nanka fecit»).<sup>1</sup> Но из Вашего письма вижу, что ничего нового нет, а есть лишь незнание литературы и стиля памятника и поверхностные сомнения. Русские люди часто любили ниспровергать авторитеты, и ничего удивительного в том, что появились сомнения Зимина, нет. Жаль только, что «придется копаться в его вялой дребедени и серьезно ему возражать», как Вы прекрасно выразились. А за границей, к сожалению, все это раздули и наступило «ликование» мазонистов. Вот что пишет Е. Ф. Хилл (русская немка): «Я слыхала, что окончательно установлено, что „Слово о полку Игореве“ — подделка XVIII века, и если это так (в чем я никогда не сомневалась и без доказательств), то я радуюсь, что Мазон (хотя бы и перебарщивал) дождал до этого разоблачения. Пока что книга Зимина еще не вышла. Если ее действительно напечатают, то это будет большим событием и потрясением для многих» (открытка от 2.4.63). Что я мог ей ответить? Сейчас могу спокойно подождать.

Язык и стиль «Слова» — это, конечно, язык XII века, а не Киевской Академии XVIII в. Все больше нахожу доказательств. Но, пожалуй, незачем печатать отдельные статьи, а надо ускорить работу по «Словарю-комментарию», начатую еще в 1960 г. — она все докажет. Писал ли я Вам, что послал Якобсону статью по-французски о Бояне и князе Игоре в «Слове» и в «Задонщине»? Главная мысль: Боян в «Слове» — живое лицо, в «Задонщине» — лишь слабый отблеск. Упоминание князей, воспетых Бояном, в «Слове» логично для черниговского певца. В Белозерском списке «Задонщины» Боян воспевает «Рюрика, Игоря Рюриковича» и Святослава Ярославича. Этот странный список (Рюрика и неудачливого Игоря Рюриковича) никто бы не стал воспевать в XIV—XV вв.) объясняется тем, что имена Рюрика и Игоря повторяются в «Слове», а в конце «Слова» видно, что Боян был певцом Святослава II Ярославича. Позднейшие списки «Задонщины» исключили этого забытого в их время великого князя (1073—1076). Странное



появление его в Белоз(ерском) списке (где не упоминаются ни храбрый Святослав I, ни даже Владимир Красное Солнце как объекты «славы» Бояна) объясняется лишь тем, что перед иереем Софонием лежало «Слово о полку Игореве», из которого он черпал полными руками. Позвольте указать Вам две темы, которые я не могу разработать здесь за отсутствием источников, а которые с успехом мог бы взять на себя кто-либо из Ваших симпатичных и немалочисленных сотрудников.

1) Следует написать дельную статью о Тмутар(аканском) камне. Его подлинность доказывается его сличением с надписью царя Самуила 991 г. Сомнения Спицына (в Изв(естиях) Моск(овского) Арх(еологического) О(бщества) 1915 г.) я читал лет 30 тому назад. Здесь я этого издания найти не могу. Между тем у меня осталось в памяти, что Спицын (как и Иловайский) желал поместить Тмутаракань в устье Дона, и поэтому отрицал подлинность камня. Затем Мазон и Борщак настаивают на роли ат(амана) Головатого: между тем, опубликованное А. С. Орловым «дело о находке Тм(утараканского) камня» показывает, что он был найден егерями (а не казаками) майора Розенберга. А в Энцикл(опедическом) Словаре Граната я нашел дельную статью об ат(амане) Головатом, из которой видно, что он добивался земель между Бугом и Днепром, но что после смерти его покровителя кн(язя) Потемкина ему пришлось «взять, что дают», т. е. удовольствоваться Таманью и Кубанью. Надо найти археолога, который бы еще раз исследовал этот камень в Эрмитаже.

2) Надо еще внимательно разобрать опись Спасо-Яросл(авского) м(онасты)ря 1788 г., о которой писала Е. Карабанова в ТОДРЛ 16 (1960), выяснить, есть ли заметки ипод(ьякона) Соколова при исчезнувших трех других рукописях, кто такой этот Соколов, какая рукопись была под № 323 и т. д. Я уверен, что «хронограф в десть № 287», показанный «уничтоженным за ветхостью», и был присвоен арх(имандритом) Иоилем и продан Мусину-Пушкину вместе с двумя рукописями на пергамене.

Вот маленькое дополнение к моей статье о Русичах (и Святъславличах). Пишу рецензию на дельное переиздание «Слова митр(ополита) Илариона» Лудольфом Мюллером. Он указывает, что у Мусина-Пушкина была и тоже сгорела прекрасная рукопись этого «Слова» (древнейшая, с датой 1414 г.). М(усин)-П(ушкин) не успел или не захотел ее издать, но с нее сохранилась точная копия на прозрачной бумаге, снятая Ермолаевым (к этой строке примечание: «Это упомянуто Н. Н. Розовым<sup>2</sup> в ТОДРЛ, стр. 47». — Л. С.). Л. Мюллер переиздает снимок миниатюры из этой рукописи, и в тексте под ней ясно читается: «Похвала кагану нашему Володимиру С<sup>т</sup>ъславлицю». Итак, форма на -вличь вовсе не «куръез», как показалось Ташицкому.<sup>3</sup> Можно привести еще примеры.

Почему Вы лежали в больнице? Делали ли Вам операцию? Напишите, пожалуйста, подробнее о своем здоровье. Надеюсь, сейчас Вы вполне поправились. Хотелось бы встретиться с Вами в Зальцбурге в июле. На мое здоровье пожаловаться не могу, хотя мне уже 73-й год и часто чувствую лень. Получил интересные отписки и «Новгор(одских) посадников» от В. Л. Янина:<sup>4</sup> он прекрасно работает.

Самый сердечный привет Вам и всей Вашей семье от искренне преданного

А. Соловьева.

<sup>1</sup> «Ганка сделал» (лат.), — фраза, которую якобы обнаружили чешские исследователи Томас Масарик и Ян Гебауер в Краледворской рукописи, найденной (или подделанной) в XIX веке Вацлавом Ганкой.

<sup>2</sup> Николай Николаевич Розов — сотрудник Отдела рукописей ГПБ (ныне РНБ), тогда кандидат филологических наук.

<sup>3</sup> Витольд Ташицкий — польский славист, автор статьи «Les formes patronymiques insolites dans le Slovo d'Igor» («The Review of English Studies. 1959. N 36. P. 23—28).

<sup>4</sup> Валентин Лаврентьевич Янин — историк и археолог, профессор (с 1964 г.) кафедры археологии исторического факультета МГУ. Его книга «Новгородские посадники» вышла в Москве в 1962 г.

## 10

**Письмо Д. С. Лихачева главному редактору  
Строительного издательства в Берлине (Aufbau—Berlin)**

24 апреля 1963.

Глубокоуважаемый господин главный редактор!

По просьбе профессора Г. Рааба сообщаю Вам краткие сведения о том, как в Советском Союзе обстоит дело с вопросом о подлинности «Слова о полку Игореве».

Ни у кого из специалистов-филологов подлинность «Слова о полку Игореве» как памятника XII века не вызывала и не вызывает сомнений. В 1962 г. в Издательстве Академии Наук СССР вышел сборник «Слово о полку Игореве — памятник XII века», в котором подвергнуты обстоятельному разбору и опровержению сомнения в подлинности этого памятника, высказывавшиеся профессором А. Мазоном и его последователями.

В марте <sup>1</sup> 1963 г. в Институте русской литературы Академии Наук СССР профессор А. А. Зимин (историк, специалист по XVI веку) выступил с докладом, в котором пытался защищать точку зрения А. Мазона на «Слово о полку Игореве» как на памятник XVIII века. По-видимому, именно этот доклад проф(ессора) А. А. Зимина и явился поводом для слухов, что в Советском Союзе как-то пересмотрен вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве». Доклад А. А. Зимина не содержал новых фактов, которые могли бы поколебать уверенность специалистов в подлинности «Слова». А. А. Зимин лишь варьировал аргументацию А. А. Мазона, пытаясь защищать ее от возражений авторов сборника «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века».

Слухи о том, что в Советском Союзе готовится специальный сборник, доказывающий подложность «Слова о полку Игореве», лишены всякого основания. Не знаю — решится ли сам А. А. Зимин издать свой доклад после тех основательных возражений, которые были ему сделаны специалистами в Институте русской литературы АН СССР.

С уважением

Д. С. Лихачев, член-корреспондент АН СССР,  
профессор, доктор филологических наук

<sup>1</sup> Неточность: доклад состоялся 27 февраля.

## 11

**Письмо Н. Е. Андреева**

23 апреля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич,

вчера я получил Ваше письмо от 16 апреля. Большое спасибо за него и за очаровательные — две — фотографии Ваши с прелестной Вашей внучкой, которая вызвала восторг всей семьи. Как ее зовут?

Очень надеюсь, что Вы поправляетесь быстро. Здоровье — хрупкая вещь. Но — к чести медицины — последствия язвы теперь вылечиваются без остатка. Моего деда с материнской стороны лечил от язвы, еще до революции, знаменитый Альтшуллер, друг Толстого, Чехова и обоих моих дедов (с отцовской стороны мой дед был знаменитый земец, упоминаемый в воспоминаниях И. И. Петрункевича<sup>1</sup>). Лечил он его голодной диетой. Дед жил потом 12 лет, не зная, что такое осложнения желудка. Встретившись с доктором Альтшуллером в моей студенческой юности в Праге, я напомнил ему об его успехе. Альтшуллер был в восторге и добавил: «Нынче язвы преодолеваются в пятьдесят раз легче». И действительно, один из моих лондонских друзей был оперирован 9 лет назад и «забыл об этом факте», говорит.

Я обязательно пришлю Вам снимок, но, как ни странно, у нас нет общей фотографии семьи. Обычно снимаю я детей и жену, а сам попадаю «под аппарат» очень редко. Мы провели изумительные три недели в Корнуэлле, — и я полностью восстановил свою работоспособность и жизнерадостность. Вчера я получил также Вашу «Текстологию»: мне прислали мои бывшие ученики, помнящие мою внимательность к Вашим работам. Теперь ищут для меня Вашу книгу «Русские летописи»: у моей шефши, проф. Хилл, есть экземпляр, но не всегда удобно тащить от нее книги. Она — Кащей отчасти.

Не могу не признаться, что обрадовался Вашему сообщению, что доклад А. А. Зимина — только попытка интерпретации по скептическим линиям «Слова о полку Игореве». О докладе своем он сам написал Fennell,<sup>2</sup> а тот «ударил во все колокола». Годовая конференция британских славистов 23—24 марта в Оксфорде прошла под этим знаком — «торжества» над посрамлением стольких репутаций крупнейших ученых и традиционной радости «посрамления» «русской хлестаковщины». Я на конференции, по болезни, как и Вы, не был, но получил ряд известий от очевидцев. Вот один отрывок из письма от 28 — III: «Очень жаль, что Вас не было в Оксфорде. Конечно, лекции и доклады (Hill и Hage) никуда не годились, но было очень интересно познакомиться со „славистами“ из других университетов. Все говорили о „сенсации“ в Пушкинском Доме. Кажется, Зимин выступил с докладом, в котором доказал, что „Слово о полку Игореве“ подделка XVIII века. Феннель получил письмо от Зимина. Интересно было наблюдать реакцию на это известие. Лиза (Hill), Костелло (профессор русской литературы в Manchester), Simmons<sup>3</sup> (русский) библиотекарь в Оксфорде) были в восторге от этого. Симмонс называет „Слово о полку Игореве“ „the Piltlohen manuscript“ (по ассоциации с подброшенным в раскопки — знаменитым — черепом, принятым за пятитысячелетний). Остроумно, не правда ли, но, пожалуй, немножко преждевременно...» Я позволяю себе привести этот отрывок только для того, чтобы Вы не подумали, что я «сгустил» краски. Е. Ф. Хилл успела за эти три недели побывать у Мазона и впрыснуть его «мощи» «живою водой», что «поддельность доказана»! Сегодня на заседании факультета я — не без удовольствия — передал ей, что Вы считаете, что «абсолютно ничего серьезного не произошло»... Совершенно неожиданно эта Зиминско-Феннеловская сенсация оказалась «лакумусовой бумажкой» истинного отношения к изучаемой славистами культуре Руси. Меня это несколько не удивило, — мало ли чего я наслушался за десятилетия: «хвалу и клевету» приемлю «равнодушно». Но понимаю, что Вас это не может не удивить. Professor Hill официально сообщила мне, что для 1964—65 академического года она вычеркивает «Слово» из числа памятников, обязательных для изучения студентами (на будущий академический год список уже опубликован). Но я, конечно, не собираюсь подвергнуть «Слово» «остракизму». И, поскольку от меня зависит, программа изучения древней Руси не потерпит из-за блажи «мазонат».

Во всяком случае, надеюсь, что домыслы Зимина будут напечатаны и опровергнуты. Я не верю в удачную новую интерпретацию, но поверил бы в непрерываемый документ о подделке. Сердечное спасибо за ценное письмо.

Ваш Ник. Андреев.

<sup>1</sup> Имеется в виду книга Ивана Ильича Петрункевича «Из записок общественного деятеля» (1934).

<sup>2</sup> Джон Феннел — лектор Кембриджского (с 1947 г.), а затем Оксфордского (с 1956 г.) университетов, профессор (с 1967 г.). Автор ряда работ по древнерусской литературе. Участвовал в дискуссии по работе А. А. Зимина, в статьях 1967—68 гг. рассматривал вопрос «текстологического треугольника»: взаимоотношения «Слова о полку Игореве», Ипатьевской летописи и «Задонщины».

<sup>3</sup> Дмитрий Симмонс — магистр, главный библиограф университета в Оксфорде.

## 12

### Письмо Н. М. Дылевского <sup>1</sup>

24 апреля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Сердечно поздравляем Вас и всю Вашу семью с праздником 1 мая и шлем Вам наши самые лучшие пожелания.

Ваше милое письмо очень нас обрадовало и тронуло, мы очень дорожим Вашими добрыми чувствами и памятью о нас и наших софийских встречах. Письмо Ваше пришло точно в день годовщины нашей прогулки в окрестности Софии в Княжево в апреле 1960 г. (день был солнечный, теплый, и прогулка нас очень ободрила).

Все Ваши софийские друзья искренне радуются Вашему выздоровлению. Будем надеяться, что здоровье Ваше быстро поправится и мы с Вами увидимся в Софии осенью на V Съезде славистов, который обещает быть интересным и многолюдным. Наша София с каждым днем хорошеет и готовится к встрече гостей со всех концов земного шара. Усиленно печатаются и наши сборники (в одном из них помещено и мое сообщение об украинском рукописном евангелии 1568 г. из Галича, хранящемся в библиотеке «читалища» в г. Свиштове на Дунае).

В ближайшем будущем пришло Вам отгиск своей рецензии на Вашу книжку о «Слове о полку Игореве» в журнале «Език и литература» (кн. 1, 1963 г.).

Познакомился со злостной статьей нашего общего знакомого в журнале «Русская литература» и с Вашим сокрушительным на нее ответом,<sup>2</sup> сильным и убедительным во всех своих положениях. Очень хороша его концовка, плотно закрывающая дверь дальнейшей полемики.

А. И. Хватову<sup>3</sup> написал благодарственное письмо за его отзыв о моей заметке с новой редакцией стихотворения декабриста Бестужева. Позвольте сердечно поблагодарить и Вас, дорогой Дмитрий Сергеевич.

О чем будете докладывать на Съезде? Тем у Вас много. Постепенно знакомлюсь с Вашей «Текстологией»; книга богатейшая, заслуживающая всяческого внимания. О ней выйдет рецензия в одном из наших болгарских журналов.

Что слышно о нашем сборнике в защиту «Слова о полку Игореве»? Выступление А. Зимина против «Слова» повергло меня в полнейшее недоумение. Слухи о нем разнеслись по всему свету (первые отзвуки о докладе дошли до меня через гостя — профессора Оксфордского университета, защитника «Слова»). В Оксфорд о нем сообщил один из английских студентов, обучающихся в Москве. К сожалению,

гость не мог сообщить мне никаких подробностей, так как сведения были весьма отрывочные и неясные, получены они были перед самым отъездом его в Болгарию.

Во всяком случае, если выступление А. Зимина явилось ответом на наши статьи, нельзя не удивляться его неожиданности... Ответ весьма незаслуженный и странный. Буду ждать от Вас дальнейших вестей.

От моего корреспондента-литературоведа из США недавно получил книжку его статей, посвященных «Слову» — «Слово о полку Игореві і українська народна поезія. Вибрани проблеми» (1963 г. Виннипег), 94 стр.<sup>4</sup> Написаны они очень серьезно и углубленно, с привлечением нового и свежего материала (всего десять статей). Встречается в ней, конечно, и Ваше имя, как крупного специалиста по древней литературе и, в частности, по «Слову». Приятно сознавать, что за океаном есть горячие защитники «Слова», поддерживающие честь нашей древней письменности. Но есть и злостные враги, с которыми мы должны бороться всеми средствами, защищая истину и подлинность «жемчужины» нашей древней литературы. О выступлении одного из них мне писал все тот же известный мне только по переписке заокеанский корреспондент. Пока в печати ничего не появилось, но после выступления Зимина, м. б., и появится.

Из отдельных глав сборника могу упомянуть: «Що значить „а злата и сребра нимало того потрепати?“»; «Заклик до князя Ярослава Осмомысла і одна форма заговору»; «Що значить „Половецкую землю мечи цвѣлти?“»; «Поетичні образи-формули в „Слові о полку Игореві“ і народної поезії»; «До проблеми ритміки «Слова...»».

Сегодня получил английский перевод «Слова» VІ. Nabokov'a (1960) — «The Song of Jgor's Campaign». Вам, вероятно, он известен и в Институте имеется. Жду выхода зарубежных отзывов на наш сборник.<sup>5</sup> Прозаический английский перевод «Слова» Д. Д. Оболенского<sup>6</sup> вышел в составленной им антологии русской поэзии с оригинальным русским текстом и подстрочным переводом на английский. Ее заглавие «The Penguin Book of Russian Verse» (1962).

Как видите, авторитет «Слова» высоко ценится за рубежом.

Простите, дорогой Дмитрий Сергеевич, за многословие, которым я Вас, вероятно, утомил. Хотелось сообщить подробно культурные новости, которые, надеюсь, не совсем безынтересны и для Вас.

К юбилею В. П. Адриановой-Перетц пришлем поздравление, а я напишу ей и от себя. Будем желать ей здоровья и творческих сил.

Большим успехом пользуется выставка древнего искусства болгарских земель, устроенная в Париже. Гвоздем ее является золотой клад из Понагюришты, привезенный в Париж в оригинальном виде. Все парижские газеты посвятили выставке восторженные статьи. С тем же чувством пишет мне о ней и мой старый друг, посетивший немало выставок. Для Болгарии все это очень важно.

Просим передать наш особый привет дорогой Зинаиде Александровне<sup>7</sup> и Вашей матушке, которую мы знаем по присланной нам карточке.

Желаем Вам от всего сердца скорейшего полного выздоровления и восстания от одра болезни.

Искренне Ваши Николай и Дарья Дылевские.

<sup>1</sup> Николай Михайлович Дылевский — болгарский славист, профессор Софийского университета, автор многочисленных работ по «Слову о полку Игореве».

<sup>2</sup> Имеется в виду полемика Д. С. Лихачева с С. Н. Азбелевым в журнале «Русская литература» (1963, № 1): Азбелев С. Н. Реализм и древнерусская литература (с. 45—78). Лихачев Д. С. Анастезизм и древнерусская литература (с. 79—87).

<sup>3</sup> Алексей Иванович Хватов — сотрудник сектора взаимосвязей русской литературы с зарубежными ИРЛИ, славист, кандидат филологических наук (с 1965 г.).

<sup>4</sup> Автор книги «Слово о полку Игореві і українська народна поезія. Вибрані проблеми» (Виннипег, 1963) — Святослав Ярославич Гординский.

<sup>5</sup> Имеется в виду сборник статей «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века» (М.; Л., 1962), авторы которого полемизируют с А. Мазоном.

<sup>6</sup> Д. Д. Оболенский — профессор Оксфордского университета, славист, византист.

<sup>7</sup> Зинаида Александровна Лихачева, жена Д. С. Лихачева.

## 13

## Письмо Р. О. Якобсона

30 апреля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич,

весть о Вашей болезни очень меня огорчила. От души желаю Вам скорейшего и полнейшего выздоровления. Спасибо за оба письма. Какое убожество — выходка Зимина. Если что-либо по этому поводу выйдет в печати, пожалуйста, уведомьте или пришлите. Очередной том моих Writings, посвященный вопросам славянского эпоса и включивший две новых, не печатавшихся работы — 1) о статье Vaillant'a<sup>1</sup> «За Соломоном» и 2) о первоначальном тексте «Задонщины», — печатается и должен выйти накануне съезда славистов. В Послесловии, которое сдам в июне, намереваюсь отозваться и на Зимина. Мне кажется, было тактической ошибкой рус(ских) филологов и литературоведов слишком мягкое отношение к измышлениям Мазона и его приспешников, явно направленные к снижению древнерусской культуры. Безграмотные и злостные статьи Vaillant'a о летописях, «Задонщине», Летописной повести остались, например, без надлежащего ответа, и эта безнаказанность создавала нездоровую психологическую атмосферу, благоприятствовала новым безответственным выступлениям. Впрочем, едва ли можно говорить о шумихе в западной печати вокруг доклада Зимина. Здесь, насколько мне известно, не было ни одного печатного отклика, а в Европе, насколько я знаю от своего голландского издателя, ничего не было, кроме кулуарных разговоров среди славистов, из которых наименее грамотные весьма расположены кадить Мазону и развенчивать «Слово». Не понимаю, каким образом книга о рус(ском) искусстве, посланная заказной бандеролью, не дошла и не вернулась. А что со слуховыми очками? С живейшим интересом жду Ваших новых работ по древнерусской поэтике и Софийского доклада.

Преданный Р. Якобсон.

Р. С. Смерть Стендера<sup>2</sup> меня чрезвычайно опечалила. И человек он был чудесный, и большая потеря для славистики.

Мой адрес до середины мая Boylston, 301, а в последних числах мая с/o R. Mayerowa.

Между прочим, уже 2—3 года т(ому) н(азад) Мазон рассказывал своим собеседникам, что советский историк готовит веский материал о «Слове» как продукте Екатерининской эпохи и о его авторе Иоиле. По-видимому, и в русской научной литературе намеки на возможность новых доводов в пользу тезиса Мазона и на последующий пересмотр истории русской письменности и письменного языка были связаны с предусмотренным выступлением Зимина.

<sup>1</sup> Андре Ваян (Ваян) — французский славист, преподавал в Collège de France и Высшей школе филологических наук.

<sup>2</sup> Адольф Стендер-Петерсен — датский славист, член Королевской Датской Академии наук в Копенгагене.

## 14

Письмо Э. Ковальского<sup>1</sup>

3 мая 1963.

Глубокоуважаемый господин профессор!

С поступлением Вашего письма<sup>2</sup> рассеялись все у нас имеющиеся сомнения, как будто бы в Советском Союзе разбирается вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» как памятника XII в. Теперь мы вполне убедились в том, что существовавшие слухи лишены всякого основания и мы можем спокойно продолжать начатую работу над изданием столь ценного памятника древнерусской литературы.

Примите нашу благодарность за Ваше осведомление.

С глубоким уважением

Э. Ковальский  
Издательство АУФБАУ — Берлин.  
Славянское лекторство.

<sup>1</sup> Э. Ковальский — главный редактор Строительного издательства (Aufbau) в Берлине.

<sup>2</sup> Это письмо является ответом на письмо Д. С. Лихачева от 24 апреля 1963 (№ 10).

## 15

Письмо Л. В. Черепнина<sup>1</sup>

10 мая 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Спасибо Вам за Вашу информацию о докладе А. А. Зимина. Конечно, все останется между нами. Потревожил я Вас потому, что меня поразило, что А. А. Зимин, выступая в Ленинграде, совершенно обошел москвичей. Я, официально являясь заведующим сектором, а неофициально — человеком, всегда очень хорошо относящимся к А. А. Зимину, узнал о докладе уже после того, как он был сделан, причем первоначально не от А. А., а от других лиц. Причем до этого я вообще не знал, что А. А. Зимин работает над данной темой. Какая-то ненужная таинственность — с одной стороны, поспешность — с другой. Что касается печатания доклада, то я тоже за это, но как будто сейчас уже сам А. А. не хочет особенно торопиться.

Сердечный привет Вам и Вашей семье.

Л. Черепнин.

<sup>1</sup> Лев Владимирович Черепнин — историк, заведующий сектором русской истории периода феодализма в Институте истории АН СССР (Москва), доктор исторических наук.

## 16

Письмо А. Н. Робинсона<sup>1</sup>

10 мая 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Как Вы себя чувствуете? Давно не имеем о Вас известий. Вчера В. В.<sup>2</sup> и я сидели 1,5 часа у шефа (который был директором славяноведов).<sup>3</sup> Речь шла о

делегации (у нас трудности). Когда дошли по алфавиту до Вас, он сказал: «Это крупнейший специалист. Как его здоровье?» Тогда В. В. во всех деталях все рассказал и изобразил очень картинно — вплоть до того, как Вам был возвращен конвертик (тут же был экскурс в историю болезни и операции Н. К.,<sup>4</sup> которому конвертик возвращен не был). Так же точно комментировались и другие делегаты. В. В. здорово ругал двух главных историков-древников.<sup>5</sup> Отношение к нашему делу было весьма благожелательное и я доволен деловой стороной визита. Потом подробно говорили о «Слове» и работе А. Зимина (сейчас В. В. читает его книгу — рукопись). Шеф уже хорошо знал об этом (он учился с А. А. в аспирантуре), считает дело очень серьезным, особенно из-за всемирного резонанса и съезда. Двое историков поносят А. А. и устраивают ему неприятности. В. В. относится участливо, сочувствует, но отмечает: 1) слабость и неоригинальность концепции, особенно — об Иоиле, 2) ошибочность поведения (на полях запись, относящаяся, вероятно, к данному фрагменту: «Говорилось, что ленингр(адский) доклад — большая ошибка автора и устройств». — Л. С.). Сам В. В. заявил, что он допускает возможность древности «Слова», но убежден, что в нем много новых вставок и влияний. Мне показалось, что эта концепция (компромиссная) понравилась шефу, который ищет выхода и (учитывая зарубежный отклик) старается не занимать крайней позиции ни в ту, ни в другую сторону. Итог размышлений был таков: 1) автор честный и принципиальный ученый, который увлекся темой, не отдавая себе отчета о последствиях, 2) следует до съезда (т. е. в июне—июле) в закрытом совещании специалистов объективно и подробно обсудить книгу и определить возможные позиции (отрицание, частичное признание и т. п.), 3) если единого мнения не будет, то наметить целесообразное поведение на съезде. Для практического осуществления этого намечено отпечатать книгу на роталпринте 10—20 экз. и раздать специалистам (все это будет делаться по инициативе Президиума), указание дано.

Поражает поведение М. Н.: 1) отказался читать рукопись, 2) требует снятия автора из его «замов» по Археографической комиссии, 3) хочет, чтобы имя автора (как редактора) было снято с того сборника, который посвящен ему к 70-летию (сам я этого не наблюдал, но слышал от двух весьма компетентных людей). Мне кажется, что в создавшихся условиях, если такое обсуждение состоится, лучше всего было бы (по крайней мере, я бы так сделал) дать серьезный научный анализ, твердо защищать свое мнение, но ни в коем случае не вносить горячности, возмущения, не делать упреков и т. д. (для этого ораторы найдутся, но едва ли они будут иметь большой успех). Прошу Вас оставить это все между нами (особенно, — не говорите в секторе). Через некоторое время все это само дойдет, а сейчас еще рано. Работа меня заедает. По плану за этот год я не сделал ничего — боюсь расплаты за это потом, да и самому обидно, т. к. есть хорошие материалы, кое-что намечено. Мне нужно было бы основательно посоветоваться с Вами о своих дальнейших (научных) делах, т. к. есть разные варианты тематики и не все тут мне ясно.

Дня через 3 мы вышлем официальное письмо Зинаиде Александровне о том, чтобы она прислала необходимые документы. Идет борьба с Ин(остранным) отделом о размерах туристической группы.

В. В. написал новую интересную книжку «Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование» (13 а. л.). Пытаемся издать к съезду. Н. К. на меня сердится — в Изд(ании) из его доклада сняли разделительные звездочки. Добиваюсь восстановления их. В. А.<sup>6</sup> и я кланяемся Вам и Зинаиде Александровне, привет всем милым молодым членам семьи.

Обнимаю Вас.

Ваш А. Робинсон.



<sup>1</sup> Андрей Николаевич Робинсон — сотрудник группы древнерусской литературы ИМЛИ, Ученый секретарь Советского комитета славистов (с 1960 г.).

<sup>2</sup> Виктор Владимирович Виноградов.

<sup>3</sup> Вероятно, имеется в виду Иван Иванович Удальцов, заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС и одновременно заведующий подотделом пропаганды и агитации, курировавший в частности, вопросы, связанные со съездом славистов. В. В. Виноградов был в те годы Председателем Советского комитета славистов, а А. Н. Робинсон — Ученым секретарем этого комитета.

<sup>4</sup> Николай Каллиникович Гудзий.

<sup>5</sup> Михаил Николаевич Тихомиров, историк, академик (с 1953 г.), председатель Археологической комиссии (с 1956 г.) и Б. А. Рыбаков (см. прим. 1 к письму № 27).

<sup>6</sup> Вера Александровна Плотникова-Робинсон, жена А. Н. Робинсона.

## 17

## Письмо А. В. Соловьева

23 мая 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, вчера получил Ваше большое письмо о докладе А. А. Зимина, а по вине почты лишь сегодня получил Ваше предыдущее (от 15.IV) с описанием Вашей болезни и с фотографией, за которую сердечно благодарю. Очень сочувствую Вам по поводу болезни (у меня была подобная лет 20 тому назад, но обошлось без операции) и надеюсь, что Вы вскоре вполне поправитесь. К сожалению, я не получил т. XVIII-го ТОДРЛ; нельзя ли как-нибудь его мне прислать? Пришлю в обмен, что пожелаете.

Шлю самый сердечный привет.

Ваш А. С.

## 18

Письмо А. Грабара <sup>1</sup>

6 июня 1963.

Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич,

спешу ответить на Ваше письмо, чтобы выразить Вам свое сочувствие по поводу Вашей болезни (я ничего об ней не знал) и пожелать от всего сердца скорого и полного выздоровления. Из письма вывел, что Вы в основном совсем поправились и набираетесь сил для возобновления нормальной деятельности. Я когда-то, в Страсбурге, страдал долго от небольшой язвы в двенадцатиперстной кишке, но мне удалось от нее избавиться лечением. Но помню до сих пор боли, которые заставляли меня прерывать работу за письменным столом и ложиться на часок на диван.

Очень надеюсь, что увижу Вас в Ленинграде этой осенью и побеседую с Вами о разных интересующих меня вопросах из области древнерусской литературы. Кстати, на прошлой неделе видел проф. А. Мазона (который болел ишиасом или чем-то в этом роде). Он похвалил мою статью, напечатанную у Вас в Пушкинском Доме.<sup>2</sup> Так как мне лично подлинность Слова представляется несомненной, я был бы очень рад познакомиться с докладом Зимина и узнать Ваше мнение о нем. Боюсь Вас утруждать и поэтому не прошу писать об этом в ближайшее время, но как-нибудь позже, при случае.

Спасибо за указание, к кому обратиться в Академии (наук) СССР относительно моей поездки.

Очень рад был получить привет от Вашей старшей дочери,<sup>3</sup> а также узнать, что Ваша вторая дочь<sup>4</sup> тоже занимается наукой и работает в Русском музее. Я очень хочу познакомиться с обеими и по приезде постараюсь их встретить и поговорить с ними об их работе. У нас, наверное, найдутся общие научные интересы.

Передайте мой поклон Вашей супруге и дочерям и примите сам, от меня и от моей жены, наши лучшие пожелания доброго здоровья.

Ваш А. Грабар.

<sup>1</sup> Андрей Николаевич Грабар — французский историк искусства, специалист по византийскому и древнерусскому изобразительному искусству и культуре.

<sup>2</sup> Статья А. Н. Грабара «Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и „Слово о полку Игореве“» была опубликована в ТОДРЛ (Т. XVIII. М.; Л., 1962. С. 233—271).

<sup>3</sup> Вера Дмитриевна Лихачева — искусствовед, впоследствии доктор искусствоведения, профессор.

<sup>4</sup> Людмила Дмитриевна Лихачева — искусствовед, сотрудница Русского музея.

## 19

Письмо Б. А. Рыбакова Д. С. Лихачеву

2 июля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Очень рад Вашему выздоровлению. Мы все здесь в Москве с тревогой следили за ходом болезни, и очень, очень хорошо, что все уже позади. Предстоят еще большие бои с Зиминным, который «прогремел на всю Россию как оскандаленный герой», и здесь Ваше участие совершенно необходимо.

Доклад Монгайта,<sup>1</sup> мне кажется, был сделан под влиянием того же Зимина — «как бы не опоздать с разоблачением!» Ничего нового, никакой аргументации Монгайт не дал. Палеографии он не знает и не вдавался в изыскания, а просто объявил, что Мусин-Пушкин воспользовался Остромировым евангелием как образцом.

Концепция Монгайта такова: Екатерина II хотела доказать давнюю принадлежность Тамани к русским землям, а угодливый царедворец, опираясь на пронырливых атаманов Черноморского казаческого войска, состряпал трафарет с текстом о князе Глебе. Трафарет был послан из Петербурга в Тамань, наклеен на первую попавшуюся плиту и по нему была выбита надпись, тотчас «найденная» Антоном Головатым. Место Тмутаракани было определено, «храбрый росс» торжествовал... Никаких доказательств приведено не было. Монгайт, как и Зимин, исходил из презумпции подложности. Доклад был очень слабый и странный.

Я сейчас сдаю в печать свод датированных русских надписей XI—XIV вв. и прилагаю к нему подробную азбуку 55 надписей с разными вариантами начертаний букв. Там есть и точно датированные надписи, но есть и датированные по косвенным признакам (имена исторических лиц). Почерк Тмутараканского камня очень хорошо укладывается среди других надписей XI в., открытых в последние годы.

А Зимин написал уже книгу в 20 печ(атных) листов, и она будет отпечатана ротопринтным способом небольшим тиражом. Он уверяет, что все мы, защитники «Слова», немедленно уверуем в его правоту и сложим оружие. Я знаю его аргументы по кратким тезисам и по трехчасовому изложению их им самим. Странная, совершенно необъяснимая уверенность его в подделке заставляет его быстро проглатывать мимо всех доказательств, мимо обоснования приоритета «Задонщины»

и устремляться только на поиски автора среди современников Хераскова и Державина. На днях А. А. возвратился из командировки на юг и привез фотокопии 120 стихотворений Иоила Быковского. Все это — второсортные вирши, как и следовало ожидать. Но это его не отрезвило, и он полон необузданной гордыни. Я очень люблю Александра Александровича, и мне крайне досадно, что он ставит себя в ложное положение и, вопреки истине, поддерживает Мазонов и Унбегаунов.<sup>2</sup> Впрочем, он не одинок — его союзником является В. В. Виноградов. Дорогой Дмитрий Сергеевич! Поправляйтесь скорее окончательно и возглавьте оборону «Слова».

Посылаю Вам макет 1-го тома истории СССР. Весь русский раздел написан мною; одну из глав я умышленно назвал «Русь в эпоху „Слова о полку Игореве“». Жду Ваших замечаний.

Всего лучшего. Привет семье.

Б. Рыбаков.

<sup>1</sup> Александр Львович Монгайт, сотрудник Института истории АН СССР (Москва), в 1964 г. доктор исторических наук.

<sup>2</sup> Борис Оттокар Унбегаун — лингвист, профессор Оксфордского и других европейских университетов. Стремясь доказать поддельность «Слова», Б. О. Унбегаун указывал на употребленное в нем существительное «русичи». Данная форма, по мнению исследователя, не могла возникнуть раньше XVI в. (см.: Les Rusiči / Rusici du Slovo d'Igor // The Review of English Studies. В. 18 (1938). P. 79—80.

## 20

### Письмо В. Г. Базанова<sup>1</sup>

20 июня 1963.

Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич!

Я внимательно прочитал «Хронику» и готов рекомендовать ее в журнал. Третий номер уже в производстве. Л. А. Дмитриев несколько задержался с представлением. Но и это не должно служить причиной для переноса в четвертый номер, который выйдет из печати после Съезда славистов. Придется слезно просить Издательство, чтобы разрешили доверстать, т. е. при получении первой верстки № 3 приняли в набор. Если так, то у нас имеется время, чтобы уточнить ряд вопросов:

1. Нужно ли специально озаглавить это сообщение или спрятать его под глухим и традиционным названием «Хроника»?

2. Послать ли изложение доклада А. А. Зимину (во избежание недоразумений) для визы? Вероятно, это следует сделать, ибо стенограмма отсутствует.

3. Не слишком ли скупо подается выступление Моисеевой и несколько иронически Азбелева? Правильно меня поймите, Дмитрий Сергеевич. Не хотелось бы разговоров об одностороннем изложении дискуссии. Возможно, что здесь я проявляю излишнюю осторожность. Может быть, об Азбелеве сказать: «Азбелев в своем выступлении ограничился тем, что присоединился к Зимину, не развернув своих соображений и доказательств».

Прошу Вас снять абзац, где говорится о том, что дискуссия не могла состояться из-за отсутствия на заседании Лихачева, Адриановой-Перетц<sup>2</sup> и Данилова.<sup>3</sup> Можно в примечаниях указать, что упомянутые ученые по болезни отсутствовали. Следует подчеркнуть: «Мы пока не можем развернуть научную дискуссию, поскольку не имеем ни тезисов, ни текста самого доклада, не знаем о подробностях аргументации А. А. Зимина. Неудивительно, что обсуждение выступления А. А. Зимина на секторе имело самый предварительный характер».

Что касается Вашей статьи «Филологические доказательства подлинности „Слова о полку Игореве“», то журнал безусловно заинтересован получить такую статью. Чтобы статья была опубликована в четвертом номере, для этого необходимо представить ее в начале сентября.

Примите от меня добрые пожелания и сердечный привет.

В. Г. Базанов.

<sup>1</sup> Василий Григорьевич Базанов — главный редактор журнала «Русская литература» (с 1958 г.), член-корреспондент АН СССР (с 1962 г.).

<sup>2</sup> Варвара Павловна Адрианова-Перетц, член-корреспондент АН СССР (с 1943 г.), в 1947—54 гг. возглавляла сектор древнерусской литературы ИРЛИ. Автор многих работ по «Слову о полку Игореве».

<sup>3</sup> Владимир Валерьянович Данилов — в те годы пенсионер (в 1963 г. ему было 82 года), в 1948—56 гг. — сотрудник архива ИРЛИ. Автор статей по «Слову о полку Игореве».

## 21

### Письмо Л. А. Дмитриева

10 июля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

К сожалению, я в четверг (должна быть дирекция и меня на это заседание вызывают) не могу приехать к Вам сам, а все это дело нужно решать очень срочно — к утру субботы текст «Отчета» с реализацией предложенных редакцией журнала изменений должен быть готов. Поэтому пишу Вам письмо и посылаю все с Анатолием Сергеевичем Деминным.

Прежде всего постараюсь вкратце изложить Вам сущность обсуждения на редакции. Против печатания «Отчета» в его теперешнем виде решительно возражали В. В. Тимофеева<sup>1</sup> и В. А. Ковалев.<sup>2</sup> В. В. считает, что публикация такого «Отчета», по существу, представит как бы выгоду только для Зимина — журнал представляет свои страницы для изложения его точки зрения, не приводя достаточно веских и аргументированных ему возражений. Поэтому печатать можно лишь в том случае, если сразу же после «Отчета» будет помещена Ваша статья, подробно разбирающая концепцию А. А. Зимина и критикующая его. В. А. Ковалев также говорил о недостаточной критике А. А. Зимина, но наиболее существенное его возражение было против второй части «Отчета», где приводятся возражения Зимину уже после собственно отчета о заседании — не ясно, кому принадлежат эти возражения и т. д. К. Д. Муратова<sup>3</sup> сказала, что она считает, что «Отчет» напечатать нужно, но необходимо обязательно сказать, что Вы и Варвара Павловна в ближайших №№ журнала собираетесь выступить со статьями против Зимина. Много говорил Ф. Я. Прийма,<sup>4</sup> но не только по «Отчету», а и по вопросу о докладе А. А. Зимина, об организации этого доклада, о выступлении И. П. Еремина. Я во время его выступления бросил реплику о том, что, к сожалению, Ф. Я., присутствовавший на докладе А. А. Зимина, не нашел нужным и возможным выступить. В конце своего выступления он объяснил это тем, что возражать Зимину в связи со сложностью его доклада так сразу, со слуха, было просто невозможно. Потом, когда говорил я, я сказал, что мне очень приятно отметить это место в выступлении Ф. Я., так как оно показывает, в каком трудном положении оказался на заседании сектор, ибо и для сектора доклад А. А. Зимина явился совершенной неожиданностью и никто к нему специально подготовлен не был.

Бушмин<sup>5</sup> заранее отчет не читал и просмотрел его во время заседания (вина тут, правда, не его — ему почему-то текст заранее не давали). Он сказал, что у

него на первый взгляд, как у неспециалиста по «Слову», создалось впечатление, что если для специалиста многое и в концепции Зимина, и в возражениях ему понятно и убедительно, то для неспециалиста кажется, что точка зрения Зимина обоснована, сильно аргументирована, а возражений, по существу, нет. Однако против печатания в принципе он, в общем-то, не возражал.

Наиболее энергично за печатание статьи ратовал Базанов, ссылаясь на Ваше мнение и мнение Варвары Павловны по этому вопросу. Говорил он и о том, что замалчивание теперь еще хуже, чем печатание сообщения. Вместе с тем он говорил и о том, что, так как это отчет, хроника, то, разумеется, журнал не может требовать переделывать то, что имело место на самом деле и т. д. и т. п.

Я по ходу выступлений давал некоторые реплики и справки и высказал потом вкратце то, что и Вы, и Варвара Павловна написали в своих отзывах.

В результате двухчасового препирательства пришли к такому решению.

Отчет, как отчет о заседании сектора, закончить на заключительном слове Зимина и подписать этот отчет моим именем как составителя (разумеется, примечание о том, что изложение доклада Зимина и его ответного слова даются в изложении докладчика, — останаеся).

После Отчета с заголовком «От редакции» поместить либо что-то в виде письма от Вас и Варвары Павловны, в котором вы выскажете свой взгляд и свою оценку доклада А. А. Зимина и его концепции, либо какие-то общие слова и дополнительные возражения А. А. Зимину как мнению редакции журнала. Т. е., по существу, в иной форме дать то, что составляло раньше заключительную часть Отчета. При этом высказывалось пожелание, чтобы были добавлены и усилены какие-то возражения Зимину. Кроме того, все настаивали на том, чтобы было сказано где-то, что и Вы, и Варвара Павловна предполагаете в ближайших №№ журнала поместить свои статьи по «Слову».

Я сказал, что против того, чтобы заключительная часть Отчета была дана иначе, чем сейчас, я не только не возражаю, но считаю, что так будет гораздо лучше, тем более, что основным автором этой части являетесь Вы. Вместе с тем я сказал, что ответить за Вас или Варвару Павловну, в каком виде вы посчитаете это лучшим сделать, я не могу. Кроме того, я сказал, что не могу за Вас давать обещание, что Вы за один-два дня сможете написать более сильные возражения, кроме уже представленных Вами в Отчет, на все положения, выдвинутые в изложении доклада Зимина. Я сказал, что сущность всех предложений редакции я доведу до Вашего сведения и что к субботе все будет представлено в редакцию в окончательно отработанном виде. Кроме того, я сказал, что, очевидно, ни Вы, ни Варвара Павловна не будете возражать против разбивки Отчета в его теперешнем виде на две отдельных части, а также и против того, чтобы было сообщено о Вашем и Варвары Павловны намерении в ближайших №№ выступить со статьями.

Я посылаю Вам в предварительно набросанном виде эту заключительную часть «От редакции» в двух вариантах. Посмотрите, какой из них Вам покажется более подходящим. М(ожет) б(ыть), Вы сможете хоть немного что-нибудь усилить (м(ожет) б(ыть), какую-либо общую характеристику и оценку концепции Зимина вообще) и добавить. Для этого я снова посылаю Вам и первую часть — самый «Отчет».

Если Вы сможете сделать все это при А. С. Демине, то отправьте тексты назад с ним. Если это будет неудобно, и чтобы Вам не спешить и не торопиться, то я приехал бы к Вам с утра в пятницу и с новым текстом прямо сразу же от Вас заехал бы к Варваре Павловне, чтобы и ее ознакомить с этим текстом.

Все это необходимо сделать так срочно потому, что уже прислана первая корректура 3-го № журнала и все эти материалы пойдут прямо в текст корректуры.

Характеристику и справку (медицинскую) для поездки в Вену Полина Анисимовна<sup>6</sup> в Москву отослала. Больше ей ничего посылать не надо?

Согласие на поездку в Болгарию я дал, но если к тому моменту, когда надо будет вносить требуемую сумму, я не смогу нигде ее занять (без займа я, к сожалению, хотя Вы почему-то и считаете нас самыми богатыми людьми в секторе, ни сейчас, ни в сентябре такой суммы внести не смогу), то уж тогда ничего не поделаешь, и Вы, пожалуйста, на меня в таком случае не сердитесь, хорошо?

Всего Вам доброго.

Искренне Ваш Л. Дмитриев.

<sup>1</sup> Вера Васильевна Тимофеева — сотрудник сектора советской литературы ИРЛИ, член редколлегии, затем главный редактор журнала «Русская литература» (с 1968 г.), доктор филологических наук (с 1963 г.).

<sup>2</sup> Валентин Архипович Ковалев — заведующий сектором советской литературы ИРЛИ (с 1952 г.), член редколлегии журнала «Русская литература», доктор филологических наук (с 1952 г.).

<sup>3</sup> Ксения Дмитриевна Муратова — заведующая сектором библиографии и источниковедения ИРЛИ, член редколлегии журнала «Русская литература», доктор филол. наук (с 1958 г.).

<sup>4</sup> Федор Яковлевич Прийма — заведующий сектором новой русской литературы (с 1961 г.), доктор филологических наук (с 1961 г.), член редколлегии журнала «Русская литература».

<sup>5</sup> Алексей Сергеевич Бушмин — директор ИРЛИ (1955—65), тогда член-корреспондент АН СССР (с 1960), академик (с 1979 г.).

<sup>6</sup> Полина Анисимовна Черепанова, в те годы инспектор по кадрам ИРЛИ.

## 22

### Письмо Д. С. Лихачева в редакцию журнала «Русская литература»

10 июля 1963.

Уважаемые товарищи!

Акад(емик) Е. М. Жуков<sup>1</sup> сообщил мне сегодня по телефону и просил передать в редакцию журнала «Русская литература», что имеется решение не публиковать материалов по концепции А. А. Зимина до обсуждения его книги, которая будет отпечатана в двенадцати экземплярах и разослана в служебном порядке специалистам (обсуждение будет узким и закрытым). Это решение обязательно и для нашего Отделения, и для Отделения исторических наук (там отказались от печатания ответа М. Н. Тихомирова).

Я изложил Е. М. Жукову свою точку зрения, подчеркнув, что наше молчание может быть крайне невыгодно истолковано за границей.

Е. М. Жуков просил меня переговорить по этому поводу с акад(емиком) П. Н. Федосеевым,<sup>2</sup> который единственно может разрешить печатание: Думаю, однако, что П. Н. Федосеев не сможет разрешить печатание отчета, не видев его. Для пересылки же отчета П. Н. Федосееву и переделок времени, вероятно, нет. Поэтому надо дожидаться обсуждения всей книги А. А. Зимина. Досадно. На съезде славистов мы будем в тяжелом положении. П. Н. Федосееву я все же письмо напишу и копию пришлю в редакцию.

Когда я буду в Ленинграде, я покажу в дирекции письмо А. А. Зимина, на основании которого у нас был поставлен его доклад. Из этого письма видно, что А. А. Зимин ввел сектор в заблуждение относительно содержания своего доклада. В этих условиях ни один сектор не смог бы предвидеть содержание доклада и

принять оборонные меры. Поэтому никакой вины на секторе за постановку доклада А. А. Зимина не лежит.

Не знаю, смогу ли я выполнить обещание и дать статью в защиту «Слова». Если бы был напечатан отчет, я мог бы на этот отчет сослаться. Но на что сошлюсь теперь я, если и самая работа А. А. Зимина «секретна» и отчет о его докладе не опубликован?

С уважением

Д. Лихачев.

<sup>1</sup> Евгений Михайлович Жуков — академик-секретарь Отделения истории АН СССР, академик (с 1960 г.).

<sup>2</sup> Петр Николаевич Федосеев — вице-президент АН СССР, академик, возглавлял секцию общественных наук АН СССР (1962—67 гг.), член ЦК КПСС.

## 23

### Письмо Д. С. Лихачева П. Н. Федосееву

11 июля 1963.

Глубокоуважаемый Петр Николаевич!

Разрешите мне как специалисту по древнерусской литературе объяснить Вам свою точку зрения на работу А. А. Зимина относительно «Слова о полку Игореве».

Доклад А. А. Зимина был поставлен в Институте русской литературы в отсутствие специалистов по «Слову о полку Игореве» (член-корр. АН СССР В. П. Адрианова-Перетц была больна и находилась вне Ленинграда, я сам лежал в больнице, проф. В. В. Данилов был болен — ему за 80 лет). Докладчик не сообщил о содержании своего доклада, озаглавив его «К изучению Слова о полку Игореве» и не совсем точно (уклончиво) дав о нем сведения в своем письме. Об истинном содержании доклада стало известно только накануне заседания (очередного, рабочего), когда повестки были уже разосланы. Тем не менее сотрудники Сектора древнерусской литературы сделали докладчику довольно внушительные научные возражения.

Доклад А. А. Зимина длился три часа и часть аудитории разошлась, не выслушав возражений А. А. Зимину. Это обстоятельство позволило распространиться слухам, что А. А. Зиминным приведены какие-то серьезные аргументы в обоснование поддельности «Слова». К сожалению, эти слухи широко распространились за границей. Во многих иностранных университетах «Слово» исключено из курсов истории русской литературы. Издательства в Англии и ГДР сняли с производства переводы «Слова» (в ГДР мне удалось убедить вернуть «Слово» в типографию). Я получаю очень много писем из-за границы с просьбой дать сведения о содержании работы А. А. Зимина. Друзья советской науки советуют как можно скорее издать доклад А. А. Зимина, так как иначе распространяются слухи, что А. А. Зиминным приведены неопровержимые факты подложности «Слова», которые недопустимым образом скрываются Академией Наук СССР. В письмах ко мне указывается, что если доклад А. А. Зимина не будет напечатан до съезда славистов, то на съезде славистов советская делегация будет буквально осаждена вопросами. Советским делегатам придется делать импровизированные доклады о точке зрения А. А. Зимина и опровергать ее в невыгодных для нас условиях подозрений. Слависты за границей — в основном преподаватели русской литературы и языка университетов; вопрос о «Слове» для них практический вопрос программ, курсов, руководств, заданий студентам, а также вопрос отношения к русской культуре и

к русской и советской филологической науке, якобы находившейся в заблуждении или нарочно заблуждавшей всех.

Что же представлял собой доклад А. А. Зимина? А. А. Зимин сосредоточил в нем главные аргументы своей работы. Эти аргументы крайне слабы. А. А. Зимин хороший специалист по русской истории XVI века, но он не филолог (а вопрос о подлинности или поддельности памятника — филологический вопрос), не литературовед, не занимался русской историей XII—XVIII веков и свою работу, очевидно, писал в крайней спешке. Ни одного сколько-нибудь серьезного довода в работе А. А. Зимина нет, нет и новых фактов, документов. Самое обилие и «косвенность» разнородных соображений указывает на то, что у А. А. Зимина нет решающих соображений. В основном А. А. Зимин повторяет старые и давно опровергнутые у нас и в иностранной научной печати аргументы А. Мазона, добавляя и разбавляя их крайне неосновательными мелкими соображениями — лингвистическими (А. А. Зимин не лингвист), востоковедными (восточных языков А. А. Зимин не знает) и текстологическими (не учитывая методики текстологических исследований). Огромную литературу о «Слове» А. А. Зимин знает очень плохо, и это также может быть легко доказано.

Опасаться опубликования работы А. А. Зимина нет никаких оснований. Напротив, неопубликование ее только выгодно для А. А. Зимина, делая его всемирно известным таинственным ученым, которому запрещают публиковать свои «выдающиеся» открытия.

Сектор древнерусской литературы подготовил отчет о заседании, на котором обсуждался доклад А. А. Зимина. В этом отчете изложение доклада А. А. Зимина сделано самим А. А. Зиминим и поэтому нельзя будет нас упрекнуть в том, что мы что-то скрыли из его аргументации. Далее идет изложение выступлений и приводятся общие соображения по поводу доклада. Слабость доклада А. А. Зимина видна и из его собственного изложения. Этот отчет способен несколько успокоить разгоряченные умы, а кроме того, он позволил бы советской делегации опровергнуть упреки в том, что мы «скрываем» и не печатаем выводы А. А. Зимина. Отчет должен был быть напечатан в № 3 «Русской литературы» (этот номер выйдет к съезду), но снят из журнала, так как акад(емик) Е. М. Жуков разъяснил мне, что в АН считают нецелесообразным напечатание каких-либо сведений о докладе до обсуждения всей его работы в целом. Следующий номер журнала (4) выйдет только в декабре. Я очень прошу Вас дать указание журналу «Русская литература» напечатать отчет в № 3. Я прошу Вас также дать это указание как можно скорее, так как прошли уже все корректуры этого номера.

Ограничиться отчетом нельзя. Хотя я всей работы А. А. Зимина не читал, но я убежден, что нужно опубликовать всю работу А. А. Зимина, не делая из нее никакой секретности. Так как читать ее будут не только специалисты, а люди, которым по неосведомленности может показаться, что в аргументах А. А. Зимина много нового и убедительного, то публиковать ее надо не отдельно, а в составе сборника «К вопросу о подлинности „Слова о полку Игореве“», где должны быть напечатаны ответы и доказательства подлинности «Слова» — чл(ена)-корр(еспондента) В. П. Адриановой-Перетц, мои, некоторых лингвистов, востоковедов и фольклористов.

С уважением

Д. С. Лихачев.



## 24

## Письмо Л. А. Дмитриева

18 июля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Письмо Ваше я получил только сегодня (18 июля) на даче, в Усть-Нарве, поэтому так поздно Вам отвечаю. Письмо Ваше в Институт пришло в понедельник, 15-го числа, когда мы уже ушли в отпуск, и нам переслал его сюда Олег Викторович. Из Ленинграда мы уехали днем 15-го и вот, начиная с вечера 15-го по сегодняшний день, вовсю купаемся и загораем — стоит чудесная погода, и вода в заливе очень теплая. Если такая погода продержится долго, то тут действительно отдохнешь, как на хорошем морском курорте — вода тут по-настоящему морская — соленая, и запах у нее совсем иной, чем в заливе в Зеленогорске, в Молодежном. Во всяком случае, только за 3 дня мы уже отдохнули немного и чувствуем себя коренными дачниками. Нина<sup>1</sup> тоже вовсю купается и загорела, как маленький негртеночек.

Письмо Ваше к Федосееву написано, как мне кажется, очень хорошо, спокойно и убедительно. Может быть, только стоило бы упомянуть, что редколлегия «Русской литературы» уже приняла Отчет к печатанию и что вопрос этот специально решался на заседании всей редколлегии.

Я должен Вам сообщить, что после Вашего письма в редколлегию я написал А. А. Зимину о том, что Отчет печататься не будет. После его письма (с его текстом своего доклада, заключительным словом и замечаниями по изложению в Отчете выступлений) и после того, как и Вы, и Варвара Павловна одобрили второй вариант Отчета, я написал А. А. Зимину о том, что все его замечания и предложения учтены и что то, что текст его выступления и заключительного слова даются в его собственном изложении, не только не встретило возражения, но, наоборот, всеми было одобрено. Кроме того, в ответ на его просьбу сообщить, в каком виде будет печататься весь Отчет, я написал ему, что после обсуждения на редколлегии и после внесения в Отчет редакционных поправок и изменений я вышлю ему машинописную копию окончательного вида Отчета до текста его заключительного слова. После обсуждения Отчета на редколлегии я сел писать письмо Вам и попросил в редакции журнала снять копию с первой части Отчета, оканчивающейся заключительным словом Зимина. На другой день с утра (когда к Вам ездил Демин) я сел писать письмо Яковсону с изложением (вернее, просто копией) содержания доклада А. А. Зимина в его собственной редакции и с кратким пересказом сути прений по его докладу. К вечеру приехал от Вас Демин, и все пришлось менять. Письма Яковсону я послать не успел и уничтожил его. Текст для Зимина также еще не был сделан, и я сказал, что его и делать не надо. А. А. Зимину я написал о том, что, когда после долгих дебатов в редакции, где фигурировали Ваше и Варвары Павловны письма, в которых вы настаивали перед редакцией о необходимости напечатать Отчет и именно с его собственным изложением его доклада и заключительного слова и в спокойных, выдержанных тонах (при этом я написал ему, что именно эти письма сыграли решающую роль), было, наконец, принято решение напечатать Отчет, — выяснилось, что Отчет печатать все же нельзя. Я написал ему, что Вам позвонил Жуков и сказал о том, что принято решение никаких материалов о его докладе не публиковать. Писал я ему, что Вы пытались убедить Жукова в необходимости опубликовать Отчет о его докладе, но безуспешно, и что собираетесь писать по этому вопросу Федосееву. Я писал также, что, так как у Вас был не я, то я не знаю, почему Вам позвонил Жуков, и высказал предположение, что если Жуков звонил Вам, зная, что

собираются печатать Отчет о его (Зимина) докладе, то, вероятнее всего, сведения об этом дошли до Жукова от самого же Зимина, так как у нас об этом никто ничего не сообщал никому. Не могли, как кажется, сообщить этого и из «Русской литературы»: как я Вам уже говорил, Базанов после первой поездки в Москву сказал, что в Москве по вопросу о печатании Отчета он ни с кем не говорил. После второй поездки в Москву дирекции (это было уже после заседания редколлегии) Бушмин говорил мне, что в Москве они по поводу печатания Отчета ничего ни с кем не говорили, так как предполагали, что в Москве будут возражать против печатания, а они, де мол, уже решили Отчет печатать на собственный страх и риск.

Я пишу Вам об этом о всем так подробно потому, что Вы в своем письме просите никому и ничего о письме Вашем к Федосееву не говорить, так как не хотите, чтобы об этом знал А. А. Зимин. Теперь-то уж я, конечно, об этом ничего и никому не скажу, да сейчас это было бы очень трудно сделать, но в какой-то степени это уже сделано, и мне хотелось, чтобы Вы знали все это подробно.

Конечно, очень жаль, что Отчет напечатан не будет — если бы он был опубликован, то все сразу же приобрело бы спокойный характер и всем бы облегчило положение. Приходится только удивляться, как этого не могут понять верховные деятели.

Перечитал сейчас еще раз Ваше письмо к Федосееву — очень хорошее во всех без исключения отношениях и в том числе по отношению и к Зимину.

Руфина Петровна Вам кланяется. Передайте от нас большой привет Зинаиде Александровне.

Желаем Вам всего доброго.

Искренне Ваш Л. Дмитриев.

<sup>1</sup> Нина Львовна Дмитриева, дочь Л. А. Дмитриева, ныне сотрудница сектора Пушкиноведения ИРЛИ, кандидат филологических наук.

## 25

### Письмо А. А. Зимина

24 июля 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень виновен перед Вами. Виновен уже тем, что вольно или невольно доставил Вам волнения как раз тогда, когда Вы больше всего нуждаетесь в покое, заботе и внимании. Зная Вашу сердечность и старинную дружбу, прошу Вас только одно — поймите меня и, если сможете, простите. Мне тоже очень трудно, но иначе я не могу. Я выполняю свой долг перед нашей наукой. Ваша настойчивая борьба за издание хроники о докладе 27 февраля и стремление помочь публикации моей книги вызывают у меня только чувство глубокой благодарности и огромного уважения. Мне Я. С. Лурье сообщил, что Вы обратились с письмом к П. Н. Федосееву с просьбой издать мою книгу или сборник с ее (конечно, полным) текстом. По-моему, это было бы единственно верным решением вопроса. Вы, конечно, знаете о проектах предварительного закрытого обсуждения рукописи или ротопринтного издания. Думаю, что Вы согласитесь со мною, что подобное обсуждение беспримерно и не может удовлетворить ни автора, ни научную общественность. Только беспристрастный суд широкого круга специалистов сможет в конце концов решить эту вековую загадку.

Еще раз от всей души благодарю Вас за все добро, что Вы сделали и для меня, и для нашей науки.

Желаю Вам здоровья и еще раз здоровья.

Всегда Ваш А. Зимин.

## 26

### Письмо А. А. Зимина

21 августа 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Только что вернулся из своей поездки по Черному морю и был приятно обрадован Вашим дружеским письмом. Отдохнул плохо. Живот все время побаливает. Пью Эссендуки. Но тем не менее запал мой не погас.

Меня очень тронуло Ваше обращение ко мне, как к «ересиарху». Я всегда был поклонником еретиков, начиная от Федора Курицына, кончая Иваном Пересветовым, а вот, оказывается, и сам попал (страшно подумать) в ересиархи. Дорогой Дмитрий Сергеевич! Ваше положение как последнего подвижника православия много сложнее. Ведь «Слово о полку Игореве» не объект веры, а предмет науки. А так как я глубоко убежден, что Вы замечательный ученый, то мне остается надеяться на Вашу добрую волю и здравый разум: ведь вопрос о «Слове о полку Игореве», скажу Вам откровенно, но по секрету, по-моему решен, и решен окончательно.

Вы говорите, что считаете мою работу «слабой». Это преждевременно. Ведь и рассказы «свидетелей», и резюме относятся к докладу 27 февраля, а не к работе в целом. Уверен, что, прочитав работу, Вы найдете иные определения для нее. Вы пишете, что, если б у меня были бы доказательства, то я написал бы коротко, а так как у меня «доказательств нет», то понадобилась книга. Я понимаю, что это дружеская шутка. В противном случае мне бы пришлось сослаться на исследование Д. С. Лихачева и ряда других ученых, которые почему-то считали необходимым для доказательства своих взглядов писать довольно объемистые книги. Впрочем, у сторонников древнего происхождения «Слова» аргументы настолько веские, что никакой существенной разницы нет, изложены ли они в статье газетного типа (см. «Неделю») или в пухлом сборнике. Сила их убедительности одна и та же. Насчет неприятностей, которые я причиняю себе работой, могу сказать только одно. Спокойной жизни мне не нужно. Уверен, что настоящие ученые, как Вы, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий и другие, «неприятностей» причинять не будут. Ну, а что касается людей, стоящих около науки и желающих укунить ближнего, то с ними надо поступать, как они этого заслуживают. И Вы, кстати, никогда не были сторонником компромиссов с подобными «учеными».

Надеюсь, в скором времени смогу Вас познакомить с книгой.

Желаю Вам здоровья и душевного покоя.

Мой поклон Зинаиде Александровне.

Валентина Григорьевна передает Вам самые добрые пожелания.

Всегда Ваш А. Зимин.

## 27

## Письмо А. В. Соловьева

26 августа 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич,

Получил Ваше письмо и сердечно благодарю Вас за обещание прислать XVIII-й том Трудов.

Вы мне так и не написали, получили ли Вы XV-й томик франц(узского) издания соч(инений) Л. Толстого.

Мне недавно прислали из Парижа две статьи по поводу доклада Зимина (из газеты, кот(орую) я не читаю).<sup>1</sup> Предполагаю, что инициалы Г. С. обозначают Глеба Петр(овича) Струве, профессора в Калифорнии, специалиста по советской литературе. Видно, что вопроса о «Слове» он не знает и утверждает, напр(имер), что сборник 1962 г. о «Слове» появился «впервые после многих лет молчания о Мазоне». Однако любопытно впечатление, произведенное А. А. Зиминим на Западе, — его приняли всерьез!

Очень жалею, что не удастся с Вами повидаться в Софии. Желаю Вам там научных успехов и интересных впечатлений.

Искренне Ваш А. Соловьев.

<sup>1</sup> Статьи «„Слово о полку Игореве“ — не памятник XII века? Советская научная сенсация», без подписи, и «Еще о „Слове о полку Игореве“», за подписью Г. С., в газете «Русская мысль» (Париж. 1 июня 1963. № 2002; 2 июля 1963. № 2015) — см. Приложение.

## 28

Письмо Д. С. Лихачева Б. А. Рыбакову<sup>1</sup>

29 августа 1963.

Дорогой Борис Александрович!

До отъезда на съезд остались считанные дни (а ленинградцам, которым надо выезжать заранее в Москву, — совсем мало). Как же быть с А. А. Зиминим? Если ОИИ<sup>2</sup> собирается организовать обсуждение его работы до съезда (так ведь предполагалось), то это означало бы повторить опыт февральского заседания, когда А. А. Зимин, действуя по-суворовски, сохраняя тайну своего доклада до последнего дня. Ведь работу А. А. Зимина надо не только прочесть. Надо проверить его текстологическую работу по всем спискам «Задонщины». Востоковеды должны проверить его востоковедные домыслы. Фольклористы должны высказать свое мнение о его утверждении, что «Задонщина» — запись исторической песни. Широко должны быть привлечены лингвисты для проверки его различных лингвистических утверждений. И пр(очее). По его докладу я знаю, что работа А. А. Зимина требует именно проверки. Надо просмотреть и литературное наследие Йоила. Ведь вопрос о «Слове» национального значения. Я надеюсь, что с ним не будут торопиться. Ведь это снова дало бы возможность сообщать разные искаженные сведения за границу и кричать «Победихом! Посрамахом!» Меня беспокоит — как организуется обсуждение и достаточно ли осознается необходимость привлечь к обсуждению не только специалистов по древней русской литературе, но и специалистов по литературе XVIII в., лингвистов, востоковедов, архивистов (для проверки данных, почерпнутых А. А. Зиминим из архива Калайдовича и др.). Если обсуждение работы А. А. Зимина мыслится как очередное мероприятие, которое можно быс-

тренько провернуть перед съездом, то я в таком обсуждении участвовать не буду. Хватит с меня февральского заседания. Вопрос о том, кому будет послана работа А. А. Зимина для отзыва, — тоже немаловажный вопрос.

Мы, специалисты по древней русской литературе, едущие на съезд, поставлены в очень тяжелое положение тем, что нам запретили дать отчет о февральском заседании в ж(урнале) «Русская литература». Ведь о Зимине и его докладе бог знает что рассказывается за границей, и уже печатается. В Париже напечатан сочувственный А. А. Зимину отчет о его докладе. А наш отчет снят из ж(урнала) «Русская литература». Убожество доклада Зимина было бы ясно, если бы его даже просто напечатали, без всяких ему возражений. Сейчас же за границей думают, что Зимин нашел документы!

Надо перед съездом сделать совещание (а не обсуждение работы Зимина — это уже поздно) и решить — что же говорить: не о подлинности «Слова», конечно, а о том, почему нет до сих пор никаких сведений о докладе А. А. Зимина. Отсутствие этих сведений (особенно в статье М. Н. Тихомирова в «Неделе») огромная ошибка.

Замалчивая доклад А. А. Зимина, мы раздули его значение до крайних пределов, а самого его превратили в мученика науки.

По моему убеждению, надо работу А. А. Зимина напечатать полностью в составе сборника «Подлинность „Слова“» с нашими возражающими статьями.

Как Вы поживаете? Были ли в экспедиции и где? Я чувствую себя гораздо лучше, хотя летом снова немного болел.

С искренним приветом и уважением неизменным

Ваш Д. Лихачев.

<sup>1</sup> Борис Александрович Рыбаков — археолог, историк; академик (с 1958 г.), директор Института археологии АН СССР (с 1956 г.), профессор МГУ (с 1943 г.).

<sup>2</sup> Отделение исторических наук АН СССР.

## 29

### Письмо А. В. Позднеева<sup>1</sup>

4 сентября 1963.

Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич!

На днях мне проф(ессор) А. Соловьев (из Женевы) прислал 2 статьи из русской парижской, очевидно, белоэмигрантской газеты «Рус(ская) мысль» от 1.VI и 2.VII (эта — с подписью Г. С. — не Глеб ли Струве? — догадывается А. Соловьев) по поводу доклада А. А. Зимина о «Слове о полку Игореве» и газетных заметок, как отметить 775-летие «Слова».

Я снял копии с присланной копии 2-х статей и посылаю их Вам. Если первая статья более или менее объективна, то вторая подчеркнута публицистична в духе желто-научной прессы. Вам, может быть, были известны подобные выступления, а я с ними встречаюсь впервые.

Это ставит вопрос о «Слове о полку Игореве» на V славист(ическом) конгрессе: будет ли оно рассматриваться? Хотя в наших докладах о нем не говорится, но не исключено, что поставят доклад о нем представители западных стран. Не будет сделано специальное заявление о том, что этот вопрос решено не ставить?

Едете ли Вы на конгресс?

Уваж(ающий) Вас А. Позднеев.

<sup>1</sup> Александр Владимирович Позднеев — доктор филологических наук (с 1956 г.), профессор кафедры литературы Московского заочного педагогического института.

## 30

## Письмо Б. Н. Двинянинова

10 ноября 1963.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

За щедрую информацию и подробное изложение доклада А. А. Зимина и прений шлю Вам огромное спасибо: просветили меня в Тамбовском всполье! Теперь в общих чертах мне ясна суть дела. Гром-то, оказывается, не из тучи, а из той же мазоновской кучи, правда, тщательно переворошенной и подновленной опытной рукой искусителя.

Нет, не удастся ни А. А. Зимину, и никому другому поджечь белокаменный храм «Слова» из отсыревшей берендейки А. Мазона, в которой и пороху-то на один заряд. Все доводы А. А. Зимина мне представляются чирканьем спичек на ветру — вспыхивают и гаснут, озаряя белый камень веков. Стоит! И выстоит!

Как-то в Андрониевском монастыре я не мог отвести глаз от Николы Зарайского, волшебной кисти Дионисия (из Дмитрова). Там в одном из клейм есть сцена изгнания беса. И бѣсь совершенно реальный. Вот он: (рисунок, изображающий беса. — Л. С.).

Так вот, мне кажется, что выступление А. А. Зимина в 1963 году можно уподобить бѣсовскому. И сам он, «бѣсь полуденный», себе не рад (бѣсь-то вошел!), мучается. Надо изгнать этого бѣса, и поскорее.

Если допустить, что «Слово о полку Игореве» не просто мистификация, а мистификация оригинальная, т. е. с вывертом, то позволю себе заметить: можно водить в науке за нос год, ну два, наконец, можно морочить голову всю жизнь, но нельзя наводить тень на плетень в течение 150 лет!

При всем при этом — грустно. Доклад А. А. Зимина заставляет задуматься филологов. Надо позарез издать Словарь древнерусской литературы, Словарь «Слова», провести сравнительный анализ «Задонщины» и т. д.

Итак, за изгнание бѣсов!

Всего желаю Вам радостного, а главное — быть здоровым!

Ваш Б. Двинянинов.

Р. S. Рукопись, разумеется, никому посылать не буду. Копию снял.

<sup>1</sup> Борис Николаевич Двинянинов — заведующий кафедрой литературы Тамбовского педагогического института (с 1950 г.), кандидат филологических наук (с 1947 г.), доцент.

## 31

## Письмо Д. С. Лихачева В. В. Виноградову

1963<sup>1</sup>

Академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР  
академику В. В. Виноградову.

Глубокоуважаемый Виктор Владимирович!

Ввиду того, что слухи о работе А. А. Зимина распространились среди славистов всего мира с весьма большими неточностями (утверждается, например, что

А. А. Зимин нашел какие-то новые материалы о создании «Слова о полку Игореве» в XVIII веке Иоилем и привел этому неопровержимые доказательства, которые якобы не смогли опровергнуть присутствовавшие на его докладе в Институте русской литературы АН СССР специалисты (к этой строке примечание: «В действительности по докладу А. А. Зимина с решительными возражениями ему выступили И. П. Еремин, Л. А. Дмитриев и О. В. Творогов, указавшие, в частности, на крайнюю слабость его филологических аргументов, составляющих основу его концепции», — Л. С.)), считаю совершенно необходимым издать работу А. А. Зимина.

Это даст возможность специалистам полемизировать с А. А. Зиминим и продемонстрировать слабость его аргументации.

Если работа А. А. Зимина не будет издана, это создаст впечатление, что нами утаиваются какие-то сильные доказательства позднего происхождения «Слова», против которых специалисты якобы не имеют твердых возражений.

Если это необходимо, я мог бы предпослать книге А. А. Зимина введение, в котором дал бы все разъяснения.

С уважением

Д. Лихачев.

<sup>1</sup> Датируется на том основании, что В. В. Виноградов был академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР до 1963 г. включительно.

32

Письмо Д. С. Лихачева Е. С. Лихтенштейну <sup>1</sup>

5 декабря 1963.

Глубокоуважаемый Ефим Семенович!

На заседании РИСО снята из проекта плана редподготовки на 1964 г. коллективная монография «Повести о Куликовской битве в их отношении к „Слову о полку Игореве“ (в защиту подлинности последнего)».

Так как в «Задонщине» и в других повестях о Куликовской битве имеются бесспорные заимствования из «Слова о полку Игореве», то внимательное текстологическое исследование этих памятников с несомненностью подтвердит подлинность величайшего памятника русской культуры.

Монография эта была предпринята нами и выполняется в срочном порядке в противовес книге А. А. Зимина, которая сейчас печатается ротопринтным способом и несомненно (ввиду крайне острого интереса к ней за границей и у нас) проникнет повсюду.

Очень прошу Вас помочь восстановить эту монографию в плане редподготовки на 1964 г.

Из всех работ в защиту русской культуры монография эта сейчас самая нужная.

Я удивляюсь — почему присутствовавший на заседании РИСО ученый секретарь нашего института <sup>2</sup> не сумел объяснить значение нашей монографии.

Может быть, мне написать подробное письмо о нашей монографии в Идеологическую комиссию ЦК?

Очень жду Вашего ответа.

С искренним приветом

Д. С. Лихачев.

<sup>1</sup> Ефим Семенович Лихтенштейн — председатель РИСО АН СССР.

<sup>2</sup> Ученым секретарем ИРЛИ был тогда Всеволод Пантелеймонович Вильчинский.

## 33

Письмо Д. С. Лихачева П. Н. Федосееву

5 декабря 1963.

Вице-президенту АН СССР академику П. Н. Федосееву

Глубокоуважаемый Петр Николаевич!

Вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» остро интересует сейчас филологов и историков всего мира. Сектор древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР предпринял в этом году в срочном порядке специальное коллективное исследование Повестей о Куликовской битве (в первую очередь «Задонщины») в их отношении к «Слову о полку Игореве». Так как в «Задонщине» и других повестях о Куликовской битве конца XIV—XV вв. есть несомненные заимствования из «Слова», то эта работа может с бесспорностью подтвердить подлинность последнего. Работа должна быть закончена в первом квартале 1964 года. Однако на последнем заседании РИСО (3 декабря) работа эта снята из плана редподготовки Издательства на 1964 г. Но ведь это работа в защиту величайшего памятника русской культуры! Ее надо было бы издать немедленно по ее завершении, а не изымать из плана редподготовки на 1964 г.! Такое отношение к нашей работе, в тот момент, когда печатается на ротопринте книга А. А. Зимина, очень обескураживает коллектив защитников «Слова».

Очень прошу Вас помочь восстановить нашу коллективную монографию «Повести о Куликовской битве в их отношении к „Слову о полку Игореве“ (к вопросу о подлинности последнего)» объемом в 40 п(ечатных) л(истов) в плане редподготовки на 1964 г.

Искренне скажу Вам, что я не знаю сейчас гуманитарной работы, которую необходимо было бы издать в защиту русской культуры в более срочном порядке, чем та, о которой я Вам пишу. Ее ждут все педагоги, не только филологи и историки; ее ждут писатели и пр. Слух о книге А. А. Зимина проник всюду.

С уважением

Д. Лихачев, член-корреспондент АН СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ

## 1

Слово о полку Игореве — не памятник XII века?  
Советская научная сенсация<sup>1</sup>

Как это ни странно, до Запада только недавно дошло известие о сенсации, преподнесенной советской научной общественности историком и литературоведом А. А. Зиминим.

Еще в марте<sup>2</sup> месяце Зимин в заседании Отдела древнерусской литературы Советской Академии Наук, в Пушкинском доме, прочел доклад о «Слове о полку Игореве». Несмотря на отсутствие какой-либо особой рекламы, доклад собрал огромное количество слушателей<sup>3</sup> (в их числе было и несколько иностранных



студентов и ученых, находящихся сейчас в Ленинграде) и его пришлось перенести из сравнительно небольшого помещения в большой зал Пушкинского Дома. Заседание продолжалось пять часов <sup>4</sup> и, согласно полученным из России сообщениям, носило бурный характер. Несмотря на это, в советской печати о нем до сих пор как будто не было никаких сообщений.

Из сопоставления полученных из разных источников сведений вырисовывается следующая картина:

Зимин утверждает, что ему удалось доказать, что «Слово о полку Игореве» — не подлинное произведение XII века, а, как в свое время утверждал проф. Андре Мазон, написано в XVIII веке. Основным автором этого произведения Зимин считает архимандрита Иоиля (в миру Ивана Быковского) — того самого, у которого Мусин-Пушкин якобы купил рукописный свод, в составе которого было обнаружено «Слово». По словам Зимина, «Слово» было написано архим. Иоилем, которого он называет «замечательным русским писателем», в 70-х годах XVIII века, то есть лет за двадцать до того, как оно было якобы приобретено Мусиным-Пушкиным — и написано без всякого намерения сфабриковать фальшивку, как «книжная былина». Мусин-Пушкин позднее вставил в эту «книжную былинку» три исторических эпизода и выдал все за произведение XII века. На чем основаны эти утверждения Зимина и какими другими доводами он оперировал, остается пока неясным. На заседании в Пушкинском Доме ряд ученых выступил с возражениями Зимину. В их числе называют И. П. Еремина, Я. С. Лурье и Л. А. Дмитриева.

Сторонники подлинности «Слова» считают аргументы Зимина неубедительными и характеризуют их как повторение того, что уже давно сказал Мазон и что было отвергнуто единогласно советскими специалистами по древнерусской литературе и большинством их коллег на Западе. Но это явно не так.

В выдвинутой Зиминим теории есть несколько совершенно новых элементов. Прежде всего это имя архим. Иоиля, роль которого во всей истории со «Словом» до сих пор никто серьезно не занимался и о котором нельзя найти сведений почти ни в одном из серьезных справочных изданий. Позволительно предположить, что Зимину удалось найти какие-то писания арх. Иоиля, до сих пор, может быть, остававшиеся неизвестными. Во-вторых, Зимин впервые устанавливает датировку написания «Слова» — 70-е годы. Почему 70-е, а не 80-е или не 90-е? Для этого у него должны быть какие-то основания — простая гипотеза или догадка не имела бы никакой цены. В-третьих, Зимин определяет написанное Иоилем «Слово» как «книжную былинку» — для употребления этого термина у него должны быть опять-таки какие-то основания, он должен был его где-то разыскать. И наконец, в-четвертых и в-последних, Зимин различает между «книжной былинкой» Иоиля и историческими эпизодами, вставленными или добавленными Мусиным-Пушкиным. Такое утверждение также не имеет никакой цены, если оно является плодом субъективного домысла. Для того чтобы разграничить в известном нам произведении его первоначальное ядро и позднейшие наслоения или добавления, необходимо располагать какой-то «документацией».

Все это обстоятельства, о которых мы пока еще недостаточно знаем. Но можно наперед сказать, что относительно молодой советский ученый — и притом не специалист по самому раннему периоду русской литературы — едва ли бы решился бросить вызов всему сонму советских литературоведов и посягнуть на такое произведение, как «Слово» (особенно вскоре после того, как виднейшие советские ученые в сборнике, озаглавленном «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века», <sup>5</sup> еще раз безоговорочно утвердили подлинность «Слова» и с негодованием отвергли все «покушения» на него), если бы у него, Зимина, не было ничего, кроме остроумной гипотезы и произвольного субъективного домысла.

Полученные из России из хороших источников сведения говорят, что, хотя Зимин первоначально собирался выступить еще с одним предварительным докладом в заседании Отделения Литературы и Языка Академии Наук, он сейчас решил от этого выступления отказаться. Им уже вчерне подготовлена книга размером в 15 печатных листов, в которой он изложит свою теорию. Книга эта покажет, насколько убедительны его доводы. Во всяком случае знаменательно уже то, что он имел возможность выступить со своим сенсационным докладом и что издание книги — дело решенное. По сведениям из Ленинграда, на докладе Зимина не присутствовали виднейшие советские ученые, упорно отстаивающие подлинность «Слова»: не было (по болезни) Д. С. Лихачева, не было В. П. Адриановой-Перетц, не было проживающего в Москве Н. К. Гудзия.

Александр Александрович Зимин до сих пор был известен главным образом работами по истории и литературе XVI века. Имя его в советской науке появилось как будто во второй половине 50-х годов. За последние годы им написаны такие большие труды, как «Реформы Ивана Грозного» и «И. С. Пересветов и его современники». Вместе с Я. С. Лурье он редактировал «Послания Иосифа Волоцкого». Он был также соредактором сборника статей под названием «Международные связи России до XVII века». В «Трудах Отдела Древнерусской Литературы» им за последние годы напечатаны работы о Пересветове, об Ермолае-Еразме, о «Беседе Валаамских чудотворцев». Он занимался также редактированием древних актов и составил руководство по методике такого редактирования, что свидетельствует о его компетентности в области текстологии.

Известие о выступлении Зимина вызвало большой интерес среди славистов в Западной Европе и Америке. Даже если Зимину и не удалось и не удастся доказать на все сто процентов, что «Слово» написано в XVIII веке Иваном-Иоилем Быковским, им будет дан новый толчок спорам об этом вызвавшем уже столько споров и прений произведении.

<sup>1</sup> Опубликовано: Русская мысль. Париж. 1 июня 1963. № 2002.

<sup>2</sup> Неточность: доклад состоялся 27 февраля.

<sup>3</sup> В секторской книге расписалось 110 человек, в том числе несколько иностранных гостей. Многие из присутствовавших были, очевидно, приглашены докладчиком.

<sup>4</sup> Заседание действительно продолжалось дольше обычного и проходило с перерывом. Однако вряд ли оно длилось 5 часов. Более точным представляется сообщение, что оно проходило в течение 3-х часов.

<sup>5</sup> Сб. «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века» издан в 1962 г.

## 2

### Еще о «Слове о полку Игореве»<sup>1</sup>

Советская печать до сих пор молчит о прочитанном А. А. Зиминным в Ленинграде докладе, в котором он выдвинул теорию о том, что «Слово о полку Игореве» — произведение 18-го века и что автором его является архим. Иоиль (Быковский). Но за последние месяцы в «Литературной газете» появились два письма, напоминающих о том, что в этом году исполняется 775 лет со времени написания «Слова» (советские историки литературы приурочивают написание его к 1187 году, и в 1938 г. в Советском Союзе был торжественно справлен 750-летний юбилей «Слова»).

Одно из этих писем появилось совсем недавно, а именно 21 мая. Оно подписано несколькими известными писателями, композиторами и художниками. Среди подписавшихся находим имена Анны Ахматовой, Корнея Чуковского, Николая Асеева, Павла Антокольского, композитора Ю. Шапорина, художников В. Фавор-

ского и П. Корина (получившего в этом году Ленинскую премию) и несколько других, менее известных лиц (почему-то отсутствуют имена таких знаменитостей, как Шолохов, Федин, Леонов, Шостакович, Кончаловский). Авторы письма «присоединяют свой голос» к ранее напечатанному в «Литературной газете» письму «видных историков русской литературы» и призывают советские культурные и общественные организации «откликнуться на предстоящие дни, посвященные 775-летию „Слова о полку Игореве“ и «организовать чтения и выставки, вечера и читательские конференции, посвященные „Слову“».

Не может не показаться странным, что это «присоединение» деятелей литературы и искусства к «призыву» историков литературы произошло три с лишним месяца спустя после того, как этот призыв был опубликован. Он появился в «Литературной газете» еще 5 февраля. Еще более странное впечатление производят подписи «видных историков литературы» под этим первым письмом. Среди них нет ни одного видного специалиста по древней русской литературе и по «Слову», в частности — ни Н. К. Гудзия, ни Д. С. Лихачева, ни В. П. Адриановой-Перетц. Под письмом, напечатанным не особенно заметно (и многими, говорят, даже в Москве не замеченным) на второй странице газеты — всего шесть подписей.

Из подписавшихся только трое могут быть охарактеризованы как более или менее широко известные историки литературы: А. Н. Соколов (автор большого труда о русской поэме 18-го и 19-го вв.), А. И. Ревякин и Ф. М. Голов(ен)ченко (тоже специалисты по 19-му веку). Голов(ен)ченко с тех пор скончался. Остальные имена принадлежат менее известным ученым. Из них А. В. Позднеев занимался русской литературой древнего периода, труды проф. А. М. Новиковой пишущему эти строки неизвестны, и только С. В. Шервинский имеет прямое отношение к «Слову»: он исполняет обязанности секретаря Постоянной комиссии по «Слову о полку Игореве» при Союзе Писателей СССР и является переводчиком «Слова» на современный русский язык и автором нескольких статей о нем. Авторы письма напоминают о том, как был отмечен 750-летний юбилей «Слова», привлечший внимание и за границей, хотя «Слово», говорят они, там знали тогда только немногие специалисты литературы (именно тогда выступил со своими лекциями о «Слове», как подделке 18-го века, проф. Андре Мазон, но об этом авторы письма не упоминают).

Свое письмо авторы его заканчивают предложением литературной общественности «отметить 775-летний юбилей „Слова о полку Игореве“ и в связи с этим обратить внимание на многие проблемы, касающиеся „Слова о полку Игореве“ и еще не решенные», ибо «историческое, эстетическое, гуманистическое значение „Слова“ поистине неисчерпаемо и составляет драгоценную частицу духовных сокровищ нашего народа».

Письмо это появилось приблизительно за месяц до ленинградского доклада А. А. Зимина, когда в научных кругах должно было уже быть известно о его предстоящем выступлении.<sup>2</sup> Может быть, в нем следует видеть поэтому начало кампании против Зимина, хотя имя последнего ни разу не было даже упомянуто до сих пор. Обращает также на себя внимание большая статья-рецензия упомянутого выше С. В. Шервинского в мартовском номере журнала «Вопросы Литературы» под заглавием «Памятник древнерусской литературы». Это — отзыв о вышедшем в прошлом году коллективном труде, озаглавленном «Слово о полку Игореве — памятник XII века», в котором Д. С. Лихачев, Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц и другие впервые после многих лет молчания о Мазоне и его теории ополчаются на французского ученого и защищают подлинность «Слова». В объяснение этого Д. С. Лихачев в предисловии к сборнику пишет, что, хотя «Слово» и не нуждается в защите перед лицом специалистов, «в широких кругах

читателей, особенно за границей, могут создаться неправильные представления о том, будто бы противники „Слова“ обладают какими-то сильными аргументами». Шервинский говорит о «затянувшемся споре» с противниками «Слова» и заканчивает свою рецензию так: «Рецензируемая книга должна положить конец одному из самых неоправданных заблуждений в истории литературы».

Невольно встает вопрос: известно ли было авторам сборника о том, что известный советский ученый собирается вновь поднять вопрос о подлинности «Слова», которая ни у авторов сборника, ни у Шервинского не вызывает ни малейших сомнений? И каким образом получилось, что с одной стороны Зимину дана была возможность выступить со своим докладом, а с другой стороны доклад его был полностью замолчан? Является также вопрос, получит ли Зимин возможность опубликовать свою книгу.

Говорят, что по Москве сейчас ходит шутка: отсрочка идеологического пленума объясняется, мол, тем, что Никита Сергеевич еще не решил, какую научную позицию ему занять в отношении теории Зимина. В более серьезной плоскости из Москвы сообщают, что часть материала, на основании которого Зимин пришел к заключению об авторстве Иоиля Быковского, найдена им в Чернигове. В некоторых западных научных кругах высказывается пожелание о том, чтобы Зимину дана была возможность обосновать свою теорию на предстоящем в сентябре международном съезде славистов в Софии, в присутствии и с участием иностранных ученых, в обстановке научной беспристрастности.

<sup>1</sup> Опубликовано: Русская мысль. Париж. 2 июля 1963. № 2015.

<sup>2</sup> Это предположение неверно. Сотрудникам сектора древнерусской литературы основной тезис докладчика стал известен лишь накануне или в день доклада. Ничего не знали о работе Зимина и в Институте истории, где он работал (см. письмо № 15).

Г. С.  
(Г. П. Грыбе)

# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. Д. Левин

## К ИСТОРИИ ВОСПРИЯТИЯ В РОССИИ ОЛИВЕРА ГОЛДСМИТА \*

Сравнительно недавно в Австрии был издан труд известного московского филолога В. Н. Топорова «Пушкин и Голдсмит». Труд этот опубликован на языке оригинала (т. е. русском) специальным выпуском венского славистического альманаха. Поскольку такое издание малоизвестно заинтересованным отечественным читателям, это побуждает нас познакомить их с его содержанием.

Книга имеет довольно сложное построение. Главная тема, которой она посвящена, «Пушкин и Голдсмит», занимает в ней всего лишь 95 страниц, т. е. меньше половины, причем более трети этих страниц (с. 64—99) отведено под примечания. Далее следуют девять разнородных приложений. Основная, первая часть книги после «Вводных замечаний» подразделяется на девять небольших глав или разделов. В «Вводных замечаниях» автор признает возможность возражений против поставленной им темы, поскольку «Голдсмит и Пушкин, принадлежа к разным эпохам, разным культурным традициям, разным литературным направлениям, не обнаруживают в своих сочинениях очевидных точек соприкосновения» (с. 5). К тому же в известных текстах Пушкина имя Голдсмита не встречается и в его библиотеке произведения английского писателя отсутствовали. Однако, полагает В. Н. Топоров, если учитывать известность Голдсмита в России на рубеже XVIII и XIX веков и особенно восприятие его творчества литераторами, окружавшими юного русского поэта, можно считать, что «их подступы к освоению творчества английского писателя, к созданию „русской“ версии Голдсмита были замечены Пушкиным и, по всей вероятности, учтены им в его собственном поэтическом опыте» (с. 6). Эта посылка и служит обоснованием последующего исследования.

Глава 1 названа «Ранние русские переводы Голдсмита. „Английский“ комплекс в русской культуре начала XIX века» (с. 7—13).

\* Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian'ы и (к постановке вопроса) // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 29. Wien, 1992. 222 с. (ниже ссылки на страницы этого издания даются в тексте).

Здесь В. Н. Топоров, признавая, что распространение известности Голдсмита в России по сравнению с некоторыми другими английскими писателями было значительно меньшим, в то же время отмечает, что первый русский перевод из Голдсмита — письма XVIII из очерков «Гражданин мира, или Письма китайского философа» (1)<sup>1</sup> — появился неожиданно скоро после опубликования оригинала и объясняет причину этого. Сам перевод перепечатан как *Приложение I* (с. 100—102).

Кратко отметив переводы из естественного труда Голдсмита «История земли и одушевленной природы» (2, 5, 6), характеристике и цитированию которых посвящено *Приложение II* (с. 103—111), автор переходит к появлению самого знаменитого произведения английского писателя — романа «Векфильдский священник» (3) и рассуждает его как «значительное событие русской культурной жизни конца XVIII века» (с. 10); обстоятельный разбор этого перевода, выполненного начинающим тогда писателем Н. И. Страховым, содержится в *Приложении III* (с. 112—123), где особое внимание уделено примечаниям переводчика, стремившегося познакомить русского читателя с реалиями английской жизни, понимание которых необходимо для правильного восприятия романа.

Обратившись к первым русским переводам поэзии Голдсмита, В. Н. Топоров отмечает особое внимание, уделявшееся «Балладе» из «Векфильдского священника», которая переводилась и публиковалась отдельно от романа. Эти переводы рассматриваются в *Приложении IV* («О судьбе „Edwin and Angelina“ («The Hermit») Голдсмита в России» — с. 124—137), где, в частности, приводятся полные тексты прозаической версии из «Вакефильдского священника» в переводе Страхова, стихотворного перевода П. Политковского (15), а также стихотворения некоего Волкова «Едвин» (1818) — подражания переводу Жуковского «Пустынный» (16); сам перевод Жуковского не

<sup>1</sup> Здесь и ниже курсивные цифры в скобках являются ссылками на приложенную в конце библиографию.

приведен, а только охарактеризован.<sup>2</sup> В главе упоминается и обращение Жуковского в 1805 году к переводу поэмы Голдсмита «The Deserted Village», который не был завершен (11); подробно этот перевод рассматривается в главе 4.

Суммируя сведения о переводах, которыми, как он считает, «и ограничивается знакомство русского читателя с Голдсмитом к началу 10-х годов XIX века, когда появляются первые поэтические опыты Пушкина-лицейца» (с. 11), В. Н. Топоров отмечает, что этими переводами не следует ограничивать возможность знакомства Пушкина с творчеством английского писателя, ибо ему могли быть знакомы и французские переводы, весьма многочисленные. Глава завершается краткой характеристикой интереса к английской культуре, определившегося в русском образованном обществе к началу XIX века и складывавшегося еще в последней четверти предшествовавшего столетия. К сожалению, когда В. Н. Топоров завершал свой труд, он не мог еще ознакомиться с посвященной этой теме выставкой, организованной английским профессором Э. Кроссом и демонстрировавшейся в библиотеках Москвы и Петербурга.<sup>3</sup>

После главы 1, излагающей как бы «предысторию» вопроса, автор переходит к характеристике русских литераторов, чье освоение английской литературы могло иметь значение для формирования взглядов юного Пушкина. Краткая двухстраничная глава 2 названа «Роль М. Н. Муравьева в ознакомлении русского читателя с английской литературой» (с. 14—15). В центре внимания В. Н. Топорова стихотворное послание Муравьева «Успех британской музыки. К В. П. Петрову» (1778). Стихотворение это достаточно полно отражает взгляды поэта на английскую литературу и его интерес к ней, который он стремился возбудить в кругах связанных с ним людей. Однако впервые оно было опубликовано по автографу почти 200 лет спустя (в 1967 году), что В. Н. Топоров специально отмечает. И возникает сомнение, играло ли оно роль в соответствующем «ознакомлении русского читателя».

Голдсмит в этой главе вообще не упоминается. Между тем ознакомление с перепиской М. Н. Муравьева показывает, что

роман «Векфильдский священник» его глубоко тронул и нравственные принципы, исповедуемые романистом, были ему близки. Так, в письме от 6 февраля 1791 года к его родственникам Лукиным, в имени которых Никольском стореда рига, он писал: «Желаю, чтоб маленькое хозяйственное приключение награждено было всеми успехами трудолюбия и чтоб рига лучше прежней истребила сожаление старой. Его философия Вакефилдского доброго священника, который получил право гражданства в Никольском».<sup>4</sup>

В главе 3 «Карамзин и английская литература» (с. 16—20) раскрывается значение русского писателя как пропагандиста этой литературы, проявившееся в его программном стихотворении «Поэзия» (1787—1789) и в «Письмах русского путешественника». Допуская возможность знакомства Карамзина с неопубликованным «Успехом британской музыки» Муравьева, В. Н. Топоров внимательно прослеживает параллели в двух указанных стихотворениях. Он утверждает: «Начиная с 80-х годов (...) именно Карамзин быстро становится ведущей фигурой русско-английских литературных связей» (с. 18), и характеризует круг известных писателю английских авторов, что, в частности, отразилось в «Письмах русского путешественника». По мнению В. Н. Топорова, «высокая оценка Карамзиным английской литературы не только привлекла внимание к ней русских читателей, но и в известной степени предопределила их вкусы и на последующие годы» (с. 19).

В конце главы автор цитирует два места из «Писем русского путешественника», имеющие отношение к Голдсмиту: покупку в Лейпциге «The vicar of Wakefield» и перевод надгробной надписи в Вестминстерском аббатстве.<sup>5</sup> Свой перевод Карамзин предварял словами: «Автор Вакефилдского Священника, Запустевшей деревни и Путешественника, Голдсмит расхвален до крайности». Опираясь на это суждение, В. Н. Топоров заключает главу соответственно замыслу своего исследования: «Решительное преобладание интереса к поэзии вообще, определенная традиция восприятия английской поэзии XVIII в. (...), наконец, преромантическая расположенность и складывающиеся соответствующие вкусы обусловили то, что именно две названные Карамзиным поэмы (и особенно «The Deserted Village») прежде всего были замечены русскими читателями среди других произведений Голдсмита. И, по сути дела, с первых лет XIX века начинается подлинное знакомство с Голдсмитом-поэтом» (с. 20).

<sup>2</sup> К сообщенным в книге сведениям можно добавить, что английский текст «Баллады» печатался в конце XVIII века в составленной издателем и переводчиком В. С. Кражевым учебной хрестоматии: Избранные сочинения из лучших аглинских писателей прозою и стихами для упражнения в чтении и переводе. М., 1792. С. 130—135.

<sup>3</sup> См.: «Англофилия у трона». Британцы и русские в век Екатерины II. Каталог выставки. Составитель Энтони Кросс. [Б. м.], 1992. 122 с.

<sup>4</sup> ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 55. Л. 10. См. также письмо от 30 января 1791 г. (Там же. Л. 8 об.). Сообщено Н. Д. Кочетковой.

<sup>5</sup> Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 68, 375—376.

По-видимому, стремление выделить во что бы то ни стало интерес русских читателей к поэзии Голдсмита побудили автора упомянуть только в примечаниях (с. 77, примеч. 36) сведения о том, что сам Карамзин перевел очерк из журнала Голдсмита «Пчела» (The Bee) и опубликовал его под броским заголовком (8). Укажем также, что В. Н. Топоров не обратил внимания на печатавшуюся в «Московском журнале» Карамзина почерпнутую из январского номера «The British Mercury» за 1791 год заметку, которая открывалась утверждением: «Давно уже говорят, что несчастье и бедность почти всегда неразлучны с великими дарованиями, и беспокойные обстоятельства, в которых многие Писатели сочиняли лучшие свои книги, служат доказательством той власти, которую душа человеческая имеет над внешностью». Как примеры писательской бедности далее представлены Самюэл Джонсон и Голдсмит. Сообщение о последнем начинается: «Доктор Голдсмит,<sup>6</sup> который в своем *Гражданине мира* рассказывает разные анекдоты о бедности великих Писателей, был сам примечания достойным примером бедности». И последующий рассказ о его судьбе завершается словами: «...жизнь свою кончил в такой же бедности, в какой начал ее».<sup>7</sup> Думается, публикация такой заметки в известной мере была связана для Карамзина с популяризацией английской литературы.

В главе 4 «Жуковский и Голдсмит («Опустевшая деревня»)» (с. 21—30) В. Н. Топоров тщательно выявляет сведения о работе русского поэта над переводом поэмы «The Deserted Village», так и не завершеного (переведены были первые 100 строк оригинала, составившие 115 строк перевода) и опубликованного лишь столетие спустя (11). Автор выявляет воплощение в этом переводе поэтической системы Жуковского, для чего сопоставляет «Опустевшую деревню» с «Сельским кладбищем» — переводом из Т. Грея. Внимательно прослежены, проиллюстрированы и объяснены отклонения в «Опустевшей деревне» от оригинала: опущение ряда образов английского текста, замена их другими, не имеющими себе подобия у Голдсмита, введение целого ряда новых («своих») образов и мотивов (...) или уточняющих характеристик» (с. 23).

Анализируя сохранившиеся записи-планы Жуковского 1810-х годов, автор устанавливает намерение поэта работать дальше над переводом и в то же время выявляет причины, препятствовавшие этому, как социальные, так и лично-биографические. Особо прослеживается возникновение в сохранившихся стихах «Опустевшей деревни»

образов из другой поэмы Голдсмита «The Traveller», а также проникновение этих образов в оригинальное стихотворение Жуковского «Вечер» (1806). Все это дает В. Н. Топорову основание заключить главу утверждением: «Первые результаты позволяют с уверенностью говорить, что роль Голдсмита в поэтическом творчестве Жуковского несравненно значительнее, чем полагали до сих пор или, если быть точнее, чем казалось при сопоставлении известных науке фактов связи русского поэта с английским» (с. 30).

Небольшая глава 5 «О роли Жуковского в ознакомлении Пушкина с английской литературой» (с. 31—33) основана на предположении автора, что Жуковский познакомил юного Пушкина с поэзией Голдсмита. При этом В. Н. Топоров сам признает, что «настаивать на этом нельзя, поскольку в распоряжении исследователей пока нет каких-либо конкретных фактов» (с. 31). Но, развивая дальше свое исходное допущение, автор утверждает, что Пушкина в поэмах Голдсмита, с которыми его знакомил Жуковский, привлекала не столько присущая последнему идиллическая трактовка деревенской жизни, сколько обнаруженный им в них социальный аспект. В то же время В. Н. Топоров считает, что Голдсмит мог кратковременно восприниматься юным Пушкиным лишь как «переходная фигура» между просветительской литературой с классицистической эстетикой и байроническим романтизмом.

Выдвинув далее предположение, что «в цепи подступов и „проводников“ Пушкина на пути к Голдсмицу» должна была быть «еще одна фигура», В. Н. Топоров полагает, что такой фигурой был Николай Иванович Тургенев, которому посвящена глава 6 «Николай Тургенев и Голдсмит. — Влияние Тургенева на Пушкина (1817—1819)» (с. 34—41). В дневниковых записях юного Н. И. Тургенева 1807 года обнаруживается его пристрастие к Голдсмицу, выразившееся, в частности, в опыте перевода отрывка из «Векфильдского священника». Привлекала Тургенева и поэма «Покинутая деревня», в которой, в отличие от Жуковского, его, будущего декабриста, особенно волновало изображение разоренного крестьянства. По этому поводу В. Н. Топоров пронципально замечает: «В этом плане „The Deserted Village“ для Николая Тургенева — „чужой“ комментарий к тем „своим“ проблемам рабского состояния русских крестьян и деревни, которые волновали его, как и его братьев, с юности и решению которых он посвятил почти всю свою жизнь» (с. 35). Такое восприятие поэмы Голдсмита, противостоявшее интерпретации Жуковского, могло оказать влияние на Пушкина последицейского периода, общавшегося с Тургеневым в указанные годы. Это общение прослежено в главе и устанавливается идейное соответствие между воззрениями Тургенева, запечатлен-

<sup>6</sup> «Славной Английской Поэт» (примеч. Карамзина).

<sup>7</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 2, кн. 1. Апрель. С. 59—62.

ными в его письмах и дневниках соответствующего времени, и одой Пушкина «Вольность» (1817) и стихотворением «Деревня» (1819). Кстати, по свидетельству Ф. Ф. Вигеля в процитированных его «Записках», ода была создана поэтом как раз тогда, когда он посетил братьев Тургеневых. Тем самым подводится база под установление «голдсмитовских мест» в названных стихотворениях Пушкина.

Исследованию этой проблемы и посвящены главы 7 и 8 — основные в рассматриваемом труде: «„Деревня“ Пушкина и „The Deserted Village“: — „Вольности“: текст „свободы и закона“» (с. 42—53) и «„Деревня“ Пушкина и „The Deserted Village“: „пейзажный“ текст» (с. 54—60). Обе главы строятся в основном на цитировании обнаруженных параллелей.

В первой из них выявляются соответствия в изображении бедственного положения крестьянства, обличении его бесправия в произведениях английского и русского поэтов, причем учитываются и расхождения, обусловленные различием социальных процессов, наблюдавшихся ими в своих странах. Касаясь проблемы «свободы и закона» в «Вольности», автор привлекает и поэму Голдсмита «Путешественник». В конце главы сформулирован вывод: «В любом (...) случае верно заключение, что „The Traveller“ (отчасти «вторая» половина «The Deserted Village»), „Вольность“ (и отчасти «вторая» половина «Деревни») отражают некий единый круг представлений, возникших во второй половине XVIII века, эволюционировавших в течение нескольких десятилетий, и в конце 10-х годов XIX в. достигших России в варианте, несколько осложненном теорией и практикой французской социальной мысли». В то же время с присущей ему исследовательской осторожностью автор добавляет: «При всей близости содержания и форм выражения английского и русского текстов, при сходстве в общем и в частности, при очень однообразном „социальном“ словаре этих текстов, — сходство все-таки носит несколько абстрактный „книжный“ характер: значительное само по себе, оно много теряет в цене при учете, что существуют и другие тексты того времени, которые в той или иной степени могли бы подключиться к тем, что были здесь сопоставлены» (с. 53). Поэтому окончательный ответ предоставляется «будущим исследователям».

В главе 8, как видно уже из заглавия, устанавливаются параллели в создании пейзажных картин; собственно текст ее почти полностью состоит из тщательно подобранных соответствующих примеров. Сами же выводы этой главы сформулированы в заключительной главке 9 «Некоторые итоги и предположения» (с. 61—63). Полагаем уместным процитировать их:

«1. „пейзажные“ отрывки „Деревни“ и „Опустевшей деревни“ реализуют некий единый комплекс образов и тем, выдержанный в сходной стилистической и языковой манере;

2. объяснение сходству между этими текстами следует видеть скорее всего в знакомстве Пушкина с неопубликованным переводом Жуковского;

3. тем самым предполагается, что через посредство Жуковского Пушкин познакомился с Голдсмитом, конкретно — с „The Deserted Village“;

4. некоторые данные позволяют считать возможным как знание некоторых других текстов Голдсмита («The Traveller»), так и вообще допущение об обращении Пушкина к текстам английского писателя и *вне* переводческого опыта Жуковского» (с. 61).

В связи с последним пунктом возникает вопрос о том, насколько мог юный Пушкин, не владевший английским языком, знакомиться с текстами оригиналов Голдсмита, что могло или кто мог служить ему посредником в этом деле. Но автор указывает, что, независимо от того, мог ли Пушкин знакомиться с подлинными текстами, стихи его никак не следует рассматривать как перевод или «переложение» иноязычного оригинала. «В любом случае речь идет о более тонком „общении“ художественных текстов и их структур в двух разных литературных традициях и о создании таких синтезов „своего“ и „чужого“, „субъективно-биографического“ и „объективно-безличного“, индивидуального и универсального, которые ведут к высшим художественным достижениям, к тому, что „личностно-жизненная“ *Wahrheit* становится плотью самой *Dichtung*» (с. 62).

Следует отметить, что работу В. Н. Топорова отличает исключительная осмотрительность и осторожность в формулировании своих выводов; их гипотетический характер нередко признает он сам. Это определенно отличает его от, увы, многих исследователей, которые спешат объявлять свои догадки, а порой и домыслы, истиной в последней инстанции. Ничего подобного нет в рассматриваемом труде. Однако некоторые замечания по его поводу у нас все же возникают.

Существенным недостатком представляется нам недооценка В. Н. Топоровым восприятия в России главного произведения Голдсмита — романа «Векфильдский священник». Причина этого, возможно, состоит в том, что, увлеченный своим открытием связи стихотворений Пушкина с поэзией Голдсмита, исследователь пренебрег его прозой, не уделил должного внимания выяснению ее русской судьбы. Правда, после рассмотрения перевода Страхова в *Приложении III* В. Н. Топоров признает, что «первый русский перевод романа Голдсмита — любопытная и важная страница ранних связей английской и русской литературы и однов-



ременно интересный эпизод „использования“ этого романа русскими просветителями новиковского круга» (с. 122). Однако в основном тексте после сведений об опубликовании перевода говорится: «...похоже, что заметного резонанса он не получил» (с. 9). А в связи со словами Карамзина, назвавшего в «Письмах русского путешественника» роман и две поэмы Голдсмита, В. Н. Топоров пишет: «К восприятию романа русская читательская публика в это время явно еще не была подготовлена (к тому же роман был уже переведен на русский язык, и нет почти никаких сведений, что им заинтересовались)» (с. 20).

Выше мы цитировали письмо М. Н. Муравьева, относящееся как раз к этому времени и свидетельствующее, что роман Голдсмита прочно вошел в сознание русского писателя конца XVIII века. Аналогичное подтверждение содержится и в «Записках» старшего современника Пушкина Ф. Ф. Вигеля, который, рассказывая о своей встрече в 1812 году с членом Государственного совета Н. С. Мордвиновым, писал, что тот напомнил ему «Вакефильдского священника». <sup>8</sup> А переводчик исторических трудов Голдсмита А. Г. Огинский, посвятив ему в 1818 году специальную статью, назвал в ней его роман «*столь известным сочинением*». <sup>9</sup> Кстати сказать, в конце своей жизни Огинский создал новый перевод романа, опубликованный в 1847 году. <sup>10</sup>

Впрочем, попытка заново перевести роман Голдсмита была предпринята еще в 1810-е годы молодым писателем П. А. Никольским (1794—1816), но преждевременная смерть прервала его работу и, как сообщалось в некрологе, он успел перевести лишь «около половины *Вакефильдского Священника* с Английского языка». <sup>11</sup> Три первые главы перевода были опубликованы посмертно (20). Подобные литературные опыты продолжались и позже. Сверстница Никольского С. Д. Пономарева (1794—1824), светская дама, хозяйка салона, в котором в 1821 году сформировался любительский литературный кружок, принявший название «Словесие друзей просвещения», читала на заседаниях кружка летом того же года, как свидетельствуют уцелевшие записки, 1-ю и 2-ю главы «Вакефильдского семейства». <sup>12</sup> Можно

не сомневаться, что это был перевод романа Голдсмита, в начале которого как раз содержится общая характеристика семейства священника. К сожалению, перевод этот не сохранился.

Примечательное суждение обнаруживается в библиографическом обзоре начала XIX века, где анонимный автор писал: «...еще мало романов, которые прославили своих сочинителей и которые всякий раз можно читать с удовольствием и пользою: — Дон Кишот, Жильбляз, Новая Елоиза, Грандиссон, Том Ионес, Вакефильдский священник, Тристам Шанди (...) да кажется и только». <sup>13</sup> Таким образом, в год, когда Пушкин заканчивал лицей, роман Голдсмита числился русским библиографом к семи величайшим романам мировой литературы, «которые всякий раз можно читать с удовольствием и пользою».

Добавим к этому, что в 1815 году была переведена из одного французского журнала и опубликована статья «О чтении романов вообще и Английских в особенности», где роман Голдсмита был назван: «...творение, преимущественное перед всеми другими сего рода, мастерское произведение философии и религии, достойное стоять наряду с мыслями Марк-Аврелия». А следующая далее характеристика романа начиналась с утверждения: «План его простой и правильный; совершенные характеры выводят достоинство главного лица; трогательные происшествия в непрерывной связи текут к общей развязке, не затрудняя хода интриги, и кроткое нравочение есть наука истинной философии без мудрования и чистой религии без суеверия». <sup>14</sup>

«Кому неизвестна История Вакефильдского священника!» <sup>15</sup> — восклицал в 1822 году автор предисловия к публикации перевода сходного английского произведения. Вообще роман Голдсмита неоднократно упоминался по разным поводам в русских журналах пушкинского времени. <sup>16</sup> Не говорим уже об известных, по всей вероятности, Пушкину французских переводах

щество С. Д. Пономаревой // Русский библиофил. 1912. № 4. С. 60—61. См. также: Вацуро В. Э. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М., 1989. С. 153.

<sup>13</sup> Современная русская библиография: Новые книги // Сын отечества. 1817. Ч. 39, № 28. С. 69.

<sup>14</sup> Российский музей, или Журнал Европейских новостей. 1815. Октябрь, Ноябрь. Ч. 4, № 10 и 11. С. 117, 121.

<sup>15</sup> Подарок на Новый год. (Из записок бедного Вильчирского священника) // Библиотека для чтения, составленная из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности. 1822. Кн. 1. С. 1.

<sup>16</sup> См.: Аврора. 1806. Т. 2, № 3. С. 203; Вестник Европы. 1807. Ч. 34, № 15. Август.

<sup>8</sup> Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 16. Этот отрывок приведен В. Н. Топоровым (с. 192) как факт русской «англо-мании».

<sup>9</sup> Огинский А. О Гольдсмите и его сочинениях // Журнал древней и новой словесности. 1818. Ч. 2, кн. 7. С. 130 (курсив мой. — Ю. Л.).

<sup>10</sup> Перевод упомянут В. Н. Топоровым (с. 181).

<sup>11</sup> Сын отечества. 1816. Ч. 33, № 40. С. 69.

<sup>12</sup> Веселовский А. А. Словесие друзей просвещения: Дружеское литературное об-

«Векфильдского священника» и отзывах о них во французской печати; об этом достаточно обоснованно писала уже М. В. Разумовская.<sup>17</sup> Примечательно, что Голдсмит как известный прозаик упоминался в 1831 году в «Литературной газете», к которой Пушкин имел непосредственное отношение. Здесь в рецензии на издание перевода повестей немецкого писателя Генриха Цшокке говорится: «В *Подарке* на новый год, например, Цшокке весьма счастливо схватил простодушный тон Гольдсмита».<sup>18</sup> Поэтому выдвинутое М. В. Разумовской предположение о связи пушкинского «Станционного смотрителя» с романом Голдсмита<sup>19</sup> достаточно убедительно и заслуживает более обстоятельного рассмотрения в работе на тему «Пушкин и Голдсмит», автор которой, правда, признает в заключительном примечании, что обнаруженное исследовательницей «достаточно абстрактное», как он считает, «сходство повести Пушкина с романом Голдсмита дает повод для продолжения темы» (с. 99, примеч. 106).

Можно добавить, что и независимо от «Векфильдского священника» упоминания Голдсмита по тем или иным поводам, преимущественно в ряду английских или европейских писателей не раз встречаются в русской печати тех лет.<sup>20</sup> Упомянем также и печатавшиеся сперва в «Сыне отечества», а затем неоднократно в «Русском инвалиде» объявления об издании и продаже исторических сочинений Голдсмита, которые настойчиво рекламировал переводчик

С. 185; Русский инвалид. 1822. 23 мая. № 120. С. 480; 1823. 15 октября. № 244. С. 273; Дамский журнал. 1823. Октябрь. Ч. 3, № 15. С. 107; Московский телеграф. 1825. Ч. 7, № 1. С. 90; 1832. Ч. 43, № 2. С. 232; Сын отечества и Северный архив. 1831. Т. 19, № 17, С. 133.

<sup>17</sup> См.: *Разумовская М. В.* К вопросу о некоторых литературных параллелях в «Станционном смотрителе» // Русская литература. 1986. № 3. С. 131.

<sup>18</sup> Литературная газета. 1831. 30 июня. Т. 4, № 37. С. 7.

<sup>19</sup> См.: *Разумовская М. В.* Указ. соч. С. 131—132.

<sup>20</sup> См.: Северный Меркурий. 1811. Апрель. Ч. 10, № 14. С. 31—32; Русский инвалид. 1823. 18 июля. № 168. С. 671; 1824.

21 июня. № 146. С. 582; Северная пчела. 1827. 8 марта. № 29. С. 1; Московский телеграф. 1828. Ч. 22, № 13. С. 146; 1832. Ч. 47, № 20. С. 539; Брошюрки, изд. И. Кроненбергом. Харьков, 1830. № 2. С. 29; Телескоп. 1831. Ч. 3, № 10. С. 251; 1832. Ч. 7, № 3. С. 344; Литературные листки, прибавление к Одесскому вестнику. 1833. № 17. С. 131; Сын отечества и Северный архив. 1833. Т. 35, № 20. С. 302; Т. 36, № 22. С. 30; Т. 38, № 39 и 40. С. 310.

А. Г. Огинский.<sup>21</sup> Поэтому нам представляется не вполне обоснованным утверждение В. Н. Топорова относительно «пушкинской эпохи»: «Круг читателей Голдсмита в это время известен, главным образом, лишь в верхнем, самом литературно искушенном слое, но в любом случае весь этот круг был довольно узок» (с. 178).

Определенные замечания вызывает и структура рассматриваемой книги. Собственно основная ее часть, посвященная вынесенной в заглавие теме «Пушкин и Голдсмит», занимает примерно четверть ее объема (с. 5—63). Хотя эта основная часть, как мы уже отметили выше, дополняется следующими за нею примечаниями, обстоятельно библиографированными и свидетельствующими о многосторонности исследования автором поставленной темы, однако здесь В. Н. Топоров подчас отклоняется от самой темы и приводит сведения и размышления, непосредственного отношения к ней не имеющие. Таковы, например, примечание 33 (с. 76) о роли М. Н. Муравьева «в создании материальных возможностей для работы Карамзина над „Историей Государства Российского“», или примечание 65 (с. 85—86) о последующем развитии взглядов Н. И. Тургенева на крепостное право, и т. п. Содержание же некоторых примечаний было бы уместнее, на наш взгляд, перенести в основной текст работы; например, примечание 76 (с. 90—91), где говорится, что «Голдсмит (в отличие от Пушкина) изображает не только беды крестьян, (...) но и развлечения и забавы богатей», или примечание 92 (с. 94—95) о том, что пейзаж пушкинской «Деревни», «вероятно, был написан по горячим следам», когда поэт жил в Михайловском летом 1819 года.

Разнородный характер имеют и занимающие более половины книги приложения. Некоторые из них дополняют содержание основного исследования, что отмечалось выше при его рассмотрении. Другие же представляют собою самостоятельные этюды автора в области русской голдсмитианы, прямо не связанные с восприятием Пушкина. Таковы весьма обстоятельное и убедительное Приложение V «Ранняя рецепция комедии Голдсмита „Ночь ошибок“ в России» (с. 138—177), состоящее из двух частей: «„Ошибки, или Утро вечера мудренее“: первый опыт знакомства с драматургией Голдсмита» и «К вопросу об отношении „Недоросля“ к „Ночи ошибок“», а также Приложение VI «Голдсмит в России в 40-е годы».<sup>22</sup>

<sup>21</sup> См.: Сын отечества. 1814. Ч. 17, № 45. С. 272—273; Русский инвалид. 1816. 14 июня. № 136. С. 557; 1819. 4 мая. № 103. С. 413; 1821. 8 сентября. № 208. С. 836; 1822. 22 июня. № 146. С. 582—583.

<sup>22</sup> К сообщенным здесь сведениям о популярности Голдсмита в России после

Довольно косвенное отношение к теме книги имеет Приложение VII «К русской „англо-мании“ начала XIX века» (с. 187—204) и, наконец, искусственно включенными представляются Приложение VIII «Страничка из ранней истории русского байронизма (Жуковский и Пушкин: первое знакомство с Байроном)» (с. 205—217) и Приложение IX «Карамзин о деревне» (с. 218—222). Создается впечатление, что В. Н. Топоров, учитывая возникшие у нас в настоящее время трудности с изданием литературоведческих трудов, решил воспользоваться представившейся ему возможностью для опубликования накопившихся у него частных исследований.

Впрочем, русский историко-литературный труд, изданный за рубежом, имеет некоторые внешние недостатки, возможно, неизбежные (не говорим уже о трудной его доступности для заинтересованного отечественного читателя, что уже отмечалось в начале). Видимо, согласно своей обычной практике, издательство не сопровождает цитируемые английские тексты подстрочным русским переводом, что затруднит значительную часть русскоязычных читателей, не имеющих соответствующей подготовки. А то, что издателем русский язык чужд, проявилось в большом числе довольно грубых опечаток, таких, например, как «ситуация» (с. 5), «творчества» (с. 28), «Николай» (с. 38), «поэзия» (с. 142), «трон» (вместо «тронут» — с. 168) и т. п. В отдельных случаях издатели, вероятно, принимали в присланной им машинописи знак переноса за дефис, в результате чего в книге встречаются слова: «произ-ведения» (с. 3), «юридиче-ской» (с. 89) и т. п. Несомненный недостаток издания — отсутствие в нем именного указателя, необходимого в таких трудах.

Несколько частных замечаний.

В примечании 2 (с. 64) библиографическая статья «Библиотека Пушкина: Новые материалы» (Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18) приписана Б. Л. Модзалевскому; фактически же автором ее был его сын — Л. Б. Модзалевский.

В примечании 14 (с. 71) указано, что статья Ю. Д. Левина «К истории восприятия Шекспира в России XVIII века» напечатана в книге «Шекспир и русская культура»; в действительности она появилась в сборнике «Сравнительное изучение литератур» (Л., 1976).

В примечании 17 (с. 72) говорится, что создание М. Н. Муравьевым перевода застойной песни из «Школы злословия» Шеридана «недавно было установлено»; однако, кем и где произведено это «установление», остается скрытым.

В примечаниях 1, 14, 31, 105 библиографические перечни соответствующей литературы вопроса завершаются сокращением «и др.»; нам такое окончание библиографической справки в научном труде представляется неуместным.

Как, вероятно, заметил читатель, мы внимательно ознакомились с трудом В. Н. Топорова «Пушкин и Голдсмит» и критиковали его, быть может, даже придирчиво. Поэтому надеемся, что наше заключение будет воспринято с доверием. Считаем, что В. Н. Топоров внес несомненно ценный вклад в отечественное сравнительное литературоведение. Каковы бы ни были частные недостатки труда, он открывает новый раздел в истории международных связей русской литературы; недаром автор указал в подзаголовке: «К постановке вопроса». Начатое В. Н. Топоровым изучение восприятия в России творчества Оливера Голдсмита, русской голдсмитианы, безусловно должно быть продолжено. Это, в частности, дает основание приложить к настоящей статье собранную нами библиографию русских переводов Голдсмита до 1830 года. Значительная часть этих переводов уже упоминалась В. Н. Топоровым, однако пополнение и упорядочение приведенных им сведений представляется нам небесполезным для дальнейшего исследования поставленной темы.

## Приложение

### БИБЛИОГРАФИЯ РАННИХ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОЛИВЕРА ГОЛДСМИТА (1763—1830)

Переводы расписаны в хронологическом порядке. Многотомные издания, вышедшие несколько лет, помещены соответственно году выхода 1-го тома. Переиздания переводов до 1830 года указаны после первой

публикации без отдельного номера. Подписи в журнальных публикациях приводятся вслед за заглавием и отделяются косой линией:/. В переводе 22 звездочкой \* отмечено подстрочное примечание к заглавию. В аннотациях приведены заглавия английских оригиналов с указанием года опубликования. Переводы, упомянутые, цитируемые или разобранные В. Н. Топоровым в его книге «Пушкин и Голдсмит», отмечаются в конце аннотаций буквой Т с указанием номеров соответствующих страниц.

смерти Пушкина можно добавить, что еще в 1837 году была напечатана обстоятельная статья «Оливер Голдсмит, его жизнь, характер, сочинения и переписка» (Библиотека для чтения. 1837. Ч. 22. Отд. 2. С. 141—188).

1. Китайская повесть. Из Англинской книги: *The Citizen of the world, or Letters from a Chinese Philosopher* // Ежемесячные сочинения и известия об ученых делах. 1763. Октябрь. С. 348—353.  
Оригинал указан в заглавии. *Letter XVIII* (1762). Т 8, 100—102.
2. *Натуральная история о рыбах вообще / Сочинено на Аглинском языке г. доктором Голдшмитом; а переведено Адъюнктом Николаем Озерецковским* // Академические известия. 1780. Ч. 6. Сентябрь. С. 19—30; Октябрь. С. 175—187. *Fishes in general. Introduction* // *A history of the Earth, and animated nature. Pt 4. Bk 1. Ch. 1* (1774). Т 106—108.
3. *Вакефильдской священник, история. Аглинское сочинение / (Перевод Н. И. Страхова)*. М., 1786. Ч. 1. 196 с. Ч. 2. 184 с.  
*The vicar of Wakefield. A tale* (1766). Т 9, 112—123.
4. *Повесть о скифе Аземе, удалившемся от общества человеков, выбранная из сочинений Доктора Голдшмита / Взято из ежемесячного сочинения Mercure de France, le mois d'Aout 1787. На российской язык перевел А. П.* // Новые ежемесячные сочинения. 1788. Февраль. Ч. 20. С. 74—89.  
*Asem, an Eastern tale; or a Vindication of the wisdom of Providence in the moral government of the world.*
5. *О крокодиле. Сочинение Доктора Голдшмита* // Там же. Декабрь. Ч. 30. С. 85—102.  
*Of the crocodile and its affinities* // *A history of the Earth, and animated nature. Pt 5. Bk 2. Ch. 3* (1774). Конец опущен. Т 109.
6. *О красном гусе. (Из сочинений Доктора Голдшмита) / Перевел с Французского языка из Esprit des Journaux Алекс(андр) Севаст(ьянов)* // Там же. 1789. Октябрь. Ч. 40. С. 70—79.  
*The flamingo* // *Ibid. Pt 3. Bk 6. Ch. 8.* Т 109—110.
7. *Ошибки, или Утро вечера мудренее. Комедия в пяти действиях / (Перевод-переделка И. М. Муравьева-Апостола)*. СПб., 1794. 153 с.  
*She stoops to conquer; or the Mistakes of a night. A comedy* (1773). Т 69, 138—155.
8. *Как не завидно величие людей! (Из Гольдсмита) / (Перевод Н. М. Карамзина)* // Пантеон иностранной словесности. 1798. Кн. 3. С. 241—248; 2-е изд. М., 1818. Ч. 2. С. 208—212.  
*On instability of worldly grandeur* // *The Bee*, No. 6 (1759). Т 77.
9. *Алкандр и Септимий. История взятая из сочинений Доктора Голдшмита. Перевод с французскаго / Т. В. Тула* // *Новости*. 1799. Кн. I. Май. С. 81—92.  
*The story of Alcander and Septimius. Translated from a Byzantine historian* // *Ibid. No. 1* (1759). Т 77—78.
10. *На молодую красавицу, ослепшую от молнии. (Из Гольдшмида) / СПб. Усолец (М. С. Шулейников)* // *Новости русской литературы*. 1805. Ч. 14. С. 250.  
*On a beautiful youth struck blind by lightning* // *Ibid. Т 11.*  
— То же // *Опыт русской анфологии, или Избранные эпиграммы, мадригалы, эпитафии, надписи, апологи и некоторые мелкие стихотворения*. Собрано Михаилом Яковлевым. СПб., 1828. С. 80.
11. *Опустевшая деревня / (Перевод В. А. Жуковского, 1805) / Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Под ред. А. С. Архангельского*. СПб., 1902. Т. 1. С. 22—24.  
*The deserted village*, ll. 1—100 (1770). Т 21—26.
12. *Пример твердости в нещастиях / Из Гольдсмита* // *Утренняя заря*. 1806. Кн. 4. С. 224—235.  
*The distresses of a common soldier.*
13. *Гольдшмитово рассуждение о непостоянстве славы, которую стараются заслужить от публики* // *Друг юношества*. 1807. Апрель. С. 104—113.  
См. аннотацию 8.
14. *Опыт из Гольдшмита о худых привычках* // Там же. С. 114—120.  
*Biographical memoir, supposed to be written by the ordinary of Newgate.*
15. *Эдвин и Ангелина. Баллада. Из сочинений Гольдсмита / П. Политковский / Цветник*. 1809. Генварь, № 1. С. 49—58.  
*A ballad* // *The vicar of Wakefield. Ch. 8* (1766). Т 128—134.
16. *Пустынный. Баллада / С Английс(ого) В. Жуковский* // *Вестник Европы*. 1813. Июнь. Ч. 69, № 11—12. С. 179—185.  
См. аннотацию 15. Т 7, 134—135.  
— То же // *Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах*. СПб., 1815. Ч. 3. С. 28—34; 2-е изд. 1822. Ч. 3. С. 25—30.  
— То же // *Жуковский В. Стихотворения*. СПб., 1816. Ч. 2. С. 175—184; 2-е изд. 1818. Ч. 3. С. 41—51; 3-е изд., исправленное и дополненное. 1824. Т. 3. С. 45—55.
17. *Алкандр и Септимий. Византийский анекдот / Из сочинений Голдсмита. (Перевод В. В. Измайлова)* // *Вестник Европы*. 1814. Июнь. Ч. 75, № 11. С. 163—169.  
См. аннотацию 9.  
— То же // *Измайлов Вл. Переводы в прозе*. М., 1819. Ч. 2. С. 38—45.
18. *Сокращенная история Греции. Сочинение Голдшмида. Перевел с Английскаго, в пользу училищ, Алексей*

- Огинский. СПб., 1814. Ч. 1. XVIII, 521 с.; 1815. Ч. 2. 320 с.; 2-е изд., исправленное. СПб., 1823. Ч. 1. 237 с.
- The Grecian history, from the earliest state to the death of Alexander the Great (1774). Т. 66.
19. История римская от основания Рима до падения Западной Римской империи. Разделенная на четыре части, из коих первые две содержат Историю Республики, а другие две о Императорах. Сочинение Гольдсмита. Перевел с Французского Павел Яковлев. СПб., 1815. Ч. 1. 352 с.; 1816. Ч. 2. VI, 263 с.; 1817. Ч. 3. 284, VI с.; 1818. Ч. 4. 218, VIII с.
- The Roman history, from the foundation of the City of Rome to the destruction of the Western Empire (1769). Т. 66.
20. Отрывки из Вакефильдского священника / (Перевод П. А. Никольского) // Благонамеренный. 1818. Ч. 1, № 1. С. 88—117.
- См. аннотацию 3. Ch. 1—3.
21. История римская от основания Рима, до разрушения Западной империи. Сочинение Гольдсмита. Перевел с Английского Алексей Огинский. СПб., 1819. Ч. 1. 10, 459 с.; 1820. Ч. 2. 534, VII с.
- См. аннотацию 19. Т. 66.
22. О британцах.\* Из сокращенной Английской истории, соч. Гольдсмита, которая переводится с подлинника на Русский язык / А. Огинский // Журнал древней и новой словесности. 1819. Ч. 4, кн. 4. С. 170—180.
- См. аннотацию 23. Ch. 1.
23. Сокращенная история Англии. От основания Юлия Цезаря до смерти Георга III (так!). Соч. Гольдсмита. Перевел с Английского Алексей Огинский. СПб., (1820). Ч. 1. XXVIII, 228 с.; 1821. Ч. 2, 273 с.
- An abridgement of the history of England from the invasion of Julius Caesar to the death of George II (1774). Т. 66.
24. Странствующий актер. (Из Гольдсмита) // Новая библиотека для чтения. 1824. Ч. 1. С. 176—186.
- Adventures of a strolling player.
25. Ниагарский водопад. (Из Гольдсмита) // Соревнователь просвещения и благотворения. 1824. Ч. 27. С. 134—135.
- The origin of rivers // A history of the Earth, and animated nature. Pt 1. Ch. 14 (1774).
26. Элегия на смерть бешеной собаки. (Из Гольдсмита) / М. В(ронченко) // Подснежник на 1830 год. СПб., 1830. С. 57—59.
- An elegy on the death of a mad dog // The vicar of Wakefield. Ch. 17 (1766). Т. 178—179.
27. История инвалида. (Из Гольдсмита) / С Английского Н. Ш-в (Шигаев) // Северный Меркурий. 1830, 22 сентября. № 114. С. 141—142; 24 сентября. № 115. С. 145—146.
- См. аннотацию 12.

С. Ю. Николаева

### АНТОН ЧЕХОВ: «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» \*

В своих воспоминаниях о последнем классике русской литературы М. Горький остановился на мысли: «О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал „Степь“, рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя».<sup>1</sup>

Однако даже И. А. Бунин, способный говорить о Чехове «нежно, как женщина, и мужественно, как друг», так и не закончил свою книгу о нем, хотя был единственным среди литераторов, на чьи силы надеялся в этом отношении Горький. Поэтическая память И. А. Бунина донесла до нас многие

детали, факты, разговоры, отдельные суждения и редкие, не сохранившиеся даже в записных книжках чеховские словечки, но тем не менее все это осталось мозаикой сырого материала, интереснейшей подборкой безукоризненно точных зарисовок, своей трезвостью и объективностью противостоящих «пошловатой» посмертной мемуаристике. И. А. Бунин писал «мелко и четко», однако проследить «сплошную линию жизни», воссоздать целостный облик Чехова, ускользавший и от современников, и от потомков, не сумел. Нужно было писать «рассказ — для себя», нужно было, чтобы среди русских интеллигентов появился человек, который мог бы повествовать о жизни Чехова как о собственной духовной биографии.

Михаил Петрович Громов, преподаватель Московского университета, литературовед, исследователь и комментатор творчества А. П. Чехова, в своей судьбе как бы пов-

\* Громов Михаил. Чехов. М.: Мол. гвардия, 1993. 394 с., [48] с. ил. (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 724).

<sup>1</sup> А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 511.

торивший многие ступени его пути (от уединенной юности в чеховских краях и первых успехов в поэзии, отмеченных Б. Пастернаком, до тяжелой легочной болезни, мучившей его в последние годы, и точно рассчитанного срока земного бытия), стал таким человеком. Его книга о Чехове вышла недавно в серии «Жизнь замечательных людей» и, безусловно, стала событием в многолюдном и перенаселенном чеховедении.

М. П. Громов начинал писать свою книгу с ясным пониманием сложности задачи. Многим и многим мемуаристам, критикам, ученым бывало под силу видеть в Чехове только общепонятное и писать его портреты лишь «на уровне собственных глаз» (с. 19).

Неуловимость облика Чехова, на которую сетовали живописцы И. Браз, В. Серов, Н. Ульянов и которую затем возвели в абсолют и канонизировали современные чеховеды в системе таких понятий, как «случайность», «неотобразность», «неиерархичность», автор книги впервые соотнес с оборотной стороной медали — чувством глубокого одиночества, проявившимся, например, в письме к В. Г. Короленко: «Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее». Даже величайший сердцевед Лев Толстой не подозревал об истинной содержательности и драматизме внутренней жизни Чехова. «Вход в эту своеобразную жизнь никому и никогда не воспрещался, но тем не менее дальше входа никто... не пошел» (с. 19). Эти слова сказаны М. Громовым о зрелом Чехове, но с еще большим тактом и «даром проникновения» говорится в книге о чеховской юности, где и следует искать истоки характера и творческой судьбы.

Рассказ о юных годах писателя всегда был для биографов камнем преткновения, и в первую очередь потому, что отсутствовали свидетельства современников-таганрожцев, ничего примечательного не смогли припомнить о нем одноклассники. Для М. Громова здесь нет «белого пятна», но налицо факт творческой биографии: «...кому он был нужен в гимназии, этот бедняк, от природы сдержанный, замкнутый, гордый? Дети коммерсантов, маклеров, адвокатов, зубных врачей, практичные дети практичных родителей — зачем им было водиться с этим сыном разорившегося лавочника? И можно ли было его понять и серьезно к нему относиться, если на обычные вопросы о будущем он отвечал без тени улыбки: „Буду попом“? Вот если бы знать заранее, если бы можно было предвидеть, кем ему суждено стать — о, тогда совсем другое дело, тогда они подсади бы поближе, набились бы в друзья, запомнили бы и первые стихи, и название первой пьесы, и каждый час, каждую минуту, проведенную в обществе Чехова, потому что, как это выяснится на исходе жизни, только это время и стоило вспоминать...» (с. 31).

Показывая юного Антона «на развалинах семейной крепости», М. Громов избегает традиционных сентиментально-жалостливых фраз о тяжелом детстве, о постепенном превращении «гадкого утенка» в прекрасного белого лебедя. За внешними неблагоприятными обстоятельствами ранних чеховских лет он видит начало истории души: «Этому таганрогскому гимназисту суждено было стать великим писателем, но в окружающей его жизни не было ничего, что поддерживало бы его талант, что помогло бы ему найти себя; ничего похожего на судьбу Пушкина, рядом с которым Лев Толстой поставит его впоследствии — Пушкина, которому книги в кабинете отца заменяли игрушки и который сразу ступил на свой путь, под присмотр Карамзина и Жуковского...» (с. 36); «Можно лишь удивляться, как рано Чехов покорился литературе, как рано привык к одиночеству... к терпеливому и сосредоточенному труду...» (с. 40).

Одной из самых задушевных и любимых страниц в творческой биографии Чехова была для М. Громова история создания первой пьесы. Именно этому исследователю удалось понять и показать истинное место «Безотцовщины» и ее значение для всей последующей эволюции художника. В рецензируемой книге автор основное внимание уделил характеристике главного героя драмы: «Платонов — первый из „чеховских“ людей русской литературы, наделенных своеобразным „угрюмством“, чувством вечной ответственности и вины, перевозбужденных, легко ранимых...» (с. 94); он открывает собой целую галерею персонажей; за ним следуют Лихарев, Иванов, Астров, Учитель словесности, Вершинин и Тузенбах, Студент, Архиерей... Чеховский герой «мнителен и хандрлив» (Пушкин), но ему присущи также «душевная отвага, обаяние, сильный и смелый ум». Он человек своего времени и вместе с тем наш «вечный современник — русский человек, каким он был и будет, каким он в своей сущности остается и теперь» (с. 87).

Платонов осознает всю тяжесть груза исторической ответственности — вот черта, отличающая его от лихих Осипов и прагматичных Венгеровичей, по вине которых в начале XX века Россия захлебнулась в бедах и несчастьях (см. с. 79—80). Среди действующих лиц пьесы он единственный, кого любят все, ибо «он только и человек», и потому после его гибели «остаются безутешными». «Чехов сделал, кажется, все, чтобы первый его герой как можно менее походил на бессмертного соблазителя... (...) Собственно, он никого не соблазняет, ничего похожего не только на Дон-Жуана, но и на Печорина или Онегина с его „наукой страсти нежной“ в нем нет. (...) Героиням пьесы любить больше некого» (с. 98). Платонов — подлинное открытие Чехова, предопределившее его писательскую индивидуальность, главная

смысловая доминанта чеховского художественного мира.

Жанр биографии обязывает к точному и подробному воссозданию внешней хронологической канвы, и потому в иных случаях биографы сбиваются на монотонный перебор дат. В книге М. Громова по этой канве (событийно менее выразительной, чем, скажем, у Достоевского или Толстого) искусно и чеховски тонко наносится рисунок внутренней духовной жизни писателя.

Чехов приезжает из Таганрога в Москву, учится на самом сложном факультете университета — медицинском, присутствует на Пушкинском празднике 1880 года, знакомится с литераторами, и постепенно меняются образ жизни, привычки, говор: «Какая судьба, какой суровый труд и какое различие: мальчик за прилавком, двоечник и безобедник в гимназии — Чехов» (с. 109). Самое, быть может, существенное — творческий итог: в художественном сознании постепенно формируется новый для русской литературы образ Москвы, не похожей на Москву Грибоедова, Пушкина, Лермонтова: «В этом ряду возникла наконец и чеховская Москва, как в „Даме с собачкой“, когда Гуров, вернувшись из Ялты, оделся тепло, по-зимнему, и прошелся по Петровке, слушая вечерний звон. Зимами Москву укрывали чистые снега, было тихо, безлюдно, думы в переулках поднимались к небу столбами, в окнах рано зажигался слабый свет керосиновых ламп и свечей. Еще гадали на Крещенье, как при Жуковском; еще в 1886 году Чехов писал Григоровичу: „Поздравляю Вас с Рождеством. Поэтический праздник. Жаль только, что на Руси народ беден и голоден, а то бы этот праздник с его снегом, белыми деревьями и морозом был бы... самым красивым временем года. Это время, когда кажется, что сам Бог ездит на санях“» (с. 110).

Если Москва подарила Чехову душевный покой, счастье, своего рода «легкое дыхание», освобождая от провинциальной скованности, то Петербург — и прежде всего встречи с Д. В. Григоровичем и А. С. Сувориным — заставил Чехова как-то вдруг осознать свою силу и принадлежность к «большой» литературе. Через посредство Д. В. Григоровича «40-е годы — время позднего Гоголя и молодого Достоевского — влияли на судьбу „восьмидесятника“ Чехова, воспитывая в нем чувство традиции, поддерживая преемственность литературных поколений» (с. 145).

Следующая века жизни Чехова — путешествие по Сибири и Сахалину. И здесь автору вновь удается сказать о значении этой поездки по-своему, как никто, пожалуй, не говорил: «Лицам, стоящим над каторгой и управляющим ею, Чехов уделил много внимания и места, поскольку они... делали Сахалин — Сахалином, каторгу — каторгой. Чехов выяснил, что происходит с людьми, обреченными на пожизненную каторгу; ему

оставалось выяснить, как влияет на человека другая форма подчинения и порабощения — мундир» (с. 246). Таким образом прокладывается новая линия восприятия «футлярной» темы, открывается возможность понять, какой смысл вкладывал Чехов в слова о том, что у него «все просахалинено», тогда как критика до сих пор отмечает не более двух-трех сахалинских сюжетов. «Очевидно, в результате путешествия на каторжный остров прояснилось само понимание русской жизни; сюжеты, мотивы и образы, фрагментарно намеченные в творчестве досахалинских лет, объединились вокруг нескольких ведущих мотивов и тем; резко усилилась линия протеста и борьбы против „силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались“» (с. 247).

В чеховедении как нигде властвуют стереотипы. В частности, распространено мнение о том, что Европа, куда привели Чехова его жизненные пути, а затем и мировая известность, не понравилась ему. «Местный» таганрогский колорит долго заляпал в глазах биографов живого Чехова. Однако слишком легко было бы поддаться искушению и опровергнуть это заблуждение по-гоголевски ироничными аргументами самого Чехова: «Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие... а магазины — это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! (...) Церкви громадные, но они не дают своею громадою, а ласкают глаза. (...) Это не постройка, а печенка к чаю»; «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть» (с. 248—249). Автор книги не ограничивается констатацией очевидного, ему важнее раскрыть неоднозначность и многогранность чеховских оценок и взглядов. Европейские святые и кумиры, конечно же, оставались для Чехова святячьими и кумирами, но и писатель оставался независимым в суждениях: «У нас есть все, и яркое, и тусклое. Почему-то нас называют серенькими в серенькой природе, — а мы раскинулись вон как, и у нас найдутся и краски, и такие эффекты, до которых, пожалуй, и вашей Италии далеко»; «Был на картинной выставке... В сравнении со здешними пейзажистами... Левитан просто король» (с. 250).

Как и все русские, Чехов восхищался «красотой, богатством и свободой» европейской жизни, но этот восторг не был самозабвенным: «...время шло, менялась погода, менялось настроение: оказывалось, что Россия далеко не во всем уступает Европе. Чехов начинал скучать, томился без работы и однажды написал: „Рим похож на Харьков, а Неаполь грязен“. (...) К восторженным письмам из Европы привыкли: раз уж оказался человек в Италии, то, естественно, пришел в изумление и восторг, а вот „Рим похож на Харьков“ — это было большой но-

востью... стали говорить, что Европа Чехова не понравилась» (с. 248).

И действительно, во фразе «Рим похож на Харьков» присутствовала не столько оценка, сколько формула мировосприятия, способ художественного видения, закономерность поэтики, наконец, — закономерность, выразившаяся в потребности систематизировать и обобщать, опираясь на метод и естествоведника, и поэта. «Как врач Чехов... знал, что внутренний мир человека обостренно и нервно связан со средой и бытом. Как писатель он создал художественный мир, в основу которого положена гипербола быта, поглощающего дух: „...люди обедают, только обедают, а в это время слагаются их судьбы и разбивается их жизнь“» (с. 160).

Миновав этап вульгарно-социологических подходов к творчеству Чехова, чеховедение впало в другую крайность: свобода от «партий данной минуты», объективность и неприятие упрощенных решений и рецептов стали толковаться как «неиерархичность» мышления, равенство правд всех героев; исследователи перестали искать у Чехова «ответы на вопросы». В книге М. Громова этот поиск является стержнем всего повествования: «След непрерывного усилия духа, обретающего в победе над

собою все большую смелость и свободу, одиноко и строптиво противостоящего не только влиянию среды, но, кажется, законам природы: „я лично даже слепоты и смерти не боюсь“, — внутренний смысл всей биографии Чехова. Не смирение и покорность чувствуются в этом, а скорее гордость, и ее, конечно, сочли бы непомерной, если бы не было доказано так ясно и так спокойно, что татарщина, крепостничество, рабская кровь и мещанская плоть не так сильны в человеке, как чувство свободы, труд и талант» (с. 229).

Книга М. Громова несет на себе отпечаток мощного «усилия духа», которое потребовалось для ее создания; в сущности, в это усилие ушла большая часть жизни и весь духовный опыт исследователя.

Книга безусловно талантлива, она проста и сложна одновременно. Проста — потому что написана легким, совершенным русским языком (так что подчас лишь кавычки позволяют отделить слова Чехова от авторских). Сложна — потому что требует от читателя подняться «на определенный интеллектуальный уровень, ниже которого все связи обрываются, а понимание исключено».



# ХРОНИКА

## ДАР УЧЕНОГО

Академик Д. С. Лихачев передал в библиотеку возглавляемого им отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома свое собрание книг и статей по «Слову о полку Игореве». Этим литературным памятником Д. С. Лихачев занимается многие годы, начиная с конца 40-х годов. Он является ведущим исследователем «Слова», поэтому в его собрании наряду с книгами, приобретенными им самим, много работ по «Слову», подаренных ему исследователями и переводчиками «Слова», неоднократно обращавшимися к ученому за консультациями, советами.

В собрании Д. С. Лихачева такие раритеты, как отечественные издания «Слова» Я. Малашева (1871), А. А. Потебни (1878), Е. В. Барсова (1887), В. А. Яковлева (1891), В. Н. Перетца (1926), В. А. Келтуялы (1929), Е. Ляцкого (1934), Н. П. Анцукевича (1938), Ив. Новикова (1938). Здесь и многие издания «Слова» 40—90-х годов, содержащие, в частности, переводы на русский, украинский, белорусский и другие языки народов бывшего СССР.

Среди книг, переданных Д. С. Лихачевым в библиотеку, — зарубежные издания «Слова», многие из них с дарственными надписями переводчиков или издателей. В этих изданиях — переводы «Слова» на многие языки народов мира: на финский (переводчик Я. Ругаев, 1953), болгарский (Л. Стоянов, 1954), словенский (Райко Нахтигаль, 1954), сербский (Панич Суреп, 1957), французский (Е. Д. Коновалов, 1957), венгерский (Геза Кепеш, 1957 и 1974), македонский (Тодор Димитровский, 1957), словацкий (Ян Комаровский, 1960), немецкий (Э. М. Рильке, 1960; Г. Рааб, 1966; Лудольф Мюллер, 1974 и 1989), английский (Денис Уорд, 1966), греческий (Микос Александропулос, 1976), чешский (1948, 1960 и ритмизованный перевод Ханны Врбовой, 1977), польский (Юлиан Тувим, 1985), испанский (А. Л. Э. Морал, 1986), арабский (Нашми, 1990).

Наряду с изданиями «Слова» в собрании Лихачева — многочисленные монографические исследования этого памятника как русских, так и зарубежных авторов, в частности А. С. Орлова, И. Новикова, Б. А.

Рыбакова, Р. О. Якобсона, А. Вайана, Славомира Вольмана, Дениса Уорда, Лудольфа Мюллера, Дина Ворта, Й. Клейна, Сергея Лесного, Юстины Бешаровой, Роберта Манна, Ярослава Павлика, Станислава Гординского, работы известных «скептиков»: Яна Фрчека, Андре Мазона, М. И. Успенского.

Обширна подборка статей, посвященных «Слову». Здесь переплетенные в конволюты отдельные оттиски из различных отечественных и зарубежных сборников и серийных изданий, а также отечественные и зарубежные журналы со статьями по «Слову». Есть здесь и переписанные от руки статьи из американских журналов 1940—1950 годов. Значение этой части библиотеки Лихачева трудно переоценить, так как она содержит многие практически недоступные зарубежные публикации и редкие отечественные издания.

Значительна по объему и рукописная часть собрания Д. С. Лихачева по «Слову». Это неопубликованные по каким-либо причинам статьи (в частности, Н. А. Мещерского, С. Изотова, Боню Ст. Ангелова, ритмическая разбивка текста «Слова» С. М. Соловьева, присланная автором Д. С. Лихачеву в 1977 году), авторские машинописные оригиналы некоторых опубликованных работ (исследования Р. О. Якобсона, Д. С. Лихачева, перевод А. Домнина и др.).

Отдельные тома-конволюты составляет переписка Д. С. Лихачева по «Слову» 50—60-х годов. Здесь письма исследователей и переводчиков «Слова» (в частности, А. Домнина, В. Л. Виноградовой, Н. В. Шарлеманя, И. Д. Дмитриева-Кельды, Р. О. Якобсона (США), Сергея Плаутина (Франция), Лудольфа Мюллера (Германия), Сергея Лесного (Парамонова) и др.), а также исследователей-любителей, предлагавших свое прочтение тех или иных фрагментов «Слова». Д. С. Лихачев непременно отвечал на эти письма (копии его ответов приложены к письмам). В одних случаях он просил оформить заметки в виде статьи и прислать в редакцию ТОДРЛ, в других — выражал несогласие с высказанной мыслью; не раз

Д. С. Лихачев ссылаясь в своих исследованиях на то или иное мнение, высказанное в частном письме к нему.

Собрание Д. С. Лихачева пополнило библиотеку отдела древнерусской литературы-

ры, точнее, ее богатейшую в стране «слововедческую» часть ценнейшими материалами.

*Л. В. Соколова*

## ПЕТР СОЗОНТОВИЧ ВЫХОДЦЕВ

19 марта 1994 года скончался Петр Созонтович Выходцев.

Из жизни уходит то поколение ученых, чья юность прошла на фронтах Великой Отечественной войны.

П. С. Выходцев родился 19 июня 1923 года в селе Годичеве Тереховского района Гомельской области. В 1940 году поступил в Северо-Осетинский государственный педагогический институт. Со второго курса ушел на фронт; стрелком, разведчиком-артиллеристом прошел Сталинградский, Северо-Кавказский, Белорусский, Прибалтийский фронты; был трижды ранен, вместе с советской армией дошел до Восточной Пруссии. Был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I и II степени, Орденом Славы II и III степени, медалями — «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

После войны закончил Северо-Осетинский педагогический институт и аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Литературоведческая деятельность П. С. Выходцева началась со статьи «Слово о Русской земле (К 150-летию со дня первого издания «Слова о полку Игореве»)» (1950), подготовленной вместе с Д. С. Лихачевым. С 1953 года П. С. Выходцев вел научную работу в Пушкинском Доме; защитил кандидатскую диссертацию о Твардовском, докторскую — о связях русской советской поэзии с народным творчеством.

П. С. Выходцев исследовал многообразные связи искусства и народной жизни. Этому вопросу посвящены его монографии «Александр Твардовский» (1958), «Русская советская поэзия и народное творчество» (1962), «Поэты и время» (1967), «Павел Васильев. Очерк творчества» (1971), «Новаторство. Традиции. Мастерство» (1972), «С думой о Родине. Советская литература и воспитание современника» (1974), «В поисках нового слова. Судьбы русской советской поэзии 1920—1930-х годов» (1980), «Земля и люди. Очерки русской советской поэзии 40—70-х годов» (1984), а также десятки его статей о Есенине, Блоке, Маяковском, Хлебникове, Пришвине, Белове, Бажове и

других русских писателях. Работы П. С. Выходцева внесли заметный вклад в литературоведение, они неизменно встречали живой и неоднозначный отклик в печати.

В 1970—1980-е годы П. С. Выходцев обращается к интенсивному изучению фольклора, участвует в фольклорных экспедициях, проводимых Пушкинским Домом, становится организатором и руководителем большого коллективного труда «Русская литература XX века и проблемы фольклора», в рамках которого была предпринята попытка выявить новые методологические подходы к изучению фольклорных основ литературы. О том, сколь высоко ученый ценил эту область своих научных изысканий, свидетельствуют слова дарственной надписи, сделанной им на одном из любимых его изданий — сборнике «Русский фольклор» (1985. Т. XXII; Полевые исследования): «Чуть-чуть горжусь этой работой, с любовью вспоминаю десятилетие „бродяжничества“ по Русскому Северу, встречи с крестьянами-поморами, с фольклористами-энтузиастами. Радуюсь, что велением судьбы успел сделать все это. Больше подобных работ никогда не будет».

Немалое место в научной деятельности П. С. Выходцева занимало его постоянное участие в работе журнала «Русская литература», где он почти десятилетие (с 1979-го по 1987 год) был заместителем главного редактора.

Наряду с исследовательской работой П. С. Выходцев широко и увлеченно занимался педагогической деятельностью. В 1962—1972 годах он руководил кафедрой советской литературы в Ленинградском государственном университете. В эти годы по инициативе и под руководством П. С. Выходцева создается ряд учебных пособий по истории русской литературы XX века для филологических вузов: «История русской советской поэзии. Курс лекций» (1967), «История русской советской литературы. Краткое пособие по общему курсу» (1967), «История русской советской литературы. Учебник для вузов» (вышло три издания в 1970—1980-м годах), «Курс лекций по теории социалистического реализма» (1973). Эти книги выдержали несколько изданий не

только в нашей стране, но и в Венгрии, Польше.

Бурные события очередного трагического витка нашей истории не могли оставить равнодушным ученого, который никогда не приспособливал своих глубоко выстраданных взглядов к меняющейся политической конъюнктуре. В последние годы П. С. Выходцев углубляется в размышления об исторических судьбах русской нации, о проблемах национальной специфики русской истории. Много сил он отдает общественной работе, воспитанию молодых авторов, формированию Ленинградской областной писательской организации.

Пройдя всю войну солдатом, П. С. Выходцев так и не ушел с передовой на заслуженный отдых, хотя до конца своих дней не

расставался с надеждой, что сможет, наконец, целиком отдаться научной работе. Он не раз возвращался к мысли о необходимости завершить свои изыскания (прежде всего в области изучения А. Твардовского и М. Пришвина) в русле сопоставительного анализа авторского и фольклорного текстов на разных уровнях — генетическом, структурном, социальном, эстетическом, онтологическом. К сожалению, этих итоговых книг П. С. Выходцев не успел написать, хотя в ряде его работ намечены главные направления оригинального научно обоснованного подхода.

П. С. Выходцев принадлежал к тем ученым, память о которых надолго остается в истории науки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ФИРМА РАН  
ГОТОВИТ К ПЕЧАТИ:

ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА БУЛГАКОВА  
Исследования и материалы  
Книга 3

Сборник завершает серию работ, предпринятых в настоящее время Пушкинским Домом, над теми документами из неопубликованного наследия Булгакова, которые хранятся в его архивах. (Книга 1-я «Творчество Михаила Булгакова» вышла в свет в 1991 г.). Здесь помещены заключительная часть полного описания булгаковского рукописного собрания Пушкинского Дома, большой круг биографических документов, представлены материалы из творческой истории пьесы «Адам и Ева», а также семейная переписка, переписка Булгакова с деятелями культуры и многое другое. В сборнике помещена обширная библиография литературно-критических работ о Булгакове (20—90-х гг.) .

Для литературоведов и всех интересующихся историей русской литературы.

## ПРОЗА НАЧАЛА XX ВЕКА

### Сборник

Книга содержит историко-литературные и теоретические исследования русской прозы начала века, а также раздел публикаций, в котором помещены как художественные произведения, так и статьи, переписка. В сборнике рассматриваются проблемы поэтики, стиль, жанры, направления.

Книга рассчитана на литературоведов, историков, аспирантов и студентов филологических вузов.

## НОВЕЛЛЫ О ЛЮБВИ

### Из русской прозы XX века

Задача книги — приобщить читателя к высокой культуре человеческих чувств, дать ему возможность пережить волнение от встречи с прекрасным, мучительным, трудным, но неизменно глубоким и искренним чувством. Тема любви всегда находилась в центре внимания мирового искусства, соединяясь с поисками правды и смысла человеческого бытия. Для русских писателей она по-особому органична, ибо в самой природе славянского менталитета как бы изначально заложен неотступный интерес к интимным отношениям людей как к той высокой сфере, которая определяет нравственный смысл всех деяний человека.

Сборник поможет читателю понять, что и на разломах катастрофических, трагических обстоятельств, в которые оказался ввергнут XX век, русская литература искала искренних переживаний, запечатлела никогда не увядающее цветение любовного чувства — и тем самым постигала новые эстетические и психологические высоты искусства.

В сборник, рассчитанный на широкого читателя, включены произведения многих русских писателей — от Бунина, Набокова, Кузмина до Шолохова, А. Толстого, В. Шукшина, В. Распутина и др.

Для всех интересующихся развитием литературы и широкого круга читателей.

## Луллий Раймонд

### ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(«Книга о любящем и возлюбленном»; «Книга о животных»;  
«Книга о рыцарском ордене»)

Для первого русского издания великого майоркинского писателя, являющегося одной из ключевых фигур западноевропейского средневековья, выбраны три знаменитых и чрезвычайно характерных для его творчества произведения. «Книга о любящем и возлюбленном», состоящая из 365 «моральных метафор», — одна из самых замечательных мистических книг в мировой литературе. «Книга о животных» — своеобразный каталонский животный эпос, который носит характер горькой и беспощадной сатиры. «Книга о рыцарском ордене» — дидактический трактат, призванный не только очертить, но и сформировать идеальный тип рыцаря.

Раймонд Луллий, каталонец, родившийся на о. Майорка, сумел оставить глубокий след одновременно в философии, богословии, логике и литературе. Не менее весомый вклад в развитие европейской культуры он внес тем, что первым в своих работах по философии перешел с латыни на свой родной язык, став в то же время родоначальником каталонской литературы.

Для широкого круга читателей.